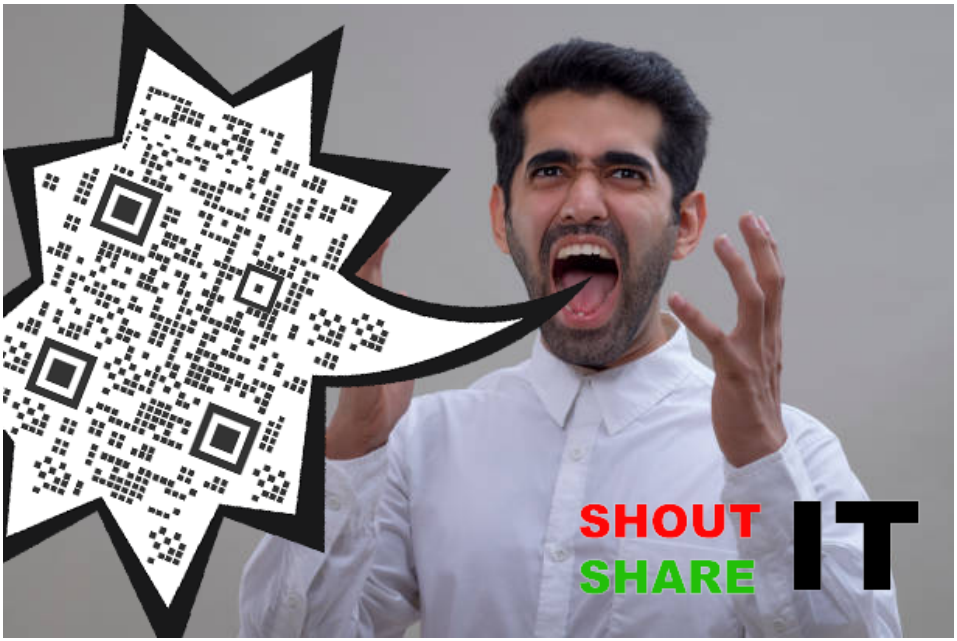
ЧЕРЧИЛЛЬ
МОЛОДОЙ ТИТАН
МАЙКЛ ШЕЛДЕН


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Знаменитая книга американского историка Майкла Шелдена посвящена начальному этапу политической карьеры Уинстона Черчилля, признанного в Англии, согласно социологическим опросам, «самым великим британцем в истории». Хронологические рамки исследования охватывают период с 1901 г., когда молодой Черчилль стал членом палаты общин британского парламента, до его отставки с поста первого лорда адмиралтейства в 1915 г. Подробно освещая политическую деятельность Черчилля как парламентария и члена кабинета министров, автор большое внимание уделяет и его личной жизни — отношениям с родственниками, друзьями и, конечно, с любимыми им и любившими его женщинами.

Увлекательный рассказ о том, как Уинстон Черчилль начинал свой путь в большой политике на фоне драматических событий в Британии и Европе начала XX века, позволяет читателю больше узнать о чертах характера, гранях таланта и слабостях этого выдающегося человека, оставившего глубокий след не только в британской, но и в мировой истории.

- Майкл Шелден
  - Прелюдия. Премьер-министр
  - Вступление. Молодой титан
  - Часть I. 1901–1905 гг
    - I. Новый мир
    - II. Семейные дела
    - III. Рожденный для противостояния
    - IV. Улыбка герцога
    - V. Имперские мечты
    - VI. Великий раскол
    - VII. Отступление
    - VIII. Холостяк и богатая наследница
    - IX. Счастливый сын
  - Часть II. 1906–1910 гг
    - X. Победители и проигравшие
    - XI. Мир у его ног
    - XII. Частная жизнь
    - XIII. Политическая чистота
    - XIV. Место под солнцем
    - XV. Большие надежды
    - XVI. Замок
    - XVII. Выдающийся эдвардианец

        - XVIII. Шум и ярость
        - XIX. Жизнь и смерть
    - Часть III. 1910–1915 гг
        - XX. Храбрец
        - XXI. Штормовое предупреждение
        - XXII. Армада
        - XXIII. Старик и море
        - XXIV. Крылья
        - XXV. Обратный отсчет
        - XXVI. Последняя линия обороны
    - Эпилог
    - Благодарности
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31

- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75

- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84

Майкл Шелден
Черчиль. Молодой титан

Сила характера — в целеустремленности.

Ральф Уолдо Эмерсон

Прелюдия. Премьер-министр

Около полуночи в майское воскресенье 1941 года над Лондоном на фоне освещенного луной неба пронеслась громадная волна темных силуэтов самолетов. И там, где проносилась эта волна, раздавались взрывы и грохот обрушившихся стен. Огонь пожаров заливал улицы города, зарево вспыхнуло и над Вестминстерским аббатством, осколки ударили в башню Биг-Бена. Пожар охватил ту часть здания парламента, где располагалась палата общин, огонь пылал в помещении, где всегда горели самые жаркие споры. Сначала рухнула кровля, а затем перегородки. Град осколков, смешавшихся со штукатуркой, завалил обитые зеленой кожей скамьи — свидетелей многих знаменитых дебатов, продолжавшихся иногда по десять суток. Остались стоять только обгоревшие стены здания.

На следующий день после обеда, когда пожары еще продолжали полыхать на улицах города, и везде стоял горький запах дыма, Уинстон Черчилль подъехал к зданию парламента, чтобы оценить степень ущерба. Это была вторая весна войны против Адольфа Гитлера, и Черчилль только что отметил первую годовщину своего пребывания на посту премьер-министра Великобритании. К всеобщему изумлению, башня — хотя она и почернела от бесчисленных осколков — все же устояла. Биг-Бен продолжал отбивать положенное время. Поскольку авианалет происходил ночью, в здании парламента оставалось очень мало народу, и жертвами смертельной жатвы там стали только три человека, в том числе два полисмена. Однако во всем Лондоне число пострадавших людей составляло более трех тысяч убитых или раненых. Это была худшая ночь «блица» — воздушной кампании немцев против Англии.

Пробираясь сквозь завалы, Черчилль остановился возле обугленных балок и долго смотрел на почерневшие своды… Бледный свет солнца падал через обрушившуюся кровлю, освещая развалины кабинета, в воздухе все еще висела пыль. В том, что открылось взору Черчилля, не было ничего нового для него в методах врага. Конечно, с одной стороны, перед ним находились свежие развалины всего лишь одного знаменательного здания в том длинном списке уникальных памятников архитектуры, что пожрала бешеная фурия современной войны. С другой стороны, это было весьма символично — враг нанес прямой удар в самое сердце британской политической жизни. Гитлеровские бомбы угодили именно в тот дом, где заседало одно из самых важных и известных в мире демократических собраний. Как впоследствии

высказался Черчилль: «Нашу старую палату общин разнесло вдребезги».

Но это была еще и личная потеря. Большую часть своей жизни премьер-министр провел в этой палате, почти сорок лет назад он начал свое продвижение с самого низа — еще совсем юношей с рыжими волосами, сияющими голубыми глазами и мальчишескими веснушками на лице. Он мог бы сказать: «Здесь я учился своему ремеслу». На этом полу стоял его отец — лорд Рэндольф Черчилль, объединившийся с Дизраэли против Гладстона. А в галерее для дам его (рожденная в Америке) мать — неукротимая Дженни — с гордостью слушала, как сын произносит первую речь в парламенте. Здесь он спорил со своими друзьями и противниками — с самых первых дней нового столетия. Здесь скрещивал шпаги с друзьями и врагами еще в начале века, когда в своих выступлениях он не уступал в остроте ума стоявшему у власти Джозефу Чемберлену, и в последующем, когда он в 1930-х годах ставил под сомнение отношение к Гитлеру младшего сына Чемберлена — Невилла.

Здесь он наслаждался минутами победы и стойко принимал удары поражений, произносил блистательные речи, а, случалось, нес полную чушь, выслушивал множество восторженных слов и негодующих выкриков недовольных. Он помнил тот знаменательный день в своей карьере, когда во время яростных дебатов противник швырнул в него толстый том — руководство для ведения прений. Книга угодила ему в лицо, пролилась кровь. Во время кризиса отречения 1936 года, когда он высказался в защиту Эдуарда VIII [1], шквал протестов обрушился на него, Черчилль был вынужден замолчать. Многие сочли, что его политическая карьера рухнула.

Как раз за три дня до того, как Гитлер задумал сбросить бомбы на это историческое здание, старый друг Черчилля и соперник с самых ранних дней — Дэвид Ллойд-Джордж, — произнес речь, в которой он обрисовал унылую картину того, как будет развиваться война. Это была его последняя речь. В ответном слове Черчилль противопоставил пессимизму Ллойд-Джорджа страстный призыв: «Я чувствую уверенность — мы не должны бояться бури, — сказал он в среду 7 мая. — Пусть она грохочет и неистовствует. Мы справимся с ней».

Никто не предполагал, что буря разыграется так скоро, и будет неистовствовать в том самом месте, где он произнес эти слова.

Теперь, глядя на разрушения, что принесло «огненное воскресенье», Черчилль почувствовал, как из глаз хлынули слезы. «Он не пытался их сдержать или смахнуть», — записал репортер,

находившийся неподалеку. Замерев на некоторое время в лучах солнца, опираясь ногой на рухнувшую балку и сунув руку в карман пальто, он стоял словно статуя, каким-то чудесным образом выдержавшая бомбардировку.

Но уже через секунду, взяв себя в руки, премьер-министр решительно произнес: «Палата должна быть отстроена заново — точно такой, какой она была прежде».

А потом развернулся и осторожно двинулся к поджидавшей его машине мимо толпы людей, разгребавших завалы и сгоревшие бумаги. И при каждом шаге со всех сторон доносился названный потом «один из самых ужасных звуков войны — скрежет разбитого стекла». Однако Черчилль уже не выказывал никаких признаков разочарования или горечи. Он уверенно помахал рукой в ответ на приветственные возгласы узнававших его горожан.

История, как известно, любит победителей. Образ постаревшего торжествующего Черчилля, сложившего пальцы знаком «виктори» [2], долгое время перекрывал, оставляя в тени, — историю весьма энергичного молодого человека, который, быстро воспарив, занял весьма заметное положение на политическом небосклоне, но вынужден был покинуть его с разбитой вдребезги репутацией. Тем не менее, именно ранний период — наиболее колоритный в его деятельности — дает нам ключ к характеру выдающегося человека. То было время радостного воодушевления и устремления, время, полное драматических событий, политических интриг, личной храбрости и трагических ошибок.

Черчилль рассчитывал на более быстрый успех. Такому неутомимому и амбициозному человеку, как он, долгое ожидание всегда дается с большим трудом. Но к тому моменту, когда действительно наступил его час, — премьер-министру исполнилось шестьдесят пять лет. Зато он был более чем готов для деятельности и способен был предложить все, чего мир требует от героя (помимо обаяния и воодушевления молодости).

Нет сомнения, что великий человек, роняющий слезы на руинах парламентского прошлого, оказался лучшим лидером для того времени, потому что провел немало лет, подготавливая себя к этой деятельности. Был период в истории его жизни, — между двадцатью и тридцатью годами, во времена правления короля Эдуарда VII, — когда ему светил успех на мировой сцене, когда он обладал энергией и блеском молодости.

Но тяжелые испытания тех ранних лет выковали прочный стержень, стали сутью его характера. Именно благодаря этому он смог стать триумфатором Второй мировой войны. Деятельность

молодого Черчилля подогревала мечта об успехе, — тот горючий материал, что позволил ему совершить эффектный политический взлет. Да, тот прорыв завершился драматическим провалом, отставкой Черчилля с высокого государственного поста. В сорок лет про него писали как о человеке, чьи лучшие дни остались позади.

Сам Черчилль признавался в старости: в те годы его так мало понимали, что в глазах многих людей он выглядел каким-то уродцем, которого с презрением и отвращением просто выбросили за борт. Но именно эти события оказались для Черчилля величайшим вызовом, ответом на который стала его дальнейшая жизнь и слава самого выдающегося государственного деятеля в новейшей истории Британии.

Вступление. Молодой титан

Уинстон Черчилль выдержал испытание на прочность, не сломался, споткнувшись в начале карьеры. Сознательно и вполне методично он из пылкого молодого человека становился героической личностью, потому что ясно осознал: настала эпоха «великих свершений».

Он выстроил свою карьеру как грандиозный эксперимент, чтобы доказать, что воля способна преодолеть все преграды, и целеустремленно следовал своим путем, не обращая внимания на неудачи и поражения, не прислушиваясь к беспощадным насмешкам тех, кто не разделял представлений о его высоком предназначении.

Многие современники Черчилля думали так же, как викторианский мудрец Томас Карлайл, что истории — это «биографии великих людей», однако принадлежал ли Черчилль к великим — всегда оставалось предметом самых жарких споров, а для некоторых остается под вопросом и по сей день.

А вот он сам почти никогда не сомневался относительно своего предназначения, и сам, без чьей-либо помощи, вознес себя на вершину и утвердился там как наиболее энергичный и неординарный политик Британской империи.

Движущая сила его характера — неуемный дух, неукротимая целеустремленность. Во многом формирование его характера было связано с романтическими идеалами, которые цвели пышным цветом во времена его юности, но и в старости эти идеалы не исчезли полностью. Мощная убежденность в личной воле сформировалась у него рано. «Я верю в личность», — провозгласил он в одном из своих первых выступлений на политической арене.

И тем самым завизировал четкое представление о том, что героизм мировых лидеров — не широкие жесты или безликая система. Суть их характеров в том, что они способны перекраивать историю.

«Мы живем в эру великих событий и маленьких людей, — сказал он, — чтобы не оставаться рабами своих собственных систем, надо, хладнокровно анализируя ошибки, снова и снова прилагать огромные усилия.

Отдельные мелочи политических платформ и манифестов никогда не были особенно важны для него, наибольшее значение он придавал тому, как энергично и решительно поступают выдающие лидеры, отвечая на вызов истории. С самого начала критики видели в нем жаждущего власти эгоиста, наделяя его

ярлыками, вроде «олицетворение неуживчивости» или «темная личность первого класса». А он считал себя одаренным, творческим человеком с высокими устремлениями и решительными поступками. «Ничтожные люди, — доказывал он, — позволяют событиям тащить их за собой. А мне нравится то, что происходит и, если ничего не происходит, мне нравится делать так, чтобы все происходило».

Как отметил один из политических противников, ухо Черчилля было самым чувствительнейшим образом настроено на то, «чтобы улавливать звук сигнальной трубы истории». Уинстон отчетливо слышал этот звук в героической истории его предка — Джона Черчилля, первого герцога Мальборо, победителя в битве при Бленхейме в 1704 году [3]. Уинстон называл его «олимпийской фигурой», объясняя это тем, что герцог никогда не принял бы участие в сражении, где не смог бы выступить победителем, и никогда не стал бы штурмовать крепость, которую не смог бы взять. Воодушевление Черчилля уходит своими корнями и в честолюбивые устремления Бенджамина Дизраэли — политика, способствовавшего в свое время карьере его отца. И высказывание Уинстона относительно одного из самых выдающихся качеств Дизраэли можно полностью переложить на него самого: «Он любил страну романтической страстью».

Подобно молодому Дизраэли, он искал поддержку в страстной натуре лорда Байрона — мощного романтика, который сам творил свою собственную героическую жизнь. И даже в старости Черчилль поражал восхищенных поклонников, цитируя наизусть целые куски из поэм великого поэта. Он мог декламировать его часами, что стало открытием и предметом восхищения даже для его дочери Сары во время поездки в 1945 году: «Мой отец отдыхал и даже черпал силы, цитируя часами «Чайльд Гарольда» Байрона, а потом ему хватало полчаса, чтобы поспать». Когда в 1941 году Франклин Рузвельт предложил название для коалиции союзников «Объединенные нации», Черчилль быстро согласился и тотчас привел весьма уместные строки из Байрона о битве при Ватерлоо.

Черчилль не был человеком, который любит пускать пыль в глаза. С юношеских дней его притягивал Байрон и как пример невероятно деятельной личности, и как образец человека, поглощенного идеями. Он настолько проникся строками великого поэта, что они буквально пропитали его душу и мозг, так что оказывались у него всегда под рукой, когда требовалось подвести итог, дать определение той или иной идее или событию.

Одно из самых его выдающихся высказываний 1940 года, горькие слова о грядущих жертвоприношениях: «Мне нечего

предложить вам, кроме крови, тяжкого труда, слез и пота», — всего лишь парафраз строки Байрона. Юный Черчилль рассматривал жизнь и деятельность поэта как величайшее приключение, борьбу за свободу и горделивое видение — они подпитывали его собственное воодушевление, служили примером высоких устремлений.

У них было много общего, начиная от аристократического происхождения и включая неожиданные выходки. Пусть и с большой разницей во времени, но они оба учились в Харроу. Того и другого завораживала загадка взлета и падения Наполеона, оба выставили небольшой бюст величайшего французского полководца на письменном столе. Черчилля в особенности завораживали поэтические строки Байрона относительно необузданных притязаний Наполеона (лихорадочных по своей сути, — как описал поэт). В промежутке между двумя мировыми войнами Черчилль стал членом Байроновского общества. Тогда же — в 1906 году — ему удалось приобрести 17-томное издание работ Байрона, которое он считал одной из самых ценных вещей, когда-либо купленных им. В его единственном романе «Саврола», изданном в 1906 году, выдуманное государство служит фоном для демонстрации неординарных выходок молодого протагониста Байрона, доблестного борца за свободу и романтика. Характер и склад своего героя автор описывает как «страстный, благородный, дерзкий».

Подобно Байрону, Черчилль также стал хроникером своей собственной истории. В серии книг, написанных с небывалой скоростью в двадцатилетнем возрасте, он описал свои приключения солдата и военного корреспондента. «Когда мне было 25 лет, — заметил он в старости, — я верил, тому, что писали в книгах, как откровениям Моисея». Благодаря лавине этих прозаических произведений из пяти книг и многочисленным газетным статьям, все в Британии знают назубок героические деяния молодого человека на трех континентах в промежутке между 1895 и 1900 годами. Он жил, как и полагается жить герою исторических книг — сражался вместе с бенгальскими уланами на границе Индии, выслеживал вместе с испанской армией повстанцев на Кубе, поднимался вверх по Нилу, чтобы принять участие в последней великой кавалерийской атаке британской армии в девятнадцатом столетии [4]. И, конечно, всем не менее известна самая драматическая страница его жизни — попадание в плен к бурам в Южной Африке [5], а затем побег и путешествие в сотни миль по вражеской территории [6]. «Он был действующим лицом своих романов, и описал все это».

Округлое лицо юного Черчилля не очень соответствовало

мрачной чеканности поэтического облика байроновского героя. Но его воодушевление искупало эти недостатки. Он наслаждался рискованными ситуациями, обожал эффектные жесты, не слишком отягощал себя размышлениями о случившихся неудачах и поражениях. И он всегда поднимал планку для продвижения на более высокую ступень. Его путь освещал огонь, зажженный его отцом, чей запальчивый характер с постоянными взлетами и падениями и, наконец, ранняя смерть в 45 лет, — служили серьезным основанием для того, чтобы примеривать судьбу лорда Байрона на лорда Рэндольфа.

«Судьбы этих двух людей очень похожи», — написал редактор «Субботнего обозрения» в 1895 году о Рэндольфе и английском поэте вскоре после смерти отца Черчилля. «Мистер Мэтью Арнольд сказал про лорда Байрона, что это один из самых английских поэтов после Шекспира. И точно так же будет верным, если мы скажем, что со времени Кромвеля не было столь же мощного английского политика, как лорд Рэндольф Черчилль». Это высказывание, несмотря на явное преувеличение, произвело на Уинстона огромное впечатление. Впоследствии, отдавая должное редактору газету, он написал, что это «лучшая статья об отце из всех, что были о нем написаны».

Юный Уинстон пропитался политическим романтизмом Байрона до мозга костей. И многие из его современников эдвардианского времени отчетливо осознавали это влияние. Поклонники Черчилля видели в нем реформатора, призванного улучшить жизнь обычных людей, его высказывания и поведение напоминали им те времена, когда герои-победители выступали поборниками и защитниками слабых. Как заметил один из редакторов газеты, стиль и манера поведения молодого Черчилля вызывали в памяти «топот копыт лунной ночью, лязг клинков у дорожной заставы. Это было как порыв романтического ветра в застоявшейся политической атмосфере». Друзья говорили о нем: «Его мир спроектирован по лекалам героических времен. И он говорил на этом же языке».

Поверив в себя как в героя, Черчилль делал все, чтобы и другие воспринимали его таковым. Строки стихов Байрона, полные страсти, силы и энергии, его политический идеализм пришпоривали воображение молодого человека, определяя его видение мира и то, как этот мир должен воспринимать его самого.

Романтизм Черчилля не ограничивался рамками государственных дел. Биографы часто опускают тот факт, что его волновали вопросы любви. Они рисуют его как молодого

человека чрезвычайного неловкого в обращении с женщинами, и утверждают: не стоит придавать значения его случайным, редким попыткам ухаживания — он-де всего лишь отдавал дань принятому в то время, соблюдал формальности. В реальности все выглядит иначе. Без всякой стыдливости или признаков неопытности, он, еще будучи подростком, стал завзятым поклонником красоток мюзик-холлов Лондона.

Однажды из-за этого он даже стал участником скандала в Имперском театре, защищая этих красоток от суфражисток.

«А где еще англичанин в Лондоне встретит радушный прием? — вопрошал девятнадцатилетний Уинстон Черчилль у своих приятелей перед тем, как его изгнали вон. — Кто всегда готов принять его с улыбкой, и выпить вместе с ним? Кто приветливее этих леди?»

Будучи человеком средних лет, Черчилль, вспоминая о той мятежной выходке, отозвался о ней вполне иронически, однако назвал ее «первым публичным выступлением». Между двадцатью и тридцатью годами он настойчиво ухаживал за самыми красивыми женщинами того времени и произвел на каждую из них такое неизгладимое впечатление, что, даже отказавшись выйти за него замуж, они остались его самыми преданными друзьями до старости. И все три запомнили его не как зеленого юнца, неуверенного в себе молодого человека, а как совершенно сформировавшегося мужчину. Мужчину, который играл в поло, любил посещать картинные галереи и музеи, часто бывал на спектаклях в Вест-энде, жадного книгочея и страстного поклонника женской красоты.

Молодая элегантная красавица Консуэло Вандербильт (ставшая после замужества его кузиной), описывая Уинстона тех лет, «пылкого и полного энергии», — говорила, что «он всегда стремился получить от жизни как можно больше — в спорте, любви, приключениях или политике».

Он был столь «страстным», что когда решил, наконец, жениться, то провел целую неделю вдали от своей невесты: отправился в отдаленный замок в Шотландии, где его ждала не менее преданная и не менее влюбленная в него молодая девица, чтобы услышать от него объяснение, почему он принял такое решение. Я отведу должное внимание описанию насыщенной сложными эмоциями поездки несколько позже, однако заранее хочу отметить, что это будет сделано впервые.

Будучи холостяком, он пытался играть роль денди: брал с собой тросточку для ходьбы, надевал блестящий цилиндр, крахмальные воротнички, фрак. Из кармашка свисала, как и положено, цепочка для часов. Его вкусовые пристрастия

распространялись, в том числе, и на нижнее белье — оно всегда было самым дорогим и сшито из шелка самого лучшего качества. «Это чрезвычайно важно для моего самоощущения», — говорил он в оправдание своих расходов. Что весьма типично для него — отдавать предпочтение самым дорогостоящим вещам — лучшему шампанскому и прекрасным сигарам. «Не было ни одного дня в жизни, — вспоминал он, — когда бы я не мог заказать бутылку шампанского для себя и другую — для друзей».

Даже в самом начале своей карьеры его выражения и остроты привлекали к нему внимание. В 1900 году, когда он почти победил на выборах в парламент, Уинстон дал такое определение политическим кандидатам: «собираясь встать, они хотят сесть и при этом намереваются солгать».

Молодой человек также весьма едко отзывался о нравах сверкающего блеском эдвардианского времени, когда о женщинах судили по количеству драгоценностей, которыми они были увешаны, словно троянская Елена. Когда кто-нибудь из друзей отмечал, что та или иная молодая красавица заслуживает, по крайней мере, двух сотен кораблей, Черчилль отвечал: «А на мой взгляд, вряд ли она заслуживает больше китайской лодчонки или, в лучшем случае, канонерки».

В пятьдесят лет Черчилль подвел итог своей политической деятельности той поры «Ранние годы», заставив читателей удивляться и поражаться, как этот — пусть и выдающийся в свое роде молодой человек, но еще не женатый, еще не проверенный как политический деятель, сумел пробиться в первые ряды в той системе, где продолжали главенствовать солидные и весьма опытные мужи. В следующих главах я попытаюсь разобраться в том, как Черчилль — после его отставки — наметил путь к возвращению: от делающего первые шаги политика к выдающемуся политическому деятелю. Это путешествие началось в 26 лет и закончилось к 40 годам.

В последних главах истории, когда новое столетие ознаменовалось первым вооруженным нападением со стороны Германии, все взгляды были прикованы к нему — он тогда исполнял обязанности первого лорда адмиралтейства и готовил флот к военным действиям. В те бурные дни он оставался самым молодым человеком в правительстве и многие надеялись, что именно он станет премьер-министром.

Но уже через год все пошло наперекосяк. Один за другим рушились его планы, или же повисали в воздухе, не получив должной поддержки. Друзья повернулись к нему спиной, а враги объединились, чтобы сбросить его. Слишком, слишком поздно молодой человек понял, что возлагал надежды на тех, кто

намеревался столкнуть его, и что его великие идеи пока не имеют точки приложения.

Его обвинили в неудаче Галлиполийской кампании в Средиземном море, британская пресса величала его человеком «опасным для страны», и он, в конце концов, потерял то место, что занимал в правительстве. Немецкие журналисты насмехались над ним, предлагая именовать его «графом Галлиполийским» (*Earl of Gallipoli*), и даже более — современным Люцифером по той причине, что он «пал с небес — как прекрасная утренняя звезда — одного из лондонских сезонов». В 1915 году он отправился во Францию, чтобы сражаться в окопах, смиренно приняв звание майора. [7]. Поражения открывали ему новые возможности для достижения успеха, но сначала ему пришлось, испытывая мучительную боль, просидеть долгие годы на скамье запасных игроков.

А между взлетом и падением ему удалось выстроить современный морской флот, попробовать провести коренные социальные реформы (сражаясь и с теми, кто не считал такие реформы достаточно радикальными), преодолеть серьезные опасности, нажить могущественных противников и приобрести несколько друзей, влюбиться несколько раз, стать мужем и отцом, раздражать и вызывать восхищение двух британских монархов, осознать всю мощь германской военной машины, когда он принял участие в маневрах с кайзером Вильгельмом. Он рисковал своей жизнью в воздухе, обучаясь мастерству пилота, утвердил наказание для злостных убийц, и встретил лицом к лицу убийственный шквал артиллерийского огня на Западном фронте.

Кипучий, полный энергии, он упивался своими талантами искусного политика, тем, что способен переиграть более зрелых и более опытных противников. Его потрясающее умение — как члена законодательного органа — преодолевать бюрократические препоны и политические помехи, чтобы как можно быстрее добиваться желаемого, поражало одинаково и тех, кто им восхищался, и тех, кто его критиковал.

Встретив с открытой душой новый реформаторский дух эдвардианской эпохи, он вознамерился взорвать свежими подходами старые проблемы.

Профессиональные и личные разочарования становились для него школой обучения, осознания важности такой добродетели, как терпение, и понимания всей опасности, что таит в себе самонадеянность.

В дружбе он высоко ценил верность и опасался предательства.

К сорока годам он хорошо понимал, как высоко может

вознести его талант и как глубоко он может пасть. Политические пристрастия его со временем менялись, но постоянным оставалось твердое следование декларации, принятой в молодости: «Я верю в личность». Постижение сути этой личности и есть главная цель данного биографического исследования.

За все время жизни — от 30 ноября 1874 года, когда премьер-министром был Дизраэли, до 24 января 1965 года, когда музыка группы «Битлз» стала главным экспортным товаром Британии — Уинстон Черчилль сыграл немало ролей на политической сцене. Если бы он умер в сорок лет, — когда удача изменила ему, а юность уже осталась далеко позади, — все равно описание его жизни могло бы стать одним из самых замечательных в истории столетия: как трагическая драма крушения амбиций. К счастью для нас, есть еще и другая часть его жизни.

Часть I. 1901–1905 гг

I. Новый мир

Холодной зимней ночью — когда свершался переход от предыдущего столетия к новому — молодой человек двадцати шести лет, сидя в душном вагоне поезда, писал письмо, обращенное к прекрасной женщине. Из окна вагона открывался вид на бесконечные, занесенные снегом степные просторы под необъятным звездным куполом неба. Он находился более чем в четырех тысячах миль от дома, страшно устал и испытывал чувство одиночества. Последней станцией был Сент-Пол, город в штате Миннесота, а впереди — граница с Канадой.

«В поезде на Виннипег, — записал Уинстон Черчилль черными чернилами, затем в самом вверху листа добавил дату, — 20 января 1901 г. — и, минуя приветствие, начал просто, — Памела…».

Он обращался к девушке, которая стала величайшей любовью его юности. Отдавая дань ее красоте и обаянию, он объявил Памеле, что она «ярчайшая звезда на небосклоне лондонского общества».

И, действительно Памела считалась в Англии одной из самых заметных фигур в светском обществе. А еще Уинстон признавался (когда их знакомство только завязалось), что она «необъяснимым образом завораживает его». К величайшему сожалению, очень многие мужчины испытывали те же самые чувства, что и он.

Почти за два года Уинстон отправил ей огромное количество писем, полных пылких признаний. «Моя любовь сильна и глубока, — уверял он в одном из писем. — Ничто не сможет ее поколебать».

Они познакомились в Индии, когда им было по двадцать два года. Уинстон служил в 4-м Собственном Королевы гусарском полку, а Памела была дочерью колониального чиновника. Как-то они вместе отправились в поездку на слонах, потом пообедали у нее в доме, а затем перебрасывались вежливыми фразами на вечеринках. И только полтора года спустя, когда оба вернулись в Англию, Уинстон понял, что влюбился. Но обворожительную красавицу с блестящими темными волосами, соблазнительными зелеными глазами и фигуркой фарфоровой статуэтки осаждали толпы поклонников. Она неизменно становилась центром притяжения на каждом балу и постоянно проводила время в окружении блестящих мужчин. Позже один из ее друзей так отозвался о беззаботном времяпровождении красавицы: «она плела самую блестящую золоченую паутину тех дней».

Пытаясь противостоять соперникам, Черчилль старался

произвести на Памелу впечатление силой своих слов. Однажды утром почтальон доставил к ее дверям увесистую бандероль с его произведением «Саврола», а также письмо, в котором автор излагал идею книги — как «зеркало» его собственного ума и представлений. Он писал, что будет признателен, если она окажет честь и прочтет текст. Когда ни этот, ни другие подобные приемы не помогли ему одолеть соперников, он увеличил ставку. «Если ты выйдешь за меня замуж, — написал он несколько месяцев спустя, — я завоюю мир и положу его к твоим ногам».

Сам Уинстон воспринял столь экстравагантное обещание вполне серьезно, но Памелу Плоуден оно не тронуло. Время шло, и Черчилль вновь вернулся к прежним приемам, пытаясь завоевать сердце красавицы письмами, и ждал очередного удачного момента, чтобы произвести на нее впечатление. Во время Англо-бурской войны в Южной Африке, (где англичане сражались за золото, алмазы и империю против независимых голландских поселенцев), отделенный от любимой тысячами миль, Черчилль подпитывал свое чувство, вглядываясь в три портрета Памелы, которые он носил в особом бумажнике. Находясь в плену у буров, он в конце 1899 года писал ей из Претории записки, полные храбрости и юмора: «В новой среде, полной ярких событий, часто думаю о тебе».

Бедственное положение, в котором он оказался, ничего не изменило в отношениях, но тронуло ее. Когда его мать сообщила девушке, что Уинстону удалось бежать из тюрьмы и что он остался жив, Памела ответила телеграммой в два слова: «Слава богу!»

Ободренный тем, что, вернувшись, он стал героем, Уинстон решился снова попытать счастья. «Никто не поймет ее так, как я», — уверял он мать девушки. В погожий октябрьский день 1900 года он снова сделал ей предложение. И выбрал для этого подходящее столь возвышенному моменту место. Его друг, графиня Уорвик, пригласила Памелу провести у нее уик-энд — в родовом великолепном средневековом замке. Высоко вознесенные вверх башни с бойницами выглядели декорациями, и полный надежд искатель руки пригласил Памелу поплавать по не менее волшебной в своей красоте реке Айвон, которая протекала под стенами замка. Пока они просто скользили на лодке по глади реки, все шло прекрасно. И он решился. Отказ сразил его и разбил сердце.

И все же, даже после этого отказа, покидая Англию в декабре, чтобы прочесть лекции о Южной Африке в организованном для него турне по Канаде и Соединенным Штатам, — Уинстон по-прежнему считал: Памела — «единственная женщина, с которой я

могу быть счастливым». Теперь, три месяца спустя после сделанного им предложения руки и сердца, — в вагонном купе, которое освещала тусклая лампочка, он писал ей очередное письмо. И пока поезд мчался по северной Миннесоте к канадской границе, романтическое признание под стенами замка все более представлялось ему дурным сном. Наверное, ему казалось, что письмо, отправленное с другого конца земного шара, каким-то образом размягчит сердце и убедит несговорчивую девушку.

Он уже стал международной знаменитостью, «удивительным парнем», который умеет и сражаться, и писать. Его будущее выглядело ослепительным. Газеты в Виннипеге отмечали его приезд как одно из главнейших событий, и неслыханная толпа — такую прежде никогда не удавалось собрать, — ожидала его перед лекцией. Набранное черным жирным шрифтом сообщение о его выступлении в виннипегском театре гласило: «Уинстон Спенсер-Черчилль. Война, какой я ее видел». Цены на билеты, которые сначала продавались за десять центов, взлетели до полутора долларов.

Рядом с его романом «Саврола» в витринах магазинов Виннипега были выставлены «Из Лондона до Ледисмита через Преторию» — историю его борьбы за свободу в Южной Африке, и двухтомник «Речная война» — описание британской кампании в Судане, где он тоже отличился незаурядной храбростью. О последней книге, вышедшей в 1899 году, американский военный корреспондент Ричард Хардинг Дэвис написал: «Такую работу следовало бы ожидать от генерала, прослужившего долгие годы в Египте, прежде чем он сменил меч на перо и описал подлинные события своей жизни. Но для второго лейтенанта, который пробыл на Ниле ровно столько, чтобы едва успеть покрыться загаром пустыни, — это истинное откровение» [8].

Уинстон пообещал Памеле завоевать весь мир и положить к ее ногам, а он относился к числу мужчин, которые убеждены, что сумеют этого добиться. Но пока что она повергла его наземь. И сейчас, независимо от того, где она находилась, Памела продолжала дразнить его воображение, ее образ преследовал молодого человека, и он по-прежнему пребывал в уверенности, что она должна занять свое место в том будущем, которое ему виделось. «Если то, что есть между нами, — писал он из поезда, — не окрепнет, мы утратим его навсегда».

Главным препятствием, стоявшим у них на пути, были деньги. Все ожидали, что такая выдающаяся красавица, как Памела, должна выйти замуж за весьма состоятельного мужчину с впечатляющим будущим. «Она должна стать женой богатого

человека», — вежливо утверждал полковник Джон Брабазон — командир Черчилля в гусарском полку [9], когда узнал, что Памела не собирается выходить замуж за его подчиненного.

Вообще-то Уинстон — внук графа Мальборо, — надеялся, что должен унаследовать какое-то количество денег. Однако лорд Рэндольф оставил в наследство только долги, а мать Уинстона, которую он так любил, чрезвычайно общительная женщина, умела только тратить. (Друзья говорили о Дженни: «Для нее жизнь начинается не меньше, чем с четырех десятков пар обуви».)

Огромной удачей для семейства стала женитьба герцога Мальборо на Консуэло Вандербильт — дочери американского миллионера. В результате чего Санни получил в приданое несколько миллионов долларов. Санни — кузен Уинстона — или, как его полагалось величать, — Чарльз Ричард Джон Спенсер-Черчилль, 9-й герцог Мальборо. Пару лет — пока еще Консуэло не родила в 1897 году первого из двух сыновей — Уинстон считался следующим по линии, кто должен унаследовать титул и все богатства, включая и родовое поместье — дворец Бленхейм. Но он не выказывал особого интереса к тому, чтобы стать просто герцогом, когда перед ним открывалось столько дорог к славе.

Даже его собственная бабушка — наследие викторианских времен, носившая по-прежнему кружевные чепчики и пользовавшаяся слуховой трубкой, — не считала его достойным наследником потомственного титула. Слишком уж он был амбициозным и самоуверенным с ее точки зрения. Свекровь, герцогиня Фанни, можно сказать с порога, объявила молодой невестке: «Ваша первейшая обязанность — родить ребенка, и это должен быть сын, ибо мне невыносимо даже подумать, что герцогом станет этот выскочка Уинстон».

Большинство считало, что у Санни колючий характер, но Уинстон всегда был его преданным другом и старался видеть в нем только самое лучшее. «Мы с Санни были как родные братья», — напишет позже Черчилль. В свою очередь молодой герцог гордился своим кузеном и был счастлив предоставить тому возможность появляться во дворце Бленхейм в любое удобное время, когда только заблагорассудится.

К тому времени у Уинстона появилась новая работа, но она никоим образом не обеспечивала его в финансовом отношении. А если точнее, вообще не приносила ни пенни. В начале октября молодой герой Бурской войны успешно начал свою политическую карьеру. Он выиграл на выборах от манчестерского предместья Оулдем и занял место члена палаты общин от партии консерваторов. Победа Черчилля стала сигналом победного шествия партии в осенних выборах 1900 года, и его, когда он

явился в палату в феврале, сразу приняли как восходящую политическую звезду, которая должна оживить деятельность партии. В этих новых обстоятельствах желание сделать повторное предложение Памеле выглядело вполне уместно. Но и эта попытка оказалась безрезультатной. Похоже, его новая работа не показалась столь уж привлекательной для невесты.

Близкий друг Памелы, ее наставница в светской жизни леди Грэнби, впоследствии герцогиня Ратленд, и мачеха Памелы (поскольку ее родная мать задолго до того умерла от укуса змеи в Индии), не колеблясь ни секунды, советовали девушке дождаться предложения от более подходящего кандидата. Черчилль догадывался о том, что эти советчики не расположены к нему. Еще до отъезда в Африку он писал Памеле, пытаясь разобраться в их отношениях: «Для женитьбы необходимы два условия — деньги и согласие родственников с обеих сторон». Не в состоянии добиться согласия, он предпринимал усилия, чтобы доказать, насколько удача сопутствует ему. И сразу после возвращения с войны вынашивает честолюбивые замыслы.

Как и полагалось члену палаты после выборов, он провел встречи, рассказывая о Бурской войне, по крайней мере, в двух десятках городов, и хвастался, что должен получить около двух тысяч фунтов за этот тур. Желающих послушать его в ноябре оказалось так много, что пришлось устроить повторное выступление. И, конечно, именно поэтому он надеялся существенно пополнить свои доходы от тура в Америку. Поездка началась в декабре. И вот теперь локомотив увлекал его к заснеженному Виннипегу.

В котелке и стильном двубортном пальто с отделанным мехом воротником, Черчилль прибыл в Виннипег в понедельник, 21 января 1901 года около полудня. Его приветствовала небольшая группа организаторов. И в том числе с иголочки одетый местный финансовый магнат, исполнявший обязанность вице-губернатора. Температура упала до десяти градусов по Фаренгейту, пронзительный холодный ветер мел по улицам снег, и настроение в городе было мрачное. Но виной тому стала не метель, не погодные условия. Местные жители давно привыкли к холоду.

Причина крылась в последних новостях, которые легли тенью на этот отдаленный форпост империи. «Четырнадцать сотен миль от любого британского городка», — воскликнул по этому поводу Черчилль. Набранные огромными шрифтами заголовки, как готовые обрушиться каменные глыбы, изменили привычный ход жизни: «КОРОЛЕВА ВИКТОРИЯ ПРИ СМЕРТИ, ОНА ДОЖИВАЕТ

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ».

Новость об ухудшении здоровья королевы, — ей исполнился 81 год — уже успела широко распространиться за последние несколько дней, а теперь, когда все осознали близость конца, стало ясно, что с ее уходом нарушится и устоявшийся, привычный порядок. «Это выглядело так, словно некий монстр повернул ход истории, — писал известный историк. — Большая часть населения даже не представляла периода, когда бы королева Виктория не правила ими».

Ее смерть выглядела как одно из самых значительных событий, даже для тех, кто находился рядом с нею, кто имел возможность видеть, что она страдает и мучается не менее самого обычного человека. «Ее последние часы, — как заметил герцог Аргайлл, — вызывали такое ощущение, будто тонет огромный трехпалубный корабль. При этом она сохранила способность шутить перед тем, как затонуть».

Еще до отправления в Канаду, Черчилль видел первые сообщения о том, что королева при смерти, и даже упоминал об этом в письмах к Памеле. И хотя он не знал всех подробностей происходящего у него на родине, тем не менее, он был способен представить, какие изменения могут произойти в поствикторианском мире.

Вполне возможно, считал Уинстон, что парламент распустят и что ему в самое ближайшее время снова придется вступить в предвыборную борьбу. А это также означало, что придется отменить тур и потерять деньги, которые он мог получить за свои выступления. Несмотря на столь неудачно сложившиеся обстоятельства, он пытался небрежно шутить, обращаясь к Памеле: «Только посмотрите, как смерть королевы осложнила мои планы. Ее смерть взбудоражила не только нацию, но также и Уинстона».

Однако эта историческая драма для намеченного выступления в театре Виннипега — города, где проживало только пятьдесят тысяч жителей, — обернулась весьма удачным образом. На вечернюю лекцию Черчилля было продано более тысячи билетов, поэтому к обычным стульям пришлось приставлять добавочные в конце зала и перед оркестровой ямой. Для этих канадцев, живших так далеко и от узкого круга королевской семьи, и от аристократического общества, и членов палаты, сын лорда Рэндольфа — Уинстон Черчилль — выглядел связующей нитью, непосредственным представителем правящего класса империи. И каждый готов был потратить даже больше доллара только для того, чтобы послушать выступление человека, проделавшего пять сотен миль и предоставившего им

возможность поговорить с ним именно в тот момент, когда величайшие перемены уже накрывали их с головой.

То громадное внимание, с которым встретили его лекцию, воодушевило Черчилля, поскольку его лекции по ту сторону границы проходили не столь успешно, как он надеялся. Выступления в Британии принесли ему доход, и он надеялся выручить намного больше в Америке. Однако его надежды не оправдались, и он получил чуть не вполовину меньше того, что заработал на родине. В некоторых городах публики в зале было маловато, слушала она рассеянно, а то и откровенно недоброжелательно, иной раз имело место и то, и другое. Например, в Вашингтоне из кассового сбора его выручка составила всего лишь пятьдесят долларов, в Балтиморе — тридцать пять, а в Хартфорде сумма выглядела просто позорно — десять долларов!

Многие американцы немецкого или голландского происхождения отождествляли себя с бурами, боровшимися за независимость, поэтому они без всякой симпатии взирали на молодого человека, который прославился тем, что сражался на стороне колониальной державы.

Что же касается американских ирландцев, то они вообще питали застарелую ненависть к англичанам, и Черчилль отчетливо видел, насколько враждебно они настроены. «… в Чикаго меня встретила крикливая толпа», — вспоминал он. Только один раз аудитория разразилась аплодисментами на выступлении Черчилля, когда он для иллюстрации использовал во время лекции «магический фонарь», демонстрируя диапозитивы с грозными фермерами-бурами, вооруженными до зубов для предстоящей схватки. В ответ Черчилль заметил, что разделяет их восхищение воинской доблестью поселенцев, однако ему хотелось бы напомнить об одном факте: что у него лично не было возможности любоваться голландскими воинами с безопасного расстояния. «Вы правы, аплодируя им, но вам не доводилось встречаться с ними лицом к лицу».

Надо отметить, Черчилль уже давно доказал, что обладает способностью направлять возмущение толпы в нужное русло. Во время октябрьской предвыборной кампании кто-то из собравшихся решил поиздеваться над его молодостью и выкрикнул: «А твоя мамочка знает, что ты здесь?» На что Уинстон тотчас отозвался: «Да, сэр, и более того, когда после подсчета голосов, назовут имя избранников, моя мама узнает, что я буду в списке».

Тур Черчилля в Америку организовал весьма претенциозный менеджер — майор Джеймс Понд, — тоже герой (он получил

Медаль Почета во время Гражданской войны). У старого вояки была привычка расписывать в самых радужных тонах и с самыми пышными преувеличениями будущие успехи того или иного лекционного турне. А когда оказывалось, что надежды не сбылись, он весьма пространно и дотошно объяснял, почему результаты оказались столь плачевными. Один из его самых знаменитых клиентов — Марк Твен, однажды сказал другому лектору: «Если ты получишь хотя бы половину того, что тебе обещает Понд, вознеси хвалу Господу, потому что с другими подобного не случалось». Черчилль осознал горькую правду слишком поздно: при продаже билетов майор забирал львиную долю себе. Уинстон устроил ему скандал и пригрозил прервать поездку, хотя она подходила к середине. Что касается майора («вульгарного янки-импресарио», — как именовал его Черчилль), то он в свою очередь негодовал из-за того, что клиент живет на широкую ногу и расходует слишком много, так что счета так и сыпятся со всех сторон.

«Вы представляете, что вытворяет этот юный нахал? — сетовал майор в разговоре с друзьями. — Каждое утро он выпивает за завтраком пинту шампанского, а я должен оплачивать это!»

Противостояние достигло кульминации в декабре, когда они прибыли в восточную часть Канады. Черчилль решил, что должен воспользоваться некоторым преимуществом — ведь он оказался почти в родных пенатах, и объявил наглому янки, что не поедет снова в Штаты, дабы завершить тур, если не получит приличный гонорар. Это заявление Черчилль сделал 27 декабря во время лекции в Оттаве. Майор был чрезвычайно удивлен, что его клиент возмущается, и решил надавить на него.

Майор выглядел как библейский патриарх — широкие плечи, длинная седая борода, — когда он с высоты своего роста, вытянув палец, словно указывал на грешника, потребовал от Черчилля (который был всего лишь пяти футов и восьми дюймов роста), чтобы тот продолжил тур во что бы то ни стало. На что молодой человек невозмутимо ответил, что отменяет выступление, которое должно было состояться в Онтарио.

— Понд, я не приду на выступление, — объявил он. — Зачем мне это? За лекцию в Оттаве я получил всего лишь 300 долларов!

— Ты отказываешься от выступления в Брантфорде? — уточнил майор.

— Да… и от всех других, где бы то ни было, на прежних условиях.

Старый вояка не привык к непослушанию. Он получил Медаль Почета за отличие в жесткой схватке с бандой

конфедератов-рейдеров под предводительством Уильяма Квонтрилла — безжалостного противника, — и, конечно, не собирался уступать юному Черчиллю просто так. [10].

Он слил свои жалобы и недовольство прессе, и вскоре газеты по обе стороны границы выставили Понда несчастной жертвой неблагодарного английского аристократа, которого ничто не волнует, кроме денег, и который бесчестно нарушает принятые обязательства. «Уинстон Черчилль не пользуется в нашем городе популярностью», — написал канадский репортер после того, как явившиеся на лекцию граждане получили компенсацию. Но это все равно испортило им вечер.

«Твое заявление прессе принесло изрядный ущерб», — сердито втолковывал Черчилль своему импресарио. Впрочем, тот и сам быстро сообразил, что поднятая им волна становится неподконтрольной и это грозит не только его собственной репутации, но и всем лекционным поездкам, которые он организует.

Так в противостоянии двух героев войны — старого и нового, — старый вынужден был уступить требованиям Черчилля и увеличить гонорар за выступления.

«Нам удалось прийти к мирному разрешению вопроса… но на моих условиях, — гордо отчитывался о случившемся Уинстон в письме матери, — и я намереваюсь продолжить поездку».

Скрипя зубами, он согласился снова на изнурительное расписание выступлений в Мичигане, Иллинойсе, Миссури и Миннесоте, прежде чем вернуться в Канаду для встречи в Виннипеге. В самом конце ему так и не удалось добиться выплаты гонорара, причитавшегося за последние лекции.

Но чего он не смог изменить, так это тот сильно навредивший ему образ, что создал Понд вместе с газетчиками. Это было особенно прискорбно, учитывая, насколько Уинстон дорожил мнением одной особы, присутствовавшей в данный момент в Канаде.

Когда его противостояние с Пондом стало притчей во языцех, он как раз остановился в особняке генерал-губернатора в Оттаве, и среди присутствовавших там гостей находилась и Памела Плоуден. Она приехала навестить подругу — леди Минто — жену генерал— губернатора.

Разумеется, Черчилль задолго до того узнал о том, что Памела будет в той же самой точке Канады, куда должен приехать и он. А поскольку до поры до времени тур проходил вполне успешно, он надеялся еще раз воспользоваться возможностью продемонстрировать девушке, что его успех не случаен и что ему рано или поздно удастся уладить вопрос с

деньгами. А вместо этого, когда он приехал к лорду и леди Минто в элегантный Ридо Холл, турне расползалось по швам, а его самого швыряло на волнах критики из-за того, что он осмелился спорить с Пондом.

Во время краткого свидания Памела была с ним вежлива, но держалась отстраненно. «Хороша как всегда и судя по всему счастлива», — к такому выводу пришел Уинстон после встречи с девушкой, которая два месяца назад ответила ему отказом. «Мы не затрагивали болезненные точки», — единственное, что он мог сообщить матери в очередном письме, где описывал разговор с Памелой. А ведь он надеялся, что Памела увидит его во всем блеске славы, станет свидетельницей его триумфа, того, с каким восторгом принимает канадская публика юного лектора, а также осознает, что поток долларов на каждой лекции не иссякает. И вот, благодаря глупой выходке Понда, триумфальное шествие оказалось сорванным. Мрачнее тучи Черчилль покинул Оттаву, а Памела вскоре вернулась к своей обычной светской жизни в Лондоне. Старый майор — а он умер через три года после того тура, — даже не подозревал, насколько он навредил юному англичанину.

В этом долгом и длинном путешествии по Северной Америке до Виннипега часть неприятностей, помимо ссоры с импресарио, была вызвана его поведением. Например, грубость по отношению к посетителям отеля в Сент-Поле. Но местные газетчики, не сделав ни малейших попыток разобраться, в чем суть происшедшего, тотчас обрушились на Черчилля, называя его первостатейным хамом, и сочли, что его поведение вызвано мальчишеской бравадой. Многих американцев и в самом деле раздражала бросающаяся в глаза самоуверенность Черчилля, его чрезмерная гордость Британской империей, и они нашли, за что ухватиться, чтобы обрушиться с упреками. Даже доброжелательный Рузвельт [11] сразу почувствовал неприязнь к юноше, когда они встретились — это произошло через неделю после приезда Черчилля. А позже Рузвельт критиковал молодого политика за то, что тот выказывал «откровенное стремление заполучить дешевое восхищение». Ему хватало своих президентских хлопот, чтобы терпимо относится к «хулиганствующему проповеднику». Дочь Рузвельта, Элис Рузвельт Лонгуорт, когда ее спросили (к тому времени она была уже в преклонном возрасте), почему отец так пренебрежительно отнесся к Черчиллю, ответила: «Потому что они были очень похожи».

Несмотря на то, что Виннипег с его близлежащими

городками не сулил ничего особенного, именно в этом месте состоялось лучшее выступление Черчилля, поскольку он наконец получил возможность обратиться к обширной и доброжелательно настроенной аудитории. Он почувствовал прилив воодушевления, когда, подъехав в снежном полумраке к театру, увидел человек пятьсот, ожидавших возможности получить билеты на стоячие места. Несколько человек заметило экипаж, но узнать Уинстона было трудно — так плотно он запахнулся в новое меховое пальто, купленное во второй половине того же дня в магазине Компании Гудзонова залива на Мэйн-стрит. Оказавшись за кулисами, Уинстон тотчас бросился к занавесу, чтобы посмотреть в щелочку на собравшихся в зале. Как уверял впоследствии директор, такого количества народу в театре не было никогда: пришли люди самых разных сословий. Представители высшего класса удобно устроились в ложах, а рабочий люд теснился вдоль задней стены. Сливки общества, расположившиеся ближе всего к сцене, производили внушительное впечатление. Черчилль даже пошутил: «Мужчины облачились в вечерние наряды, а леди «только наполовину».

«Толпа будоражила его», — написал Черчилль про своего героя Савролу, и нет сомнения, что то же самое волнение охватывало его, когда гас свет, распахивался занавес, и он выходил на сцену. После бурного взрыва аплодисментов, которыми встретили появление лектора, Черчилль начал рассказывать, как он — военный корреспондент — прибыл в Южную Африку, как попал в плен при нападении хорошо вооруженного отряда буров на британский бронепоезд, и как сумел бежать через три недели. Полностью поглощенная драматическим описанием событий, аудитория, затаив дыхание, внимала тому, как Черчилль использовал созвездия, чтобы сориентироваться в незнакомой местности, как буры напрасно пытались обнаружить его следы. На счастье Уинстона, ему встретилась рабочие, которые тайно поддерживали британцев, и они предоставили беглецу временное убежище. Несколько дней он прятался в угольной шахте.

«Компанию мне составили только белые крысы с розовыми глазками. Однако, — продолжал он, обращаясь к замершей толпе, — меня каждый день снабжали свежими газетами, и я каждый день читал сообщения буров о том, как меня ловили в очередной раз, переодетого то так, то эдак. В умах людей о бурах сложилось представление как о людях грубых и невоспитанных, и при всем моем уважении к представлениям интеллигенции и к их воображению, должен признать как журналист, что газеты буров ничем не отличаются от тех, что выпускает цивилизованный

мир».

Уинстон то острил, то затрагивал самые тонкие струны в душах людей, постоянно держал их в напряжении, описывая, как ему удалось тайком пробраться и спрятаться в поезде, который направлялся в португальскую Восточную Африку. И только там — измотанный и изрядно потрепанный, но уже свободный, — он обратился в британское консульство.

Даже в момент выступления, чувствовалось, что Уинстон смакует переживания, доволен своей ловкостью и тем, что добился успеха, несмотря на препятствия. «Даже звезды помогали мне, — обмолвился он, — указывая путь в полной темноте». Когда он закончил речь, когда затихли последние аплодисменты, наверное, кто-то из сидевших в зале призадумался, что еще оставили для него звезды про запас? К 26 годам Черчилль успел столько сделать, что этого хватило бы на несколько жизней.

А текущие события шли своим чередом. И нет сомнения, что Уинстон ждал чего-то из ряда вон выходящего. Ведь из новостей на газетных полосах он уже знал про болезнь королевы, а это означало серьезные грядущие перемены в самое ближайшее время. Он даже зачитал перед аудиторией последнюю сводку о состоянии ее здоровья, и когда поздней ночью лекция закончилась, многие думали, что, проснувшись утром, они узнают, что Виктория умерла.

Не желая упустить самые последние новости, встревоженный Черчилль в сопровождении помощника губернатора отправился в губернаторскую резиденцию, чтобы провести там ночь. Он был желанным гостем, пел дифирамбы городу Виннипегу. «Великий город, — восклицал он, — и жизненно необходим для будущего империи. Западная часть Канады — это британский хлебный магазин, и когда я вернусь, то непременно сообщу избирателям моего округа, что говорил с теми, кто снабжает их хлебом. Эти слова, — как он потом запишет с чувством удовлетворения, — заставили слушателей просто раздуться от гордости».

* * *

На следующий день — в час дня — в Виннипег пришло телеграфное сообщение из Оттавы, что королева умерла в своем доме на острове Уайт. «Наша добрая королева умерла», — так начиналось одно из объявлений. Колокола начали траурный перезвон, когда Черчилль уже шел к станции. По лекционному расписанию он должен был покинуть город вскоре после двух часов пополудни на поезде по Большой северной железной

дороге. Ему надо было снова возвращаться в Штаты. Кое-кто из продавцов уже выставлял в витринах магазинов портреты королевы в траурной рамке. А на главной городской площади уже успели задрапировать бюст королевы, что возвышался напротив здания муниципалитета.

Черчилль был тронут мгновенным откликом на случившееся. «Этот город, находившийся так далеко в снегах, — заметил он позже, — склонил головы и приспустил флаги». Он уже получил сообщение о том, что парламент не будет распущен, а это означало, что он может довести до конца лекционное турне, которое должно было продлиться еще десять дней. Для него был забронирован билет на пароход, отплывавший из Нью-Йорка в начале февраля. И за два месяца напряженной работы он в итоге должен был получить на руки 1 600 фунтов, вместо намеченных, как он надеялся, 5 000. Но когда он подвел итог тому, что заработал за прошедшие два года — лекциями и гонорарами за напечатанное, — то счел окончательную сумму вполне достаточной. «Я горжусь тем, — писал он матери, — что не найдется ни один другого человека из миллиона, кто бы в моем возрасте мог заработать 10 000 фунтов меньше, чем за два года, не имея никакого первоначального капитала».

Эти деньги чрезвычайно пригодились ему в течение нескольких лет, пока он пытался утвердиться в качестве наиболее заметной фигуры в палате общин.

Теперь, как ему представлялось, у него было все для того, чтобы приобрести вес у молодого наследника королевы Виктории, — короля Эдуарда VII — талант, амбиции, кураж, связи, немного удачи и одна-две счастливых звездочки. Только Памела — или кто-то, похожий на нее, — ускользал из наброска этой картины.

Один из нью-йоркских репортеров, якобы пытаясь прояснить историю с побегом Уинстона в Южной Африке, спросил: «Говорят, что некая голландская девица влюбилась в вас и помогла бежать. А вы сами утверждаете, что это была рука Провидения. Что же на самом деле является правдой?» Черчилль, не мешкая ни секунды, ответил: «Иногда это одно и то же!» — и засмеялся тому, как удивительным образом соединились любовь и звезды.

II. Семейные дела

Спустя пять лет после гонки за приключения в различных частях земного шара, оставив за спиной более шести тысяч миль дороги, измученный Черчилль ночью 10 февраля 1901 года вернулся домой. Уютные комнаты уже были готовы к его приезду в величественном терракотового цвета здании в Мэйфере — фешенебельном районе Лондона, — которое арендовал кузен Санни. Уинстона поджидали кипы писем и газет, которые надо было рассортировать и прочитать. Он счел, что заслужил право предаться лени на несколько недель, чтобы наверстать упущенное на любовном фронте и восстановить тот прежний образ жизни, что он вел в Лондоне — в этом «пропитанном дождями сердце современного мира» — как называл Лондон Герберт Уэллс.

А еще приятно было пережить почти забытое удовольствие — ложиться спать и просыпаться в одной и той же кровати. «Я выступал не менее часа, а то и более каждый вечер, исключая субботы, случалось, что и по два раза в день, и мне почти не удавалось дважды лечь спать в одном и том же месте».

Но вот он под крышей родного дома. И у него была надежда насладиться не только коротким отдыхом. Когда король Эдуард, в своей мантии, подбитой горностаем, распахнул двери парламента, одетый в траурный костюм Уинстон тоже пришел отдать дань королеве. А после обеда он уже давал клятву верности как новый член парламента. И выждав всего неделю, подготовил первую речь. Как правило, очень редко кто из новичков позволял себе высказаться так скоро, обычно проходили месяцы, а то и годы, прежде чем они решались на то, чтобы обратиться к палате. Но Черчилль не мог ждать, когда начнут поступать проценты от вложенного капитала, чтобы после этого привлечь к себе внимание. Нет, он намеревался нарушить привычное течение прений, ворвавшись в зал заседаний как торнадо. В конце концов, он уже привык за последнее время выступать и перед гораздо большей аудиторией, так что вряд ли его устрашит пристальное внимание членов парламента.

Однако это все-таки была не совсем обычная аудитория. Палата общин была местом, где выступали самые блестящие ораторы страны, изощренные спорщики, знавшие все приемы риторики, те, кто оттачивал свое умение и мастерство, выступая в прениях в течение многих лет. Самые видные члены палаты выступили с первой речью тогда, когда Уинстон еще карапузом ползал под столом. Лидер палаты общин — худощавый, невозмутимый, никогда не теряющий присутствия духа, патриарх

Артур Бальфур, выиграл первые выборы еще до рождения Уинстона. В течение долгих лет за ним утвердилась и продолжала сохраняться репутация изощренного спорщика, чьи мгновенные реплики могли в пух и прах разбить доводы оппонента.

На скамье оппозиционеров восседал Герберт Асквит — общепризнанный мастер сорока девяти лет, барристер (адвокат высшего ранга), закончивший Оксфорд. Из-за прямого, методичного стиля выступлений он заслужил у своих приятелей либералов прозвище «кузнечный молот».

Во время лекционного турне Черчилль не раз убеждался, что может держать внимание слушателей, хорошо закрутив интригу выступления, но теперь ему предстояло доказать, насколько ловко он владеет умением строить доказательства. Но он готовился к этому уже много лет, и провел немало дней, оттачивая доводы и возможные ответные реплики, хранил все в памяти, осознавая, что ничто не должно пропадать зря. Стоя в своей комнате перед зеркалом, он представлял, что обращается к членам палаты. И это стало для него самым излюбленным способом подготовки к выступлению. «Весь день, — вспоминали друзья, — можно было слышать, как из его спальни доносятся громогласные восклицания, перечисление тех или иных сведений, сопровождаемых гулким стуком по мебели». Все у него должно было быть совершенным, начиная с лацканов длинного сюртука и заканчивая его манерой, сжав кулак, выбрасывать его вперед.

Из предосторожности он решил написать шпаргалку — главные тезисы речи — и держать ее на всякий случай в руке. Но вообще он доверял своей способности запоминать и держать в памяти нужные вещи. «Стоит мне раза четыре прочитать опубликованную статью, — как-то похвастался он перед скетчрайтером парламента, — и она настолько врезается в память, что я могу тотчас свободно процитировать ее без ошибок или искажений».

Несколькими годами ранее он изложил свои взгляды на ораторское искусство в статье «Стропила для риториков», в которой приходит к выводу, что во всех исторически значимых речах выступавшие использовали общие слова в особенном ритме, чтобы нужные идеи образовывали единый неизгладимый из памяти образ (откладывались в памяти целиком). В особенности его привлекал Уильям Дженнигс Брайан, подвергавший в 1896 году страстной критике золотой стандарт: «вы не натянете на бровь рабочего этот терновый венец, вы не распнете человечество на зототом кресте». Со времени взросления и до преклонных лет Черчилль настраивал зрение и слух на то,

чтобы улавливать яркие сопоставления и неожиданные сравнения, а затем переносить их в эссе, «лозунги партии и кредо для всей нации». Он гордился своей известностью молодого человека, готового к рискованным затеям, но ему также хотелось, чтобы в нем уважали и эрудита. Конечно, Уинстон не раз сожалел, что не получил должного — университетского — образования, но он всегда оставался самым лучшим педагогом для себя, и использовал самым лучшим образом возможность читать то, что хочется. В политических сражениях он не гнушался использовать вроде бы затертые сведения, подкрепляя их новейшими сведениями и фактами, вникая в проблему глубже, чем его противники. Пока другие политики собирали данные из различных статей, разбросанных в газетах, или обсуждали вопрос с кем-то на вечеринках, Уинстон перерабатывал целые шкафы книг. Описывая свои первые шаги на политическом поприще, Уинстон — сам не без удивления — отмечал, что он «жил с Синими книгами (представляющими из себя собрания дипломатических документов или иных материалов, издаваемых для представления парламенту, а также разным парламентским комиссиям) и засыпал, обнимая энциклопедии». Те, кто был близок ему, сомневались, что он позволял себе много спать. «Его работоспособность, — писал современник, — была просто чудовищной, соизмеримой только с его не менее колоссальной страстностью. Даже не могу себе представить, когда он отдыхал или спал».

18 февраля члены парламента возвращались с обеда, чтобы начать вечернюю сессию. Асквит и Бальфур заняли свои обычные места. Газовые лампы, спрятанные за стеклянными панелями, мягко освещали узкую комнату дебатов, в конце которой возвышалось кресло спикера с балдахином, посередине располагался длинный стол с книгами, а по бокам — дубовые скамьи.

Дебаты следовало заканчивать к полуночи — правда, случалось, что они затягивались намного позднее, — и многие из посетителей считали, что помещение лучше всего выглядело именно в ночное время с «отблесками света, полное теплоты, горячности и движения». Когда стало известно, что сын лорда Рэндольфа собирается выступить, пять рядов скамеек с обеих сторон стола тотчас оказались заняты, точно так же, как и все места на галерее, предназначенные для журналистов и гостей. Войдя в комнату, Черчилль почувствовал, как все взгляды обратились в его сторону. И никто не спускал глаз, пока он шел на свое место, сжимая в руках небольшой листок бумаги с

написанными от руки тезисами. Один из репортеров счел, что молодой человек «выглядел как выглядит новый актер на сцене, где вот-вот начнется репетиция, и от которого ждешь чего-то необычного». Пожелание Уинстона занять угловое место во втором ряду позади правительственной скамьи было принято, — на этом месте члены палаты привыкли видеть его отца.

Уинстон был счастлив этим незримым сопоставлением с лордом Рэндольфом, чей мраморный бюст, украшая фойе, находился буквально в нескольких шагах. Свою первую речь Черчилль весьма мудро решил произносить в очень спокойной манере, избегая выделения повышением тона каких-то отдельных моментов из соображений красноречия. Друзья и родные советовали ему, что лучше всего выбрать что-то одно, в чем он лучше всего разбирался, и в сдержанной, скромной манере спокойным тоном изложить данный факт. Поскольку Бурская война все еще продолжалась, он решился обратиться именно к этой теме, к тому, что необходимо как можно скорее прийти к общему соглашению и заключить мир.

В первую очередь следовало в зародыше погасить возможное сопротивление, а потом браться за самых твердолобых политиков, разбивая их доводы. Это была бы разумная стратегия, но он нашел другой способ — более естественный и убедительный — описать все происходящее в понятных и доступных пониманию каждого — самого обычного — человека в стране. «Буры были вынуждены, — сказал он уже ближе к концу речи, — из-за оскудевающих ресурсов двинуться навстречу все возрастающим трудностям, которые не просто накатываются волнами, но поднимаются как морской прилив». Он четко и ясно обозначил, что у него нет ни малейшего желания оскорбить или унизить противника или стереть их с лица земли. Но надо сделать все для того, чтобы их сопротивление причиняло им массу трудностей и становилось для них пагубным, в то время как сдача и прекращение сопротивления должно проходить как можно проще и быть окружено почетом».

Необходимо принять и осознать, что другая сторона имеет свое чувство долга, которое необходимо понимать и уважать. «Если бы я был буром, — сказал он, — не сомневаюсь, что тоже бы сражался на поле боя». Это заявление вызвало возгласы протеста среди тори, но сбалансированный подход, выбранный им, завоевал поддержку тех, кто выступал против войны — на противоположных скамьях. В заключительной части выступления, отойдя в сторону от политической темы, он решил выразить благодарность памяти отца в самых теплых и искренних выражениях сыновнего благоговения (его слова потом широко

цитировали). Он не стал называть лорда Рэндольфа по имени, но от этого его обращение становилось еще более действенным, — он тем самым обращался к тому, что все уже заведомо знали. «Я не могу сесть, — сказал он, обведя взглядом забитое людьми помещение, — после того, как закончил свою речь, продолжавшуюся 45 минут, — не сказав, насколько я благодарен членам палаты за доброжелательность и терпение, с которыми они выслушали меня, и я догадываюсь, что это не только из-за меня лично, но благодаря тому блистательному прошлому, о котором многие уважаемые члены и по сей день хранят память».

В общем и целом это был многообещающий дебют и многие сочли выступление успешным. «Дейли Телеграф» отметила, что Черчилль «оправдал высокие ожидания», а «Дейли Экспресс» сочла, что он «сумел удержать внимание битком забитой людьми палаты»… К концу выступления он по-прежнему держался очень хорошо, но потом ему пришлось скрестить руки на груди, чтобы скрыть нервозность. Некоторые обозреватели сосредоточились в основном на описании того, как молодо он выглядит, что его вообще можно принять за «парня лет восемнадцати». Другие были разочарованы: в прессе они читали о его невероятных приключениях, а во время выступления не увидели ничего героического, проступили только какие-то отдельные штрихи той авантюрной фигуры. «В палате общин были десятки людей, которые более соответствовали идеальному образу смельчака и путешественника, — объяснял один из репортеров, — Возможно, виной тому портной, который не сумел подчеркнуть достоинства молодого человека, но когда он сегодня поднялся, нашему взору предстал не подтянутый, крепко сложенный солдат — именно таким, каким мы представляли его себе, — а вялый старшеклассник». Не способствовало улучшению впечатления и то, что молодой человек испытывал сложности в произношении пяти букв!!! Он боролся с этим дефектом годами, следуя советам специалистов и без конца повторяя скороговорки, типа: «Во дворе трава, на траве дрова…!» (в английском оригинале — *The Spanish ships I cannot see, for they are not in sight*, «испанские корабли я видеть не могу, потому что их нет на виду»).

Недооценить Черчилля было легко. Но те, кто успел узнать его получше, осознавали: за тем, что доступно взору, скрывается нечто большее. Они-то знали, что под тесным двубортным сюртуком Черчилля скрывается шрам на плече. Военный врач в пыльной палатке полевого госпиталя вырезал у него часть плоти после битвы при Омдурмане. И это была не его личная рана. Один молодой офицер жестоко страдал от того, что впоследствии назовут «шокирующим сабельным разрезом на его правой руке».

И ему требовалась трансплантация. Черчилль согласился выступить донором и отдать ему часть кожи. Так называемая операция была проделана предельно простым способом: врач бритвой срезал нужный кусок — без всякой анестезии. «Это была адская боль!».

Уинстон редко касался этой темы, но в храбром поступке не было ничего от «вялого старшеклассника». А, например, описывая обычный пикник, который организовала палата общин, он прибегал к таким преувеличенным выражениям, как: «утомительный и воодушевляющий», «ужасный, щекочущий нервы и изысканный».

* * *

Часть гостей, что с особенным вниманием слушали выступление Черчилля, имели возможность наблюдать за ним, стиснутые со всех сторон рядами сидений, за медной мемориальной доской, которая занимала довольно много места на галерее, отведенной для гостей женского пола. Мать Черчилля пришла в сопровождении Консуэло Мальборо и других женщин из клана, чтобы оказать сыну поддержку. Но согласно установленным правилам, всю эту группу — с глаз долой — усадили так, чтобы их закрывала довольно внушительного размера декоративная металлическая решетка. В этой части галереи было темновато. И все это пространство — так называемую «секцию для избранных» — заполняли солидные дамы в шелках и атласе, в шляпах с перьями — и только спикер имел право заглянуть туда. Но для тех, кто не имел возможности зайти к ним, они казались расплывчатыми пятнами, и, как писал один из современников, «выглядели, словно потускневшее лоскутное одеяло».

Дженни Черчилль отлично знала это место. Она частенько приходила сюда послушать Рэндольфа, когда он находился в зените славы и когда у него выдавались особенно удачные дни. Она привыкла к тому, что эти места для женщин на галерее неудобные и даже унизительные, и пыталась высказать свое неудовольствие: «Все упрятано на восточный манер от взора мужчин, — написала она в 1908 году, — пятьдесят, а то и более женщин вынуждены толпиться в темной, тесной маленькой клетке, которую невежливые правительственные чиновники отвели для нас. Леди в первом ряду, стиснутые со всех сторон, упирающиеся коленями в металлическую решетку, с вытянутыми вперед шеями и вывернутыми самым неестественным образом

головами, чтобы хоть что-то услышать, должны были испытывать благодарность за то, что удостоились такой чести. Те же, кто располагался во втором ряду — полностью зависели от учтивости тех, кто был перед ними, и иной раз могли получить хороший тычок. А остальные вообще должны были полагаться на свое воображение или просто перебраться в маленькую заднюю комнатку, где они могли пошептаться и выпить по чашке чая». Когда в 1885 году Герберта Гладстона, сына премьер-министра, спросили, нельзя ли провести на галерею отдельное освещение, тот выступил против этого. Согласно официальным отчетам о дебатах, проведенных в парламенте, он объяснил, почему принял такое решение: «леди приходят, чтобы услышать и увидеть, что происходит в парламенте, и я не думаю, что газовые фонари прольют больше света на суть дела. В эту запись не включено мнение женщин, сидящих в полутьме. Для многих холостяков, заседающих в парламенте, скрытая полумраком галерея для женщин превращалась в некий куртуазный символ. С вычурной трогательностью, один из эдвардианских авторов описывал, как молодой член парламента после того, как выступил с яркой речью, получил письмо. «Прочитав записку, он поднял взгляд к галерее и улыбнулся, сияющим сквозь решетку глазам». Слуги, сновавшие по коридору между «чайными комнатами» и «клетками», довольно часто выполняли и другую работу — переправляли записки от членов парламента наверх, к женщинам, на которых они хотели произвести впечатление.

Предполагалось, что женщины будут сидеть на галерее молча. По меньшей мере четыре надписи, призывающие к молчанию, были прикреплены на стенах галереи. Но шепотки, доносившиеся то с одной, то с другой стороны, всегда привлекали внимание Дженни. Она считала, что эти женщины — самые лучшие проводники, отмечающие изменчивость фортуны политиков, выступавших внизу, и всегда очень прислушивалась, что говорят эти «проводницы», планируя, кого им пригласить на очередной званый ужин, а молодые красотки высматривали того, чье сердце им следовало покорить. У нее был прекрасный слух и, к удивлению своих друзей, она могла передавать подслушанный разговор с поразительной точностью выражения и даже мимики.

— Это и есть мистер…? — восклицает хорошенькая блондинка, обращаясь к своей соседке.

— Одолжите мне, пожалуйста, лорнет. Да, это он. Не могу поверить, что мы сегодня будем вместе ужинать! (Ш-ш-ш, — останавливает ее родственница выступающего).

— С нами обращаются так ужасно! Мне кажется, я должна

послать ему записку с церемониймейстером. (Ш-ш-ш!). — И я могу сразу же получить ответ — это так удобно! (Ш-ш-ш!) — Что это за мерзкая женщина, которая все время шикает на меня?!

Дженни, вместе с внушительной гвардией ближайших родственниц, приехала пораньше, чтобы подбодрить сына и выказать ему поддержку.

Вместе с Консуэло — графиней Мальборо (как всегда увешанной драгоценностями Вандербильдов), она привела за собой четырех тетушек Уинстона во всем их аристократическом убранстве. Это были младшие сестры лорда Рэндольфа — Корнелия, Розамунда, Фанни и Джорджиана — все умопомрачительно красивые и все удачно вышедшие замуж. Наибольшим уважением Уинстона пользовалась Корнелия — леди Уимборн, состоятельная и влиятельная в политическом мире хозяйка дома. Ее приглашение на ужин в лондонский особняк с видом на Грин-парк, — ценилось очень высоко. И сама Дженни, и ее родственник с хорошими связями, вовремя, незаметно, но деятельно помогали продвигаться Уинстону так, что политические противники могли только горько восклицать: «Да, за душой Уинстона ничего нет. Его счастье, что у него за спиной стоит такая умнейшая в Англии женщина. Вот что на самом деле стало залогом его успеха!»

Дженни тоже использовала свое влияние в поддержку Уинстона. С ее обаянием и знанием общества, она облегчала его заграничные путешествия и помогала удовлетворить политические амбиции дома, для чего достаточно было произнести нужное слово в нужное время, подталкивая к этому наиболее влиятельных редакторов газет, государственных деятелей или военных. «Она не пропустила ни одной веревочки, за которую нужно было дернуть, ни одного камня, который можно и нужно было перевернуть, и ни одной неиспробованной котлеты», — шутил Черчилль в зрелом возрасте.

Когда ему в 1898 году до зарезу нужно было заполучить какую-нибудь должность в армии лорда Китченера в Судане, он первым делом обратился за помощью к Дженни. «Ты умная, тактичная, и красивая, — писал он ей, — и сумеешь обойти все препятствия», имея в виду, что матери придется нажать на все кнопки, начиная от принца Уэльского и кончая самыми низшими чиновниками. Хотя такт не был самым сильным ее местом, но в том, что касалось красоты и ума, в этом ей нельзя было отказать. Дочь торговца и спекулянта с Уолл-стрит, который потерял состояние так же быстро, как и приобрел его, она росла в Нью-Йорке и Париже. В двадцать лет она вышла замуж за Рэндольфа

— к величайшему огорчению всех ее родственников, надеявшихся на более богатого жениха. С первых же дней совместной жизни начались столкновения двух абсолютного непохожих характеров: гордого, неуравновешенного мужа и страстной, темпераментной молодой жены. Где бы она ни появилась, головы всех тотчас в полном восхищении поворачивались вслед за ней.

Потерявший голову, ослепленный ею в первые же дни, лорд Россмор задумчиво сказал на старости лет: «Многие светские красавицы появлялись и исчезали, но, думается, мало кто из них, разве что две-три, могли сравняться с нею». Одна из внучек королевы Виктории описала Дженни такой, какой она только что появилась в Лондоне, — «всплеск красоты»… У нее были огромные темные глаза, подвижный, хорошо очерченный рот, с насмешливо загнутыми уголками, блестящие, иссиня-черного цвета волосы». Марго Асквит описывала, что ее будто удар молнии сразил, когда она впервые увидела леди Рэндольф: «У нее был крутой, как у пантеры, лоб, широко расставленные глаза, которые смотрели сквозь вас; она настолько обворожила меня, что я шла следом, пока не наткнулась на человека, который мог бы сказать, что это за особа». Она околдовывала и мужчин, и женщин своим экзотическим видом. Кто-то, восхищаясь, назвал Дженни «тропической красавицей», и, чтобы усилить этот эффект, она носила сверкающие браслеты и бриллиантовую звезду в волосах, которая всякий раз испускала сноп искр, как только она вскидывала голову.

На одном из запястий у нее была изящная татуировка в виде змейки — работа Тома Райли (лучшего художника по тату), и временами она ловила чей-то потрясенный взгляд не верящего своим глазам человека. Но змейку было не так просто заметить. Как уверяла «Нью Йорк Таймс» в номере от 30 сентября 1906 года: «Мало кто догадывается о том, что на левом запястье есть искусно сделанная татуировка — ее скрывает широкий браслет, который она неизменно надевает с вечерним платьем».

Ей нравилось шокировать людей, и она знала, что некоторые даже ждут, что она скажет или выкинет что-нибудь из ряда вон выходящее. Ей — как американке — уже заранее предоставлялось право на большую свободу в этом старомодном мире установленных традиций, и она говорила такие вещи в таких случаях, когда, в общем, намного разумнее было бы придержать язык за зубами. Сначала предубеждение англичан возмущало ее, но со временем она стала смотреть на вещи проще и даже научилась извлекать из своего происхождения максимальную выгоду. В первые годы своего замужества она восклицала: «В Англии, как и в Европе, на американок смотрят как на странных и

даже слегка ненормальных существ с привычками и манерами, напоминающими то ли краснокожих индианок, то ли гаитянок. И поэтому считается, что она способна на любую, самую дикую выходку. Если она хотя бы просто хорошо причесана, одета и говорит, как полагается говорить воспитанному человеку, все бывают поражены и «тактично» отмечают при знакомстве: «Никогда бы не подумала, что вы американка».

Ее нелегко было осадить. Однажды, когда она намеревалась углубить знакомство с Бернардом Шоу и пригласила его на ланч, он отправил резкий ответ, с весьма расплывчатой ссылкой на то, что он как вегетарианец не хочет сидеть за одним столом с теми, кого он называл, «плотоядными людьми». Телеграмма, отправленная им, начиналась со слов: «Конечно нет!», а потом он добавил: «Что я такого сделал, что вызвало нападение на мои всем хорошо известные привычки?» Дженни тотчас поставила его на место, ответив: «Ничего не знаю про Ваши привычки: надеюсь, что они не так ужасны, как Ваши манеры».

Скромный и умеренный Бернард Шоу был ей менее симпатичен, чем его надменный и капризный соперник в театральном мире Оскар Уайльд. У нее были излюбленные места в текстах его пьес, и как-то она заспорила с каким-то гостем, когда цитировала эти строчки и никак не могла убедить, что автор этих строк — именно Оскар Уайльд. Дженни заключила пари, и отправила драматургу записку с просьбой, чтобы он засвидетельствовал ее правоту. Уайльд ответил незамедлительно: «Какие мужчины глупцы! Им следует прислушиваться к тому, что говорят умнейшие женщины, и любоваться их красотой, а когда, как в данном случае, женщина одновременно наделена и острым умом и красотой, то надо просто признать, что она служит источником вдохновения». Да, продолжал поэт и драматург, она совершенно точно процитировала именно его строки, когда говорила друзьям: «Единственная разница между святым и грешником в том, что у всякого святого есть прошлое, а у каждого грешника — будущее».

Несмотря на то, что в самый ранний период светская жизнь отнимала у нее большую часть времени и она не могла уделять ни Уинстону, ни второму сыну — скромному и исполнительному Джеку — много внимания, Дженни была столь нежно любящей, столь полной воодушевления, что сыновья просто обожали ее. Конечно, их огорчала ее порывистость и непредсказуемость, — никогда не знаешь, почему и по какому поводу у нее вдруг резко изменилось настроение. Дженни могла забыть про день рождения, оставить письмо без ответа, внезапно объявиться и тотчас не менее внезапно исчезнуть, так что иной раз у сыновей

оставалось ощущение, что это некое мимолетное видение, а не реальный человек. Чтобы не застревать на обидах и негодовании, Уинстон пытался утешиться, доказывая, что на самом деле Дженни — неуловимая и бесплотная «принцесса фей».

Ее мало занимали маленькие мальчики, в отличие от молодых людей. Именно в юношеском возрасте Уинстон вдруг осознал, что у него есть пылкий и горячий союзник, на которого он может положиться. Он полностью принял вовлеченность матери в светскую жизнь (абсолютно бесполезное для него занятие) — и неизменно восхищался ее готовностью бросать вызов всем условностям. Ему страшно нравились ее дерзость, верность, проказливая улыбка, легкий смех. Истоки независимости ее характера он находил в ее вольнолюбивом отце, который отваживался на самые смелые и рискованные операции в жестоком и беспощадном мире финансистов с Уолл-стрит. Эта отвага восхищала Уинстона. Разглядывая в более позднем возрасте фотографии нью-йоркского дедушки Леонарда Джерома, Черчилль заметил: «Какая мощь! По сравнению с ними — я выдрессирован!».

Близкие подруги завидовали Дженни, и не только потому, что в свои 47 лет (когда Уинстон произнес первую речь) она по-прежнему выглядела молодой и красивой, но и потому, что спустя пять лет после смерти лорда Рэндольфа она вышла замуж за одного из самых привлекательных холостяков Англии, к тому же моложе ее почти на двадцать лет. Заядлый спортсмен, приятнейший в обхождении, Джордж Корнуоллис-Уэст не был выдающимся человеком, но Дженни очаровала его атлетическая фигура, усы военного, крепкий подбородок и светлые глаза. Он выглядел намного старше своих лет, а на самом деле был всего на две недели старше Уинстона. Когда Джордж в конце 1890-х годов влюбился в Дженни, он подумал: «Ей ни за что не дашь больше тридцати, а ее живость и очарование только подтверждают это впечатление моложавости».

Он был родом из хорошей семьи, но ему не выпало удачи как-то проявиться самому. Родители Джорджа пришли в ярость, что он не пытается выгодно жениться, и остановил свой выбор на хорошенькой вдове, весьма стесненной в средствах, да к тому же на двадцать лет старше его. Они подняли такую протестную волну, что, как написали в одной газете, это была почти «светская война», которая разразилась между леди Рэндольф и матерью Джорджа. Что касается большей части друзей Дженни и родственников, все они пришли на свадебную церемонию, состоявшуюся в июле 1900 года. Но скамьи в церкви, что отвели

для родственников жениха, остались пустыми. Как правило, подобного рода браки становились причиной большого скандала, и неудивительно, что Дженни вдруг осознала, что ее подвергли остракизму со стороны большей части светского общества. Даже принц Уэльский отговаривал ее выходить замуж за Джорджа. Тем более показательна мера ее чрезвычайной значимости в аристократическом обществе, если и сам принц и другие лица из этого же круга в конечном итоге смирились с ее выбором, пришли на бракосочетание или же прислали подарки.

Дженни прекрасно осознавала, как сильно она рискует и что ее второе замужество может стать очень коротким. И в то же время она нисколько не сомневалась, что должна доиграть эту пьесу до конца. Впоследствии красавец-мужчина Джордж скажет о ней: «Если ее привлекало нечто прекрасное, она должна была завладеть этим: ей просто хотелось, чтобы у нее это было, и ей никогда даже в голову не приходило остановиться и подумать, каким образом она будет расплачиваться». Похоже, Джордж сам не осознавал, но он оказался таким «чем-то прекрасным», чего она возжелала, и ни он, ни она не дали себе труда задуматься, а как же они будут жить вместе? «Конечно, романтические отношения не могут длиться вечно, — соглашалась Дженни с друзьями, — но почему не получить того, чего хочется, даже если потом придется за это расплачиваться и кто-то станет несчастным?»

В американских газетах писали, что свадебная церемония в церкви Св. Павла в Найтсбридже выглядела чрезвычайно угнетающе. Джордж заметно нервничал у алтаря, в то время как леди Рэндольф «просто упивалась происходящим и самой собой». Да, Дженни была создана для того, чтобы веселиться и наслаждаться жизнью. Санни повел новобрачную, а Уинстон сделал все, чтобы выказать матери радость — встретил ее в церкви с широко раскинутыми для объятий руками. Без всякого энтузиазма он встретил это замужество, но ему не хотелось огорчать мать, и он сразу заявил, что не сделает ни малейшей попытки отговорить Дженни от принятого решения. Самое главное, писал он ей, «твое счастье — главный и самый важный советчик».

Чего опасались друзья и близкие, в том числе и Уинстон, то и произошло — Дженни пожалела о случившемся. Но в первые годы она действительно была счастлива, и с гордостью произносила вместо «леди Рэндольф Черчилль» — «миссис Джордж Корнуоллис-Уэст». А вообще-то по-настоящему расплатился за ее опрометчивый поступок только Уинстон. Ее нашумевшая свадьба последовала в июле — менее, чем три месяца спустя после

предложения, которое он сделал Памеле Плоуден. У Памелы было много серьезных оснований, чтобы сказать «нет», но замужество Дженни стало последней каплей. Вряд ли молодой девушке хотелось стать невесткой столь неординарной и противоречивой натуры, как Дженни. Если бы она согласилась стать женой Черчилля, это означало, что она должна была принять и весь груз ответственности не только за его личные притязания и амбициозные планы, но и за всю семью, в состав которой она должна была войти, — то есть принять столь выбивающихся из обычного ряд светских дам Дженни и Консуэло, но и других не менее импозантных дам, которые в феврале восседали в галерее, чтобы своими глазами увидеть, как юный отпрыск из рода Черчиллей озарил своим первым явлением палату общин.

Так что для Уинстона не стало неожиданностью, когда спустя несколько недель он, встретив Памелу в Лондоне, обнаружил, что ее взгляд на их отношения не переменился. Она была счастлива видеть его в числе своих друзей, но ничего более. Только одна вещь изменилась со дня их последней встречи, как он в отчаянии написал матери: «она была еще красивее».

III. Рожденный для противостояния

За несколько лет до того, как он выиграл выборы в парламент, Черчилля пригласил на ланч старый викторианский политик, карьера которого уже шла к закату — «копия Фальстафа», так называли Джимбо. Сэр Уильям Вернон Харкорт имел слабость, глядя поверх золоченой оправы очков, «выкладывать парламентские секреты» впечатлительному молодому человеку, завоевавшему благосклонное внимание старика. При росте Харкорта в шесть футов и три дюйма, вся громадная масса его тела колыхалась и дрожала, когда он смеялся собственным шуткам, которые пересказывал из года в год много лет подряд. Но Черчилль был настроен самым серьезным образом и искренне наделся выяснить что-нибудь относительно будущего: «Какие события могут произойти в ближайшее время»? — допытывался он у старика.

— Мой дорогой Уинстон, — отвечал сэр Уильям, — опыт долгой жизни научил меня: на самом деле ничего не происходит.

Он поддразнивал юношу только отчасти. Долгое время сэр Уильям наслаждался благополучием жизни в самое благоприятное для Британии столетие, когда страна достигла экономической и военной мощи, и на склоне лет уже не осознавал, что нынешний мир далеко не тот, который сэр Лестер Дедлок из диккенсовского «Холодного дома» описал как «мир, заботливо обернутый тончайшей хлопковой тканью и лучшей шерстью. Он уже был не способен слышать порывы огромного мира снаружи и не видел, как тот обращается вокруг солнца». Намного пристальнее, чем остальные молодые люди его поколения, Черчилль вглядывался, как на хорошо организованный порядок окружающей его действительности, в котором он возрос, набегают волны из огромного мира, и уже был готов поймать и использовать в своих целях пока еще невидимый прилив новых событий.

В 1920 году, вспомнив и процитировав выражение Харкорта, Черчилль добавил: «… до нынешнего момента, как мне кажется, все текло беспрерывно… Спокойное течение реки с ее водоворотами и порогами, по которой мы привыкли плыть, казалось бесконечно далеким от того мощного водопада, которым она завершалась и в который нас швырнуло со страшной силой и с завихрениями которого мы сейчас изо всех сил боремся».

А в 1901 году нетерпеливому молодому Черчиллю горизонты будущего омрачало лишь то, что вожжи управления страной все еще держали в своих руках многочисленные старики-

викторианцы. Даже в их собственной партии самые верхние ряды заполняли седобородые Мафусаилы, начиная с олимпийца премьер-министра лорда Солсбери, принадлежавшего к семейству Сесилов, которое примыкало к правящей партии еще со времен Елизаветы. Весьма проницательный государственный деятель — в лучшие свои годы, — Солсбери становился все более тяжеловесным, дряхлел и все более отдалялся от текущих дел. Он уже дышал с превеликим трудом и постоянно засыпал, сидя в кресле. После его смерти в 1903 году, когда он упал с кресла, врачи вынесли вердикт: «… заражение крови из-за язв на ногах». Единственное упражнение, которое он выполнял в течение многих лет — езда на огромном допотопном трехколесном велосипеде — предельно медленно и осторожно по асфальтированной дорожке вокруг поместья в окружении слуг, которые подталкивали его, если дорога шла вверх.

«Он получал огромное удовольствие от езды, — записал какой-то из гостей премьер-министра в Хэтфилде, — но неизменно ужасался, когда на него выскакивали сидевшие в засаде многочисленные внуки, воспринимавшие это забавной игрой. Двух проказников с огромными кружками полными воды, устроившихся возле стены, где проходила велосипедная дорожка, обнаружили их мамаши».

У него уже вошло в привычку засыпать в палате лордов, голова его медленно опускалась и борода ложились на грудь. Карикатурист из «Панча» предположил, что вывести старика из состояния дремоты способен разве что духовой оркестр. Как-то во время долгой официальной церемонии, когда он, привычно смежив веки, дремал, его взгляд вдруг различил улыбающегося молодого человека, стоявшего над ним. Повернувшись к сидевшему рядом, он прошептал: «Что это за юноша?» «Это ваш старший сын», — ответил сосед. Таким вот — с ослабевшим зрением и страдающим от забывчивости, — был премьер-министр в последние годы. Прежний честолюбивый личный секретарь Солсбери — лорд Керзон — никак не мог понять, почему старый политик отказывается уйти в отставку, и в частных беседах критиковал его: «курьезный, влиятельный, непонятный, с острым умом, мешающий продвинуться наверх другим к вершинам власти». Еще в самом начале своей деятельности Черчиллю довелось отужинать с Солсбери в компании с другими молодыми политиками и по дороге домой один из них рассуждал о том, как это можно занимать столь высокое положение, будучи почти трупом. Все давно знали, как только Солсбери покинет свой пост, его место тотчас займет Артур Бальфур — добропорядочный, но заносчивый племянник. (Рассказывали, что во время визита в

Нью-Йорк, узнав, что крыши высотных домов жаропрочные, Бальфур пренебрежительно произнес: «Какая жалость!» Желая сохранить за кланом Сесилов возможность управлять делами даже после смерти, премьер-министр ввел в администрацию огромное число родственников, включая зятя — первого лорда адмиралтейства, так что газетчики стали называть правительство «Отель Сесилов» — безразмерный». Бальфур — один из трех племянников, занимавших ответственнейшие места, в ответ на критику ледяным тоном ответил: «Спартанские женщины отдавали всех сыновей служению на благо страны. Маркиз Солсбери, непревзойденный патриот, посвятил и племянников этому делу».

Еще до того, как Черчилль выиграл на выборах и занял место в парламенте, он приложил немало сил, чтобы заручиться добрым отношением Солсбери. Он посвятил ему «Речную войну» и отправил ее с письмом, написанным в самых почтительных выражениях, воспевая лидера как одного из тех, «под чьим мудрым руководством консервативная партия получила такую большую власть и добилась процветания нации». Что еще важнее, в первые годы в палате общин он, не тратя время понапрасну, установил самые тесные и дружеские отношения с младшим сыном лорда Солсбери, лордом Хью Сесилом. Это было весьма предусмотрительно с его стороны — наладить крепкие связи с Хью, чье положение позволяло ему после следующих перемещений в «Отеле Сесила» стать почетным членом семьи.

К сожалению, он с некоторым опозданием осознал, что Линки — таково было уменьшительное имя Хью — не имеет ни малейшего желания идти по стопам отца. Он был слишком поглощен самим собой, чтобы стать реальным союзником для кого бы то ни было. Большую часть времени он проводил, повышая свою эрудицию и наслаждаясь всеми удобствами для продолжения научной деятельности в Хэтфилде, где имелась огромная библиотека с коллекционными старинными книгами и рукописями. Там он имел возможность после окончания учебы в Оксфорде в полном уединении усердно заниматься сугубо научными исследованиями. И хотя он разделял пристрастие Уинстона к драматическим произведениям и восхищался историческими изысканиями, у него полностью отсутствовали какие-либо честолюбивые политические планы и вкус к тем лакомым кусочкам власти, которыми обладало семейство.

Преданный англиканец, он тянулся к духовенству, а вместо этого вынужден был отсиживать положенное время в палате общин и принимать участие в официальных заседаниях, которые

отвлекали чудаковатого юношу от того, к чему он на самом деле стремился всей душой. Сначала Линки отнесся к Черчиллю с подозрительной осторожностью, его отталкивала излишняя порывистость и «чувствительность, опирающаяся скорее на слова, чем на нечто действительно основательное». Его больше привлекали конкретные факты, чем полет фантазии. Однажды, когда кто-то попытался обратить его внимание на удивительной красоты закат, Линки, взглянув в ту сторону, отвернулся и сухо ответил: «Да, ужасно безвкусно!» Только исключительно романтические представления, к которым был так склонен Черчилль, могли сподвигнуть его на весьма ошибочное представление, что союз с сыном Сосбери принесет какие-то плоды. Только при романтическом воображении Черчилля педантичный хрупкий Линки, которого его современники описывали как юношу с морщинами старца, мог преобразиться в воодушевленного соратника, который пойдет вместе с ним по дороге славы.

Уинстон видел в нем нового решительного рыцаря, «настоящего Тори, вынырнувшего из XVII столетия», — как он позже объяснял, — который присоединится к нему в битве за омоложение консервативной партии. (Другие, кто меньше симпатизировал Линки, считали, что правильнее было бы называть Хью «аскетом из четырнадцатого века».) Даже его собственные братья дали ему уменьшительное прозвище Линки, поскольку подшучивали, что он «выпал из эволюционной линии». Со временем воодушевление Черчилля и его тонкая лесть все же победили предубеждение молодого Сесила. Он и небольшая горстка других молодых членов парламента — из аристократических семейств — один из них, Йэн Малкольм, весьма приметная фигура в светском обществе (вскоре он обручится с дочерью актрисы Лилли), лорд Перси и достопочтенный Артур Стэнли, — образовали кружок независимых, задумавших внести новые идеи и свежие веяния времени в партию тори. Желая заварить кашу покруче и как можно сильнее взбаламутить воду, Уинстон с большой гордостью распространял название кружка, который с его легкой руки стал зваться «хулиганами». Он убеждал своих друзей в группе, что они должны развивать в себе «бесценные для политика качества — жажду набедокурить».

В какой-то степени воодушевляющим примером для этого стал сэр Рэндольф — отец Черчилля, который в 1880 году входил в четвертую партию — небольшую группу политических «застрельщиков». Какое-то — очень недолгое время, — к ней примыкал и Артур Бальфур, впоследствии называвший это

«ошибкой юности». Политические интриги не особенно занимали друзей Черчилля. Более всего им нравилось вести бесконечные споры после ужина. На других членов парламента самое сильное впечатление производило то, что «хулиганы» образовали нечто вроде «суперклуба», многие из них в кулуарах обсуждали, что на плечи мистера Малкольма возложили почетную задачу: оплачивать ужины участников этого клуба».

Обычно группа собиралась в четверг вечером в гостиной, но случалось, что они отправлялись на уик-энды в Бленхейм или какой другой аристократический замок. Консуэло описывала эти «хулиганские ужины» в Бленхейме, которые затягивались до глубокой ночи из-за увлекательных выступлений Уинстона. (В отличие от самого красноречивого оратора Уинстона, Хью Сесил был терпеливым и благодарным слушателем. «Я не наскучил вам?» — как-то спросил словоохотливый друг. — «Еще нет», — вежливо ответил Хью.)

На какое-то время герцогиня Сазерленд, — а она была всего на несколько лет старше Уинстона, — стала своего рода музой группы. Она приглашала «хулиганов» в свой замок в Шотландии и устраивала роскошные вечеринки в лондонском особняке — Стаффорд-Хаусе. И в бальной зале, где горели тысячи свечей в сверкающих подсвечниках, она не шла, а словно бы, без всяких усилий, скользила по сияющему паркету меж гостей, и неизменно становилась центром всеобщего внимания. Кто-то оставил описание ее внешности — «тонкая, как тростинка, с золотистыми волосами, собранными в простой узел, с нежной, прозрачной кожей, как у перламутровой океанской раковины». Разумеется, кое-кто из ее гостей недоумевал, что она такое нашла в Уинстоне? Кто-то даже пустил слух, что Черчилль «топчется в свите трех герцогинь», что он ухитрился расплескать шампанское на подол леди Элен Стьюарт, блондинки и одной из богатейших наследниц, возле которой увивался весь вечер. (Леди Элен — или Птичка, — как ее называли домашние — была еще одной кузиной Уинстона и другом детства).

На самом деле имела место обоюдная привязанность: герцогиня жаждала обожания, а Черчилль отдавал дань ее красоте. Но с самого начала ее чрезвычайно притягивал его ершистый характер. Ей уже было мало устраивать роскошные незабываемые вечера, ей хотелось, чтобы о ней говорили не только как о светской женщине, которая так замечательно выглядит. Она хотела выступить в роли социального реформатора, жаждала протянуть руку помощи рабочему люду, помогать им добиваться лучших для проживания домов, обеспечивать медицинским обслуживанием и в приеме на работу.

Один из ее проектов — восстановить здание прядильной фабрики в Шотландии, где производили твид. К величайшему огорчению, герцогиню (ее первое имя было Миллисент) — подняли на смех и стали называть в прессе не иначе как «надоедливая Милли». Не обращая внимания на нападки и насмешки, она продолжала свою деятельность, находя утешение в небольшой группе защитников ее начинаний. И среди таковых — самым последовательным и убежденным ее сторонником был Уинстон Черчилль, который писал письма в «Таймс», воспевая ее энергичность и укоряя анонимных критиканов, которые «пытались глумиться над герцогиней».

Ей нравилось бросать вызов наиболее реакционно настроенным представителям аристократии, и она была не прочь понаблюдать, как молодые хулиганы сотрясают кресла, в которых восседают члены партии тори. «Если ничего не представляющая из себя герцогиня способна выступить пропагандистом подобного рода идей, — заявила она несколько лет спустя, — то я приложу все усилия, чтобы стать таковой». Ее муж, который был намного старше, — она вышла за него замуж в семнадцать лет, — конечно же, не разделял интереса Милли к Черчиллю и его последователям. Он считал, что это неподходящие люди для дружбы с ними, и пришел в сильнейшее раздражение, узнав, что жена отправила приглашение Хью и Уинстону на очередную вечеринку. Герцог потребовал, чтобы она отменила приглашение. Однако старый герцог все-таки сменил гнев на милость, и Миллисент несколько лет спустя с удовольствием описала это происшествие, поскольку была удивлена тем, как повели себя ее юные друзья. Она доверительно признавалась: «У меня по сей день хранятся письма, которые они написали в ответ.

Я храню их, потому что они так наглядно показывают разницу в темпераментах двух людей. Хью Сесил написал: «Моя дорогая Милли, я все понимаю и очень сожалею. Окажи любезность, скажи мне, пожалуйста, в какой из дней на следующей неделе ты будешь свободна и сможешь позавтракать со мной?»

Что касается Уинстона, который был начисто лишен всем известной учтивости Сесила, то его письмо было написано в столь резких выражениях, что я даже засмеялась. Он заявил, что ноги его не будет в моем доме, пока жив старый герцог».

Чтобы заявить о своей политической независимости, молодые хулиганы несколько раз встречались с прежним либеральным премьер-министром лордом Роузбери, иногда проводя уик-энды в его загородных домах в Суррее и Бакингемшире. Черчилль сумел

превратить обычный загородный визит в настоящее приключение — он отправился туда на недавно приобретенном автомобиле, хотя сел за руль совсем недавно, и не успел прибрести надлежащих навыков вождения. К тому же автомобиль оказался очень шумный. Поэтому никто из «хулиганов» не пожелал составить ему компанию. «Боюсь, не напугал ли я ваших лошадей грохотом автомобиля, — написал Уинстон после одного из визитов лорду Роузбери. — Я ведь только пока учусь вождению, — а это один из самых тягостных и опасных периодов».

Роузбери угощал гостей ужинами, не скупился на вино и наслаждался сознанием того, что младший сын старого Солсбери — долгое время бывшего его политическим противником, а потом сменившего его на посту премьер-министра, — обращается к нему, чтобы набраться политического опыта и знаний. Что касается Хью Сесила, то он все-таки стеснялся своих приятелей-хулиганов, достаточно вольно толкующих представления о гостеприимстве. Черчилль говорил, что их друг испытывал массу неудобств на светских вечерах из-за их выходок. Более того, щепетильный и утонченный Хью очень часто вынужден был извиняться за хулиганов: «Мои коллеги — с сожалением должен признаться — вели себя прескверно», — писал он гостям.

Однако Черчилля эти визиты будоражили, и не только потому, что отец был отчасти в дружеских отношениях с лордом Роузбери. Ему нравилось слушать воспоминания, как продвигался отец по служебной лестнице, и как сын, который гордился славным прошлым отца, он испытывал признательность к лорду за то, что тот чтил память Рэндольфа. Во время вечеринок, на которые помимо хулиганов было приглашено немало других гостей, Роузбери довольно часто перебивал спорящих и, театральным жестом указывая на Уинстона, произносил: «Умоляю вас, не будем принимать никакого решения до тех пор, пока не выскажется этот молодой человек». Кое-кто из гостей попытался обратить это в шутку. Однако Роузбери мог позволить себе подобный тон еще и потому, что искренне восхищался юным другом, развитым не по годам. Многие из числа его приятелей соглашались с ним во мнении относительно сына Рэндольфа: «На этих молодых плечах покоится голова умудренного человека».

В присутствии Роузбери Уинстон чувствовал, как отдаленное прошлое, где жил и действовал его отец, словно бы становится ближе, а кроме того и другие весьма отдаленные во времени события, повороты и изгибы истории ощущались совсем иначе. «Прошлое выглядывало из-за его спины, — писал он позже, — и часто выступало его советником и помощником, на которого он

мог опираться». Уинстона чрезвычайно привлекала история, и он постоянно пытался внести в текущие события аромат и величие ушедшего времени. Когда он «садился на любимого конька, его голос становился глубоким и более мелодичным, и слушавшие его неожиданно для себя переживали момент особенной близости с прошлым, поражаясь, как далеко простираются его сведения о нашем острове».

Уинстона прямо-таки ослепляла элегантность дома лорда Роузбери и его бесценное собрание. Одна из картин особенно привлекала его внимание: «Вчера я пережил совершенно необъяснимое состояние перед картиной «Наполеон», — писал он Роузбери. — Возможно, это вызвано его личностью, однако я вдруг испытал такое чувство, словно бы украдкой заглянул в кабинет, где он работал и вышел незадолго до моего появления только потому, что не желал быть увиденным».

Что неудивительно — ведь Черчилль лепил в своем воображении образ Наполеона, основываясь на чтении книг, поэтому он был буквально ошеломлен, когда вдруг его герой — полный жизни — взглянул на него с полотна Жака-Луи Давида «Император Наполеон в кабинете Тюильри». Картина была написана за три года до Ватерлоо. Роузбери купил ее в 1880-е годы после необыкновенно удачной женитьбы на наследнице Ротшильда, что дало ему возможность приобретать любые ценные произведения искусства, какие вздумается.

Было известно, что Роузбери репетировал выступления, стоя перед этим и перед другим портретом — даже превосходящим его размерами — «Джордж Вашингтон» кисти Гилберта Стюарта (правда, назывался он «Портрет землевладельца»). «Он использовал их в качестве хорового сопровождения», — подшучивали члены семьи. Описание того магического действия, что испытал Черчилль перед портретом Наполеона, вызвало в свою очередь искреннее и чистосердечное (что ему было вовсе не свойственно) признание самого Роузбери: «Иной раз, — ответил политик, — мне кажется, что он настолько живой, что вот-вот шагнет с картины».

Похоже, Черчилль надеялся, что поездки в особняк Роузбери и в замок Бленхейм вдохновят хулиганов на более серьезные поступки и дела. Однако его друзья рассматривали такие выезды за город как развлечение и отнюдь не намеревались что-то менять в жизни. Они совершенно не разделяли его страстного увлечения великими личностями. И тем более у них не было ни малейшего желания, собравшись «могучей кучкой», обрушиться на самоуверенных лидеров партии тори.

В любом случае, лорда Солсбери нисколько не волновало

наличие такой группы молодежи. Более того, он вообще не принимал их всерьез, потому что знал: никакой реальной опасности хулиганы не представляют. Наверное, по той причине, что слишком хорошо знал своего сына. По мнению Йэна Малкольма, этот премьер-министр выбрал чрезвычайно верный способ реагировать и освещать деятельность хулиганов. Высмеивая их, он предложил переименовать группу: «Хулиганы — вдогонку за младшим сыном». Новое определение сразу прилипло, что давало повод многим тори воспринимать группу как объект для насмешек. Черчилль пытался сохранить хорошие отношения с экстравагантным Хью даже после того, как хулиганы распались и каждый пошел своим путем. Но в течение года, когда группа собиралась особенно часто, Уинстона огорчало стремление друзей праздно проводить время и тратить его на пустяки. Дилетант в политике, Хью был в восторге, когда в разговоре возникал какой-то сложный, запутанный вопрос, требующий рассмотрения с нескольких точек зрения, — ему казалось, что только он в состоянии понять его. На полном серьезе, — примерно как другие рассуждали о войне и мире, — он со всей страстью обрушивался на тех, кто выдвигал постановление, позволяющее вдовцу жениться на сестре жены. Даже тридцать лет спустя Черчилль недоуменно качал головой, вспоминая, сколь яростно сопротивлялся этому параграфу Хью, за что получил грубоватый титул: «Билль о женитьбе на сестре усопшей». (Этот вопрос обсуждался так долго, что Гилберт и Салливан даже придумали забавную рифму к законопроекту: «Он прибьет в сосновой роще Билль о женитьбе на сестре усопшей».)

* * *

Весной 1901 года, когда холостяк Хью развивал бурную деятельность, предупреждая палату общин о вредоносности законопроекта, разрешающего вдовцам жениться на сестрах покойной жены, что превратит священный институт брака в племенную ферму, Уинстон готовился к штурму одного из важнейших пунктов законодательства, взяв на вооружение слова лорда Байрона: «Я родился оппозиционером». Черчилль был готов повторить драматическую судьбу своего кумира. И он намеревался продемонстрировать Солсбери и другим, что не собирается оставаться в рядах «заднескамеечников» (рядовых членов парламента) — место, которое ему отводили.

Суть вопроса заключалась в том, как правительство намеревается реформировать армию, авторитет которой сильно

поколебался в результате многочисленных поражений в Бурской войне. Все сознавали, что реорганизация необходима и что для этого необходимо уволить некомпетентных офицеров и отменить устаревшие нормы. Как позже заметил Герберт Уэллс: «Нашу империю под насмешливое улюлюканье всего мира едва не разбила горстка фермеров — и отголоски тех событий мы ощущаем и по сей день. И начинаем задаваться вопросами…».

К тому моменту, когда в мае 1902 года наконец-то было подготовлено мирное соглашение, война «Вечернего чая» — как ее вначале именовали, считая, что она закончится быстро, унесла двадцать две тысячи солдатских жизней.

Ошибки излишне самоуверенных политиков и еще более самоуверенных военных на всех уровнях стали причиной того, что война затянулась надолго. Что и вызывало стремление Черчилля объяснить, насколько война была «бесславна в своем проведении и отвратительна по результатам». Командование, прославившееся в «малых войнах» королевы Виктории десятилетиями ранее, оказалось неспособным осознать, насколько армия плохо подготовлена к ведению войны в новых условиях, когда она столкнулась с новыми видами оружия и непривычной тактикой, применяемой бурами. Генерал сэр Редверс Буллер совершил так много ошибок на начальном этапе, что, став олицетворением полной некомпетентности высших чинов, получил едко-насмешливое прозвище «сэр Реверс Буллер» (Sir Reverse Buller, то есть «сэр Неудача Буллер»). Во время одной из скучных перепалок в парламенте относительно того, сколько лошадей и мулов было отправлено войскам в Южную Африку, ирландский член парламента Тим Хили отрезвил многих, развеяв их иллюзии, когда, поднявшись, задал вопрос министру: «А разве достопочтенный джентльмен не получал сводки о том, сколько ослов отправлено в Южную Африку?»

Черчилль осознал, что правительственный план реформы армии — всего лишь пышный и разорительный маскарад, только видимость преобразований, что и сумел показать в своем выступлении на прениях в палате общин. Это было часовое выступление — самое блестящее в его карьере — мощное, конкретное и прозорливое. Он выступал так, словно был закаленным в дискуссиях ветераном, а не новичком, который перешел порог здания всего год назад. И речь шла об экспедиционных силах, которые предполагалось выставить для противодействия угрозе со стороны какой-либо враждебной державы в Европе. Правительственные чиновники предполагали, что эти войска в течение нескольких дней смогут нанести молниеносные и внезапные удары по противнику, а затем с

триумфом возвратиться назад. Черчилль считал, что планируемые силы окажутся слишком малочисленными, чтобы быть эффективными.

«Европейская война будет не чем иным, — предупреждал он, — как жестокой, тяжелой борьбой, которая, даже если мы и вкусим горькие плоды победы, потребует в течение нескольких лет огромного мужества всей нации, полной остановки мирного производства и сосредоточения всех жизненных сил на одном общем устремлении». В отличие от других членов парламента, Черчилль на своей шкуре испытал, что такое война, и прекрасно понимал кошмарные последствия новейших приемов ведения сражений. Столкновения в Южной Африке — всего лишь намек на те массовые убийства, которые ожидают армии в будущем, — утверждал он как человек, имеющий военный опыт. — В реальном конфликте будущие экспедиционные силы просто потонут как в болоте. Намного мудрее истратить деньги на морской флот, именно в морских силах — залог безопасности самой Британии и ее империи. Он набросал яркую картину беспощадной действительности, давая ясно понять, что те времена, когда король годами разыгрывал военные ходы, словно управлял фигурами на шахматной доске, безвозвратно канули в прошлое. Сейчас, когда могучие державы начинают подпирать друг друга… когда ресурсы науки и цивилизации исчерпали все, что могло бы смягчить яростный напор, европейская война закончится с обращением в руины побежденных и с полным истощением сил победителей… Войны народов всегда бывают более ужасными, чем войны королей.

Эти прозорливые слова многие члены кабинета сочли всего лишь риторическим приемом, и попытались от них отмахнуться, но другие отнеслись к ним очень серьезно. Даже вечно сонный государственный деятель викторианских времен сэр Уильям Харкорт, отбросив свое извечное благодушие, — с потрясенным видом озирал ничем не приукрашенную картину, написанную крупными мазками рукой молодого человека. Конечно, он не был полностью согласен с теми выводами, что делал Черчилль, но одно Харкорт осознал с абсолютной ясностью — именно голос молодого человека будет греметь со всей мощью в ближайшие годы. На следующий день он отправил письмо, поздравляя Уинстона с необыкновенным успехом блистательной речи, которая «станет залогом Вашего успешного будущего, фундаментом, который невозможно будет поколебать». Речь Черчилля не произвела должного впечатления на Артура Бальфура. Его работа, как лидера палаты, заключалась в том, чтобы добиться одобрения и поддержки выдвинутого плана, а

критические замечания Черчилля порождали лишь брожение в умах и сомнения в разумности реформ.

Убедительное большинство поддержало Бальфура, но все равно он не смог сдержать возмущения из-за выходки своенравного коллеги и говорил своим друзьям, что Уинстон «ошеломил его невероятным чванством», что своим выступлением он продемонстрировал полное убожество оппозиции, которая способна лишь на эффектные жесты. Бальфур утверждал, что в речи Черчилля отсутствуют серьезные доказательства, она не подкреплена аргументами — это всего лишь эффектный жест и чистая самореклама, Большая часть спича, с его точки зрения, — «облаченный в блестящую мишуру типично юношеский протест молодого смутьяна».

Но Черчилль хорошо подготовился к речи, обдумал позицию, готов был защитить свою точку зрения и не собирался позволять, чтобы от него просто отмахнулись.

Через несколько дней еженедельный журнал «Блэк энд Уайт» провозгласил: «Появилась новая личность, которая способна вдохнуть новую жизнь в эту дряхлеющую палату». Бывалый политический обозреватель отозвался об Уинстоне как о необыкновенно одаренном человеке и торжественно пообещал, что никогда не забудет зрелище «юноши, читающего наставление старейшинам».

Действительно, Черчиллю было что сказать, и он не побоялся высказать эти важные для него вещи, но, что еще более значимо, ему страстно хотелось реальной деятельности. «Серьезность человека той или иной партии проверяется его готовностью к выполнению нудной и тяжелой работы», — к такому заключению он вскоре пришел, видя, сколько времени требуется, чтобы пробить то или иное решение: от предварительного заявления до того момента, когда начнется голосование. Иной раз он даже поражался, зачем вообще пришел в Вестминстер. Юношеское честолюбие разбивалось о критицизм, даже враждебность, и у него время от времени возникала мысль попытаться найти другое применение своим талантам.

Для главы палаты тори чрезвычайно остро встал вопрос: что делать с Уинстоном? Может быть, стоить дать ему какую-то незначительную должность, дабы утихомирить на какое-то время? Или партия должна проявить терпение, медленно оттирая молодого человека в задние ряды, пока он не осознает свои ошибки? Кончилось тем, что Бальфур решил: самое лучшее — вообще не предпринимать ничего.

Однако надежда, что Черчилль будет терпеливо дожидаться своего часа, оказалась не самой лучшей идеей. Предоставленный

самому себе, он не перестал критиковать правительство в военных вопросах. Более того, вскоре он сделал предметом своего особого исследования вопросы эффективности и экономичности исполнения постановлений. Но было также очевидно, что он ставил перед собой более глобальные планы, — как заметил «Панч» в юмористическом скетче, где обозначили список его интересов: «Палата общин — и ее реформы. Британская армия — и ее реформы. Британский военно-морской флот — и его реформы. Высшее образование — и его реформы».

IV. Улыбка герцога

Как восходящая звезда и необычный персонаж, Черчилль стал привлекать внимание общества. Ему приходило такое количество писем и приглашений, что у него кружилась голова от невозможности быть везде, куда его зовут. Матери он признавался, что «устал до смерти» и что более ста писем он оставил без ответа. И в то же время, он не мог отвергать внимание людей. Ежедневник 1901 года переполнен до отказа самого разного рода мероприятиями, на которых он вынужден был согласиться присутствовать.

Каждую неделю — обеды в чьем-либо доме или каком-то клубе, а несколько раз в месяц — банкеты, ланчи, какие-то благотворительные базары или торжества.

В один из майских дней во время ланча, организованного редактором одной из газет, Уинстон оказался между автором книг о Шерлоке Холмсе и супругой вице-короля Индии. Артур Конан Дойл — тоже некоторое время провел на Бурской войне, им было о чем поговорить, и мужчины получили огромное удовольствие от общения друг с другом. Однако Черчилль не хотел упустить и другой возможности — попытать счастья, ухаживая за очаровательной соседкой — леди Керзон. Она только что приехала отдохнуть в Лондон, а ее муж, которого она обожала, — все еще оставался в Индии, исполняя обязанности вице-короля.

Черчилля сразу пленила изысканная красота Мэри и ее милое чувство юмора: она любила поддразнивать других, и ей нравилось, когда ее тоже поддразнивают. В ней было что-то, очень напоминающее Черчиллю его мать, что, по всей видимости, особенно привлекало его. Так же, как и Дженни, Мэри была американкой и вышла замуж за английского аристократа в ранней юности. Ей исполнилось 28 лет, когда она заняла место вице-королевы и стала самой юной вице-королевой в истории империи. В письмах Мэри к лорду Керзону в этот период ее долгих каникул, часто в шутливой манере мелькает имя Черчилля — эгоизм молодого человека удивлял и раздражал ее.

Пытаясь объяснить мужу хулиганские выходки Уинстона, Мэри с удовольствием сообщала, что она и ее друзья поставили перед собой цель — научить Черчилля поменьше говорить. Тем не менее, единственное, что Черчилль делал, когда они завтракали вместе, — так это все время говорил: он пересказывал ей свои речи о переустройстве армии, о необходимости проведения реформ, — то, с чем выступил накануне. «Самоуверенность

переполняет его, — писала она Керзону, — настолько, что даже тени сомнения не мелькает относительно бешеного успеха, который имеют его речи, не идущие ни в какое сравнение с другими».

При всей шутливости и ироничности, с которыми Мэри описывала юного друга, она все же отдавала дань его лучшим качествам и невольно задавалась вопросом, какой же должна быть его будущая жена. И ей удалось кое-что выяснить. Ведь она не без удовольствия выуживала сплетни, пересказы романтических увлечений, даже скандальные истории, и пересказывала все это в письмах к Керзону, — его очень интересовало, чем дышит светское общество, какие новости обсуждаются в аристократических кругах Лондона, какие веяния ощущаются в политических сферах. И Мэри почти без труда выяснила, что Уинстон, в конце концов, оставил попытки завоевать любовь Памелы. В июне, после совместного ужина с Дженни и Уинстоном, она написала мужу, что у молодого человека появилась некая особа: «А теперь немного о сплетнях. Уинстон обратил внимание на Этти Гренфелл, и явно гребет в ее сторону. С Памелой Плоуден покончено». Этот был самый удачный выбор — как временное утешение от несчастливого завершения столь долгого ухаживания. По словам одного из друзей, Эти могла стать «самым нежнейшим лекарством для разбитого сердца». На магнетический блеск ее темных глаз мужчины слетались как мотыльки. А когда она, опустив ресницы, что-то негромко проговаривала мягким голосом, ловушка захлопывалась.

Впоследствии она вполне благополучно вышла замуж, стала матерью, слепо обожала своих детей, что ничуть не уменьшило ее желания нравиться многим мужчинам, однако она никогда не преступала невидимую черту и не теряла голову в своих увлечениях. В слегка завуалированной форме писатель-сатирик Макс Бирбом набросал портрет Этти — как коллекционера самых примечательных мужчин. «Восседая подобно королеве, — описывал он, — она кивком головы подзывала к себе наиболее привлекательные образцы». Ее обаятельный муж Уилли Гренфелл (позднее лорд Дезборо) не проявлял ни малейшего интереса к ее взаимоотношениям с другими мужчинами. Он был слишком поглощен собой, чтобы ранить себя подобными подозрениями. Утомившись от разговора с Этти, он вдруг увлеченно начинал двигать руками так, словно греб на байдарке по Темзе — что было его излюбленным занятием».

Этти было около тридцати, когда она взялась залечивать рану Черчилля, но, глядя на грациозную фигурку, никто бы не дал ей

больше двадцати («такой тонкой талии я не видел ни у кого», — записал кто-то из ее современников). Самый верный способ закрепить отношения для нее основывался на теплых словах, мимолетных объятиях и легких поцелуях. (В 1890-е годы она стала своего рода лучом света, маяком для тесной группки аристократов, культивировавших тесную дружбу, которая выражалась в изысканной артистической манере.)

«Вы ускользаете от меня с такой же легкостью, как улыбка на Ваших устах», — писал ей один из молодых поклонников, огорченный ее кокетством. Но большая часть тех, с кем она флиртовала, довольствовались одной только ее улыбкой, не требуя большего. Кто-то из них написал: «Я обожаю Вас, но, во-первых, я люблю свою жену, затем Вас, и это уже чересчур много для того, чтобы слишком серьезно отдавать увлечению Вами». Вполне возможно, что в отношениях с Уинстоном она не ограничивалась только тем, чтобы выслушивать его со вниманием и подставлять нежное плечико, когда он изливал свои беды. Она воспринимала его как юношу с широко распахнутыми глазами, нуждавшегося в женщине, что знала о любви больше, чем он. А еще Этти чувствовала, насколько болезненным для него был разрыв с Памелой. Даже несколько месяцев спустя, оба — и Уинстон, и Памела — вспыхивали, случайно встретившись взглядом. Он не мог сдержать негодования и обиды от того, что она отвергла его чувства, а Памелу оскорбляло то, что он посвятил в их отношения и Этти, и других общих знакомых.

Несколько раз это проявилось достаточно явственно. Первый раз на балу, когда Уинстон подошел к Памеле и потребовал объяснить, «почему она повсюду говорит, будто он скверно обращался с ней». Памела с возмущением отвергла обвинение и потом жаловалась друзьям, как сильно он ее обидел этими словами. Второй случай произошел на большом приеме, который устроила Корнелия — тетя Уинстона. Уинстон приехал позже остальных и, войдя в зал, увидел Памелу, стоявшую у камина с какой-то женщиной. В белом атласном платье и со сверкающими при блеске огня бриллиантами, она была так неописуемо красива, что он замер, глядя на нее, не в силах вымолвить ни слова и не обращая внимания на ту, что стояла с Памелой рядом. Наконец он предложил Памеле руку, чтобы сопроводить ее к другим гостям, но она не пожелала говорить с ним. И еще большее оскорбление он перенес, когда его дядя сам отвел Памелу к остальным, а она прошла мимо с таким видом, будто его не существовало.

В начале 1902 года стало известно, что Памела собирается выйти замуж за графа Литтона и станет хозяйкой огромного

особняка в готическом стиле. «Наконец-то она заключит союз с тем, кто этого достоин», — так отозвалась на это событие «Дейли Кроникер». Большая часть биографов Черчилля считает, что Памела и Уинстон просто потеряли друг друга из виду, в основном по той причине, что он охладел к «девушке своей мечты».

Печальная правда заключается в том, что он с самого начала заблуждался относительно Памелы, приписывая ей те качества, которыми она вовсе не обладала. Он возвел на пьедестал некое эфирное создание, а она на самом деле была самой обычной молодой женщиной, с самыми обычными желаниями и никак не могла определиться с выбором. Их взаимоотношения подтачивали не «вялость» или «бездействие», не отсутствие денег или титула, а ее переменчивость. Она «жонглировала» отношениями с несколькими мужчинами одновременно, и даже после замужества продолжала встречаться с другими.

Леони — сестра Дженни — рассказывала, что Уинстон, осознав, что Памела обманывала его, был просто раздавлен. Однажды утром он пришел к ней за утешением: «Всю ночь я ходил из угла в угол по комнате до самого рассвета, не в силах даже присесть». Ослепленный ее красотой, он даже не мог себе представить, как широко раскинула сети красавица Памела. «Хотя брат Джек меня предупреждал. Обычно он застенчивый и не высказывается столь определенно. Но про Памелу он сразу сказал, что ей нельзя доверять, что она ужасная лицемерка, которая держит при себе сразу трех мужчин, в то время как уверяет, будто ее интересует только Уинстон».

Ходил слух, будто у нее был короткий, но бурный роман с таким видным деятелем, как Герберт Генри Асквит — старше ее на двадцать два года. Когда на склоне лет в узком кругу близких друзей поинтересовались его мнением относительно Памелы, Асквит ответил, что она была изумительной женщиной, которая в те далекие дни «овладела наукой страсти нежной».

Памела на протяжении всей своей жизни постоянно была окружена многочисленной свитой мужчин. Как известно — и это вполне достоверно — в тридцать лет она влюбилась и соблазнила статного красавца — Джулиана Гренфелла, одного из сыновей Этти. За что в этой семье ее называли не иначе, как «порочная графиня». Когда до Уинстона дошло сообщение о том, что Памела обручена с Литтоном, он не выказал досады или горечи. Напротив, направил любезную записку, в которой желал им счастья и обещал остаться преданным другом. И в то же время печальное завершение долгого романа с Памелой оставило в его душе незабываемый след. Внимание Этти помогло ему не только

прийти в себя. Она смогла, благодаря своим женским качествам, во многом вернуть веру в будущее, в его необыкновенное предназначение, которое он рисовал себе. После сложных, непростых отношений с Памелой, он перенял стиль Этти — теплая дружба, не обремененная разговорами о замужестве и в то же время не бросающая скандальную тень.

А она разделила с ним романтический взгляд на жизнь: героическое усилие, наполненное сильными чувствами. Она любила читать стихи и на закате жизни непременно цитировала в конце письма любимые строки Теннисона, где Улисс описывал цель «героических сердец»: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». На столике в ее комнате она держала копию письма американского друга Оливера Уэнделла Холмса, и под его словами вполне мог подписаться Черчилль. «В юности, — писал Холмс, обращаясь к ветеранам Гражданской войны, — наши сердца опалил огонь. Это научило нас с самого начала тому, что жизнь должна быть глубокой и страстной. На закате нам дано постичь, что она намного мудрее… Если мужчина примет из рук Судьбы заступ, оглядится и начнет копать глубже, единственное, что он возжелает делать всей душой — посвятить свой труд великим делам…» То, что Этти была зачарована этими словами, — влияние Уинстона. Со слов Этти, подобные цитаты производили на Уинстона магическое действие.

В течение нескольких лет он снова и снова обращался к ней за поддержкой и воодушевлением. Как считали друзья Этти, ее можно сравнить с волшебницей Сидони, очаровавшей Уинстона тем, что возложила на него лавровый венок славы. А друзья Черчилля вскоре осознали, что он и Этти чрезвычайно близки друг другу и доверяют во всем. А вскоре она решила продемонстрировать молодого друга широкой публике. 20 июля 1901 года в еженедельнике появилась большая фотография, на которой был «Мистер Уинстон Черчилль — член парламента», где он рядом с Гайд-парком сидел в экипаже рядом с Этти и ее мужем Уилли. Хью Сессил беспокоился из-за того, что Черчилль слишком доверчив, в особенности с друзьями Этти, которые принимали членов парламента как одной, так и другой партии.

«Позволь мне еще раз напомнить тебе — будь осмотрительным, — наставлял он Уинстона, поскольку «хулиганы» беспокоились из-за того, что он может доверить больше того, чем следовало. — Меня приводит в трепет мысль о том, что ты можешь забыться в разговорах с мистером Гренфеллом». На Черчилля действительно оказывала влияние магическая атмосфера, окружавшая Этти, ее стиль жизни и гостеприимный дом — особняк из красного кирпича на берегу

Темзы с фронтоном и угловыми башнями с остроконечными шпилями, «при виде которого захватывало дух».

Во время уик-эндов дом был полон гостей, которые поглощали несметное количество еды за завтраками и обедами, устраивали катание на лодках по реке, отправлялись на прогулки в лес, играли в теннис, вели бесконечные разговоры за чайными столиками, на лужайке, а вечерами разгадывали шарады. «Никто не умел принимать гостей с таким радушием и приветливостью, как Этти, — писала Консуэло Мальборо. — Рядом протекала Темза, такая привлекательная летом… в лесу всегда поджидала густая тень и целый эскорт привлекательных кавалеров». Долгие совместные прогулки по дорожкам, откуда открывался романтический вид на Виндзорский замок, разговоры о политике и жизни укрепляли их дружбу.

Иногда вечерние приемы оказывались слишком буйными, в какой-то из таких дней, когда Черчилль запоздал, его кинули в реку прямо во фраке и цилиндре. Черчилль принял это вполне благодушно — ведь это была всего лишь забава, — зато он, как правило, прибирал к рукам дирижерскую палочку, когда начинались послеобеденные дискуссии.

«Стоя на нашем прикаминном коврике и глядя в зеркало, Черчилль вел важный разговор, — удивленно писала Этти после очередного приема в особняке, — обращаясь к самому себе — самая благодарная и отзывчивая аудитория». Как-то разговор зашел об уменьшительных именах, и кто-то спросил, а есть ли таковое у Черчилля, на что тот не медля ни секунды тотчас отозвался: «Нет, кроме — это юное чудовище Черчилль».

Биографы Черчилля почти не упоминают имени Этти, но она оставалась его другом и сторонником до конца жизни, а на склоне лет испытала чувство глубокого удовлетворения и гордости за увлечение молодости. К тому моменту — в 1947 году, — после победного завершения Второй мировой войны, ей было почти 80, и тот сияющий ореол в светском обществе, какой сопровождал ее появление, давно померк. Но разве она могла забыть близкие отношения, что установились между нею и Черчиллем в те отдаленные времена?! Неудивительно, что среди писем можно найти и такую записку «любимому Уинстону»: «Я так часто думаю о тебе, о тех прошедших днях, о том, как ты много значил для меня…».

Уже только очертания особняка на берегу Темзы были значимы для Черчилля и привлекали его особенный интерес, поскольку тот изначально принадлежал генералу, который служил под началом герцога Мальборо в битве при Бленхейме.

Ветеран европейских сражений начала XVIII столетия, граф Оркни был бесстрашным предводителем пехоты, заслужившим прозвище «доблестный Оркни» в биографии Мальборо, написанной Уинстоном в 1930-х годах [12]. После возвращения в Англию граф выстроил особняк на берегу Темзы в районе Таплоу и второй — по соседству — в Кливедене, и жил оставшиеся двадцать пять лет то в одном, то в другом. Для большинства гостей Этти и лес, и река были просто местом для прогулок и развлечений, но если вспомнить, с каким пиететом относился Черчилль к поместью Роузбери, где прошлое дышало в спину, то нетрудно представить, какие чувства он испытывал и здесь. Каждая поездка в особняк в Таплоу наводила на воспоминания о блистательных предках. Разумеется, это наследие намного больше ценили в сорока милях от этого места, во дворце Бленхейм, где Черчилль с наслаждением изучал историю рода, вдохновляясь бесконечными упоминаниями о блистательной славе семейства Мальборо. Но значимость Бленхейма была связана не только с историческим прошлым. Летом 1901 года он на своем опыте пережил, как былая слава озаряет не только прошлое, но и настоящее.

В августе в поместье решено было устроить большое собрание политиков для объединения сил партии консерваторов, но никто не принял этого события так близко к сердцу, как местная звезда Бленхейма — Уинстон Спенсер-Черчилль. Празднество намечалось масштабное, и только несколько семейств могли присутствовать на нем. И, что весьма примечательно, сколь бы юным ни был Уинстон, сколь бы он ни приносил беспокойства, все равно с ним вынуждены были считаться.

Возведение Бленхеймского дворца длилось полтора десятилетия, с 1707 по 1722 год. К строительству масштабного барочного здания была привлечена едва ли не самая известная пара в истории английской архитектуры — сэр Джон Ванбру, самый выдающийся архитектор в стиле английского барокко, и его помощник и компаньон Николас Хоксмур, который систематизировал, ограничивал и вводил в практические рамки безграничную фантазию Ванбру с его тягой к драматическим эффектам. Бленхеймский дворец считается венцом их совместной архитектурной карьеры.

Спроектированный архитектором сэром Джоном Ванбру, Бленхейм выглядел как декорация для театрального представления. Вычурное здание с огромной подъездной площадкой подавляло визитеров рядом внушительных колонн при входе и коринфским портиком со статуей богини Минервы, возвышавшейся наверху, будто грозный страж. Фасад украшали

фамильные гербы с символами триумфальных битв: копьями, щитами, шпагами, барабанами и флагами. Два связанных пленника по обеим сторонам Минервы означали оглушительные победы над врагами Британии. Все было оформлено таким образом, чтобы внушить благоговение перед победителем и сознание того, что само здание — всего лишь благодарная дань нации. Осчастливив потомков этим монументальным сооружением, герцог сошел в могилу, не удосужившись объяснить суть его деяний. «Он хранил молчание о своих подвигах, — записал Черчилль о своем предке, — ответом должно было послужить само здание». И в самом деле, оно служило наглядным свидетельством боевого духа и безграничных амбиций его отпрысков. Подобно своему славному предку, Уинстон вкусил славу на полях сражений: следуя примеру отца, он хотел стать ведущей фигурой в политике. В Лондоне противники могли сколько им угодно глумиться и высмеивать его вызывающую юношескую дерзость и нахальство. Но в Бленхейме, в таком подавляющем великолепии окружения, им это было сделать намного труднее. Эпический размах, который чувствовался в каждом камне, грозная сила каждой статуи этого здания создавали ореол долговечности и неизменности торжества семейства Черчиллей. Неужели и в самом деле для победителя двадцатого века были столь значимы заслуги прежних героев?

На заре непрерывно улучшающихся торговых, технологических и социальных реформ, кому нужны были свидетельства былых побед? Разумеется, былые победы воодушевляли тех, кто принимал участие в бурской войне. Однако на кого в то время мог произвести впечатление такой патриарх, как герцог Мальборо, выступавший в роли Голиафа?! Ведь Британии пока еще вроде бы не грозила прямая опасность от вновь зарождающихся политических тиранов. Поля сражений простирались скорее внутри самой страны из-за растущего напряжения нерешенных вопросов справедливости распределения богатства и прав человека. И, казалось бы, несмотря на то, что Бленхейм все еще не утратил способности поражать чье-либо воображение, все эти величественные останки былого — выглядели в новое время нелепыми, причудливыми и неуместными. Однако Уинстон всю свою жизнь пытался исполнить нелегкую задачу, поставленную для самого себя, — перешагнуть из громокипящего старого мира, пропахшего дымом и порохом шумных побед, — в новый мир, где преобладала сдержанная доблесть.

В субботнее утро августа, когда должен был состояться грандиозный съезд — предполагалось, что приедут 120 членов

парламента и три тысячи сопровождающих их со всех уголков страны, слуги торопливо расставляли ровные ряды стульев на громадной площадке внутреннего двора. В основании портика, где заканчивались ступени, была возведена сцена с трибуной, откуда голос выступающего мог бы без труда достигать самых последних рядов слушателей. Небольшая армия слуг уже с рассвета под огромным тентом на лужайке занималась приготовлением ланча для такого громадного числа приглашенных. Гости могли получить удовольствие, вкушая жареных цыплят, йоркширскую ветчину и французские пирожные. А в ведерках стояло больше тысячи бутылок шампанского.

Кузену Уинстона его гостеприимство обошлось в копеечку. Похоже, Санни очень надеялся повысить свою значимость и влияние среди тори и тех, кто поддерживал их (независимые либералы, враждебно настроенные к идеям самоуправления Ирландии). Но лишь малая горстка приглашенных считала Сесила умелым политиком. Мать Уинстона Дженни, пустившая в ход в этот праздничный день все свое обаяние, дабы убедить Санни, что громадный «съезд», который он организовал, действительно сыграет для него важную роль. Хотя на самом деле все это работало скорее на обеспечение успеха Уинстона. А Санни отводилась скромная роль — привечать гостей. Главными событиями дня должна была стать речь Артура Бальфура и министра по делам колоний Джозефа Чемберлена («министра империи», как его называли). Как обычно, третий спикер должен был произнести заключительный спич, где бы подводился краткий итог сказанному. При обычном ходе это должен был сделать старший член правительства. Но на этот раз слово дали, что, в общем, не удивило присутствующих, Уинстону. Другие члены парламента, включая и группу хулиганов — Хью Сесила и Йэна Малкольма — должны были довольствоваться ролью слушателей, но их ловко убедили, что поводов для недовольства не должно быть. Им ведь оказывали честь быть приглашенными в обеденный зал для особых гостей, а не просто отведать угощение, расставленное под навесами. В библиотечном зале играли приглашенные музыканты. И еще была организована экскурсия по особняку. И три прелестных женщины — Дженни, Консуэло Мальборо и Миллисенд Сазерленд должны были сопровождать политиков — к вящему их удовольствию — в этой прогулке.

Дженни умела прекрасно рассказывать об истории дома и выступала в роли гида. В молодости просто ради забавы она с друзьями любила переодеваться и, накинув простенькие плащи и шляпы, присоединиться к какой-нибудь группке туристов, которым в определенный день месяца дозволялось осматривать

особняк, и вместе с ними в сопровождении добровольного гида пройтись по поместью. Им страшно нравилось, смешавшись с остальными посетителями, слушать, что они говорят и что они на самом деле думают про всю эту обстановку. Как-то она чуть не лопнула от смеха (пока пыталась найти укромное место и нахохотаться вдоволь), когда американский турист, глядя на один из фамильных портретов, воскликнул: «Вот это да! До чего же опийные красные глаза у этого Черчилля!» Когда после двух часов дня площадка перед особняком заполнилась приезжими — солнце ярко светило и все отмечали, насколько удачной оказалась погода. Все устроено на самом высшем уровне для загородной встречи, — говорили собравшиеся, поджидая, когда «на сцене» появятся главные действующие лица. Когда открыли ворота парка для публики, присутствующих набралось более семи тысяч. По парку — для поддержания порядка — ходили полицейские. Чванливые критики нашли тому презрительное объяснение: слишком много не заслуживающих такого приглашения людей оказалось на этой встрече. «Среди присутствующих кто-то заметил несколько трактирщиков».

Громкий хор приветствий раздался при появлении Чемберлена — он прибыл в сопровождении жены-американки и Бальфура, занявшего место в центре сцены с Миллисент с одной стороны и Дженни с другой. Неподалеку расположилась обязательная в таких случаях группа фотографов, но их ряды пополнил пока еще редкий для тех времен — оператор — для съемки «движущихся картинок». Мужчина бешено вращал ручку своей камеры, чтобы запечатлеть знаменательное событие для показа в только что открывшемся в Лондоне синематографе и в кинозалах других городов страны. Словно делая одолжение кинооператору, несколько ленивых облачков проплыли по небу, чтобы отразиться в высоких окнах дворца.

Союз Бальфура и Чемберлена выглядел непобедимым после того, как они нанесли удар на главных выборах 1895 и 1900 годов. И они оба надеялись, что нынешняя встреча в такой прекрасный день, еще более утвердит ощущение их непобедимости. Они называли своих оппонентов «мелкие англичанчики», а их критические отзывы о конфликте в Южной Африке — незначительными, — поскольку они не способны разглядеть сверкающие горизонты будущего Британии именно как имперской страны. Бальфур заявил, что народ больше не должен доверять «безнадежно раздробленной» партии либералов, а Чемберлен с пафосом объявил, что только объединенный союз всех тори и есть «настоящая национальная партия».

Когда подошел черед выступить Черчиллю, он должен был

всего лишь подтвердить сказанное об объединении сил двумя главными представителями и выразить им благодарность за то, что они дали согласие присутствовать на съезде и за их выступление. Начало его речи и выглядело именно так, каким ему полагалось быть. Уинстон поблагодарил всех собравшихся и в весьма непринужденной манере объяснил, почему ему дали заключительное слово — «ведь я имею честь быть родственником герцога и впервые по-настоящему получил возможность увидеть Бленхейм во всем его блеске…».

А затем он решился на рискованный шаг. Почти ничего не сказав о Бальфуре, он переключился на Чемберлена. В худшие дни правления либералов, говорил он, министерство иностранных дел чаще всего просто тянуло времени, не предпринимая никаких решительных шагов. С того момента, когда его возглавил Джо Чемберлен, оно будет восприниматься в будущем как одна из самых замечательных страниц английских истории за последние пятьдесят лет.

Черчилль прекрасно осознавал, что образ «союза», который пытались продемонстрировать два политика на этом съезде, всего лишь видимость, за которой скрывается невидимая борьба между Бальфуром и Чемберленом за право возглавить этот альянс. Он решился сыграть на имевшем место разногласии. Отложив в сторону вопросы относительно уроков Бурской войны и бесстыдные попытки Чемберлена, которого многие обвиняли в том, что именно он спровоцировал эту войну, Черчилль решил столкнуть двух лидеров. Если Бальфур не выказал ему своей благосклонности, может быть Чемберлен окажется поумнее. А может оказаться и так, что оба политика осознают, насколько им выгоднее привлечь Уинстона на свою сторону.

Подобная уловка могла дорого ему обойтись. Но Черчилль так страстно жаждал вырваться вперед, что решил закрыть глаза на возможную опасность. Такая же безрассудная храбрость воодушевляла его предков на поле битвы в Европе.

Подтверждением тому стал рассказ Консуэло, описавшей случившееся. Сидя на сцене для выступающих, она посмотрела поверх голов сидевших слушателей в ту сторону, где в некотором отдалении возвышалась статуя герцога в боевом облачении. «И я совершенно отчетливо разглядела, — написала она потом, — как на губах статуи герцога промелькнула торжествующая улыбка». Она сочла, что доблестный предок одобрил съезд, который устроил Санни. Но если дух первого герцога Мальборо и улыбнулся кому-то в этот день, так это молодому смутьяну, так смело повторившему его собственные приемы ведения сражения на политическом поле.

V. Имперские мечты

У Джозефа Чемберлена не было необходимости прибегать к родственным связям или искать доказательства, подтверждающие его политическую деятельность. Города были на его стороне. История его успешного продвижения уходила корнями в викторианскую эпоху — это был человек, сделавший сам себя, он чрезвычайно удачно проявился как фабрикант, начавший выпускать дешевые шурупы, и вскоре стал монополистом в этой области. Завершив промышленную деятельность в Бирмингеме, он перешел в ряды политиков, и добивался улучшения жизни в городах, снабжения их водой и газом. В последние годы он по-прежнему оставался самой приметной фигурой в парламенте. Ему удалось избавить города от трущоб, провести водопроводы в дома и выстроить весьма внушительные современные здания. Более тридцати лет он лидировал в политической жизни. Это был некоронованный муниципальный король. А для обычных людей он всегда был и оставался «добрый старина Джо».

Во время выборов 1900-х годов он поддерживал кандидатуру Черчилля, используя свою популярность в промышленных районах, энергично помогая молодому политику заручиться голосами рабочих в городке Оулдем. К месту встречи они приехали вдвоем в открытом экипаже и были неприятно поражены собравшейся толпой противников войны с бурами. Их тотчас окружила плотная толпа демонстрантов, «освистывающих и выкрикивающих лозунги протеста». На Черчилля произвело большое впечатление то спокойствие Чемберлена (а ему было уже около шестидесяти), с каким он прокладывал себе дорогу ко входу в здание. Когда они заняли место на сцене, где их сторонники встретили шумными приветствиями, Чемберлен улыбнулся с чувством глубокого удовлетворения. Повернувшись к Черчиллю, он с гордостью проговорил: «В первый раз я появился здесь, чтобы продать им шурупы».

После того, как выборная кампания завершилась победой, Чемберлен пригласил молодого коллегу провести несколько дней в бирмингемском особняке Хайбери. Несмотря на то, что он всегда выдавал себя за поборника и лучшего друга рабочего люда, это не мешало Джо демонстрировать развитый с годами вкус и с удовольствием пускать пыль в глаза, демонстрируя владения отпрыску Бленхейма. «За ужином, находясь в самом радужном настроении, он выставил бутылку портвейна «34», — записал Уинстон. — Еще большее впечатление, чем его ликер шестидесятишестилетней выдержки, производили его двенадцать

садовых теплиц, заполненных свежими орхидеями, и еще двенадцать с другими, менее экзотическими цветами. Двадцать пять работников ухаживали за растениями, благодаря чему у Чемберлена всегда был свежий цветок, который он втыкал в петличку лацкана. Эта привычка сделалась его отличительным знаком, как и его извечный монокль, представлявший собой, по описанию одного из журналистов, «круглое стеклышко в золотой оправе, тонкой как свадебное кольцо прабабушки».

Во время парламентских споров Чемберлен эффектно использовал монокль: он начинал с холодным вниманием рассматривать сквозь него противника с видом ученого, глядящего в микроскоп, или же начинал протирать стеклышко платком, выдерживая драматическую паузу, пока все, затаив дыхание, ждали завершения фразы. «Если его вдруг перебивали, — вспоминал кто-то, — он очень медленно и аккуратно вставлял монокль, вытягивался вперед, выставив указательный палец в сторону оппонента, мягким тоном срезал его едкой остротой, а затем резко возвращался на свое место». Даже откинувшись на обтянутую зеленой кожей скамью, он все еще продолжал взирать на противника грозным взором сквозь округлое стекло и поглаживал, вложенную в петличку орхидею величиной с добрый кулак. Всегда безукоризненно одетый — в отличие от многих мужчин его поколения, — он к тому же всегда бывал гладко выбрит.

Но ни орхидея, ни монокль и дорогой портвейн в подвалах еще не были достаточным поводом, чтобы дать забыть лорду Солсбери и Артуру Бальфуру о том, что Джо родился в семье фабриканта средней руки, и что своей удачной карьерой он обязан шурупам. Его полезно было иметь как политического союзника и способного министра, но ни сам Сесил, ни кто-либо другой из окружения его и Бальфура, никогда бы не приняли Джо как равного.

В своей излюбленной снисходительной манере Бальфур писал другу: «Джо, хотя мы все и любим его, все-таки не соединился с нами, не образовал прочной химической связи с нами. Почему? Не могу дать ответа, однако так оно и есть». Другие аристократы были менее сдержанны в выражениях своей отстраненности. «Все промахи Чемберлена вызваны его происхождением, — заметил влиятельный придворный лорд Эшер. — Несмотря на весь свой ум, он так и не научился самообладанию, которое усваивает каждый, кто закончил хорошую школу или университет. Я имею в виду всякого, кто был бы наделен такими колоссальными способностями, как он».

Черчилль не разделял этих снобистских взглядов. Его

восхищали неукротимый дух и энергия Чемберлена. И хотя лорд Бальфур вел собрания членов парламента, на самом деле «погоду делал Джо». Он был человеком, которого знали массы. Сложность заключалась в том, по словам одного политика, что Чемберлен — это барометр, всегда показывающий шторм и бурю. Как и Черчилль, он был порывистым и полным амбиций. Свою политическую карьеру он начал в радикальном крыле либеральной партии, и королева Виктория как-то обратилась к Гладстону с просьбой оказать влияние и хоть немного придерживать «необузданного коллегу». Теперь, когда он перешел в ряды консерваторов, они беспокоились, как бы он опять не взялся за старое.

Джо относился к Уинстону так же по-отцовски, как и лорд Роузбери, их разговоры порой затягивались допоздна, а какой-то из разговоров они оборвали в два часа ночи. Вспоминая этот период, Уинстон признался: «Мне довелось поговорить с ним о самом важном и насущном намного больше, чем мне это удалось со своим собственным отцом». Чемберлен с удовольствием давал ему советы и оказывал поддержку. Наверное, он мог бы сделать и больше, но у него было два сына, которые требовали внимания. Старший — Остин — настолько восхищался отцом, что даже заставил себя заняться угольными шахтами, носил монокль и орхидею в петличке и собирался заняться политикой. В наши дни трудно различить эти две фигуры — Остина и его младшего брата Невилла.

Как-то в 1902 году Уинстон и Остин оказались в гостях у Миллисент Сазерленд в ее шотландском особняке. Они разговорились относительно своих притязаний. «Чего бы ты хотел на самом деле?» — прямо спросил Уинстон. Тщательно выбирая слова, Остин ответил, что его «всегда привлекала мысль об Адмиралтействе — очень симпатичное здание — и пост первого лорда — такое место, которым любой англичанин по праву может гордиться». Ответ разочаровал Черчилля, и он даже не стал этого скрывать. С его точки зрения, существовала только одна цель в политике — вершина, — а все остальное, независимо от степени привлекательности, — только одна из ступенек. Остин навсегда сохранил память о том, как повел себя Черчилль: «Фу-у-у-у, это убогое притязание».

Что касается Невилла, то в 1902 году он прилагал все силы, чтобы доказать, что сможет повторить достижения отца в бизнесе. Но успеха не добился. В 1890 году отец отправил его на Багамы заняться возделыванием плантаций сизаля — лубяного волокна для текстильной промышленности. Невилл работал самым честным и добросовестным образом, чтобы получить прибыль, но

неудачи преследовали его одна за другой, и в конце концов он был вынужден признать поражение. Потери составили около 50 000 фунтов отцовского капитала. Огромная сумма по тем временам. Джо постарался смириться с утратой, но еще долгие годы нехватка денег сказывалась на жизни семейства.

При разделе наследства, Невиллу по завещанию досталась более чем скромная сумма, по сравнению с остальными членами семьи — всего 3000 фунтов отцовских денег.

Своим успехом в ранние годы Чемберлен, как фабрикант, был обязан тому, что грубо и резко снизил цену на товар, но теперь эта предпринимательская жилка была тщательно спрятана за продуманным и хорошо выстроенным обликом политического деятеля с хорошими манерами. Черчиллю довелось краем глаза увидеть за этим образом — воспитанного и любезного джентльмена — прежнего беспощадного «короля по продаже шурупов». И смириться с этим Черчилль не смог. Это случилось в конце 1901 года, причем происшествие выявило, как глубоко вошли в плоть и кровь Джо его бирмингемские замашки давних лет.

Из всех многочисленных противников Бурской войны самым яростным критиком был представитель либеральной партии Дэвид Ллойд-Джордж — уроженец Уэльса с пышными усами и пристальным взглядом. Он много раз лично нападал на Чемберлена, утверждая, что продажа оружия и других товаров для войны приносит большие доходы и чрезвычайно выгодна для бирмингемских фабрикантов — для Джо и его приятелей. Чтобы сразить противника и попасть в самое уязвимое место, Дэвид описал, как это выглядит: «холодный денди, прогуливающийся по своим оранжереям с орхидеями» в тот момент, когда на расстоянии шести тысяч миль «идет кровавая бойня и во имя его благополучия гибнут английские солдаты». Джо «мало что может взволновать, — писал репортер в 1901 году. — Только один человек встряхнул его и сделал это основательно — мистер Ллойд-Джордж — маленький валлиец, который бесстрашно выступил против мистера Чемберлена». Страстные и красноречивые выступления Ллойд-Джорджа сделали его национальным героем. Но именно они чуть не стали причиной насильственной смерти холодным декабрьским вечером в Бирмингеме, когда он обращался к сторонникам либеральной партии, собравшимся в здании муниципалитета. Толпа протестующих в тысячу человек окружила здание.

Когда на трибуну поднялся Ллойд-Джордж, толпа тараном выломала двери. В здании, выдержанном в неоклассическом стиле, началась настоящая битва. Со всех сторон летели камни и

бутылки, окна разбились, отчего на присутствующих посыпались осколки стекла. Когда разгневанная волна протестантов с криками «Предатель!» подобралась почти к самой сцене, небольшой отряд полицейских отступил вместе с Ллойд-Джорджем в другую часть здания и занял там оборону.

Боясь, что толпа таки возьмет вверх, главный констебль — находчивый Чарльз Рафтер, местная легенда — убедил Ллойд-Джорджа переодеться в форму полисмена и сумел вывести его через черный ход. Однако в стычке пострадали десятки бунтарей и констеблей. Один молодой человек был убит. «Сообщают об изрядном количестве разбитых голов», — писала «Таймс». К величайшему их неудовольствию местную партию либералов обязали возместить ущерб.

Когда эта новость достигла Лондона, Черчилль недоверчиво покачал головой и тотчас схватился за перо, чтобы излить свои чувства хорошо ему знакомому видному деятелю консервативной партии в Бирмингеме. «С отвращением прочитал сегодня в газетах о том, что случилось, — писал он. — Очень надеюсь, что руки консервативной партии остались чистыми». Но в целом эта история «вызвала в памяти» одно давнее происшествие. Черчилль имел в виду события 1884 года, когда сторонники Чемберлена устроили бунт в Бирмингеме во время одного из митингов, где выступал лорд Рэндольф Черчилль. Джо отрицал какую-либо причастность к этому событию. И долгое время взаимные упреки и обвинения по этому поводу с обеих сторон не прекращались. Уинстона беспокоило, не вздумал ли Чемберлен вновь взяться за старые штучки, только в еще более крутой манере.

Чемберлен, хоть и выразил сожаление о тех жертвах, что произошли в результате столкновения, заявил: «Я не могу винить граждан Бирмингема за то, что они выражают свой протест против появления там мистера Ллойд-Джорджа». Спрошенный членами парламента, кого можно обвинить в случившемся, Чемберлен, не отвечая впрямую, сказал просто «общее дело — ничье дело». Но горожане выразились достаточно ясно: «Критиковать там Джо — смертельно опасно». А несколько недель спустя Чемберлен сказал: «Если меня ударили, я обязательно отвечу ударом на удар».

Случай был из ряда вон выходящий, и Черчилля беспокоили подозрения, что доверенные люди Чемберлена сами спланировали эту акцию. Газета «Таймс» предположила, что такого рода связь имеет место, опубликовав в доказательство телеграмму, отправленную Джозефом Чемберленом в Хайбери одному из его сторонников — весьма приметному местному политику по имени Джозеф Пентленд, заместителю председателя

школьного совета. Она была отправлена вскоре после того, как представитель либеральной партии смог ускользнуть. «Ллойд-Джордж — предатель. И не имеет права произносить ни слова, — с гордостью заявил Пентленд. — Двести тысяч горожан направили свои голоса в правительство, чтобы высказаться в вашу защиту и выразить восхищение вашей беспримерной и бесстрашной деятельностью на благо короля и страны».

Чем больше Черчилль размышлял над столкновением в Бирмингеме, тем больше оно вызывало в нем тревогу. Он не был хорошо знаком с Ллойд-Джорджем в то время, но мнения об этом политике он был весьма невысокого, «вульгарный, болтливый маленький грубиян», — так он отзывался о Ллойд-Джордже в беседах со знакомыми. Но его возмущала сама мысль о том, что политические игры так легко могут переходить в уличные беспорядки и грубое насилие. И хотя он частенько прибегал к сравнению политической борьбы с войной, тем не менее, считал, что в демократическом мире дело должно ограничиваться словесной войной, войной идей, и не переходить в кулачные битвы. «Оставьте убийства. Начинайте доказывать», — советовал он лидерам Ирландской республиканской партии Шинн Фейн в 1920 году. Он отдавал себе отчет: чтобы добиться своего, иной раз приходиться прибегать к жестким методам, и очень часто это не очень привлекательные методы. Надо уметь нападать и обвинять противников, составлять заговоры и выстраивать интригу, чтобы победить их и добиться успеха. Но далее этого заходить нельзя, а Чемберлен пересек допустимую границу, перешагнув черту. Еще один печальный урок, который Уинстон извлек в эдвардианское время.

Методы, которые использовали против Ллойд-Джорджа, не только «отвратительны сами по себе» — объяснял он стороннику консервативной партии в Бирмингеме, но они также саморазрушительны. Меня охватывает дрожь при мысли, какой бы вред империи был нанесен в Южной Африке, если бы толпа покалечила или зверски убила Ллойд-Джорджа».

После случая в Бирмингеме Черчилль старался держаться на расстоянии от Чемберлена. На митинге консерваторов, который состоялся в начале января 1902 года, он не стал оправдывать Джо и его сторонников. Да, — соглашался он, — выступления Ллойд-Джорджа носят провокационный характер, но чтобы его опровергнуть, нет смысла прибегать к насилию. «Мы в состоянии, — продолжал он, — пролить свет на вопросы политики, не разбивая окон».

Это происшествие открыло ему глаза на все возраставшее

недовольство рядовых членов партии, их общее настроение за этот месяц повернулось от чувства удовлетворения к горькой обиде. Ошибки и поражения в войне вскрыли много слабых сторон в правительстве и едкая критика со стороны Ллойд-Джорджа и ему подобных подтачивала веру членов партии в свои силы. Черчилль чувствовал, как начинают колебаться их ряды. Через несколько недель после происшествия он сказал лорду Роузбери: «Состояние духа партии консерваторов весьма плачевное».

Да и планы на будущее не сулили Черчиллю ничего хорошего. Он причинил немало беспокойства Бальфуру, и вдруг обнаружил, что в лагере Чемберлена еще больше поводов для беспокойства, чем ему бы хотелось. Группа хулиганов оказалась еще более изолированной от остальных. Они не могли найти такого вопроса или проблемы, в которую им хотелось бы погрузиться с головой, а их независимый дух входил во все большее и большее противоречие с партией, которая начала выстраивать свои ряды в боевом порядке. Раздосадованный Черчилль ощущал, что он сам себя загнал в угол. В марте исполнилось два года с тех пор, как он стал членом парламента. Черчилль по этому поводу без всякого энтузиазма пошутил, что он «хворает молодостью и что он до безобразия независим».

Именно за это Чемберлен и сделал выговор Черчиллю и его хулиганам — за их юношескую, с его точки зрения, показную независимость. Это произошло в конце апреля, в четверг, когда хулиганы проголосовали против правительства по вопросу, связанному с редактором газеты в Южной Африке, которого выпустили из тюрьмы. Речь идет об Альберте Картрайте, которого обвиняли в клевете за то, что он, в свою очередь, обвинил лорда Китченера, приказавшего расстрелять заключенных. И теперь Картрайт хотел вернуться в Англию, чтобы изложить свою версию. Но представители власти в Южной Африке не давали ему этого разрешения. Они не имеют права препятствовать, гремел Черчилль во время споров, «он уже получил свое и отбыл срок, который ему назначили. Сейчас они не имеют право ему отказывать. Почему правительство должно бояться мистера Картрайта?»

Вопрос решился в пользу правительства, хулиганы все еще не могли отойти от охватившего их праведного гнева и продолжали обсуждать вопрос после того, как ушли и собрались вместе поужинать. Неожиданно к ним подошел Чемберлен.

«Вы замечательно выступили в палате, — сказал Чемберлен, подсаживаясь к ним за стол. — Надеюсь, вы получили удовольствие?».

Но Уинстон запомнил первую фразу, сказанную Джо: «Кажется, я ужинаю с «плохой компанией»?»

Как всегда, в минуты гнева, Чемберлен начинал говорить особенно мягким голосом. Это неизменно начинало раздражать противников Джо. «Его голос становится как шелк — гладкий и свистящий, — описал журналист эту манеру говорить, — когда речь заходит о жизненно важных вещах».

«Мало толку поддерживать правительство только тогда, когда оно поступает правильно, — заявил он. — Или вам просто нравится подкалывать его, чтобы добиться своей цели?»

Молодые хулиганы попытались объяснить свои действия, но Чемберлена вообще-то мало волновал Картрайт. Ему хотелось выяснить, намереваются ли хулиганы и дальше оставаться колючкой в заду правительства. Есть ли какой-то способ направить их энергию в другую сторону? «Есть ли у вашей шатии-братии хоть какие-то принципы, — а если есть, то в чем их суть?»

Прямой вопрос, заданный в лоб, вызвал некоторое смятение в рядах хулиганов. В тот момент с ними был аристократ — граф Перси — он-то и попытался дать внятный ответ бирмингемскому боссу. Стараясь расставить все точки и объяснить, почему их так беспокоит эта ситуация: Хью Сесилл озабочен моральной и духовной стороной, Уинстон хотел бы избавить правительство от ненужных трат, а его самого волнует положение на Среднем Востоке. «Наши принципы, — объяснил он Чемберлену, — честность, ясность, трезвая скупость и Персидский залив».

«Понимаю, — ответил Джо, скептически разглядывая их сквозь моноколь, — а мне представляется, что это личные амбиции». Поставив хулиганов на место, Джо расслабился и принялся за ужин, в своей обычной манере. Он не торопился, и разговор принял другое направление, когда он закурил сигару и начал потягивать по своей привычке любимый напиток — «смесь крепкого портера и шампанского».

К концу ужина он совсем размягчился и посоветовал хулиганам поразмышлять над своими поступками. «Вы устроили мне королевское угощение, а в ответ я вам открою сокровеннейшую тайну».

Свистящим шепотом, который усиливал впечатление, он проговорил: «ПОШЛИНЫ!»

Как запомнил один из хулиганов — Йэн Малкольм — Черчилль попросил уточнения. «Почему бы вам, юные борцы, не взять на себя заботу отстаивать действительно насущные вещи, как например, оберегать наш рынок против вторжения мирового сообщества и сохранять наши тесные взаимоотношения с колониями?» Хулиганы внимательно его выслушали, но ничего не

сказали в ответ. Но домой — после ужина, — все разошлись в хорошем расположении духа.

Совет, данный Джо, позволил определиться с тем, за что им бороться. Но на самом деле они пошли совсем не в том направлении, которое имел в виду Джо. Они направили оружие против него. В скором времени между ними вспыхнет ожесточенная схватка. И Черчилль покажет, на что он способен.

То, что, как считал Чемберлен, ему удалось выяснить относительно пошлин — было золотым ключиком Британской империи. Он был убежден, что стоит повернуть этот ключик — установить высокие пошлины, — и это сразу защитит рынок от вторжения иностранцев. Экономический союз должен стать и политическим союзом, а затем он станет могучей основой создания «Имперской федерации», как он это именовал, — подобно Соединенным Штатам Британии, управляемой имперским парламентом, который бы представлял Англию, Шотландию, Уэльс, Ирландию, Канаду, Австралию и другие важные государства. «Отпрыски Британии со всего мира, — пояснил он министерству торговли во время встречи в Ливерпуле, — должны встать плечом к плечу, отстаивая наши внутренние интересы и общие права».

Он мечтал стать кем-то вроде Джорджа Вашингтона в этой федерации, отцом империи следующего столетия, и может быть даже возглавить имперский парламент. Но это была очень непростая задача. Избирателей обычно интересовало, что они конкретно получат, и многие партии в палате общин отвергали предложения Джо. Они отдавали предпочтение свободному рынку и поставкам дешевой еды из-за рубежа. Экономический курс последней половины столетия соответствовал именно таким принципам, но Джо намеревался поколебать эти установки. Будучи излишне уверенным в полной поддержке бирмингемцев и в собственной власти в парламенте, он надеялся победить противников. Даже веяние смерти не могло отвлечь его от продвижения своих идей. Буквально через три месяца после «доверительного разговора, когда он поведал о своей тайне» хулиганам, Джо ехал по Уайтхоллу в двухколесном экипаже, когда лошадь споткнулась. Разбив стекло, он вылетел вперед. Страшная рана на лбу обнажила кость. Он потерял пинту крови, прежде чем врачи больницы Чаринг-Кросс смогли зашить рану. Это произошло в понедельник 7 июля 1902 года, за день до того, как ему исполнилось шестьдесят шесть лет. Потрясение для организма было сильным, врачи настояли на том, чтобы он оставался в постели — сначала в больнице, а затем в лондонском

доме.

Прописанный ему постельный режим давал возможность Джо хорошенько взвесить будущие планы, но когда в августе он вернулся к своим обычным обязанностям, его имперские мечты ничуть не угасли. Ему оставалось только выбрать правильное место и время, чтобы провозгласить свои грандиозные намерения на публике.

Но пока Чемберлен приходил в себя после падения, а его последователи ожидали его выздоровления, лорд Солсбери и его племянник Бальфур решили использовать образовавшуюся паузу для больших перемен. В парламенте живо обсуждали слух о том, что из-за ухудшения состояния здоровья Солбери вскоре оставит свой пост. Даже король Эдуард беспокоился, что премьер-министр больше не может исполнять свой долг. Он даже подарил лорду Солбсери свою новую фотографию, но тот, долго разглядывая ее, так и не смог распознать, кто на ней изображен. «Бедный старина Буллер, — сказал он королю, хотя округлые мягкие черты лица Эдуарда VII мало чем напоминали генерала «Реверса» Буллера.

Солсбери все-таки подписал прошение об отставке, а его место премьер-министра занял Бальфур. Разумеется, Джозефу Чемберлену сообщили о предстоящей смене, и он заранее заручился согласием, что сохранит за собой прежний пост министра по делам колоний. То, что подвижки проводились в такой спешке, вызывало беспокойство «отеля Сесил». Их беспокоило, что Чемберлен воспользуется удобным моментом. Они никак не могли осознать, что Джо метит куда выше поста премьер-министра, и его жажда власти распространяется на огромную империю.

Чтобы убедить Джо и его семейство, что они будут по-прежнему оставаться в почете, Бальфур предложил Остину Чемберлену место министра связи. Перестановки коснулись и министра финансов, а еще один министерский пост получил член банды хулиганов — граф Перси. Черчиллю не предложили ничего. Он был вынужден просто наблюдать за тем, как Бальфур демонстрирует ему, насколько легко он может соблазнить любого члена этой небольшой группы. К концу лета новый премьер-министр крепко прибрал к рукам власть, и Черчилль окончательно понял — ему тут ничего не светит, пора оставить бессмысленные нападки.

В это время он решил снова посетить Египет. Несколько лет назад подобная поездка по Нилу завершилась его книгой «Речная война». На этот раз он собирался добраться до Асуанской плотины — последнего чуда империи. Строительство этого гидротехнического сооружения длилось четыре года и обошлось в

чудовищную сумму. Плотина имела в длину более мили, однако, несмотря на все свое великолепие, она интересовала Черчилля меньше, чем компания, сопровождавшая его в поездке.

Уинстон путешествовал вместе с группой замечательных людей, возглавляемой сэром Эрнестом Касселем, блестящим финансистом, родившимся в Германии. Именно Кассель выделил два с половиной миллиона фунтов для строительства дамбы. И он же пригласил Черчилля быть гостем во время церемонии открытия плотины, намеченного на 10 декабря. Они покинули Англию 18 ноября. Поездка длилась почти полтора месяца. В группе приглашенных был также сэр Майкл Хикс-Бич — он принял отставку летом, проработав семь лет министром финансов. Отставка была вызвана его расхождениями с Чемберленом по поводу пошлин, хотя этот спор и не был обнародован. Черчилля привлекала возможность провести несколько недель в компании двух крупнейших финансистов королевства. Ни для кого не было секретом, что ближайшим советником по финансам у короля Эдуарда был именно Кассель.

Черчилль превратил поездку в ускоренный курс обучения предметам, которые в ближайшие годы встанут перед ним, а именно бюджету, пошлинам и росту экономики. Он был способен не только усвоить гигантский объем сведений, но и задавать правильные вопросы, вникая в суть проблемы. Мало кто из молодых людей смогли бы с такой пользой для себя провести эти несколько недель путешествия по Средиземному морю и по Нилу, как Уинстон, получивший, кроме того, немалое удовольствие от бесед со своими наставниками.

Вот таким образом он готовился к долгой борьбе с твердолобыми оппонентами, получая сведения из первых рук от людей, намного старше его и которыми восхищались очень многие. Теперь линия нападения вырисовалась достаточно ясно. И он знал, что бросит вызов. «Нет смысла, — писал он в ноябре, — окружать империю кольцом… Почему мы должны отказывать себе в хороших товарах и выгодных сделках, которые совершаются во всем мире?»

Отметив свой 28-й день рождения, Черчилль отправил матери из Каира послание с добрыми вестями. Он писал, что сэр Майкл Хикс-Бич и по сей день обладает большими связями. «Я наслаждаюсь беседами с ним. Он хороший друг, настоящий товарищ, мы сходимся с ним по всем политическим вопросам… и я предвижу те возможности, которые открывает наше с ним сотрудничество».

Для полного равновесия, вернувшись домой, Уинстон получил подробную консультацию еще и у сэра Фрэнсиса Моуэтта

— постоянного секретаря казначейства. Фрэнсис занимал этот пост так давно, что выступал советником по финансовым вопросам как для Дизраэли, так и для Гладстона. «Это был друг, которого я получил в наследство от отца», — скажет позже Черчилль о сэре Фрэнсисе. И в самом деле, три взрослых человека, которые помогли ему подготовиться к битве с протекционистской политикой Чемберлена — были друзья лорда Рэндольфа. Они с удовольствием следили за тем, как сын их покойного друга поднимает в парламенте и в прессе один вопрос за другим, возбуждая внимание публики. И теперь они сами были свидетелями того, как отважно бросается сын сэра Рэндольфа в водоворот новых сведений, с какой жадностью поглощает новые знания. «Я изучил экономику за восемь недель!» — скажет впоследствии Черчилль, и это будет истинной правдой. Поездка стала его университетом.

Еще одним стимулом для столь быстрого усвоения материала для Уинстона был и эмоциональный настрой сэра Фрэнсиса. Недавно уйдя в отставку, Моуэтт с ностальгией вспоминал о том коротком, но насыщенном событиями периоде 1880-х годов, когда Рэндольф исполнял обязанности министра казначейства. «Ему нравилось говорить со мной про лорда Рэндольфа, — вспоминал Черчилль, пересказывая их разговоры. — Как быстро отец усвоил принципы управления общественными финансами… Как последовательно он отстаивал общественные интересы в вопросах экономики и бился за вопросы сокращения вооружения. И каким он был забавным и остроумным».

Кипучая энергия в те дни настолько переполняла Уинстона, что, осознавая историческое значение предстоящей схватки с Чемберленом, он решил приступить к написанию биографии своего отца. Несколько месяцев он собирал сведения о лорде Рэндольфе, отыскивая неизвестные ему биографические факты. А приступил он к этому как раз во время поездки к Асуану. И Эрнест Кассель и Майкл Хикс-Бич были счастливы поделиться с ним воспоминаниями, заполняя белые пятна в записях. С собой в путешествие Уинстон взял большой жестяной чемодан с отделениями для карандашей, бумаг, различных бумаг и книг. Поднявшись рано утром или улучив более-менее свободную минуту днем, он тотчас начинал работу над биографией.

«Книга продвигается вперед», — уверял он мать в письме, написанном на палубе парохода, принадлежавшего Касселю. Оттуда, с палубы он и смотрел на Асуан. В тот день Уинстон остался в одиночестве на целый день. Остальные ушли смотреть плотину. А он воспользовался тем, что сможет основательно поработать в тишине и спокойствии, время от времени бросая

взгляд на пейзаж, свидетельствующий о тех временах, когда древняя египетская цивилизация, достигнув расцвета, исчезла с лица земли.

VI. Великий раскол

Одним из его наставников, еще тех времен, когда Черчилль только начал публиковаться в газетах, был Герберт Вивиан — привлекательный и хорошо образованный человек, выпускник Кэмбриджа, который намеревался рано или поздно начать карьеру политика. В начале 1900-х годов он всякий раз искал встречи с Черчиллем, чтобы послушать последние парламентские сплетни или получить совет в том или ином деле, и, как он потом вспоминал, всякий раз заставал Уинстона в хорошем, даже шутливом настроении. Но когда Вивиан забежал в лондонскую квартиру Черчилля в мае 1903 года, то, к своему большому удивлению, застал ее обитателя чрезвычайно озабоченным: Уинстон шагал из угла в угол, нахмурив брови и теребя цепочку карманных часов на поясе.

Герберт еще не успел просмотреть утренние газеты, а именно там скрывался ответ на внезапную перемену в настроении друга. На всех первых полосах была напечатана главная речь Джозефа Чемберлена, которую он произнес накануне в Бирмингеме.

Могущественный министр по делам колоний, наконец, дал себе волю и открыто объявил о политике протекционизма, призывая утвердить закон, который бы объединил экономические силы империи, что позволило бы ей выдержать натиск конкуренции со стороны соперников. Он выступал в здании городской ратуши ночью 15 мая, и его встретили исполнением на органе пьесы «Смотрите, идет герой-победитель». Чемберлен нарисовал перед слушателями картину небывалого расцвета в тесном имперском кругу содружества нескольких стран — «самостоятельных и самоокупающихся». Новая эра наступит, как уверял он, как только будут сформированы пошлинные сборы — могучая сила, которая даст особые привилегии членам содружества. Как объяснял Джо, эти имперские льготы уже давно назрели, и необходимо было ввести их намного раньше! Толпа, слушавшая его, восторженно и одобрительно загудела.

Все утро Черчилль не мог избавиться от того впечатления, которое на него произвела речь Джо. Повернувшись, наконец, к Герберту Вивиану, он проговорил: «Что ж, теперь политика становится по-настоящему волнующим делом».

И когда Вивиан спросил, окажется ли метод Чемберлена действенным, Уинстон, не колеблясь, ответил отрицательно. «Он совершил страшный промах, и не представляет всех последствий. Думаю, что настал крах его карьеры… Страна никогда не проголосует за налог на продукты, а без такого налога система

протекционизма не сработает».

«И что же ты будешь делать?» — спросил Герберт.

«Сражаться, — коротко ответил Черчилль.

Кровь у него вскипела, и он принялся кричать, словно обращался к толпе. «Я буду разоблачать его с каждой трибуны, мы будем противостоять как противостояли бы холере или чуме… Надо сопротивляться. Настал самый опасный кризисный момент в истории, в истории нашей страны».

Черчилль выискивал удачный момент, чтобы продвинуться вперед, и Чемберлен дал ему этот шанс. Министр иностранных дел не хотел, чтобы хулиганы путались у него под ногами, когда речь шла, по сути, о достаточно незначительных расхождениях. Но вопрос о пошлинах — это была тема огромной важности, касавшаяся как внутренних дел страны, так и взаимоотношений с иностранными державами. Чем больше Уинстон вдумывался, тем отчетливее вырисовывалась общая картина. В Англии это приведет к удорожанию жизни для обычных людей, а в международном сообществе это может вызывать экономические конфликты, которые легко перейдут в войну.

Всю неделю после речи Чемберлена, в публичных выступлениях Черчилль предупреждал, насколько опасно будет принять предложение министра колоний. Он доказывал, что если мы ценим нашу империю, то при этом «не должны забывать о насущных потребностях собственного населения страны и рабочего класса, а также реальных источниках благосостояния нации». Предупреждал Уинстон и об осложнениях с другими государствами. «У меня совершенно нет желания жить в замкнутой на себе стране, — писал он 20 мая. — Намного лучше, когда все страны во всем мире зависят друг от друга, чем когда они независимы друг от друга. Это способствует поддержанию мира на земле». (Что было продолжением давних утверждений либералов: «Если товары не могут пересечь государственные границы, это делают войска».)

Профаны могли, конечно, считать, что в этом противостоянии выиграет Джо. В конце концов, поддержка со стороны Бирмингема была огромной, а сторонников Черчилля можно было пересчитать по пальцам. К тому же официальный пост Чемберлена предоставлял ему власть и влияние, и среди политиков все еще чрезвычайно ценились возраст и опыт. Джо имел полную возможность разделаться с молодым человеком, который всего два года занимал место заднескамеечника в парламенте. Однако Уинстон оказался прав. Старик совершил грубый промах. Черчилль попал в самую точку. Политика протекционизма, которую проводил Чемберлен, подтачивала

правительство изнутри и оживила либеральную оппозицию.

Все лидеры либералов обрадовались — все одинаково отреагировали на речь Джо в Бирмингеме. Герберт Асквит, прочитав отчет в «Таймс», так же, как и Черчилль, понял: отказ от свободной торговли станет крушением министра колоний. Более того, это вызовет и падение правительства. С торжествующим видом размахивая номером «Таймс», он сказал своей жене Марго: «Какая чудесная новость… теперь вопрос времени, когда мы устроим чистку в стране». Точно так же Ллойд-Джордж ощутил дыхание победы: «День, когда господству Чемберлена в британской политике придет конец, близок как никогда, а следом за этим наступит и конец его карьеры».

Несмотря на готовность Уинстона отправиться в крестовый поход против политики протекционизма, Чемберлен пока еще оставался недоступной мишенью для нападок — он начал прощупывать вопрос о том, кто из членов кабинета присоединится к нему. И вот тут Джо понял, — с большим опозданием, — что многие его коллеги отдают предпочтение свободной торговле. А если страна проголосует против, то и кабинет будет вынужден сделать это. Н видя перевеса в свою пользу, он начал убеждать Бальфура следовать этим курсом.

Но премьер-миистр был таким мастером уходить от ответов, какого еще свет не видывал. Черчилль как-то выразился по поводу увертливости Бальфура, что тот ведет себя «как огромный изящный кот, который, переходя грязную улицу, пытается не испачкать лап». Несколько запутанных высказываний Бальфура, последовавших одно за другим, были настолько невнятны, что расшифровать, какую же позицию он занимает в этом вопросе, было невозможно. Когда в конце мая Черчилль потребовал от него прямого ответа, Бальфур опять попытался уклониться и заявил, что пошлины — всего лишь побочное явление «налогового объединения с колониями». Более того, он столь ловко уходил от ответа, что ему хватило наглости сказать «никогда не подозревал, что Чемберлен выступает за протекционизм».

Подобная неискренность раздражала Черчилля, и в этом настроении он пребывал все жаркие июльские и августовские дни. Первым делом он принялся обрабатывать членов палаты общин, убеждая их выступить единым фронтом против Чемберлена, который за их спинами уже начал запускать свою программу, уходя в то же время от прямых дебатов в парламенте. А затем он обрушился на Бальфура, говоря, что нельзя сидеть на двух стульях и настал момент, когда тот должен встать на одну

из сторон. Тщательно отточив свои стрелы, он выступил против Бальфура, критикуя его лицемерную и унизительную тактику уклонения. И предупреждал премьер-министра, что добром это для него не кончится — вскоре он сам осознает всю беспомощность своего поведения. В этот момент Бальфур перебил его, попросив не беспокоиться о его будущем. «У меня все будет хорошо», — сказал он, обращаясь к присутствующим в своем как обычно любезном тоне.

Но стрелы попали в цель. Чемберлен почувствовал себя преданным. Ему представлялось, что после тех дружеских отношений, которые установились у него и Черчилля, со стороны молодого политика нечестно столь яростно нападать на его программу. Для Джо верность в отношениях казалась самым главным. И он постарался сделать все, чтобы дать это понять Уинстону — ведь Джо оказывал ему поддержку, чтобы тот прошел в парламент. Встретив молодого человека в коридоре, по пути в комнату дебатов, Джо выдержал долгую паузу, чтобы посмотреть на своего прежнего друга таким взглядом, которые не забываются. В письме к Дженни Уинстон писал: «Это был особенный взгляд, полный упрека, словно он хотел сказать: «Как ты мог оставить меня?!»

Своей матери Черчилль признавался, насколько искренне его огорчает то, что их пути разошлись. Он все еще продолжал восхищаться старым политиком, но будущее волновало его больше, чем прошлое. И Черчилль хорошо отдавал себе отчет, на какой скользкий путь встал Джо. Он даже написал письмо старому другу, в котором признался, как сильно сожалеет, что их представления о политике оказались диаметрально противоположными, и высказал надежду, что Джо сумеет объяснить, чем вызван его упрекающий взгляд на Уинстона при их встрече в коридоре.

Ответ пришел незамедлительно. Джо извинялся и в то же время в завуалированной форме упрекал Уинстона. Объясняя тот взгляд в коридоре, он писал: «Боюсь, что это моя вина, но на самом деле я не питаю злобы к политическим противникам». Чемберлен даже пытался убедить своего молодого однопартийца, что никогда не ждал от него абсолютной преданности, но, похоже, Черчилль зашел слишком далеко в своих нападках на главу партии. И Джо выразил надежду, что Уинстон вскоре перекочует в лагерь либералов. Конечно, он не высказывал прямого сожаления, что ему обидно терять такого союзника в своих рядах, но дал понять, насколько ему неприятны жалящие выпады красноречивого Черчилля.

«Неужели столь необходимо, — писал он, — позволять себе

нападки на личность в своих речах? Можно сколько угодно подробно разбирать политическую сторону дела, не обвиняя автора этих идей во всякого рода преступлениях?»

Уинстон бы и принял это предостережение близко к сердцу, если бы сам Чемберлен не преступил черту и за несколько дней до того не насмехался бы над ним в парламенте. Джо выставил его неглубоким, мелким молодым политиком, не способным придерживаться какого-то одного направления, и поэтому доверять его словам не стоит. И призывал членов кабинета «не слишком полагаться на сказанное моим достопочтенным другом», при этом сослался на свой горький опыт, когда Черчилль отверг руку дружбы. «Вспоминаю те времена, когда мой достопочтенный друг только появился в парламенте, и я постарался сделать все возможное, чтобы смягчить шероховатости, неизбежные, когда молодой человек делает первые шаги. Помню, как в момент наивысшего энтузиазма, он давал понять, что готов сформировать собственную партию и собственное правительство и ждал поддержки в этом направлении.

Однако не успел Чемберлен подвести черту под самым крепким ударом, который он мог нанести Черчиллю, как кто-то из членов парламента выкрикнул: «А как насчет вас? Кто изменился сильнее?» Оппозиционер тем самым напоминал Джо, как тот не в столь отдаленные времена в вопросе гомруля (внутреннего самоуправления Ирландии) [13] точно так же повел себя с либералами, и его можно обвинить в том же самом, в чем он обвиняет Черчилля.

После этого поднялся такой невообразимый шум и гам, который унялся только после того, как членов парламента несколько раз призвали к порядку. Получив возможность продолжить, наконец, свое выступление, Чемберлен предупредил Черчилля об опасности устраивать митинги против протекционизма в больших промышленных городах, поскольку те поддерживают это направление, в особенности, если он намеревается посетить Бирмингем. «Кстати, о Бирмингеме!» — воскликнул Джо, как если бы мысль о том, что Уинстон надумает поехать туда, только что случайно появилась у него в голове. Это был его излюбленный маневр и тонко замаскированный вызов. Критиковать Джо в стенах парламента легко, а вот попробуй хоть кто-то из оппонентов осмелиться сказать хотя бы половину из своих речей в Бирмингеме. И поскольку Чемберлен ясно давал понять, что вряд ли Черчилль решится на такую поездку, тот поднял перчатку. Если Ллойд-Джордж отважился выступить там, то почему он не способен рискнуть? С этого момента в программе его выступлений и замаячила поездка в Бирмингем.

* * *

В самый разгар выступлений против протекционизма Черчилль случайно познакомился с женщиной, у которой когда-то был любовный роман с Джо Чемберленом. Восьмого июля Уинстон ужинал с видным руководителем фабианского движения Сиднеем Уэббом и его женой Беатрис. Они излагали свой план социальных преобразований — Уэббы вербовали на свою сторону всех и везде, где только можно, — и им хотелось понять, насколько Черчилль мог бы быть им полезен. В то время Беатрис была уже зрелой дамой, но в молодости — в двадцать лет, — она увлеклась Джо, несмотря на их двадцатилетнюю разницу в возрасте.

Они встретились в 1880 году, когда он еще был радикалом, и она влюбилась в него, в эту сильную личность, пока не пережила на собственном опыте, какая это сильная личность. Дважды вдовец (его жены умерли при родах), он как раз искал следующую подругу жизни, и наметил, какими качествами она должна обладать. «Главное, чтобы она полностью придерживалась моих взглядов, — признался он Беатрис. — Мне будет нестерпимо слышать ее возражения».

Не желая подчиняться ему во всем, она разорвала отношения. Личность, что открылась ей, оказалась не столь уж привлекательной, какой казалась внешне. «По складу характера, — пояснила она, — Джо энтузиаст и деспот… Следуя своим порывам, он со всей страстью будет крушить тех, кто не согласен с ним, пока не бросит их, сломленных и подавленных, к своим ногам». За ужином они обсудили и предстоящие споры с Чемберленом. Похоже, что ее былое увлечение никак не сказывалось на ее нынешнем отношении к Чемберлену. Болезненную рану она залечила, выйдя замуж за Сиднея Уэбба — видимо, ее привлекло в нем то, что он был полной противоположностью Джо — даже внешне: невысокий, неряшливый интеллектуал с узенькими плечиками. Когда Сидней во время ухаживания подарил ей свою фотографию, она воскликнула: «О нет, милый. Я не буду на нее смотреть — это так ужасно! Меня привлекает только твой ум! Вот за него я и выйду замуж». Семейная жизнь с Сиднеем протекала совершенно независимо, он выковал в ней такую рассудочность, что во время ужина она изучала Черчилля так, словно перед ней был некий новый объект для анатомирования. Ее самостоятельность и способность анализировать не оттолкнули Черчилля, в отличие от Чемберлена. Но тот портрет Уинстона, что она набросала в своем дневнике, выглядит скорее непривлекательным для нее —

зрелой и опытной женщины. С ее точки зрения, он был слишком пылким, эгоистичным и незрелым.

Она также сочла, что он чем-то напоминает «американских аферистов», хотя и принадлежит к числу английских аристократов, а преуспевающие американцы раздражали ее. (Может быть, еще и из-за того, что Джо выбрал третьей женой дочь военного министра из администрации президента Гровера Кливленда — Мэри Эндикотт из Салема, штат Массачусетс. Джо шутливо называл ее «пуританская дева». Особого восхищения у Беатрис эта женщина не вызывала, но она признавала, что при всей ограниченности натуры, Мэри была сердечным человеком.)

Через некоторое время после состоявшегося ужина миссис Уэбб написала Черчиллю дружескую записку и порекомендовала для чтения кое-какие книги по вопросам свободы торговли. Она старалась не придавать значения тому внутреннему ощущению, которое у нее сложилось после встречи. Беатрис сочла, что вряд ли Черчилля заинтересует ее книга. Приверженец методов статистики и абстрактных теорий, она хотела проявить терпимость по отношению к Черчиллю, ведь он мог способствовать продвижению столь дорогой ее сердцу программы соцобеспечения. Но она сильно сомневалась, что у него это получится. И интеллектуальный потенциал молодого политика не показался ей очень богатым, но в особенности ее настораживали некоторые личные качества Уинстона.

«Первое впечатление, — написала она про Черчилля в своем дневнике, — нетерпимый, полностью неспособный к постоянному упорному труду, эгоистичный, самоуверенный до наглости, с поверхностным умом, реакционер, но наделен личным магнетизмом, большой отвагой и оригинальностью, не в смысле интеллекта, а в отношении характера… Говорит исключительно о себе… Не ссылается на труды ученых… Но его кураж, пылкость и изобретательность, а также традиции могут выдвинуть его далеко вперед».

Только в сентябре Черчилль почувствовал, что начался прилив негативного отношения к идеям Чемберлена. В начале месяца просачивались только слухи о том, что кабинет безнадежно раскололся и что переворот неизбежен. Из всех партий только небольшая часть разделяла взгляды Джо, но еще меньшее число готовы были выступить с критикой. В какую бы сторону ни бросал взгляд Джо, везде он видел представителей партий, сидевших сложа руки. «Подходит момент, когда каждый должен обозначить свои позиции, — призывал он. — И я должен знать, на кого могу положиться». Но какие бы старания не

прилагал Чемберлен, ему никак не удавалось добиться полной поддержки кабинета.

11 сентября Уинстон написал матери, что «Джи Си полностью разбит» [14]. А неделю спустя Чемберлен вышел в отставку. Так завершилось его восьмилетняя деятельность министра по делам колоний. Сообщение оказалось весьма некстати, поскольку последовало почти сразу за смертью (в августе) лорда Солсбери — через год после того, как тот стал премьер-министром. И Солсбери и Чемберлен очень долго считались неотъемлемой частью правительства, и сразу смириться с мыслью, что один из них умер, а другого свергли, было довольно трудно.

Джо собирал свои бумаги, прежде чем покинуть кабинет, несколько дней и при этом не выглядел как человек, которого прилюдно высекли. Он и в самом деле думал, что его уход временный — и вскоре он вернется, как только у него получится завершить свою мечту о едином Союзе всех колоний и что задуманное будет легче проверить «со стороны», а не внутри правительства. А Черчилль был убежден, что эра Чемберлена закончилась, и ему уже не подняться, но готов был сражаться и далее до тех пор, пока полностью не добьет противника.

Чтобы ускорить конец, как понимал Уинстон, ему надо бой дать на территории Чемберлена. Один из хулиганов храбро согласился сопровождать Уинстона в его ноябрьской поездке в Бирмингем. Это был лорд Хью Сесил. Ему нравились «дохлые номера», и он считал, что поездка в Бирмингем — абсолютно провальное дело. Конечно, Черчилль осознавал, что его друг находит в поражении «меланхолическое удовлетворение». Однако это только подогревало его чувство юмора, которое он изливал на брата Хью: «Поищи для него более интересное предложение до того, как мы уедем в Бирмингем. А то ты можешь его больше не увидеть».

Местные спонсоры и организаторы митинга готовились к немалым трудностям. Один из делегатов, который принимал участие в этих встречах, сделал заявление прессе: «Нам ни к чему беспорядки, но вполне возможно, что митингу не дадут завершиться». За день до начала встречи на улицах появились специально нанятые головорезы. Надев на себя двойные плакаты-«сэндвичи» с текстами, призывающими рабочих объединиться, они устраивали шествия, чтобы продемонстрировать, насколько опасно противостоять Джо.

Чтобы не повторилась такая же история, как и с выступлением Ллойд-Джорджа, главный констебль выделил сотню полицейских, они должны были поддерживать порядок. Черчилль поинтересовался у Джона Морли — одного из давних

друзей Чемберлена, — неужели планируется еще одно нападение толпы? Ответ прозвучал неутешительно. Хотя, по мнению Морли, подобное насилие выглядит ужасно, он уверен, что ничего не будет сделано, пока Джо не сочтет это нужным.

Политический мир затаил дыхание, ожидая, как поведут себя сторонники Джо. Одно дело пощипать перья Ллойд-Джорджу — все еще малоизвестному политику. Но какое наказание последует, если подстрекатели причинят вред Черчиллю — герою Бурской войны или лорду Хью — сыну недавно умершего премьер-министра. Ставки подскочили еще выше, когда в последнюю минуту к двум хулиганам — представителям парламента, присоединился еще один человек. То была Дженни. Не желая оставлять сына наедине с толпой, Дженни приехала в Бирмингем, чтобы встать на сцене рядом с Уинстоном и Хью. Ее появление накалило интригу. Одна из газет заметила накануне митинга: «Сегодня вечером мы ожидаем невероятного».

11 ноября в семь часов вечера толпа протестующих окружила здание городской ратуши. Их собралось более четырех тысяч человек. Полицейские вытянулись цепочкой за баррикадами, чтобы ни один человек без билета не проник в зал. Толпа напирала, предпринимая новые и новые попытки прорваться, но их отбрасывали назад. Разозлившись, кто-то швырнул камни в окна. Стекла посыпались на землю. Остальные все же, подавшись назад, старались произвести как можно больше шума. Они выкрикивали слоганы и пели патриотические песни.

В зале собралось около четырех тысяч сочувствующих. Когда Уинстон и Хью поднялись на сцену, большая часть аудитории встретила их появление ликующими возгласами, размахивая шляпами и носовыми платками.

В самом начале речи некие критиканы («иронично настроенные джентльмены», как отозвались о них в газетах) несколько раз пытались перебить его, но Уинстон сразу выбрал очень верный тон. Он очень уважительно отозвался о Чемберлене, а его спокойный негромкий голос сразу подействовал успокоительно на присутствующих. И хотя шум за стенами не умолкал, постоянно напоминая о возможной опасности, Черчилль не выказывал никаких признаков волнения.

«Сегодня вечером я пришел сюда не для того, чтобы сказать что-то недоброе в чей-либо адрес, — объяснил он сидящим в зале. — Я пришел, чтобы разъяснить, насколько это мне удастся, две важные вещи, и обе они представляют глубокий интерес для Бирмингема. Это вопрос свободной торговли и еще более важный вопрос о свободе слова». Он не стал разоблачать планы Джо относительно протекционизма и вдаваться в технические

подробности дискуссии. Вместо этого Уинстон развернул перед присутствующими более широкую картину, объясняя, что крепкие моральные обязательства скрепляют империю крепче, чем экономические и военные интересы. Он высказывался так, как сам видит это, ссылаясь на свой опыт солдата и корреспондента, побывавшего в далеких краях, наделив империализм романтическими чертами — как силы, что объединяет людей для их общего блага. Какой бы ни была реальность на самом деле, Черчилль представил свой образ империи, которая отличалась от той, расчетливой, что намеревался выстроить Чемберлен. Волнующая яркость этой картины завораживала публику.

«Я достаточно повидал и в мирное и в военное время на границах империи, — говорил он, — чтобы понять, что Британия занимает и еще долго будет занимать ведущее место во всем мире. Но если эта сила будет опираться только на материальные основания, она не продержится и месяца. Сила и величие нашего авторитета опираются не на физическую мощь, но кроются в ее моральной ответственности, свободе, законах, английской терпимости, и английской честности… Вот вокруг чего мы, верные подданные короля, должны сплотиться и стоять нерушимым кругом в будущем, как делали это в прошлом».

Дэвид Ллойд-Джордж получил жесткий отпор в Бирмингеме не столько потому, что противостоял Чемберлену, не столько потому, что выступал против Бурской войны, а по той причине, что его высказывания выглядели непатриотичными. Уинстон, напротив, взывал именно к чувству патриотизма. Уже только по этой причине сторонникам Джо было трудно демонизировать его. За пределами здания толпа все еще бушевала и негодовала, но когда он закончил говорить, те, кто пришел в зал выступить против него, хранили полное молчание. Аплодисменты были оглушительными, как писали газетчики в своих отчетах, когда Черчилль закончил.

Они также написали, что на глаза Дженни навернулись слезы. Ее сын поступил как храбрец. И справился с поставленной перед собой задачей лучше, чем можно было представить. Она гордилась тем, что в эту минуту стояла рядом с ними на сцене и могла разделить торжество победы. Про его подвиги на реальных полях сражений она могла только читать, но сегодня она смогла воочию на поле политической битвы убедиться, что в жилах ее сына течет та же семейная отвага, что воодушевляла его предков. Благодаря мерам, принятым местными констеблями, и тому, что протестующие уже успели успокоиться, Дженни, Уинстон и Хью смогли спокойно покинуть здание ратуши и вернуться в Лондон. Это был унизительный момент для Чемберлена, ведь Уинстон

смог переиграть его и нанести удар в самом сердце личной империи Джо.

Про лорда Хью Сесила, который вообще-то не отличался храбростью, в газетах отдельно написали, отметив, что перед лицом опасности он выказал удивительную стойкость. Хью выступил сразу после Уинстона. Газета «Дейли Миррор» не упустила возможности откликнуться на его удивительную политическую храбрость. «Мы не сомневаемся, что ему грозила нешуточная опасность. Ведь у всех в памяти сохранился тот случай, что произошел с мистером Ллойд-Джорджем в столице центрального графства Великобритании, — писали в «Миррор». — Но ему было что сказать в Бирмингеме, поэтому соображения личного дискомфорта не могли остановить его».

Черчилля чрезвычайно заботила мысль о том, что он находится в состоянии войны с Джо. Он размышлял об этом противостоянии несколько месяцев. И в начале лета, сидя на балконе здания палаты общин, Уинстон признался в своих чувствах в интервью журналисту и социальному реформатору Гарольду Бегби: «Можете ли вы сказать, что политика для вас — это все?» — спросил он.

«Политика, — ответил Черчилль, — захватывает, как и война, и столь же опасная штука».

Имея в виду новейшие виды оружия, которые поражают воюющих с дальнего расстояния, Бегби уточнил: «Даже учитывая появление нарезных винтовок?»

«Да, на войне вас могут убить только один раз, — сказал Черчилль, — а в политических битвах — многократно».

В ходе интервью Бегби пришел к выводу, что Черчилль строил свою карьеру, бросаясь в гущу многих смертельных схваток, и хотя для других проигранные бои могли обернуться катастрофой, сам он был уверен, что сможет подняться снова. Фактически Черчилль был уже готов признать, что раз уж он состоит в партии тори и, по его собственному утверждению, не желает покидать ее, в вопросе свободы торговли можно добиться победы, но ужасной ценой для партии. Он предсказывал «коллапс… худший, чем все те, что случались после 1832 года».

Тогда зачем надо оставаться в рядах партии, если вы ожидаете ее крушения? — попросил уточнить Бегби.

Вопрос заставил юного члена парламента собраться с духом и признать, что он рассматривает свое противостояние Чемберлену не только в контексте экономики и политики, но и как борьбу за будущее всей партии тори.

«Я тори, — сказал Черчилль, — и в партии у меня столько же

прав, как и у любого другого члена, во всяком случае, столько же прав, сколько и у людей из Бирмингема. И я не считаю нужным покидать свою партию из-за них».

Слова Уинстона звучали так, как они прозвучат, когда он станет премьер-министром в свои шестьдесят лет: «Я останусь верным партии и буду бороться с реакционерами до последнего вздоха. В этом у меня нет ни малейшего сомнения».

Доводы Черчилля были столь убедительны, что Бегби после окончания ушел от него в уверенности, — он только что разговаривал с самым многообещающим молодым человеком в Европе. «Думается, уже сейчас я могу смело сказать — Уинстон станет одной из величайших фигур в политической истории». Как сказал один из друзей Черчилля: «Если вы оцените его будущее, оглянувшись на его прошлое, то поймете, что каждая из ступенек пройденного — это очередной шаг к трону».

Только одно препятствие существовало в его дальнейшем продвижении, с точки зрения Бегби, — количество врагов, которое он нажил за свою короткую политическую карьеру. Черчилль бросал вызов самым влиятельным людям и тем самым оставался незащищенным от нападений со всех сторон. «Приходится признать, — писал Бегби, — что мистера Черчилля ненавидят очень многие в обществе».

В тот самый момент, когда его значение в политическом мире резко возросло, Уинстон снова влюбился. И объектом его страсти стала женщина еще более обаятельная и еще более недоступная, чем Памела. Это была Этель Барримор, — в двадцать лет юная актриса стала звездой Бродвея. Она часто бывала в Британии. Несколько лет подряд она проводила лето с друзьями в Лондоне или в уединенных местах за городом. Она подружилась с Миллисент Сазерленд, которая питала надежду сыграть вместе с Этель на сцене ведущую роль.

Благодаря Миллисент Уинстон и познакомился с молодой женщиной в 1902 году, когда, как писал репортер «Нью-Йорк Таймс», Этель приехала в Лондон.

Он уже видел ее на сцене в представлении, которое исполнялось только один раз, в бродвейском хите, комедии «Морской кавалерист капитан Джинкс». Как признавался позже Уинстон, он влюбился в нее, как только она вышла на сцену. Да, Этель производила огромное впечатление на мужчин. В платье с глубоким вырезом, с цветком и сверкающими украшениями, она выглядела неотразимой. Увидев ее в первый раз, опытный путешественник Арнольд Лэндор написал про нее так, словно встретил нечто диковинное, никогда прежде им не виданное:

«восхитительное создание, с опасным выражением глаз, блестящими темными волосами и пленяющими манерами». Но Уинстона покорила не только ее внешность, но и голос, который он описывал как «мягкий, магнетический, соблазнительный».

Она появилась в Бленхейме и подружилась с Консуэло и Дженни. Следующее лето она провела во дворце как почетный гость Консуэло и часто виделась там с Уинстоном. Но, подобно Памеле, она оставалась неуловимой, переносясь в вихре светской жизни с одного приема на другой.

Всем хотелось встретиться с нею. По приглашению графини она бывала в замке Уорвик, посещала Асквита в их снятом на лето особняке в Шотландии, ужинала с лордом Роузбери, играла в бридж с Артуром Бальфуром, в Лондоне ее познакомили с известным денди, входившем в круг Оскара Уайлда, — Максом Бирбомом.

Как-то летним днем 1903 года Миллисент пригласила ее на ланч. Среди других приглашенных был Черчилль, брат Миллисент — лорд Рослин и американский писатель Генри Джеймс. «Милли совершила ошибку, — вспоминала Этель, — спросив у Джеймса, успел ли он утром прогуляться. «Да, — ответил он, — примерно на две с половиной страницы, не оставив промежутка для высказывания другим, без точек и запятых». Уинстон просто не мог вставить ни слова, чтобы привлечь внимание Этель.

Но когда она наконец заметила его, то ее заинтересовала его политическая деятельность. Она восхищалась хулиганами и их тактикой, которую она называла «необузданной». Театр политической жизни Британии привлекал ее, но она, похоже, была не в состоянии понять, с чем связаны «шум, буря и натиск» Черчилля, выступавшего против Чемберлена.

В письме Уинстону, отправленном из Нью-Йорка, она сообщала, видимо, в полной уверенности, что ему будет приятно узнать, что следит за политическими новостями из Британии. При этом стала хвалить совсем не того человека.

«Меня чрезвычайно интересуют те захватывающие вещи, что происходят в Англии, — восхищалась она. — Не могу не думать о том, что Джо — одна из наиболее ярких фигур нашего времени. И мне представляется речь Гладстона тоже очень знаменательной — это правда, что он имел успех?»

Для юной американки это было вполне простительно — считать, что раз Черчилль и Джо сидят на одних и тех же скамьях палаты общин в парламенте, значит, они должны идти рука об руку. Доводы Чемберлена по поводу «пошлины», которые он приводил в своей речи 6 октября 1903 года — столь длинные и

запутанные, что, видимо, Этель сочла, — будет проще, если она просто назовет их «блестящими». Уинстон не мог отмахнуться от такой ошибки. Он готов был посвятить сколько угодно часов для того, чтобы разъяснить ей суть вопроса и направить на путь истинный. В любом случае, он с огромным нетерпением ждал ее следующего приезда.

В свойственной ей очаровательной манере, она дала ему понять, что встреча их будет чрезвычайно важной. Но… она очень занята — на Бродвее идет новая пьеса, в которой она выступает. Однако она будет очень и очень скучать по Англии. Правда, она высказывала надежду на то, что получит главную роль в пьесе, которая намечена на конец весны. И подбадривала Уинстона просьбой не забывать ее. «Пишите чаще, дорогой Уинстон», — приказывала Этель.

Последняя часть их переписки не сохранилась, но она была многословной и страстной, потому что к ее следующему приезду в Лондон он уже собирался сделать ей предложение.

VII. Отступление

Война между Черчиллем и Чемберленом достигла самого пика в начале 1904 года. Генеральное сражение состоялось в четверг, в конце марта. Оппозиция потребовала от правительства устроить выборы, чтобы страна могла сказать свое слово по поводу свободной торговли. Настроенный самым критическим образом, Ллойд-Джордж доказывал: из-за того, что партия консерваторов никак не может решить вопрос с протекционизмом, это оттягивает решение и других насущных вопросов. И народ сам должен сделать выбор.

Глядя прямо на Бальфура, он насмешливо спросил, почему тот отказывается прояснить свою позицию и открыто высказаться, в какую сторону он склоняется. Премьер-министр, продолжал он, делает вид, что вся страна следует его примеру.

И тут со скамьи поднялся Черчилль. Глава кабинета понял, что сейчас тот, кто должен выступать на его стороне, тоже выскажется против. Как описывали репортеры, «лицо его исказилось от гнева». В этот момент премьер-министр, видимо, решил, что с него хватит! С несвойственной ему торопливостью, даже не оглянувшись, он покинул кабинет.

А затем произошло нечто невероятное — другие министры один за другим поднялись и вышли следом за своим начальником. За ними потянулись и заднескамеечники. Известный денди из партии тори, Уильям Бердетт-Коуттс, замедлил шаг и остановился в дверях, глядя на всех с настолько высокомерным видом, что оставшиеся разразились гневными возгласами. Только после этого он ушел. За несколько минут скамьи, на которых восседали члены правительства, опустели. Осталась только та часть представителей, которые выступали за свободную торговлю, и Уинстон, который все еще продолжал стоять, не понимая, как члены партии, к которой он принадлежал, могли так поступить. Тем не менее, он закончил свою речь, не щадя премьер-министра. Он был даже беспощаднее, чем Ллойд-Джордж. «Пришло время, — сказал он, обратившись к тем, кто остался сидеть, — когда страна должна наконец избавиться от уклончивой политики, люди имеют право знать, что представители власти думают на самом деле, и как они соблюдают важнейшие политические принципы».

Бальфура, покинувшего зал во время дебатов и тем самым нарушившего традиции парламента, осудили за этот поступок. Но в свойственной ему манере он не желал признать себя виноватым, утверждая, что это было вызвано необходимостью, — его

пригласил к себе канцлер казначейства, и он не собирался наносить оскорбление Черчиллю. Мало кто всерьез принял его попытку оправдаться. Одна из газет описывала уход премьер-министра скорее как побег школьника с урока, как демонстрацию слабости. «Спектейтор» утверждал, что подобного рода протест — попытка унизить мистера Черчилля, и упрекал представителей партии тори за то, что они отказываются вести честную игру с человеком, который «проявил храбрость и незаурядность».

Вместо того чтобы обвинить Чемберлена, — ведь раскол в партии произошел из-за его раздутых имперских планов, — Бальфур и другие сподвижники предпочли свалить все на Черчилля, а судьбу свободной торговли предоставить ее собственной судьбе. Конечно, Уинстон был упрям, но и Джо не уступал ему в этом. Хотя на самом деле требовалось не так уж много, чтобы приспособить взгляды Уинстона к взглядам партии и дать ему хотя бы возможность и некоторый стимул для этого. Тем более, что партии тори нужен был такой энергичный молодой боец, который не боится задавать неудобные вопросы. Но Бальфур был нерешителен, а Чемберлен нетерпим. Оба не дали себе труда задуматься, как наилучшим образом использовать таланты Черчилля. А он, в свою очередь, ясно понял, что не сможет оставаться в партии, пока эти двое возглавляют ее. Они создали невыносимую ситуацию: с одной стороны, позиции Джо все еще оставались сильными, его нельзя было просто проигнорировать, а с другой стороны, его доводы не были настолько сильны, чтобы он мог победить. Бальфур был наделен властью, но предпочитал увиливать вместо того, чтобы сделать выбор.

Несколько месяцев Черчилль размышлял о том, не выйти ли ему из партии. Осенью, в письме к Хью Сесилу, он изложил причины, побуждавшие его принять такое решение: «я устал изображать дружбу в партии, где дружбы не существует, и верность ее лидерам, смещения которых все жаждут». Он зашел еще дальше, заявив: «Ненавижу тори». Понимая, что его прямота заденет Хью, — слишком крепкими узами тот был связан с тори, — Уинстон не отправил письмо своему другу. Но к концу 1903 года он настолько ясно выразил свои чувства и мысли в публичных выступлениях, что Хью и сам понял, насколько близок Черчилль к тому, чтобы уйти из партии.

Сесил старался сделать все возможное, чтобы переубедить Уинстона: «… надо продолжать борьбу с Джей-Си, оставаясь в рядах партии, и выиграть, несмотря на тех, кто сомневается, кто медлит, перетянув на свою сторону тех, кто не столько придерживается идеи Джо, сколько пытается сохранить верность

партии». Хью хотелось, чтобы Уинстон и дальше выступал против Джо, но чтобы он при этом «говорил на языке консерваторов». Это означало, что Хью не понимал, сколь мало его друга заботит собственно язык консерваторов. Все его высказывания были сделаны на языке самого Черчилля. «Он на стороне своей собственной партии», — к такому выводу пришла газета «Скотсмэн» в марте 1904 года.

Вопрос заключался вот в чем: найдется ли такая партия, которая захочет предложить ему достаточно длинный поводок, чтобы тот не стеснял его движений. И все оставшееся время Черчилль взвешивал именно эту возможность. Одновременно он внушил Хью — своему лучшему другу, — столь глубочайшее отвращение к методам Джо, что тот уже не мог держать чувства при себе. И они вылились весной. После поездки в Бирмингем Сесил уже горел от нетерпения встретиться с Джо лицом к лицу и высказать все, что думает о нем. Это произошло на вечернем заседании партии, и страстность выступления поразила присутствовавших.

Чемберлен намеревался уйти с заседания, ему не хотелось выслушивать парламентские дебаты по вопросу протекционизма. Он предпочитал сам высказываться на эту тему на собственных вступлениях перед публикой, чтобы не втягивать Бальфура и других членов партии в противостояние. И тогда Хью Сессил, вытянув указательный палец в его сторону, заявил, что Джо ведет себя как трус, не желающий обсуждать вопрос вместе с остальными. Меньше всего присутствующие ожидали от лорда Хью, что он осмелиться выступить с такой прямотой против могущественного Джо. Однако Хью на этом не остановился. Он сказал, что Чемберлен больше всего напоминает ему Боба Эйкрса — шутовского персонажа пьесы восемнадцатого столетия «Соперники» Шеридана.

«К сожалению, получается так, что я вынужден сравнить нашего уважаемого друга, — сказал он, — с Бобом Эйкрсом из комедии, который проявляет храбрость везде, где может, но только не на поле боя. И наш уважаемый друг, как и этот герой, отступает в том случае, когда должен сразиться с противниками именно здесь, в парламенте. У героя Шеридана в таких случаях душа уходила в пятки».

Сравнение было остроумным, но унизительным. Оппоненты встретили его смехом, а друзья Джо негодующими криками. Сначала Чемберлен сделал вид, что это его нисколько не задело. «Стоило видеть лицо Чемберлена в тот момент, когда выступал Хью, — записал кто-то из газетчиков, сидевших на галерее для посетителей, — его лицо озарила широчайшая улыбка, и он повел

себя так, словно речь шла о незначительной шутке». Но когда настал его черед отвечать, он ударил со всей силой, умело используя наработанные за долгие годы приемы ораторского искусства. И презрительно бросил, что не Хью упрекать его в отсутствии храбрости. Если дело дойдет до рукопашной, он не уступит никому, с угрожающим видом закончил Джо.

Фамильная гордость, проснувшаяся в Сесиле не без влияния Уинстона, подтолкнула его выступить против такого соперника, как Джо, и вынудить его обороняться. Даже его кузена, премьер-министра Бальфура, смелость Хью застигла врасплох. Он не ожидал от него ничего подобного. И к концу заседания Бальфур счел нужным защитить члена своего кабинета, а также показать, что не разделяет критических взглядов Хью: «При всем остроумии злобных выпадов против мистера Чемберлена, которые я, к сожалению, слышал не раз, при всем том наборе обвинений, которые вываливали на него, пытаясь очернить, до сегодняшнего вечера мне не приходилось слышать — даже сказанного шепотом, — обвинения в том, что Джо не хватает храбрости».

Хью наивно полагал: коль он высказал то, что думает о противнике, теперь можно заняться другими делами, но Джо не забыл о том унижении, которое пережил в тот вечер. Он поклялся отомстить и начал вести кампанию против Хью в Гринвиче — его собственном избирательном округе. Уинстон предупреждал друга об опасности, говорил о том, что Джо непременно ответит ударом на удар любым доступным ему способом. «Не питай никаких иллюзий насчет того, что он способен сдаться», — писал он.

Работа требовала времени, но Джо бил в одну точку весь следующий год, и ему чуть было не удалось разрушить политическую карьеру Сесила. Своим сподвижникам Джо прямо сказал: «Уж лучше потерять двадцать мест, чем позволить лорду Хью пройти в парламент». Слишком поздно Хью осознал, что Джо собирается победить его на следующих выборах и не жалеет тратить на это по пятьдесят фунтов в день. Хью в самом деле проиграл в 1906 году со страшным отрывом и обрушился с обвинениями на Черчилля, в несколько экстравагантной манере обвиняя того в маккиавелиевских методах, что он использовал его, как это делали в эпоху Ренессанса, для достижения своих целей. Разумеется, Черчилль оправдывался. Он говорил, что у него и в мыслях не было воспользоваться услугами Хью, чтобы свалить могущественного Джо.

Со времени своего избрания в парламент Черчилль размышлял, как ему надо вести себя, чтобы выбиться в первые ряды, чтобы партийная дисциплина не связывала ему руки. Он

надеялся, что наступит момент, когда сможет добиться успеха исключительно благодаря своим собственным заслугам и независимому уму, благодаря тому, чего он добивается, а не потому, что придерживается партийной иерархии. Задолго до этого, еще в начале 1901 года он как-то высказался на эту тему перед научным сообществом в Ливерпуле: «Нет ничего хуже, когда подавляют независимого человека. В нашей стране должно быть только два мнения — мнение правительства и мнение оппозиции. Анонимность кабинета меня отвращает. Я верю в личность!».

Вряд ли такая установка могла способствовать его продвижению. Далеко не все «неуправляемые хулиганы» следовали его примеру. Возможно, кто-то и подумывал про себя, что подобная позиция выглядит многообещающей, но остальные считали ее следствием одного тщеславия. И чем больше неудобств Уинстон причинял, тем больше неприязни он вызывал. Давние заднескамеечники во время его выступлений на дебатах принимались шуметь. Только Джеймс Л. Ванклин — биржевой делец, составивший себе огромное состояние на акциях по строительству железной дороги в Южной Африке, когда Черчилль, повернувшись к нему, попросил «призвать к тишине», — обратился к присутствующим с просьбой выслушать выступающего. Те, кто поддерживал Чемберлена, выразили недовольство. «Позвольте мне предупредить Вас, — написал один из них на следующий день Черчиллю, — что у меня хватает таких молодых, вроде Вас, я знаю, как обращаться с ними».

Несколько месяцев Черчилль лелеял мечту о «правительстве середины», как он называл его, которое мог бы возглавить лорд Роузбери или какой-либо другой столь же представительный человек из двух главных партий. Он даже пытался воодушевить этой идеей самого Роузбери, но надутый аристократ слишком дорожил тем легким образом жизни, который он вел в своем громадном поместье, и не желал окунаться в нелегкую бурную политическую жизнь, чтобы столкнуться с трудными или неразрешимыми вопросами. Когда Уинстон осознал, что из его затеи ничего не получится, оставаться в рядах тори становилось все более труднопереносимым. И тогда сам собой появился вопрос: а не попробовать ли себя в качестве либерала?

Он имел нескольких друзей из числа либералов, но особенно легко он чувствовал себя в присутствии старого государственного деятеля еще викторианских времен — Джона Морли. Тот проявлял столько терпимости и великодушия, что мог поддерживать тесные дружеские отношения с самыми разными политиками, включая и Джо Чемберлена. Опытный литератор,

подготовивший официальную биографию Гладстона, и горячий сторонник свободной торговли, Морли был либералом старого образца. Являясь приверженцем личной свободы, он выступал против реакционных взглядов, разделяемых многими крупными землевладельцами и англиканской церковью. Всю свою жизнь он спокойно и мягко пытался провести корабль государства, лавируя между Сциллой и Харибдой — зависимостью от иностранных товаров и непростой задачей продвигать товары только отечественного производства. Ему доставляло удовольствие быть интеллектуальным и политическим наставником молодого Уинстона. Он рекомендовал юному другу нужные книги на ту или иную тему, и время от времени давал конкретные практические советы в сдержанной мягкой манере. Именно Морли предложил Черчиллю как следует проштудировать передовое для того времени исследование социолога Сибома Роунтри «Бедность: исследование городской жизни». Начиная с этого момента Черчилль стал серьезно задумываться: что надо сделать, дабы улучшить жизнь беднейших слоев населения Англии. «Как мало славы, — писал Черчилль, дочитав книгу, — в том, что империя, которая правит морями, не в состоянии улучшить жизнь своих собственных подданных».

Спокойный, сдержанный Морли пытался немного смягчить задиристость Уинстона, научить его умеренности, чтобы медленно и постепенно привлекать в свои ряды других политиков. Но в этом направлении он почти не достиг успеха. Позднее Морли сокрушался о том, что Уинстон всегда предпочитал брать штурмом вставшие перед ним преграды, еще более усложняя ситуацию, а иной раз и просто поднимал бурю в стакане воды. Как-то, когда Уинстон признался ему, что читает очередную книгу о Наполеоне. Морли с разочарованным видом покачал головой и сказал: «Было бы лучше, если бы вы начали внимательнее исследовать жизнь более неприметных людей в истории. Многие из тех, кто пытался до вас равняться на Наполеона, принесли массу несчастий и себе, и другим».

В общем и целом, либералы охотно соглашались принять в свой круг Черчилля со всеми его недостатками. Они внимательно наблюдали за тем, как Уинстон переезжает из одного графства в другое и в своих выступлениях разоблачает Чемберлена. Они никак не поддерживали его, но их привлекала его страстность и его ораторские таланты. Ни одна из восходящих звезд либеральной партии не могла в этом отношении сравниться с ним, разве что только Ллойд-Джордж. И ему чрезвычайно понравилась идея работать рука об руку с Черчиллем против Чемберлена. Их объединил на одной сцене общий враг и ничего

более. Но и этого было вполне достаточно. Даже самые близкие приятели Джо вынуждены были согласиться, что эти два политика могут составить мощную команду. Склонный к ярким сравнениям Ванклин счел, что эти две скаковые лошади с головокружительной скоростью повысят ставки либералов. «Вдвоем вы составите отличную пару, — написал он Ллойд-Джорджу в своем едком письме, — но я бы, ни под каким предлогом, не встал бы в одну упряжку с вами».

Возможность успешного продвижения в партии либералов все более привлекала Уинстона. Их лидер в палате общин, сэр Генри Кэмпбелл-Баннерман, осанистый, обходительный человек, не очень крепко держал в руках бразды власти и вряд ли смог бы решительно направлять Черчилля в нужную ему сторону. Генри не считали слишком честолюбивым, крупным и влиятельным игроком на поле политических сражений. Его способности и таланты были столь скромны, что «Таймс» отзывалась о Кэмпбелле так: «вполне устраивающий всех временный лидер, исполняющий свои обязанности до тех пор, пока не появится настоящая, достойная этого места фигура».

Обстоятельства последних лет сложились таким образом, что Черчилль покинул ряды консерваторов, потому что явственно осознал: у него больше шансов на другой стороне парламента. Это, конечно, важнейший из доводов, однако не стоит сбрасывать с чаши весов и то, в какой враждебной атмосфере, благодаря усилиям Чемберлена, он находился. А последней каплей (прежде чем сделать шаг в другую сторону) стало то, чего он никогда не мог забыть, — уход премьер-министра с его выступления, когда они бросили его одного в парламенте в тот драматический мартовский день. Собственно, именно этот день и стал судьбоносным, расставив все точки над i.

Черчилль оттягивал окончательное решение не потому, что боялся огорчить лорда Бальфура с его сторонниками, но из-за своего близкого друга Хью Сесила. Он знал, что тот скорее умрет, чем перейдет из лагеря тори в лагерь либералов. Однако несколько раз принимался убеждать Хью последовать за ним. Но Сесил даже слышать об этом не желал. «Поступай, как сам считаешь нужным…»

Перелом произошел 22 апреля. Черчилль выступал в парламенте на тему истории взаимоотношений тори с рабочим классом Англии, и в конце речи подвел итог, что двадцать пять лет назад, когда партия «не была столь бутафорской, как сейчас», они находили общий язык друг с другом. Уинстон отдавал себе отчет в том, что члены его партии снова могут встать и покинуть зал. Никто не пошевелился, и вдруг его словно заклинило. Он

замолчал, утратив нить высказывания, взялся обеими руками за голову, и сам вышел из зала. Это было настолько не похоже на него, что многие даже посочувствовали и попытались усадить Уинстона, несмотря на то, что ему не удалось закончить речь. Они решили, что ему стало плохо.

«Случай в палате», — гласили на следующий день заголовки газет, — «Мистер Черчилль потерял дар речи и не смог закончить выступление». Многие даже высказывали предположения, а не страдает ли молодой человек расстройством нервной системы. «Драматическое событие в палате общин могло произойти по той причине, что он не находит поддержки со стороны своей партии. Мистера Черчилля нельзя считать чрезвычайно популярным во всех отношениях политиком, однако многие придерживаются мнения, что он может стать таковым в будущем».

Уинстон быстро взял себя в руки и настаивал на том, что не произошло ничего серьезного, всего лишь легкое недоразумение. Однако нет сомнения в том, что тот мартовский уход его однопартийцев не был случайностью или недоразумением. Хотя он все еще пытался как-то завуалировать остроту напряженности. 22 апреля Уинстон еще выражал надежду, что его поступок поймут правильно.

В тот момент, когда его все сильнее закручивал политический вихрь, имелся еще один повод для тревоги и беспокойства, о чем знали немногие из близких его людей. Через шесть дней он собирался посвататься еще раз. 28 апреля из Нью-Йорка должна была приехать Этель Барримор, чтобы начать репетиции в новой пьесе. Ее поклонники считали, что представление станет хитом сезона. Премьера намечалась на середину мая. Уинстон предвкушал, что теперь у него будет больше времени пообщаться со звездой Бродвея и она наконец даст согласие стать его женой.

Бродвейский продюсер Чарльз Фроман, продвигавший Этель в Америке, надеялся, что его протеже блестяще выступит в заглавной роли в новой комедии «Синтия» молодого английского драматурга Хьюберта Генри Дэвиса. Это была ее первая попытка сверкнуть в заметной британской постановке. Предстоящая премьера сразу стала предметом многочисленных споров, в основном, по той причине, что Этель — гостья Миллисент Сазерленд. Аристократка, пригласившая звезду на все лето, постаралась обеспечить ей теплый прием в литературных и светских кругах. И в первые две недели своего пребывания, у Этель почти не оставалось свободного времени, Она бывала на всех встречах, которые организовала Миллли, а остальное время

репетировала в театре Уиндема. Однако Черчилль с нетерпением ждал момента, когда сможет побыть с ней наедине, для чего и пригласил Этель поужинать. В своем еженедельнике он отметил день свидания — 3 мая, зашифровав ее имя только инициалами — Э.Б.

Эта встреча, подобно салюту, ознаменовала начало его бешеной атаки на Этель. Много лет спустя его дочь напишет про этот роман: «Папа заваливал ее букетами и записками, и каждый вечер старался ужинать в отеле «Кларидж», где она обычно ужинала после представления». В зрелые годы Этель писала, что Уинстон сделал ей предложение, и что она призналась, насколько он выглядит привлекательным в ее глазах. Но поскольку она была с головой погружена в предстоящие спектакли, Этель не дала прямого ответа или согласия. И когда он уже настроился на то, что их роман будет развиваться, все вдруг полетело кувырком. Это не имело к нему прямого отношения. Но из-за случившегося Этель очень быстро покинула Лондон, оставив мысль о замужестве.

Осложнение произошло 16 мая, в день премьеры. Несмотря на дружески настроенную публику, пьеса провалилась, и критики безжалостно напали на автора, хотя и отдавали дань исполнительскому мастерству актрисы Бэрримор. Типичным можно назвать обозрение в «Таймс». «Пьеса настолько слабая, — писал критик, — что иной раз трудно поверить, что ее вообще кто-либо писал. А если и писал, то левой ногой. Пьеса представляет собой только часть чего-то, и этой частью чего-то является мисс Барримор». Критики выносили вердикт: да, пьесу можно смотреть только по той причине, что в ней занята такая звезда, как Этель, но даже ее обаяние не в состоянии скрыть все убожество вялого сюжета и пустых диалогов.

Уинстон пришел с огромным букетом в уборную Этель, но она знала, что пьеса провалилась, и он тоже знал об этом. «О, моя бедняжка!» — вздохнул он. Пьеса с трудом выдержала еще несколько представлений в течение двух недель, но в начале июня дирекция пришла к выводу, что одиннадцатого числа будет последняя постановка. Слишком короткий срок для пьесы, от которой так много ждали. Пристыженная Этель объявила, что она вернется в Америку, как только за ней закроется занавес. Ее желание уехать вызывало сожаления, как выразились в «Дейли Экспресс», что «из-за того, что пьесу сняли с репертуара, сократился срок пребывания в Лондоне очаровательнейшей актрисы мисс Этель Барримор. Как жаль, что мистер Фроман не смог выбрать для того, чтобы представить Этель публике, более привлекательную пьесу».

При первой же возможности Этель покинула Лондон и отправилась в Сан-Франциско, где выступала весь июль в местном театре, избегая света рамп Нью-Йорка, куда очень быстро дошло известие о ее провале в Лондоне. Это событие стало предметом обсуждения. Хотя Этель и призналась репортерам Сан-Франциско, что лондонская постановка вызвала разочарование, она ясно дала понять, что намеревается вернуться, чтобы взять реванш. «Лондон очень много для меня значит», — заявила актриса.

Об Уинстоне она не обмолвилась и словом. Интерес, который он вызывал у нее, быстро погас. Этель снова объявилась в Лондоне, но уже через год. За это время актриса успела влюбиться в другого человека. И ей уже было не до Черчилля и его чувств. «Я был без ума от любви, — вспоминал он через пятьдесят лет, — а она не обращала на меня ни малейшего внимания».

Его попытка жениться и в этот раз потерпела фиаско.

С ее поверхностным восприятием британской политической жизни, Этель, видимо, не в состоянии была осознать, что пока она выходила на сцену в роли Синтии, Уинстон переживал свое собственное, не менее драматическое представление. Этой «пьесе» уделили не так много внимания, и мало кто осознал смысл случившегося по достоинству, однако для тех, кто понимал всю важность, она стала незабываемой вехой.

31 мая 1904 года, когда в дождливый послеобеденный день в здании парламента почти никого не было, в помещение вошел Черчилль. По словам репортера «Манчестер Гардиан», он «посмотрел на свое привычное место… затем, перевел взгляд на скамью, что находилось напротив, поклонился креслу, которое занимал председатель, а затем резко повернулся и внезапно прошагал направо, заняв место среди либералов».

Он сел рядом не просто с рядовым либералом. Это был Ллойд-Джордж — воплощение Люцифера для Джо и его последователей. Разрыв Черчилля со своей партией нельзя было продемонстрировать в еще более острой форме. Все хулиганы, кроме Хью Сесила, отвернулись от него. Хью остался верен дружбе с Уинстоном, хотя сам не мог спокойно даже слышать имя Ллойд-Джорджа из-за того, что тот позволил себе критиковать землевладельцев и англиканскую церковь. В разговоре с друзьями Хью заявил, что к пропагандистским листовкам, которые выпускал Ллойд-Джордж, он не прикоснулся бы даже веслом.

Итак, в двадцать девять лет Уинстон заново начал свою политическую карьеру в новом окружении, как всегда наметив самые высокие цели.

VIII. Холостяк и богатая наследница

Побывавший в палате общин в конце июня, чтобы встретиться с Черчиллем, журналист Герберт Вивиан был поражен тем вниманием, каким пользовался молодой человек. Очень многое изменилось после их последней встречи год назад, когда Чемберлен продвигал свою обреченную на провал кампанию в защиту протекционизма. Герберт и Уинстон шли по веранде, обустроенной для чая, мимо других членов палаты и посетителей, включая и многочисленных хорошо одетых дам, и всякий раз вид Уинстона вызывал легкое возбуждение среди присутствующих. «Я невольно отметил интерес, который он неизменно вызывал, — вспоминал Герберт Вивиан. — Все сразу поворачивались в его сторону, большая часть с улыбкой одобрения. Казалось, что это его мало занимает или волнует, он шел, не скупясь отпускать веселые замечания».

Все столики на веранде оказались заняты, за исключением немногих в отдельной зоне, зарезервированной для членов палаты лордов. Но Черчилль даже не обратил на это внимания. Он просто перешагнул невидимую линию, отделявшую две группы, и сел с журналистом за свободный столик. Объятые ужасом от столь грубого нарушения традиций, официанты отказались нести чай. Улыбнувшись, Черчилль перешел на другую сторону и кивнул: «Хорошо, несите чай сюда, а я потом сам переставлю чашки».

После этого никто уже не беспокоил Черчилля и его приятеля. Они обсуждали политические вопросы, но создавалось такое впечатление, что ему не дает покоя какая-то посторонняя мысль, связанная с тем, что происходило на веранде. «Будь моя воля, — сказал он, обводя взглядом столики с многочисленными гостями, которые смеялись и наслаждались своим чаем, — я покончил бы со всей этой чепухой. Палата общин — место для дел, а не для развлечений». Даже сидя на веранде, предназначенной для отдыха, он размышлял о возможных реформах. Перейдя в стан либералов, он думал только о том, как вырвать из рук тори руль управления государством, всматриваясь то в одно, то в другое, производил ревизию, прикидывая, что работает в этой огромной машине, а что нет и что надо отремонтировать, чтобы оно заработало лучше. Ушли те времена, когда он вместе с хулиганами иронизировал над стариками. Теперь он стал восходящей звездой в политике и готовил себя к тому моменту, когда в свете прожекторов, — а в том, что это случится, он не сомневался, — либералы придут к власти на

волне неприятия протекционизма.

Карикатуристы уже уделяли ему внимание более, чем другим политикам, хотя слегка расплывчатые черты лица Уинстона не были удобной мишенью для рисовальщиков, которые могли бы зацепиться хоть за какую-то деталь. Из-за чего они лукаво предлагали вставить хотя бы моноколь в глаз, намекая на Чемберлена.

Растущее любопытство к политику достигло такой степени, что мадам Тюссо предложила Уинстону изготовить его восковую фигуру. Это вызвало некоторое возмущение среди критиков Уинстона, полагавших, что он еще не заслужил такой чести. «Он удостоился высочайшей награды», — отметил один автор сатирический статьи в еженедельном журнале. — Его борьба — после всеобщего осуждения — принесла свои плоды. Все обернулось таким образом, что Уинстон достиг не меньшей популярности, чем убийцы или карточные шулеры, миллионеры и коронованные особы. Все приходит к человеку, который умеет подать себя».

Однако не все считали, что его слава раздута и ни на чем не основана. Ветеран викторианской журналистики У.Т. Стед написал в июле: «Уинстон Черчилль находится в центре политической арены. Он наиболее приметный и заслуживающий внимания из всех подающих надежды государственных деятелей». А в августе один из журналистов выразил удовлетворение, что в партии либералов два мощных боксера, которые к тому же наделены бульдожьей хваткой, и теперь они уложат тори на обе лопатки.

Либералы были настолько довольны, что в их ряды влился новый член партии, что не особенно приглядывались к его политическим воззрениям. Является ли он истинным либералом или просто счел нужным покинуть тори из-за расхождений с ними — все, включая и самого Черчилля, откладывали уточнение этих важнейших пунктов до следующих — главных выборов. И чем дальше, тем больше авторитет Бальфура из-за его колебаний падал. Всем стало ясно, что пора создавать новое правительство.

Хотя премьер-министр делал вид, будто его совершенно не волнует то, что Черчилль перешел к либералам, он осознавал — молодой политик послужит плохим примером для остальных, и постоянно беспокоился, как бы не появились новые ренегаты. Несколько месяцев его терзало беспокойство по этому поводу и не без основания: какое-то число консерваторов действительно присоединились к Уинстону, перейдя в стан либералов. Но когда и Хью Сесил нежданно-негаданно заколебался, Бальфур написал встревоженное послание кузену, полное панической тревоги.

Премьер-министр чуть ли не умолял его: «Останься в партии!!! Никогда даже не заикайся о том, что покинешь ряды тори».

Как потом выяснилось, Хью просто выпустил пар, когда Джо отпустил какое-то раздраженное замечание. Но Бальфур и в самом деле боялся пережить еще одну постыдную для него потерю. Хватало и одного Черчилля, переметнувшегося на другую сторону. Без сомнения, положение его стало угрожающим. В октябре, выступая перед жителями Уэльса, Уинстон объяснил, что является его конечной целью: «разворошить осиное гнездо, утратившее доверие страны».

В этой октябрьской поездке в Уэльс Черчилль выступал вместе с Ллойд-Джорджем, который объяснял, что новый друг «пробует свои силы в качестве либерала, это его первые шаги на этом поприще». И что же это означало на самом деле? Что Уинстон заполучил наставника по современному либерализму, а цели Ллойд-Джорджа были намного амбициознее, чем у старых викторианцев партии тори. Новое поколение либералов намеревалось использовать власть правительства для переустройства общества, сосредоточив основное внимание на беднейшей части населения, на больных и стариках. Пребывая в пеленках либерализма, Уинстон потихоньку избавлялся от своей привязанности к аристократам, переключая внимание на другие стороны жизни. А по ходу выяснил, чего на самом деле хочет Ллойд-Джордж — не просто добиться неких социальных преобразований, а настоящего переворота — свержения Чемберлена и консерваторов. Выступая перед жителями Уэльса, Черчилль сказал: «Мистер Ллойд-Джордж один из лучших боевых генералов в рядах либералов». Очень многие называли Черчилля его первым именем, но в политическом мире почему-то было не принято называть Ллойд-Джорджа Дэвидом, хотя когда они разговаривали друг с другом без посторонних, Уинстон обычно так и обращался к нему, поскольку их дружба становилась все крепче и глубже.

Планы на будущее — борьба против правления Бальфура — сформировали одно из самых странных содружеств в британской политической истории. До сих пор Уинстон мог похвастаться только одним настоящим другом в сфере политики — Линки Сесилом. И вот теперь у него появился еще один — Ллойд-Джордж, — полная противоположность Сесилу. Унаследованные особняки, связи в высшем обществе, годовой доход, знатный титул — все это было чуждо выходцу из Уэльса, который поднялся с самых низов и стал влиятельнейшей фигурой в либеральной партии. Точно так же как аскетизм был совершенно

неприемлем для лорда Хью. Ллойд-Джордж был всего на двенадцать лет старше Черчилля, но в 1904 году он уже был шестнадцать лет как женат, стал отцом пятерых детей. Его мало заботили религиозные вопросы, ровно настолько, насколько это могло иметь отношение к политике. Он был чрезвычайно влюбчивым, и постоянно заводил тайные связи на стороне.

Лишенный лоска типичного эдвардианского джентльмена, Ллойд-Джордж становился удобной мишенью для ядовитых насмешек со стороны тори. На эту удочку попался в свое время и Черчилль, который заявил про Ллойд-Джорджа, что он «вульгарный, болтающий маленький нахал». Но через несколько лет, наблюдая, как тот выступает против Чемберлена, Уинстон перестал заботиться о том, можно ли называть этого борца за либеральные идеи истинным джентльменом или нет. Он с радостью обнаружил в нем те качества, которые пытался взрастить в хулиганах — бесстрашного бойца, который прокладывал путь вперед. Правда, Уинстон рассматривал их дружеские отношения опять сквозь романтическую призму, точно так же, как и в отношениях с лордом Сесилом. Он наивно полагал, что эта дружба пойдет в основном ему на пользу, и умелый борец не уложит в один прекрасный день его на обе лопатки. Но даже если бы он более трезво взглянул на их сотрудничество, то вряд ли бы смог догадаться, как поведет себя в дальнейшем Ллойд-Джордж, — ведь тот уже давно поставил себе за правило — сметать все, что стоит у него на пути вверх, в том числе и дружбу.

«Моя сверхзадача идти вперед, — признался он в чрезвычайно откровенном письме, адресованном жене Маргарет. — И для достижения цели я принесу в жертву все, кроме, как я верю, честности. Я готов швырнуть под колеса Джаггернаута [15] даже любовь, если она преградит мне дорогу».

Те давние друзья, кто знал Ллойд-Джорджа (еще с Уэльса) и восхищались им, не сомневались, что сотрудничество этих двух примечательных людей очень скоро выльется в открытое соперничество. Для одного из таких — хорошо знавших его — Д.Р. Дэниела, было совершенно очевидно, что Черчилль и Ллойд-Джордж вскоре «встретятся лицом к лицу на узкой тропинке, что ведет к вершине славы».

Но, видимо, Уинстон надеялся или убеждал себя, что когда такой момент наступит, победителем выйдет он. Но что произойдет, если они встретятся не лицом к лицу? В таком случае лучше не рисковать и не поворачиваться к Ллойд-Джорджу спиной.

Одно свойство характера их объединяло несомненно. Хотя

Ллойд-Джордж никогда не служил в армии и никогда не принимал участия в реальных боях, на полях политических сражений он выказывал себя смелым бойцом. И не только Уинстон воспринимал его как отважного генерала, готового пойти на приступ политической цитадели. Ллойд-Джордж и в самом деле рассматривал оппонентов как солдат, которых надо сбивать с ног, чтобы они не поднялись снова, — безжалостным огнем. И его отличие от Черчилля заключалось только в том, что он был более холодным и более беспощадным в своих преставлениях о том, как вести сражение на воображаемом поле битвы.

«Я припоминаю, — признался он как-то во время встречи в Кардиффе, — что ответил американский солдат на вопрос: «Когда вы смотрите в прицел винтовки на человека по ту сторону, ненавидите ли вы его?..» «Нет, — ответил американец. — Я не стреляю в кого-то конкретного. Я просто стреляю по линии битвы». Именно это я делаю в течение всей моей жизни».

Следующие свои выборы Черчилль должен был проводить в совершенно другом избирательном округе. Но выборное место — среди либералов в Олдеме уже было занято. И он принял предложение выступить от округа недалеко от Манчестера.

Уинстон сознавал, что ему придется приложить вдвое больше усилий, чем он делал раньше, из-за того, что оказался в новом лагере. Это требовало немалых наличных денег, а он уже успел истратить те, что заработал три года назад. И теперь он полагался только на то, что лорд Рэндольф пополнит его банковский счет. Напряженная политическая деятельность в последний год отвлекла Уинстона от работы над книгой. И требовался, по меньшей мере, еще год, чтобы завершить ее.

Он жил, не отказывая себе ни в чем, и легко тратил деньги. Во время поездок по стране он останавливался в лучших гостиницах, заказывал все самое лучшее — устрицы и шампанское. Часто играл в поло, несмотря на всю дороговизну увлечения, объясняя это тем, что физические упражнения хороши для поддержания общего тонуса.

До того, как Этель Бэрримор без всякого предупреждения покинула Лондон, он планировал еще одну поездку в Америку. После того, как закончатся ее выступления, Уинстон собирался в июне отправиться следом за ней в Нью-Йорк. 31 мая, в тот самый день, когда он впервые сел на одной скамье с либералами, Уинстон принял приглашение побывать на съезде Демократический национальный партии (который должен был состояться в июле) как гость давнего друга его матери — нью-

йоркского конгрессмена У. Бурк-Кокрэна.

Вполне возможно, что ему бы удалось объединить и деловую часть с приятным, изучить поближе американскую политическую систему, одновременно продолжив ухаживания за Этель. А еще у него была бы возможность, познакомившись поближе с Кокрейном, — человеком, которым он восхищался, — сторонником свободной торговли, получить от него дельные советы, выработать более точную линию поведения.

Но в середине июня, через неделю после отъезда Этель, Уинстон написал Кокрэну, что не сможет приехать. Решение оказалось внезапным, и он объяснял его тем, что вынужден сражаться с «Чемберленом и его братией». Но скорее всего в конце мая и середине июня к нему пришло осознание, что сейчас не самое лучшее время тратить деньги, преследуя Этель. Особенно после того, как та вздумала отправиться в Сан-Франциско.

Уинстон поступил намного благоразумнее: принял предложение необыкновенно щедрого друга сэра Эрнста Касселя провести время в швейцарской части Альп — на роскошной вилле, расположенной высоко в горах.

Он там прожил большую часть августа. Утро Уинстон отводил работе над книгой — биографией отца, после обеда много гулял, а по вечерам читал или играл в бридж.

С погодой очень повезло, на ночь он распахивал окна и спал глубоким сном. Еду готовил повар-француз, и Уинстону она нравилась. Так что он с большой пользой отдохнул, вместо того, чтобы следовать за Этель по Америке. Кассель — весьма проницательный человек — никогда не сомневался, что Уинстон — с его талантами и волей — непременно достигнет успеха в британской политике. Как человек предусмотрительный, Кассель поддерживал теплые приятельские отношения со многими людьми из высших эшелонов власти и — пример тому Уинстон, — с теми, кто еще только должен выйти в те слои.

Их тесные дружеские отношения основывались не на деньгах и влиянии. Они по-настоящему ценили друг друга и получали огромное удовольствие от общения. После смерти Касселя в 1921 году Уинстон сказал внучке банкира — Эдвине, леди Маунтбэттен: «Я знаю, что он тепло относился ко мне и всегда верил в меня, в особенности в плохие времена. И я был глубоко привязан к нему».

За время отдыха Уинстон значительно продвинулся в работе над книгой еще и потому, что вдруг вновь почувствовал прилив уверенности в себе. Такой необыкновенной уверенности, что, вернувшись домой, решился на такой дерзновенный поступок,

который был неожиданным даже для него. 22 сентября он приехал к Джо Чемберлену в его бирмингемский особняк и остался там ночевать. Позже Черчилль сам не мог объяснить, как смог отважиться на такой шаг, и признался друзьям только после того, как попросил их хранить случившееся в полной тайне.

Поводом для встречи послужило то, что Черчилль хотел пополнить сведения о лорде Рэндольфе. Уинстон отважился попросить Джо черкнуть несколько слов для книги. Джо поступил еще смелее — он пригласил его в Хайбери с тем, чтобы тот мог остановиться на ночь.

Не часто столь непримиримые противники способны встретиться, особенно после того, как успели попортить друг другу немало крови на полях политических схваток. Но они решили не упустить возможности сесть друг против друга и поговорить перед тем, как начнется окончательная битва. Несмотря на взаимные обвинения, что были ими брошены в лицо во время споров, они все еще сохраняли уважение друг к другу.

Как и в прежние времена, Джо достал дорогой портвейн, и они допоздна говорили о прошлом, почти не касаясь будущего. Они разговаривали так, словно между ними ничего не произошло за прошедшие годы. И все оставалось точно таким, как было, — просторный особняк с прилегающими к нему теплицами, где цвели драгоценные орхидеи, и снова молодой человек внимательно прислушивался к тому, что говорит его умудренный жизнью собеседник. Джо делился воспоминаниями о прошлом с жесткой улыбкой и суховатым смехом.

Не без внутреннего сопротивления Джо вынужден был признать, что Уинстон поступил правильно, перейдя к либералам, но предупредил, что консерваторы никогда ему этого не простят. И ему еще придется долгое время выслушивать оскорбления в свой адрес. Почти двадцать лет назад Джо тоже перешел из одной партии в другую, и знал всю тяжесть бремени ярлыка «хамелеон». Зато он получил бесценный урок и надеялся, что суровые испытания тоже помогут Уинстсону закалить характер. «Такие перипетии для уверенного в себе человека, — говорил он мягким голосом, — только укрепляют его волю, помогают действовать более решительно».

Они распростились на другой день в самых теплых выражениях, но оба знали, что через год только один из них выйдет победителем. Джо намекнул на то, что правительство рано или поздно падет. Пожелав Черчиллю успешного завершения работы над книгой о лорде Рэндольфе, он выразил надежду, что книга появится до того, как сменятся все главные политики в стране. «Публика не выдержит сразу две сенсации в

одно и то же время», — пошутил он.

Несмотря на шутки и спокойную вежливость, с которой Джо распрощался с ним, Уинстон вдруг остро ощутил всю ранимость своего противника. Позже он сумеет оформить ощущения, связанные с последними днями Джо и Бальфура — «они перерезали себе горло и оставили партию в полном хаосе». Он пребывал в полной уверенности, что либералы победят на следующих выборах. И не просто победят, а выиграют с сокрушительным отрывом. Такое впечатление, будто встреча, организованная Джо, — стала его жестом, как если бы он снял шляпу перед молодым политиком до того, как тот выиграл.

Итак, беспокойная весна прошла и закончилось лето, полное тяжелого труда. Теперь Черчилль надеялся вкусить плоды — заработать деньги, снова пережить очередной виток славы, — после публикации биографии, а еще он верил, что получит место в новом правительстве после падения Чемберлена.

Конечно, для полноты ощущений не хватало определенности на семейном фронте. Дело уже шло к тридцати, а он все еще искал спутницу жизни. Газетчики даже начали гадать, жениться ли он вообще когда-нибудь и осядет на месте или же останется «убежденным холостяком», как высказался один из светских журналов в конце года. Но Уинстону меньше всего хотелось оставаться холостяком. Два отвергнутых предложения руки и сердца наводили на некоторые сомнения, однако он не принадлежал к той породе людей, что способны махнуть на что-то рукой и отступиться.

Вполне возможно, что Уинстон сохранил оптимистический настрой по той причине, что не считал потери незаменимыми. И в самом деле, вскоре его взгляд остановился на другой женщине — намного богаче его — Мюриэл Уилсон. Они были уже давно знакомы, одного возраста и с симпатией относились друг к другу. Сплетники даже приписывали им романтические отношения, когда они были моложе, что больше похоже на обычные сплетни. Все эти годы Мюриэль в очень мягкой манере отказывалась видеть в нем серьезного претендента на роль супруга. Ее внимание привлекали мужчины совсем другого типа. Но со всеми она рассталась, разочарованная ими. За последние десять лет несколько женихов — привлекательных, из самых влиятельных семей королевства попытались завоевать ее сердце и потерпели неудачу. И вот теперь, когда ей тоже вот-вот должно было исполниться тридцать, Уинстон вновь воспылал надеждой, что она согласится разделить с ним будущее.

А Мюриэль ценила свободу и не собиралась совершать

необдуманного поступка. Она жила как принцесса, не испытывая ни малейшего недостатка в деньгах. Ее отец, Артур Уилсон, владел крупнейшей в мире частной пароходной компанией — его флот состоял почти из ста кораблей. В 1909 году — когда он умер, — это был один богатейших людей Британии. Состояние Уилсона приближалось к четырем миллионам фунтов (совершенно умопомрачительная по тем временам сумма, учитывая, что премьер-министр получал только 5000 фунтов в год). Особняк, которым владела семья, располагался недалеко от Букингемского дворца. На юге Франции у них имелась просторная вилла, а в Йоркшире — загородный дом Трэнби Крофт (в этом здании в 1890 году произошел из ряда вон выходящий случай, когда один из гостей смухлевал в карточной игре с принцем Уэльским).

Не только семейные богатства привлекали Уинстона к Мюриэль. Она была удивительно миловидной. Брат Этель Барримор — Лайонел, заявил, что Мюриэль — одна из красивейших женщин, которых он когда-либо встречал в своей жизни. В двадцать лет американские газетчики назвали ее «самой красивой девушкой Великобритании».

Чем-то она напоминала молодую Дженни Черчилль — смуглостью, мягким деликатно очерченным ртом, огромными глазами, и пышной копной густых волнистых волос. Ее платья становились легендарными. Они были сшиты из лучших тканей, и покрой их всегда подчеркивал тонкую талию ее гибкой фигуры. «Необычайно привлекательная, — отозвался «Лондон джорнал», — она не способна пройти незамеченной».

Мюриэл свободно говорила по-французски, обладала тонким чувством юмора, умела нравиться не только мужчинам, но и женщинам. Вообще все, за что бы она ни бралась, Мюриэль делала хорошо: «каталась на коньках, ездила на велосипеде и превосходно танцевала», — восторгался один из светских журналов. Она даже добилась успеха как актриса, регулярно выступая на сцене любительских театров. Ее не интересовал заработок, Мюриэль выступала исключительно для друзей во время отдыха за городом, на лондонских подмостках или на благотворительных вечерах. Костюмы, сшитые для пышных исторических представлений, становилось незабываемым событием, в особенности, когда Мюриэль, облаченная в эти наряды, выходила на сцену, словно олицетворение эпической богини. В тончайшей белой мантии она появлялась как символ «Мира», а в тяжелом вагнеровском облачении как символ «Войны». Наибольшее впечатление она произвела на Уинстона в роли «Музы Истории», когда в очередном волшебном одеянии,

размахивая мечом, возводила очи к небесам. Ее фотографии в этом наряде перепечатали в эдвардианском светском журнале, где ее называли «одной из лучших исполнительниц среди любителей».

Так неужели Черчилль упустил бы такую возможность, как поухаживать за «Музой истории»? Когда Мюриэль подарила ему одну из своих фотографий с этим аллегорическим изображением, он прижал ее к сердцу и поклялся всегда носить при себе. Так или иначе, осенью 1904 года Мюриэль давала немало поводов возбудить в нем надежду, что его предложение будет принято. Он поверил, что их долгие дружеские отношения уже созрели для того, чтобы перейти на другой, более серьезный уровень. Но он неправильно истолковал сигналы. Когда он задал самый важный вопрос, она отказала так решительно, что Черчилль ушел совершенно потрясенный.

В письме, написанном в состоянии отчаяния, он умолял ее переменить решение и убеждал, что будет ждать, когда она будет готова к этому. «Наверное, я должен доказать свои чувства, выдержав ожидание, — писал он. — Неужели я вам совершенно безразличен?» Пытаясь найти какие-то веские слова, чтобы убедить молодую женщину, Уинстон высказал предположение и предсказание одновременно. Если она предоставит возможность доказать, что он достоин ее выбора, то она не разочаруется. Не важно, сколько времени на это потребуется, но он заставит ее гордиться выбором. А затем шло предсказание. «Время и обстоятельства, — писал он, — работают на меня». А затем признавался, как любит ее и что ему невыносима мысль о будущем, где не будет Мюриэль.

Похоже, письмо тронуло ее, но не настолько, чтобы она передумала. До конца 1904 года и почти до конца следующего года он продолжал писать ей. Они встречались. Он читал наизусть стихи, советовал, чтобы прояснить их взаимоотношения, прочитать лирическое стихотворение Роберта Бернса «Мэри Морисон», где звучал вопрос: «Могу ли я разбить его сердце только потому, что он влюблен?». Он восхвалял каждый волосок ее прически, уверял, что будет счастлив только с ней, и что она навсегда пленила его сердце. Мюриэль позволяла ему танцевать с ней или сопровождать во время долгих прогулок на закате. «Как бы мне отыскать «ключ» к вашему сердцу, — повторял он. — Увы, вы остаетесь столь же недоступной, как покрытая снегами вершина, и такая же холодная».

С другими она не держалась столь холодно, а Уинстон не понимал, как Мюриэль может проводить столько времени в окружении его соперников — ни один из них не заслуживал

внимания настолько, насколько его заслуживал он. Все дело заключалось в том, что Мюриэль еще была не готова выйти замуж. Она была далека от мысли устроить, наконец, более основательно личную жизнь. И она действительно отдавала предпочтение компании плейбоев, вроде Луиша де Соверала — посланника Португалии, одного из ближайших друзей короля Эдуарда.

В светских кругах о нем утвердилась молва как о «величайшем ловеласе» того времени. Он получил прозвище «голубая мартышка» из-за какой-то случившейся давным-давно истории в одном из дамских будуаров.

Через десятки лет после смерти среди его бумаг, вместе с любовными письмами многих эдвардианских красавиц, нашлась и кокетливая записка от Мюриэль, в которой она дерзко предлагала ему провести ночь в лондонском особняке. «Не настолько же Вы заняты, — чтобы не позавтракать со мной завтра? — писала она. — Я совсем одна, и компанию мне составляют только дворецкий и попугай». Это было ее собственное легкомысленное желание провести вечер в обществе Соверала, не слишком щепетильного в вопросах морали. Посланник вызывал отвращение у Черчилля.

Из числа ее сохранившихся записок осталась одна, где Мюриэль отказывалась встретиться с Уинстоном за ланчем, потому что «терпеть их не может». Черчиллю трудно было сносить подобного рода резкие отказы. Нежелание устроить личную жизнь и выйти замуж, считал он, «вызывает сожаление, как рассыпавшийся жемчуг». Но Мюриэль доставляло большее удовольствие играть чувствами Уинстона до тех пор, пока он будет терпеть это.

Молодой женщине не хотелось терять страстного поклонника, поскольку он завораживал ее. Просто у нее не было желания вести с ним совместную жизнь. Политика ее совершенно не привлекала, и она не хотела задерживаться в Лондоне, если ей вдруг очень хотелось провести несколько недель на солнечной вилле Мэриленд — семейном доме на Лазурном Берегу в местечке Кап Ферра.

А он не находил в себе сил отказаться от нее, и в течение нескольких лет продолжал настаивать на том, чтобы перевести отношения на другой уровень. Это упорное ухаживание послужило поводом для многочисленных сплетен в Лондоне и даже в Америке. Кто-то считал, что его привлекает к ней только богатство. «Уинстону надо жениться на деньгах», — написал один анонимный «друг» в светском журнале. Однако не стоит забывать о том, что Уинстон влюбился в нее после долгих лет дружбы, а не

вдруг, обнаружив, что она страшно богата.

Он очень много работал, зарабатывая деньги пером, и всегда стремился обеспечить сам себя. Он был бы счастлив жениться на Этель, хотя актриса жила только на гонорары от выступления на сцене — от одного сезона до другого — и назвать ее обеспеченной было нельзя.

В Мюриэль он обнаружил те же самые качества характера, что восхищали его в Этель Барримор. Его привлекала романтическая сторона — она принадлежала к театральному миру, была окружена славой, с ореолом тайны и недоступности. Многие газетчики предсказывали, что Уинстон, в конце концов, добьется своего, и Мюриэль все-таки выйдет за него замуж.

В одной американской газете пошутили над тем, что у Черчилля три всепоглощающие грандиозные цели: добиться успеха с биографией лорда Рэндольфа, жениться на Мюриэль Уилсон и «отрастить усы». Но, как считал репортер, третья цель, пожалуй, самая недостижимая.

IX. Счастливый сын

Черчиллю представлялось, что он очень умело ухаживает за женщинами. За то время, что он так безуспешно добивался руки Мюриэль, он написал новеллу, которая заканчивалась свадьбой героев. Мужчина — привлекательный двадцатилетний аристократ, а женщина — девятнадцатилетняя красавица. Они встречаются на балу в старом курортном городке и безумно влюбляются друг в друга в течение трех дней.

Черчилль писал: «Эта ночь — третья после их первой встречи — была прекрасной, теплой и спокойной, огни на яхтах отражались в воде, а в небе сверкали яркие звезды. После ужина они остались одни в саду, и, несмотря на то, что познакомились все три дня назад, мужчина сделал ей предложение. Она согласилась выйти за него замуж».

В выдуманной истории все происходило легко — само собой. Но это была не выдумка, хотя и выглядела таковой. На самом деле Уинстон описал ту ночь, когда его родители поженились. Об этом ему рассказала мать — Дженни — и он облек историю в романтические одежды. Он чуть-чуть приукрасил события прошлых дней, чтобы утешить себя. Если лорд Рэндольф мог встретить Дженни и без труда завоевать ее сердце в три дня, почему Уинстон не может за три года найти нужную ему женщину и жениться на ней?

Биографы считают, что он всего лишь отдавал дань талантам отца — лорда Рэндольфа, но по этому лекалу Уинстон кроил и свою собственную жизнь. У него никогда не было близких отношений с отцом, хотя Уинстон очень тянулся к нему. Отец был трагической фигурой — честолюбивым и искренним политиком, — но очень неудачливым как государственный деятель; сколько бы он ни привлекал к себе внимания, ему этого всегда было мало; испытывающий гордость за своих предков, он был трудным мужем и отцом. Долгое время Уинстон жил в тени своего отца и не мог не задаваться вопросом: можно ли считать полученное наследие благословением или проклятием.

Может быть, еще слишком рано было искать ответ на этот вопрос, однако Уинстон надеялся, что книга поможет ему разобраться и найти убедительный, правдоподобный ответ. Описывая историю жизни сэра Рэндольфа, он поворачивал ее таким образом, что биография отца становилась интерпретацией его собственной жизни. А у них было много общего, но сплав Уинстона-Рэндольфа, описанный в биографии, выглядел более благородным, стойким, решительным и дальновидным, чем тот

Рэндольф, каким он был в действительности. А в нескольких пассажах — отступлениях от главной темы — Уинстон скорее описывал себя, чем отца. «Он добился известности, — писал он о лорде Рэндольфе, — своим бунтарским характером, высмеивая почтенных лидеров, насмехаясь над авторитетами со смесью аристократической надменности и демократической грубости».

На страницах книги Рэндольф выступал непонятым героем, который пытался вдохновить свою партию и страну на достижение великих целей, но был побежден силами реакции и эгоистическими интересами. С поломанными крыльями он упал на землю; еще один аристократ-мечтатель, вроде лорда Байрона, он прожил короткую, но насыщенную жизнь, люди без воображения относились к нему с пренебрежением, но те, кто понимал его, не переставали скорбеть об утрате такой личности. Растянутая на тысячу страниц, книга стала величественным сияющим монументом, своего рода манифестом. Уинстон собрал воедино разрозненные сведения о жизни отца, соорудив романтическую ее версию, которая могла служить путеводителем для его собственной карьеры.

Как-то, еще не завершив работу над книгой, он приехал в гости к поэту Уилфреду Скоуэну Бланту, старинному другу Рэндольфа. Высокий, эксцентричный и искренний Блант все же старался скрыть от взгляда посторонних неудобные стороны характера лорда Рэндольфа. И всегда находил какие-то оправдания для друга, даже если тот и был виноват. Как и Уинстон, Блант был склонен видеть в характере обаятельного и сумасбродного Рэндольфа нечто байроновское. Но вообще-то Блант был помешан на лорде Байроне настолько, что женился на внучке поэта — леди Анабелле — и считал себя «перерождением Байрона».

Слушая рассуждения Уинстона о том, что он выделяет главным в биографии, Блант вдруг осознал, как сын похож на отца. Как многое от отца он может видеть в сыне. И речь шла не о физическом сходстве, не столь уж заметном, но Уинстон каким-то сверхъестественным образом воспринял суть отцовского духа. «Он потрясающим образом походил на отца в манерах и том способе мыслить, какой был ему присущ, — записал Блант в августе 1904 года в своем дневнике. — Он только вернулся после игры в поло, невысокий, крепкий с блестящими глазами и вызвал у меня в памяти образ Рэндольфа, каким он был двадцать лет назад. Он достал из папки письма отца, которые я дал ему почитать полтора месяца тому назад, и прочитал их вслух, чтобы я мог объяснить какие-то недомолвки и неясные места, а также подвести итог некоторым политическим событиям начала восьмидесятых годов,

с которыми были связаны я и Рэндольф. Было нечто трогательное в том, с какой скрупулезностью верный сын пытался разобраться в перипетиях жизни сэра Рэндольфа».

В лучшие моменты своей жизни лорд Рэндольф был чрезвычайно остроумным, воспитанным, красноречивым и страстным. А в худшие — столь порывистым, опрометчивым и непредсказуемым, что многие современники считали его психически больным. Так, например, лорд Дерби в 1885 году написал: «При всей его замечательной ловкости, он совершенно ненадежен: едва ли джентльмен и, вероятно, более или менее безумен». Даже его лучший друг лорд Роузбери писал, что Рэндольф всегда страдал своего рода «непослушанием», а со временем оно перешло в более сложную форму, когда его разум окончательно сошел с катушек.

Что узнал Уинстон, и что современники его отца вынуждены были признать, это то, что Рэндольф страдал от последствий сифилиса, который и убил его. И хотя кое-кто пытался высказать предположение, что причина скрывалась в растущей опухоли мозга — это всего лишь отговорки. Обсуждение венерических заболеваний в викторианское и даже эвардианское время — было под запретом, поэтому Уинстон вынужден был использовать эвфемизмы для объяснения причин смерти отца. Он писал, что Рэндольф стал жертвой таинственного и «страшного заболевания», что любящие его вынуждены были признать со стыдом и печалью».

Лорд Роузбери выразился более внятно: «тяжкий недуг парализовал и убил его». Даже более того, он пояснял, что Рэндольфу становилось все хуже и хуже, из-за того, что «невидимый яд отравлял его организм». Биограф более позднего времени, Рой Фостер, писал, что специалист по этим вопросам, доктор Руз не сомневался — пациент болен сифилисом и лечил его соответствующим образом. В последние годы жизни лорда Рэндольфа часто посещал член Британского гинекологического общества Джордж Э. Кит, специалист по венерическим заболеваниям, лечивший представителей обоих полов. Его услугами пользовалась и Дженни. За неделю до кончины Рэндольфа ее более всего страшило, что причины болезни мужа станут известны широкому кругу людей.

Она писала своей сестре Леони: «Никто в обществе и даже в нашем светском обществе пока не знает правды… и страшно даже подумать, если это как-то вырвется наружу. Это нанесет непоправимый вред и его политической репутации и его памяти, не говоря уж о последствиях для всех нас». (Где и когда Рэндольф подхватил заразу — неизвестно. Но достаточно долгое время они

с Дженни жили на расстоянии друг от друга, и она была погружена в вихрь собственных увлечений. Наверное, болезнь мужа ее не коснулась.) Уинстону правда стала известна, когда его отец был еще жив. В свои двадцать лет он уже умел добиваться, чего хотел. И он убедил доктора Руза показать ему медицинские отчеты и попросил, чтобы тот рассказал ему «все как есть». Признавшись матери в содеянном, он поклялся, что «не сказал об этом ни единой живой душе… Должен признаться тебе, насколько это тревожит меня».

Смерть отца пугала Уинстона. С беспокойством он следил за ухудшением его здоровья. Для семьи и для всех близких, как писал Уинстон в биографии Рэндольфа Чарчилля, — случившееся представлялось «постыдным». А для сына, который преклонялся перед отцом, — это было еще более мучительно. Он никогда не забудет то снежное утро, когда умер лорд Рэндольф. Почти пятьдесят лет спустя, став премьер-министром, он удивил своего врача, заметив: «Бедный отец умер 24 января 1895 года, много лет назад». Это дата впечаталась намертво в его память. Странным образом, его собственная смерть совпадала со днем смерти его отца. Уинстон Черчилль сделал последний вздох в девяносто лет утром 24 января 1965 года — через семьдесят лет после смерти Рэндольфа.

Летом 1905 года Черчилль завершил жизнеописание отца. Процесс написания истощил его и в эмоциональном и в физическом отношении. Его изможденный вид поразил даже тех, кто видел его и в худшие времена. Явно преувеличивая увиденное, один из журналистов даже набросал что-то вроде некролога: «Ничего не осталось от того «парня». Его лицо осунулось, посерело… Он даже говорил как пятидесятилетний человек, медленно выдавливая слово за словом. Руки едва удерживали шляпу, Уинстон то отодвигал ее на затылок, то снова натягивал на лоб, чтобы прикрыть усталые глаза».

Но физический склад Уинстона был весьма своеобразным: накануне он мог выглядеть полностью истощенным, а уже на следующий день его переполняла жизненная энергия. Он мог пойти играть в поло или отправиться в поездку в двух милях от дома на выступление и произнести две речи подряд. Эти глубинные силы порой поражали его современников. В данном смысле он сильно отличался от других детей аристократов, считавших, что это вульгарно — проявлять слишком много энергии. Это отличало его и от отца, который делал вид, что усердно работает, но на самом деле не знал, что это такое. «Мистер Черчилль превосходит своего отца, — писал А.Г.

Гардинер, редактор лондонской газеты «Дейли Ньюс». — Но к унаследованным способностям, воодушевлению и умению увлекаться он прибавил знания и прилежание, которых был лишен его отец. Он работал столь же яростно, как и играл, обрушиваясь на тот или иной предмет с такой же страстью, с какой он обрушивался на своих противников в палате».

Это помогало ему обрести и нужное в новом времени качество, которое он сам называл «американской гибкостью». Отчасти ему помогла в этом американка, которая занималась «лечением массажем». Она настоящий мастер своего дела, — убеждал Уинстон друзей и советовал Хью непременно обратиться к ней. Женщина вполне заслуживает уважения — «это почтенная набожная старая леди», и она просто сотворит чудеса, ей будет под силу избавить Линки от хронической немощи. После четырех сеансов массажа, как убедился сам Уинстон, у него полностью восстановилось кровообращение и даже сердце стало биться сильнее и ровнее. Поддразнивая друга, он говорил, что «она заставит твою кровь быстрее бежать по венам и поставит тебя на ноги. И ты сразу превратишься в Джо».

Уинстон вложил много сил и отдал много времени составлению биографии, но не просто из сентиментальности, чтобы отдать дань прошлому. Он выполнил работу, которая постоянно сверлила его ум, изложив историю на бумаге. А теперь ему не терпелось узнать, сколько же заплатят за это издатели. Многие весьма уважаемые писатели довольствовались несколькими сотнями фунтов за новую книгу, но Черчилль намеревался потребовать несколько тысяч. И один из издателей уже согласился заплатить четыре тысячи, однако Черчилль надеялся получить еще больше. Чтобы правильнее вести переговоры и заключить выгодную сделку, он обратился за помощью к человеку, которого не очень хорошо знал. Собственно говоря, тот человек не годился на роль литературного агента, о нем даже поговаривали, что он не очень удачно обращается с деньгами, причем как со своими, так и с чужими. Однако он был полон энтузиазма. «Если как следует поработать, — писал автор и издатель Фрэнк Харрис, — это книга принесет вам десять тысяч фунтов, или я простофиля».

Фрэнк Харрис — достаточно противоречивая фигура в литературном мире Лондона. В 1900 году он прервал неудачную издательскую карьеру (Фрэнк издавал журнал) и открыл отель в Монако. Но и с этим предприятием он потерпел банкротство и вынужден был вернуться в столицу Англии, сосредоточив все силы на том, чтобы добиться успеха пером. И вот именно тогда в его жизни появился Уинстон. Фрэнку исполнилось пятьдесят.

Темные волосы, разделенные пробором посередине, подкрученные вверх усики и вечная суетливость, — он более всего напоминал бармена. Тогда Фрэнк еще не написал своих эротических мемуаров «Моя жизнь и мои увлечения», принесших автору широкую известность. Он закончит ее в 1920 году, уже на склоне лет, когда будет отчаянно нуждаться в деньгах.

Как и Уилфред Блант, Харрис был давним другом лорда Рэндольфа. Он был в числе компаньонов Рэндольфа в том, что составляло три неизменных удовольствия для джентльменов: вино, женщины и песни. Харрис никогда не пользовался уважением, а в тот момент, когда закончилась его эра как издателя викторианских времен, в литературных кругах о нем отзывались как о распущенном человеке. Бернард Шоу писал, что «он никогда не был первосортным человеком, даже второсортным или даже десятисортным… он был до отвращения неповторимым — сам по себе».

Но имелся весьма важный довод, почему Уитнстон намеревался рискнуть и сделать Харриса литературным агентом. В свои лучшие времена, когда Харрисон издавал «Сэтердэй Ревью», он написал 26 января 1895 года один из лучших некрологов о Рэндольфе. И в этой статье именно он впервые представил лорда Рэндольфа как человека, продолжившего традиции лорда Байрона в политической сфере поздневикторианской эпохи. Этот образ долгие годы будил воображение Уитнстона, и теперь ему хотелось отдать дань Харрису и предоставить ему возможность поучаствовать в выходе книги о Рэндольфе.

О том, кратком периоде сотрудничества, Харрис писал: «Судя по всему, он знал меня только по той статье, что я написал в газете по случаю смерти его отца. Он был настолько любезен, что отозвался о ней как о самой лучшей из тех, что были написаны, и добавил, что герцогиня Мальборо, мать Рэндольфа, вполне разделяла мнение о гениальности своего сына».

Что бы другие ни думали о Харрисе, Уинстон верил, что давний друг его отца по-настоящему понимает значимость биографической книги и постарается продать ее за ту цену, которую она заслуживает. Чутье не подвело его, когда он сделал ставку на этого человека. К всеобщему удивлению, Харрис сумел подать книгу и убедить издателей. Он сыграл верной картой, подчеркивая известность Уинстона, тот интерес, который испытывали к нему, уверял, что книга открывает многие скрытые стороны политической жизни, подчеркивал ту симпатию, что проявил сын, рассказывая о бурной и трагической карьере отца. Он не скупился на похвалы, объясняя, о том, что Уинстон

цитирует многих прославленных деятелей викторианской эпохи (включая и его самого). Харрис все же не добился получения желаемых десяти тысяч, но подошел вплотную к этой цифре. В конце октября престижная фирма Макмиллана согласилась купить права за восемь тысяч!

Уинстон был очень рад и сказал Харрису: «Это даст мне независимость, ты даже не представляешь, как много это значит для меня, это гарантирует мне успех. Я чрезвычайно обязан тебе».

Он заплатил Харрису 400 фунтов по существующей договоренности еще до выхода книги. (В итоге «агент» Черчилля получил десять процентов с той суммы, что превысила намеченные вначале 4000 фунтов.) Завершив это дело, каждый пошел своим путем. Так что Уинстон стал одним из немногих, кто ускользнул от неудачливого издателя, ничего не потеряв при этом. Всю свою жизнь Харрис оставался недальновидным и расточительным и умер без гроша в кармане. Неудивительно, что ему как-то пришлось, судя по его воспоминаниям, даже выслушать наставления Уинстона о важности быть более дальновидным: «Живи так, чтобы ничего не просить у кого-либо, — советовал Уинстон. — Это первое условие успеха, или живи скромно, — другое необходимое условие. Не требуй ничего, пока не достиг желаемого сам. После чего можно позволить жить в свое удовольствие — пусть это станет главным правилом твоей жизни».

Харрис пропустил наставления мимо ушей, однако сам Уинстон доказал, что придерживается сказанного. Он зарабатывал на жизнь собственным трудом, как платный лектор и автор, следуя правилу: «получай столько, сколько требуется для жизни, и ничего не проси ни у кого». Лорд Рэндольф умер, не позаботившись о том, как и на что будет жить его семья, но он оставил Уинстону более ценное, чем деньги, наследство. Он оставил пример собственной жизни и способность формировать собственные цели.

* * *

Несмотря на то, что Уинстон в 1905 году был чрезвычайно занят — дописывал биографию отца и искал нужное издательство — он не отказался от своего обещания нападать на правительство при каждом удобном случае. В марте он предупредил Бальфура и его сторонников, что те столкнутся «лицом к лицу с вердиктом, который вынесет им страна» на предстоящих выборах. Если премьер-министр все еще стоит у кормила власти, то только по

той причине, что руль ему в наследство передал дядя и не более того. Но в самое ближайшее время этот руль вырвут избиратели — «высший суд». Такой вот приговор выносил Черчилль премьер-министру Бальфуру — как человеку наделенному властью, но лишенному какого-либо уважения.

К середине лета Бальфур так часто подвергался выпадам со стороны Черчилля, что, похоже, утратил чувствительность к дальнейшим атакам. Анализируя сложившуюся ситуацию, Черчилль высказал предположение, что премьер-министр и его сторонники впали в полнейший ступор, и их поведение напоминает рассказ Эдгара По «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром». Глядя на их неуверенные и неуклюжие движения, люди невольно начали гадать: «Жив человек или уже находится при смерти».

Выпады Черчилля были столь едкими и жестким, что даже его новые друзья по партии стали уговаривать его чуть умерить пыл. «Мне очень нравятся отдельные моменты Ваших выступлений», — писал ему весьма благонамеренный представитель либералов, но предупреждал, что многие их сторонники, «более чувствительные», испытывают неудобства из-за того, как безжалостно бичует Черчилль лидеров тори. А в конце октября даже король был вынужден сделать Черчиллю предупреждение.

Это произошло во время ужина, на котором король укорил Черчилля в том, что тот слишком едок в своих нападках на Бальфура. Уинстон ушел, чувствуя себе как школьник, покинувший директора школы после сурового выговора. Это было для него достаточно болезненно. Но я «выслушал наставление со смиренным видом», — написал он впоследствии. Чтобы убедиться, что Черчилль внял его замечаниям, король даже прислал ему газету со статьей самого обычного журналиста, который повторял эти укоры и увещевания. Похоже, его величество считал, что Уинстон еще не проникся сказанным и ему нужно напомнить о том, как следует себя вести воспитанному человеку.

«Было бы полезнее, — говорил журналист, — если бы Черчилль осознал, что несдержанная грубость в выражениях — это не те качества, какие ожидают видеть в государственном деятеле. Население надеется видеть в том, кто стремится управлять страной, хотя бы признаки того, что он умеет владеть самим собой».

Нет сомнений, что Черчилль и не подумывал бы сдерживать себя, если бы Бальфур и далее продолжал цепляться за власть. Но события к концу года повернулись самым неожиданным образом.

В рядах сторонников премьер-министра начался разброд, они разделились на отдельные группы. Да и Чемберлен устал от неопределенной позиции, которую занял Бальфур, и потребовал от него решительных действий. «Распусти парламент, — твердил Джо, — или ты приведешь партию к полному краху».

Но премьер-министр предпочитал скорее уйти в отставку, чем объявлять выборы. Ему была невыносима сама мысль о том, что на следующих выборах либералы возьмут управление страной в свои руки. В первый понедельник декабря он подал королю прошение об отставке. Он долго обдумывал свой шаг, но страна уже была готова к этому.

Когда он прибыл в Букингемский дворец, его не встречала толпа народа. Король только что вернулся с выставки крупного рогатого скота — грандиозное зрелище, и пребывал в наилучшем расположении духа. Потребовалось всего двадцать минут, чтобы Эдуард VII принял отставку, и Бальфур покинул дворец. Его отказ приняли и без восторга, но и без особых сожалений. Он слишком долго тянул и уже успел нанести изрядный урон единству своей партии. С точки зрения критиков это был бесславный конец безынициативной администрации. «Манчестер Гардиан» подвел убийственный итог, процитировав строки Шекспира из «Юлия Цезаря»: «Когда умирают нищие, никто этого не замечает».

Король направил главе либералов — сэру Генри Кэмпбелл-Баннерману просьбу о формировании нового правительства. Все газеты строили догадки, кто из существующих заметных деятелей может войти в новый кабинет либеральной партии. Имя Черчилля почти все забывали упомянуть. Только «Дейли Миррор» высказала предположение, что его могут назначить министром связи. После всех усилий, которые он предпринял, чтобы свалить Бальфура, это было не то место, о котором он мог мечтать. Но Уинстон не выказывал никакого нетерпения и терпеливо ждал предстоящего решения. «Я хладнокровно жду, что будет, — писал он матери в начале декабря. — Лучшее или худшее — в руках фортуны». Но Дженни не была столь спокойной. Уайтло Рид, американский посол в Лондоне, слышал, как она сказала кому-то из друзей: «Черчилль должен войти в новый кабинет правительства. А если не возьмут, то пусть надеются только на Бога».

Часть II. 1906–1910 гг

X. Победители и проигравшие

Человек, который неумолимо выплывал к тому, чтобы занять место премьера, — медлительный, ничем не примечательная личность — с хорошим характером, но очень поверхностным умом. Над ним подшучивали, называя «тетушка Джейн». Один из самых придирчивых интеллектуалов того времени — Ричард Холдейн, имевший привычку цитировать немецких философов, в мемуарах, написанных позже, скажет, что сэр Генри в общественном мнении не выглядел человеком, способным высказывать свежие идеи, — он таковых и не имел».

А к концу карьеры — Си Би [16] — как его часто именовали — оказался под прицелом всех критически настроенных людей. Асквит стал министром финансов, Грей — главой министерства иностранных дел, Холдейн — министром обороны. Ллойд-Джорджа также ввели в кабинет как председателя правления профсоюзов.

Хотя очень многие в партии не считали, что Черчилль готов занять важную должность, Си-Би, в отличие от лорда Бальфура, осознавал, что будет величайшей ошибкой не принимать во внимание Черчилля, который нуждался в награде и одобрении. Поэтому новый премьер-министр нашел способ наградить его и в то же время не вводить в кабинет. Секретарь по финансам в казначействе — весьма уважаемое место с приличной оплатой — 2000 фунтов. Это означало, что Уинстон будет служить под началом Асквита с огромными, необъятными обязанностями и ответственностью. Это было необыкновенно почетное предложение для молодого человека, которому исполнился тридцать один год и который числился в рядах либералов всего полтора года.

Но Черчилль неожиданно для всех отказался. И попросил другую должность — менее впечатляющую и с намного меньшей оплатой — всего лишь 1500 фунтов. Но в этом рискованном шаге был резон. Во-первых, у Черчилля совершенно отсутствовал опыт работы в сфере финансов. А во-вторых, ему не хотелось оставаться в тени лорда Асквита. И он выбрал должность заместителя министра по делам колоний, в чем он разбирался намного лучше, чем в финансах.

Премьер-министр согласился. Черчилль вошел в департамент, которым более восьми лет заведовал Чемберлен и который считался его вотчиной — разве Уинстон не мог испытывать чувство удовлетворения? Но, кроме того, раз уж либеральная партия приложила столько сил для смещения

Чемберлена, то, естественно, Уинстону хотелось найти применение своим способностям именно в министерстве иностранных дел. К тому же новый глава министерства должен был войти в палату лордов, а это означало для Черчилля возможность выступать там в роли спикера. То есть он должен был делать то, что некогда делал Чемберлен.

Новый министр по делам колоний — девятый граф Элгин, чей дед скандально прославился тем, что в начале девятнадцатого века вывез мраморные скульптуры из Парфенона. («Будь проклят тот день и час, когда он покинул свой остров», — писал лорд Байрон, назвавший седьмого графа Элгина вандалом.) Уинстон не сомневался, что у него возникнут какие-то сложности с начальником-аристократом, который был способным администратором, но не питал особого интереса к политике. Лорд Элгин не любил выступать с речами или участвовать в парламентских прениях. Таким образом, это ложилось на плечи Черчилля. А еще молодой политик надеялся, что если он надо, он сумеет обвести вокруг пальца лорда Элгина. Вначале его решение войти в министерство иностранных дел казалось непонятным для членов его партии, но те, кто был более проницательным, сообразили, в чем суть.

Так, например, журнал «Панч» почти сразу разгадал его далеко идущие планы и открыл карты, как только Черчилль пришел в министерство. Один из самых видных карикатуристов изобразил Черчилля в виде греческого воина с развевающимся плащом верхом на скачущем коне, символизирующем «Колониэл оффис» (Colonial Office, Министерство по делам колоний). А позади него в тоге и греческих сандалиях с жезлом в руке стоял бородатый граф Элгин, пытаясь схватить за уздечку коня Уинстона. Это изображение, выглядевшее как один из фризов Парфенона, было опубликовано с подписью «Мрамор Элгина» и шутливым примечанием, что его автором будто бы являлся сам Черчилль.

Только Черчилль и мог сотрудничать с графом и общаться с ним, делая вид, что именно тот выступает главой министерства. Как написали в одном из популярных журналов: «Считаясь заместитетелем, он явно выдается вперед, выбиваясь из рядов». Черчилль получил массу поздравительных телеграмм от друзей, узнавших, что он вошел в члены правительства. Прислал поздравление и Хью Сесил, выразивший надежду, что теперь Уинстон не будет бросать слов на ветер в прениях, а сосредоточит все свое внимание на умелом управлении делами. Черчилль отнесся с юмором к предостережениям друга и пообещал приложить все свои силы, исполняя новые обязанности в

министерстве.

Что касается Мюриэль Уилсон, то на нее, кажется, новое назначение не произвело большого впечатления и нисколько не помогло Уинстону в ее выборе будущего мужа. Зато пламя прежней страсти вдруг вспыхнуло вновь, вернувшись в его жизнь. Это была Памела — теперь леди Литтон. Отношения с ней постепенно наладились, прежние обиды и враждебность отступили в сторону. Они то и дело встречались на той или иной вечеринке, а вскоре она и ее муж пригласили Уинстона в свой особняк Небуорт-Хаус. Впечатленная достижениями Уинстона, Памела сочла, что следует возобновить их дружеские отношения. Она проявила внимание и заинтересованность и была рада, что он ответил взаимностью. Их переписка возобновилась, и Памела обращалась к нему теперь не иначе, как «мой Уинстон». Однако память о том, сколько он пережил после того, как был отвергнут Памелой, все еще ранила Уинстона. Ему очень хотелось показать, как много она значила для него.

Через несколько дней после того, как Черчилль стал заместителем министра, лучшая подруга Памелы — леди Грэнби — давала прием в лондонском особняке, и пригласила на этот вечер и Уинстона. Памела тоже была в числе приглашенных, как и ее друг Эдвард Марш, личный секретарь Чемберлена в министерстве по делам колоний. Марш все еще продолжал работать секретарем в восточноафриканском отделе того же министерства. Именно Памеле принадлежала идея пригласить его на прием леди Грэнби. Он был на два года старше Уинстона, но тот внушал ему такой трепет, что Марш едва смог вымолвить пару слов и обращался с Уинстоном более чем почтительно. Они пару раз встречались прежде в министерстве, и Черчилль никак не мог понять, почему Марш с таким трепетом взирает на него. В ответ на его прямой вопрос Марш ответил: «Потому что вы мой начальник в министерстве». Прежний его начальник — Чемберлен не внушал ему тех чувств, что Черчилль. «Я немного боялся его», — признавался впоследствии чувствительный и чрезвычайно впечатлительный Марш. Секретарь производил впечатление человека, готового спрятаться в тени Уинстона.

Он был на пару дюймов выше Уинстона, тонкий, с мрачноватым неясным обаянием, и густыми кустистыми бровями, которые загибались на кончиках к вискам его высокого и широкого лба. При этом голос его был неожиданно высоким и скрипучим, а характер довольно упрямый. При первой встрече на него вполне можно было не обратить особого внимания.

Каково же было удивление Марша, когда на следующий день он узнал, что Уинстон хочет взять его к себе личным секретарем.

Он не мог поверить своим ушам, а когда узнал, что это не шутка, впал в ужас. Марш неоднократно сам был свидетелем безжалостных нападок Уинстона на Чемберлена и решил, что теперь тот хочет взять его на роль мальчика для битья и, воспользовавшись своим положением, заклюет до смерти. Покинув министерство, он бросился за советом к Эдит, вдовствующей графине Литтон — свекрови Памелы.

Эдди, как называли его друзья, был, можно сказать, приемным членом семьи Литтонов. Единственный сын известного врача, он стал близким другом Виктора — лорда Литтона, когда они оба учились в Кембридже. Позже он снимал комнату на двоих с Невиллом, братом Виктора. Невилл, художник и типичный представитель лондонской богемы, был женат на Джудит, прелестной дочери Уилфреда Скоуэна Бланта. И когда Памела вошла в семью Литтонов, она подружилась и с Эдди. Тот впоследствии писал: «Небуорт стал для меня вторым домом». Именно Памеле пришло в голову, что он должен работать у Уинстона. Но ничего не говорила ему о своих планах.

Марш в полном отчаянии спросил вдовствующую графиню как ему быть. Она знала Уинстона и Дженни много лет, но не была им близким другом, они виделись только на светских вечерах. Но в свое время она была знакома и с лордом Рэндольфом. Прекрасно понимая чувства и переживания Эдди, она высказала очень важную мысль: «При первой встрече с Уинстоном ты увидишь только одни его недостатки, — сказала она. — А потом, всю оставшуюся жизнь будешь открывать его достоинства».

Ободренный ее поддержкой, Марш согласился поужинать с Уинстоном. Вечер, проведенный вместе с будущим начальником, успокоил Марша. Требования, которые предъявлял Черчилль к своему работнику, выглядели вполне резонными. К концу ужина он принял предложение. Уинстона обрадовало то, что он будет править в княжестве Чемберлена, а его правой рукой станет бывший помощник Джо.

По возвращении домой Эдди тотчас написал письмо Памеле, сообщив ей о своем решении. «Мне кажется, я должен признаться, насколько меня восхитил Черчилль. Я готов сделать все, что в моих силах. Молись за меня».

Вот каким образом Эдди стал личным секретарем Уинстона. И оставался его личным секретарем в течение двадцати пять лет, следуя за Черчиллем из одного кабинета в другой. Он стал не просто доверенным лицом, но и другом. Нельзя сказать, что эта работа была легкой, но он вскоре научился ставить громоотводы, когда над его головой разыгрывалась буря. «Меня не беспокоило

то, что он откусит мне голову, — писал Марш в своей автобиографии, — потому что знал, через несколько минут Уинстон опомнится, снова выудит ее из корзины для бумаг и заботливо, даже с церемониями, водрузит на шею».

Уинстон и Эдди смотрелись как два абсолютно неподходящих друг другу человека. Однако, как и в том, что касалось самого Уинстона, лучшие качества Эдди проявлялись не сразу, для этого потребовалось время. Он любил поэзию, любил все, что имело отношение к искусству, вел чрезвычайно скромный образ жизни, зато тратил все свободные деньги на поддержку любимых писателей или на покупку живописных полотен. Он стал первым собирателем картин художника Дункана Гранта, входившего в «кружок Блумсбери».

Эдди Марш стал близким другом и покровителем поэта Руперта Брука, и после смерти поэта в 1915 году выступил в роли его литературного душеприказчика. Столь же щедро он помогал писать песни, пользующиеся большой известностью, своему другу Айвору Новелло. Мелодия песни «Страна, которая может быть» принадлежит Новелло, но слова написал Эдди. Ходили слухи, что Памела — давняя поклонница — любила Марша, его лирические стихи проникали в душу, трогая самые чувствительные струны сердца. Он написал лучшие строки об ускользающем видении: «На пути сомнений, страха нам вдруг ночью удавалось обнаружить свет надежды».

Страстный поклонник английской грамматики, Эдди — это было самым любимым делом, — правил тексты, которые ему давали, выискивая в них неточные выражения и ошибки. Его начальники — в том числе и Черчилль — ценили это качество. Ценили этот дар и друзья Эдди, многими своими успехами в литературе они были обязаны именно ему. Так, например, Сомерсет Моэм был в числе тех друзей и тех писателей, для кого в последние годы уже вошло в привычку отдавать Эдди свою рукопись для чтения и правки. Они могли часами спорить: следует ли принять за норму английского языка уменьшительную форму от слова «ланч». Эдди настаивал на том, что слово может существовать только в неизменной форме. Моэм, не всегда соглашавшийся с ним, написал: «Думаю, что ты знаешь английскую грамматику лучше кого бы то ни было в Англии».

Эдди открыл секрет, как можно выдерживать долгие годы, целыми днями занимаясь чисто бюрократической деятельностью. Еще в молодости он освоил способ засыпать минут на тридцать во время рабочего дня так, что со стороны этого никто не замечал. Он стал засыпать в церкви, и никто не замечал, что он вдруг цепенел. И у себя на работе, в министерстве, он каждый день

пользовался своей способностью спать послеобеденным сном, сидя совершенно прямо с видом человека, просто погруженного в мысли. Если кто-нибудь обращался к нему в эту минуту, он тотчас включался и мог выслушать с полным вниманием, но как только оказывался в одиночестве — опять погружался в дремоту. Эдди обучил этому приему и Черчилля, называя состояние послеобеденной «комой».

Однако из-за бесчисленного количества дел и новый министр, и его помощник не могли позволить себе много спать. После того, как формирование кабинета завершилось, новый премьер-министр Кэмпбелл-Баннерман счел, что страна готова к проведению всеобщих выборов в январе. Времени на освоение новых обязанностей у Уинстона было очень мало. Третьего января 1906 года он приехал в Манчестер, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборы — чего не мог сделать лорд Элгин как член верхней палаты парламента.

Помогая ему, Эдди развил бурную деятельность. Он отправился вместе с Уинстоном, в Манчестере они сняли комнаты недалеко от центрального вокзала в Мидленд-отеле — новеньком «мастодонте» (как называл его Черчилль), «символизировавшем здоровье и силу тогдашнего Ланкашира».

Бальфур, чей избирательный округ также находился в городе, остановился по соседству — в Королевском отеле. Пик сражений приходился на самые последние дни перед выборами, и представители двух партий осыпали друг друга насмешками в эти влажные зимние сумерки.

Противник Черчилля — тори Уильям Джойнсон-Хикс, адвокат, уделял много внимания религиозным вопросам, писал статьи об умеренности и воздержании, искоренении пороков и борьбе за то, чтобы на дорогах было как можно больше новых машин. Его перу принадлежал труд «Закон о тяжелом и легком механическом транспорте на шоссейных дорогах Соединенного Королевства», снабженный умопомрачительным количеством ссылок. Выборы в 1900 году он проиграл, и хотя некоторые либералы не считали его важным противником, Черчилль отнесся к его кандидатуре со всей серьезностью.

Вскоре после приезда Черчилля в Манчестере появились огромные плакаты со слоганом «Голосуйте за Уинстона Черчилля и свободную торговлю». Его имя было написано огромными буквами. Идея свободной торговли родилась именно в Манчестере в 1840 году — ее выдвинули тогда давние борцы за это дело — Ричард Коббен и Джон Брайт. Не желая уступать противнику, Джойнсон-Хикс распорядился напечатать плакаты с

его именем намного больше — размером в пять футов высотой. Но слоган не читался, идея выглядела непонятной, и он звучал не столь ритмично: «Поддерживайте Джойнсон— Хикса и постоянство». Чтобы прочитать такой огромный плакат, людям приходилось высоко задирать голову. Предусмотрительно немного иронизируя над собой за то, что перешел из рядов тори в ряды консерваторов, Уинстон таким образом заранее обезоружил нападающих. «Будучи в партии консерваторов, я высказал немало глупых утверждений, — признался Черчилль собравшимся на встречу. — И я покинул их, потому мне больше не хотелось повторять эти глупости».

Такая линия поведения вызывала дружелюбный смех и настроила публику соответствующим образом. Во время предвыборной кампании Черчилль пребывал в приподнятом настроении и не скрывал этого. Энергичный настрой не покидал его ни на минуту. С самого раннего утра до поздней ночи он выступал перед своими сторонниками. Его выступления — не менее четырех раз в день — проходили и в переполненных залах для специальных собраний и в театре. Ему случалось подниматься на шаткие платформы, наскоро сколоченные на открытом воздухе, а за его спиной развевались плакаты. Вечером он планировал следующий день, а Эдди должен был два или три часа отвечать на письма и телеграммы. И где бы он ни появлялся, его встречали столь же восторженно, как потом стали встречать поп-звезд. В один из дней собралось такое количество людей, которые шли за ним, что нескольких человек затоптали, а четверых отправили в Королевский госпиталь для оказания им помощи, в том числе и мужчину, который «пробил головой оконное стекло».

Когда стало известно, что Черчилль остановился в Мидленд-отеле, толпы людей собирались в вестибюле и вокруг здания, чтобы только взглянуть на него, когда он выходил оттуда. «Проходя по коридору … он раздавал автографы тем, кто охотился за ними, и всем, кто восхищался им». Изливая свои чувства, они называли его «Уинстон» и каждый мечтал пожать ему руку, словно они были старыми друзьями». Что касается Джойнсон-Хикса, то он появлялся вместе с Бальфуром в большом экипаже и мог привлечь довольно большую толпу, правда, ему все же пришлось уклониться от некоторого количества камней, брошенных в сторону его машины после какой-то встречи. Газетчики писали, что еще никогда выборы не достигали такого высокого «накала страстей».

Казалось, что все работает на Черчилля. Пресса давала вполне объективные репортажи по ходу предвыборной кампании,

одновременно шел бесконечный поток хвалебных отзывов о его книге — биографии лорда Рэндольфа, — она появилась под громкий звук фанфар как раз в середине выборной баталии. Все рецензии были полны восторгов, а некоторые даже поражались тому, что столь молодой политик смог написать ее с таким знанием дела. Некоторые обозреватели, даже те, кто не соглашался с утверждениями биографа о значительной роли Рэндольфа в политике, наслаждались стилем и манерой изложения, а также тем, как автору удалось развить сюжетную сторону. Критик из «Спектейтора», известный своим беспристрастием, отмечал, что Рэндольф был «способен поразить, но не повести за собой», и обращал внимание читателей на то, что в политическом мире «редко встретишь столь же романтическую карьеру, как у этого государственного деятеля, который стал известен в тридцать, по существу вышел в лидеры в тридцать семь, потерял все и умер в сорок лет».

Конечно, Уинстон многим рисковал, когда соглашался выпустить книгу в самый разгар ожесточенной борьбы с противником — ведь тот мог воспользоваться кое-какими параллелями в судьбе сына и отца. Однако автор так умело переплел свои взгляды с историей жизни отца, что попытка сравнивать его карьеру в тридцать с карьерой лорда Рэндольфа могла только повредить самим противникам. Даже в момент пика противостояния никто не воспользовался книгой как оружием против Черчилля. Во многих отношениях драматический взлет сына производил намного более сильное впечатление, чем аналогичный взлет его отца. Черчилль добился большего с меньшими потерями. Он не унаследовал магического влияния титула, красавицы жены, безмерного кошелька, зато Уинстон был более храбрым, блестящим и сильным человеком, чем лорд Рэндольф.

В тот субботний день, когда проводился подсчет голосов — 13 января — Черчилль, похоже, не сомневался в победе. Он пользовался популярностью, энергично вел кампанию, в то время как тори постоянно оправдывались, пытаясь объяснить прежние ошибки и только нащупывая, что они могут предложить на будущее. И когда результаты огласили, Бальфур потерпел сокрушительное поражение. А вот Уинстон вышел вперед с несомненным преимуществом, как и остальные представители либеральной партии в районе Манчестера. Консерваторы полностью проиграли, а либералы триумфально шагнули вперед. Сторонники вынесли на руках сияющего Черчилля, чтобы отпраздновать победу в ресторане Мидленд-отеля. В конечном

итоге либералы выиграли 377 мест в парламенте, в то время как тори с огромным трудом набрали чуть больше ста пятидесяти мест. Это было именно то полное крушение Чемберлена, Бальфура и их партии, которое предсказывал Черчилль.

В бирмингемском избирательном округе протестная волна выборщиков не коснулась Чемберлена, как это сказалась на других членах партии, однако он не мог не слышать звона погребального колокола, с каждым ударом которого забивались гвозди в его империалистические амбиции. Он не мог отменить вердикта, который вынесли избиратели. Его карьере пришел конец. Но он все еще надеялся выбраться наверх.

Откладывать реванш на более отдаленное время Чемберлен не мог. Его здоровье ухудшалось. Долгие годы он утверждал, что сигары, которые он непрерывно курил, никак не сказываются на здоровье, и что ему нет необходимости заниматься физическими упражнениями. Но через полгода после выборов он упал в своей спальне как раз после ужина, когда отмечалось его семидесятилетие. Жена застала его в тот момент, когда он полз по полу. Это был сильнейший инсульт, всю его правую сторону парализовало.

В какой-то степени ему удалось оправиться. Однако Джозеф Чемберлен уже никогда не мог произносить такие зажигательные речи, как прежде, и движения его оставались скованными. Хотя близкие уверяли всех, что в самые ближайшие месяцы он вновь начнет вести активную деятельность, однако он все реже показывался в общественных местах, и мало кто мог видеть его скукоженную фигуру в инвалидном кресле. Лицо его было перекошенным и бледным. От блистательного политика осталась только тень. В таком виде он протянул до 1914 года. Бальфуру удалось отвоевать себе место, он удачно вернулся к политической жизни. Но для Чемберлена все закончилось на выборах 1906 года. Взгляды Черчилля на Чемберлена заметно смягчились с годами, и он уже не был к нему так строг и придирчив. Все плохое постепенно стерлось из памяти, и Уинстон чаще вспоминал только самые лучшие моменты их взаимоотношений.

Перед отъездом из Манчестера Уинстон и Эдди совершили долгую прогулку по трущобам города. Они шли по темным улочкам мимо корявых домишек. И вдруг Уинстон, не выдержав, проговорил: «Представляю, каково это — прожить всю жизнь в таком месте, никогда не видя ничего прекрасного, никогда не отведав хорошей еды, никогда не услышав ни одной умной фразы!» Много лет спустя Марш процитирует эти слова в своей автобиографии, и многие потом будут использовать их против Черчилля, чтобы подчеркнуть его снобизм. К сожалению, как

правило, эти люди упускали вторую часть фразы, приведенную Эдди, ведь он писал: «Уинстон произносил ее с симпатией и сочувствием».

Черчилль никогда не смотрел ни на кого сверху вниз. Он просто пытался осознать, что представляет собой жизнь простых тружеников. Люди, подобные Бальфуру, даже не давали себе труда задуматься об этом. Их больше заботила собственная карьера. Уинстон не мог перестать быть Уинстоном. Он знал, что он любит и что приносит ему счастье. Но он обладал способностью оторваться от привычных дел, оглядеться и осмыслить, что происходит вокруг, и задаться вопросом, как это можно изменить к лучшему. Он очень много сделал с тех пор, как перешел из одной партии в другую, и сделает еще очень много со временем, изучая новые идеи, которые он разделил со своими соратниками.

XI. Мир у его ног

Ранним февральским утром 1906 года Флора Лугард — журналист, автор колонки в «Таймс», настроившись на боевой лад, направлялась к министерству по делам колоний, чтобы поговорить с Уинстоном. Встреча обещала быть трудной. Пылкая сторонница империализма, Флора побывала во многих местах Африки — ее муж, сэр Фредерик Лугард, был верховным комиссаром в Северной Нигерии[17], и ее возмущала сама мысль о том, что молодой противник Джозефа Чемберлена, не менее страстного поборника империализма, — теперь стал вторым человеком в министерстве иностранных дел. А у нее были далеко идущие планы относительно себя и своего мужа, который усердно трудился за тысячу миль от родины. И ее тревожило, что Черчилль может встать поперек дороги. Флора намеревалась показать выскочке, что с ней шутки плохи. С полной самоотдачей и без всяких уступок она получала огромное удовольствие от своей журналистской деятельности, весьма редкой для женщин того времени. Характер у нее был сильный, и если она чего-то хотела очень сильно, то, как правило, добивалась своего. Флоре удалось стать первой женщиной с постоянным окладом в «Таймс». Писательница и исследовательница Африки Мэри Кингсли описывала ее как «прекрасно сложенную, изящную женщину … [но] крепкую как гвозди».

Когда Флора Лугард прибыла в министерство по делам колоний на Даунинг-стрит, она попросила разрешения увидеть нового замминистра и была отправлена по длинным коридорам к комнате Черчилля. Она не имела приглашения, но с присущим ей самоуверенным видом вручила Маршу свою визитную карточку и, попросив о встрече, села на стул дожидаться ответа. Она не рассчитывала на теплый прием. Правительство консерваторов ради пробы согласилось удовлетворить просьбу ее мужа и разрешить ему в течение полугода управлять нигерийскими делами из Лондона. Флора слышала, что Черчилль противился этой договоренности. Если ее информация была верна, она надеялась изменить его мнение, доказав, что работа на самом деле не требовала постоянного присутствия сэра Фредерика в Африке, и что его имперская экспертиза была необходима в министерстве по делам колоний, откуда он мог руководить операциями во всей Западной Африке.

С ее стороны это был дерзкий поступок — настаивать на таком соглашении. Но это бы дало возможность Лугардам, — которые поженились в достаточно зрелом возрасте, —

рассматривать Африку как свое королевство, куда они могут ездить время от времени, когда им захочется. С их точки зрения идея не выглядела столь уж неубедительной. Это просто был подходящий путь, чтобы усовершенствовать систему и получить вполне заслуженную награду за примерную службу.

Но имелось одно весьма серьезное препятствие — серьезные просчеты сэра Фредерика, которым даже его новая жена Флора не могла бы найти оправдания. Дело в том, что во время своей деятельности в Африке он выказывал склонность вырезать племена, не подчинившиеся его воле. Еще недавно состоявший под его командованием хорошо вооруженный отряд истребил 1200 человек, разнеся артиллерийским и пулеметным огнем глиняные стены и покрытые воловьей кожей ворота примитивной крепости. Другая экспедиция истребила две тысячи человек, включая женщин и детей. [18]

С точки зрения жителей Западной Африки, сэра Фредерика следовало отозвать в Англию. Но Лугард считал, что предназначением империи является улучшение жизни каждого, кто признает британское правление, и ради этого доброго дела нужно быть готовым пролить много крови.

Черчилль не стал отказывать Флоре. Он действительно пригласил ее к себе в кабинет и встретил весьма вежливо. Молодость заместителя министра поразила ее. Позже она напишет мужу: «Совершенно непонятно, как мальчик в таком возрасте и с таким небольшим жизненным опытом получил в руки такую власть и такое влияние». Стол Черчилля был завален огромным количеством бумаг и документов, свидетельствующих о том, как сильно он занят. Тем не менее, он счел нужным уделить ей внимание. Какое-то время они рассматривали друг друга. Она решила для начала польстить Черчиллю, сказав, что прочла все репортажи о нем. Там говорилось много хорошего, но из отчетов она поняла, что есть моменты, которые имеют отношение к ней и к ее мужу. Вот почему она пришла.

Правда ли то, что он выступает против намерений сэра Фредерика? Да, ответил Черчилль прямо. Но это еще не все. Он намеревается произвести еще более серьезные перестановки и вообще изменить политику управления Нигерией.

«Существует очень многое, чего новая палата общин не может принять, — объяснил он. — Все это требует перемен».

Она не могла знать доподлинно, только догадывалась по тому количеству документов, что лежали на его столе, — насколько Черчилль погрузился в работу министерства по делам колоний и насколько глубоко он копает. Он успел прочитать все, что имело отношение к Лугарду, и представить, насколько это

жесткий и безжалостный человек. Более того, лорд Элгин уже отправил распоряжение Лугарду воздержаться от каких-либо рейдов против местных племен. Черчилль поддержал это распоряжение, саркастически заметив: «Хронические кровопускания в Западной Африке — явление гнусное и отвратительное. До каких пор наши представители будут считать, что имперская политика должна проходить под маркой убийства людей и захвата их земель?!»

А что касается самого сэра Фредерика, то Черчилль пришел к выводу, что верховный комиссар строит планы выступить в роли имперского царя, для которого Нигерия будет представлять собой вариант угнетенной России.

Лугарды представляли собой темную сторону имперских мечтаний Чемберлена. Именно с легкой руки Джо сэр Фредерик сформировал нечто вроде личной армии — Западноафриканские пограничные силы, с помощью которых он подчинял все новые и новые регионы. [19]. Элгин и Черчилль намеревались положить конец начинаниям Лугарда, о чем Флора еще не знала.

Какое-то время «мальчик» слушал Флору достаточно терпеливо, никак не выказывая своего действительного отношения к предмету беседы, хотя сам считал абсурдом любую договоренность о привилегированном положении ее мужа. Ранее он уже вполне недвусмысленно заявил Элгину, что «мы не можем превращать министерство по делам колоний в пантеон живых проконсулов — по типу римских предшественников». Флора Лугард покинула кабинет Черчилля в полной уверенности, что она произвела на него впечатление своими знаниями и доводами. Но когда Элгин официально отверг прошение о предоставлении ее мужу права на равные периоды несения службы в Нигерии и в Лондоне, Флора знала, кого следует винить. В письме, отправленном мужу, она старалась сохранить хорошую мину при плохой игре, выглядеть более оптимистичной, советуя сэру Фредерику не терять присутствия духа и не принимать отказ так серьезно. Это всего лишь злобный выпад, характерный для выскочек, — писала она.

«Благодаря таким людям, как ты, исполняющим свой долг… и строилась наша великая империя, — писала она. — А потом в министерстве по делам колоний появляются выскочки вроде Уинстона Черчилля и в самые критические моменты, когда требуется нанести мощный удар, останавливают занесенный кулак».

Новым руководителям министерства по делам колоний не потребовалось много времени для того, чтобы вызвать Лугарда из Нигерии и сообщить ему, что его возвращение туда было бы

нежелательно. А на следующий год Лугарда отправили губернатором в Гонконг, где он не мог причинить большого вреда. Но после того как Черчилль и Элгин покинули министерство по делам колоний, Лугард снова добился своего возвращения в Нигерию и пустил там еще больше крови. Он приказал публично вешать захваченных в плен мятежников в назидание другим, и подавлял беспорядки, посылая многочисленные отряды войск с разрешением открывать огонь по протестующим туземцам. В 1918 году в Абеокуте его солдаты убьют тысячу человек. [20].

«Весь цивилизованный мир, — доказывала Флора в разговоре с Уинстоном, — опирается на порядок, который поддерживают вооруженные силы. Уверяю вас, что в мире трудно найти человека, менее склонного к военным операциям, чем мой муж. Он отдает предпочтение мирным методам управления, но кому как не ему знать, что требуется для устранения беспорядков?!»

Уинстон отнесся с уважением к ее чувствам и проявил максимум сердечности, тем более, что личный вклад сэра Фредерика и его самоотверженный труд на благо империи и в самом деле заслуживали признания. Но он решительно отказывался поддерживать методы и способы подавления сопротивления, которые практиковал Лугард. Флора поиронизировала над его морально-этическими принципами при встрече в Бленхейме, куда ее пригласил Санни. Она заявила, что «манчестерские избиратели, обеспечившие победу на выборах», не имеют ни малейшего представления об Африке. Уинстон ответил ей просто: «Нам надо отказаться от большей части Нигерии — она слишком велика, чтобы мы могли удержать ее в руках! Надо положить конец карательным экспедициям и довольствовать той частью страны, которая в целом поддерживает с нами мирные отношения». Флора с удивлением посмотрела на него: «И вы надеетесь, что при ваших методах управления империя будет процветать?»

Черчилль и в самом деле искал новые способы, при которых имперская машина будет работать без использования жестких методов насилия и подавления. Он и сам не мог избавиться от многих предубеждений, свойственных его времени, и сам наделал немало ошибок из-за них. Но в основном, его деятельность в министерстве по делам колоний была дальновидной и перспективной. Она также была относительно свободной от бессмыслицы, за редким исключением тех происшествий в палате, когда он был вынужден защищать правительство, прибегая к «терминологически неточным» определениям.

Имея за плечами столь огромный опыт в литературе, он легко мог обнаружить ловкие приемы, используемые авторами, которые хотели придать остроту самому обычному делу. Даже Джонатан Свифт не смог бы найти более язвительных острот, которые отпускал Черчилль в отношении бюрократичного настроя ума, который царил в таком департаменте, как министерство по делам колоний.

Пример тому — длинный комментарий относительно рекомендации по поводу ссылки одного африканского вождя из протектората Бечуаналенд [21]. Племя настаивало на удалении своего вождя, и министерство по делам колоний предложило заключить Секгому на отдаленном острове. Возмущенный столь явной несправедливостью, Черчилль издевательски спросил: «А почему мы должны ограничиться только этим? Если правительство считает возможным посадить человека в тюрьму без суда и следствия, может быть проще убить его и сразу покончить с этим делом. А можно прибегнуть и к другому способу — отравить его, напоив каким-нибудь лекарством? Уж если мы используем средневековые способы, почему бы нам не набраться средневековой храбрости и безжалостности? Мы на этом сможем сильно сэкономить. Порция лауданума стоит всего лишь пять шиллингов — вот и все, что нам потребуется на расходы».

Но лорда Элгина такие моменты в их деятельности не поражали. Он провел немало лет, имея дело со сложной машиной британской бюрократии, и не считал, что в таких вопросах, как тот, что связан с Секгомой, следует придерживаться буквы закона. Более того, он был убежден, что депортация и тюремное заключение являются необходимой административной мерой. Уинстон не согласился с ним, продолжая настаивать на том, что Секгома обладает всеми правами. И вот тут Элгин потерял терпение, — что с ним случалось крайне редко. «Этот человек — дикарь, — воскликнул он. — И соблюдение законности по отношению к нему приведет к нарушению мира и спокойствия в регионе».

Когда страсти немного постыли, Элгин согласился вычеркнуть строчку о депортации, но оставил предложение, где речь шла о тюремном заключении. Что чрезвычайно важно, он согласился с тем, что эту меру следует признать из ряда вон выходящей и утвержденной только ради сохранения мира. Черчилль настаивал на своем не только из гуманных соображений. Он старался убедить Элгина в своей правоте, чтобы и в дальнейшем добиваться от него большей уступчивости.

Элгин приложил немало сил для достижения влияния, каким

он обладал. Как-то Уинстон написал по одному поводу: «Я не могу взять на себя ответственность за это». Элгин ему ответил коротко: «Я могу». В другой раз Черчилль, заканчивая докладную записку, напишет: «На мой взгляд». Элгин ответил: «Но не на мой».

То отступая, то наступая, Черчилль частенько хватался за перо, подчеркивая вызывающие неодобрение строки в текущих документах, требуя как можно более быстрых перемен в министерстве. Уравновешенный и спокойный Элгин решал эти сложные вопросы, используя корректорские значки. Когда Черчилль настаивал на каких-то переменах, переходя за грань возможного, Элгин ставил на полях корректорский знак «оставить все как есть».

Однако при всех их расхождениях, они оба разделяли точку зрения, что пора притормозить локомотив империализма. Хотя бы для начала в Африке. Черчилль, например, не видел возможности, каким способом они и дальше могут притязать на власть в тех областях, которые остаются неподконтрольными. И настаивал на том, что сказал Флоре Лугард: «Нам следует отказаться от попыток удерживать такую огромную территорию, которую мы оккупировали номинально, но на самом деле не в состоянии управлять ею. Поэтому следует сосредоточить все силы на тех регионах, где наше положение намного более устойчиво, и развивать их в экономическом отношении».

Элгин соглашался, признавая тот факт, что из-за Чемберлена и непомерного аппетита таких же, как он, деятелей, Британия, не прожевывая, заглотила такие жесткие куски африканского континента, что недолго и подавиться.

Черчилль — дитя имперской эпохи — мечтал о том, чтобы империя процветала, но чтобы Британия при этом не теряла того лучшего, что ей было присуще. Незачем тратить людские жизни и деньги, чтобы выставить развевающийся флаг на новом участке земли, если это приносит только одни траты, и не приносит никакой выгоды и к тому же ухудшает жизнь населения этих районов. Вместо того чтобы удерживать империю пошлинами, Черчилль мечтал управлять на основе доброй воли, деля ответственность, справедливые законы и заботясь об общей безопасности. Вполне возможно, что изначально это были абсолютно нереалистические планы, но до тех пор, пока дух империи сохранял аромат романтизма, Черчилль верил в нее всеми фибрами души. По крайней мере, ему хотелось удержать империю хотя бы от того, чтобы она утверждала цивилизованность пулями или пушечными снарядами.

Как вскоре выяснилось, не только один Фредерик Лугард был

из числа тех, кто утверждал свою волю путем полного насильственного уничтожения оппозиционеров. Когда выяснилось, что в Восточной Африке жертвами британских колониальных войск стали 160 человек, Уинстон в гневе воскликнул «кровавая бойня!» и сокрушенно спросил с долей свойственного ему сарказма: «Вряд ли требовалось использовать такие силы, чтобы убить безоружных людей».

Большая часть работы в министерстве по делам колоний состояла из нудных бюрократических обязанностей. Но каждый раз Черчилль применял всю данную ему власть, чтобы защитить жизнь обычных людей в таких отдаленных уголках империи, что в большинстве случаев, он только смутно представлял, в какой цвет окрашен этот кусок на карте. И он старался всякий раз не забывать о том, что в каждой колонии — сколь бы удаленной она ни была — живут личности со своими проблемами и заботами, заслуживающие внимания со стороны Лондона. Говорят, что первые слова, которые он произнес, войдя в кабинет, были: «Давайте посмотрим на карте, где же расположены эти страны».

Под началом Черчилля находилось не так уж много людей. Основной штат государственных чиновников был на удивление мал. Только тридцать пять клерков, двенадцать ассистентов, личные и временные секретари, плюс некоторое число посыльных и машинисток. Дел было невпроворот, однако Уинстон частенько взваливал на себя и ту работу, от которой прежний заместитель министра отказывался, считая ее ниже своего достоинства. Если кто-либо задерживался с ответом какому-то незначительному англичанину в Британской Гвинее, Черчилль выговаривал служащим: «Не будьте такими заносчивыми и невнимательными, не считайте, что можете пренебрегать каким-то обычным гражданином. В будущем он может стать сторонником, а вы превращаете его в нашего злостного противника».

Из-за загруженности в министерстве и обязанностями в палате общин у него почти не оставалось времени для себя. В январе он переехал из квартиры на Маунт-стрит на улицу Болтон-стрит 12, неподалеку от Грин-парка и отеля «Ритц». Оттуда он мог легко добираться пешком в министерство. Рано утром он спешил в Уайтхолл, а возвращался домой поздно ночью. Аренда жилья обходилась ему в 1000 фунтов. Оставшиеся 200 он тратил на жизнь. Квартира, которую он снимал, находилась в доме, выстроенном частично из красного кирпича. Для семьи эта квартирка была бы весьма тесной, но для одинокого холостяка — вполне просторной и удобной.

Постоянная зарплата, а также деньги, полученные за

биографию отца, давали ему возможность жить, не задумываясь о тратах, однако без особой роскоши. Он не так много находился у себя, потому что большую часть времени проводил, погруженный в дела. Но ему нужно было иметь свою комнату, где бы он мог полностью расслабиться.

Наиболее важная часть обязанностей — что уже можно было заранее предугадать, — имела отношение к Южной Африке. Кэмпбелл-Баннерман хотел ускорить мирные переговоры с бурами, пообещав автономию их трансваальскому оплоту. Ему представлялось, что они воспримут это как щедрый дар и достойное вознаграждение за отвратительную войну. Консерваторы видели в этом предательство национальных интересов, полагая, что те, кто сражался с бурами, не простят такой измены. Черчилль поддерживал премьер-министра в смелом решении, и на его плечи легла вся работа по детальной и подробной разработке всех пунктов, чтобы нейтрализовать оппозицию.

С бурами — своими бывшими врагами, — он легко находил общий язык. А вот тори — его бывшие друзья — атаковали его с яростью. Что бы он ни предлагал относительно Южной Африки, все вызывало бурю гневных протестов со стороны оппонентов. В марте, когда в палате шло обсуждение деятельности лорда Милнера — главного комиссара в Южной Африке, разделявшего воззрения Чемберлена на имперские традиции, — консерваторы взорвались гневными криками возмущения. Они сочли, что оценка деятельности вернувшегося недавно чиновника умаляет его достоинство и уничижительна. А Черчилль высказался следующим образом: «Лорд Милнер вернулся из Южной Африки, и, судя по всему, навсегда. Он уже не будет заниматься государственной службой, лишится всех тех полномочий, которые имел. Он останется не у дел. Человек, управлявший событиями, которые имели историческое значение, теперь не сможет оказать ни малейшего влияния на самые незначительные явления в политике»… Это был тот случай, когда высокомерные риторические приемы подвели Черчилля.

Он ставил перед собой задачу — сделать выговор Милнеру за превышение служебных полномочий во время управления Южной Африкой, а затем — медленно и величественно, — Черчилль хотел заявить, что нет необходимости в данном случае укорять человека, пусть и лишенного власти и былого авторитета — в прошлых проступках. Он хотел указать, что Милнер злоупотреблял своим положением, однако — так Черчилль строил систему выводов, — было бы ошибкой «преследовать и возлагать вину на одного человека за старые ошибки» — давайте

«похороним их в прошлом».

Но суть «ошибок» была очень серьезной. Владельцы шахт в Южной Африке помыкали своими работниками-китайцами, обращаясь с ними как с рабами, и служащие Милнера смотрели на происходившее насилие сквозь пальцы, не предпринимая ничего против порки и других телесных наказаний. Когда в палате лордов Милнеру задали вопрос, правда ли это, он ответил, что да. Он одобрял телесные наказания для поддержания порядка, но очень сожалеет об этом и считает, что был неправ.

Черчилль и другие лидеры либеральной партии хотели избежать в дальнейшем случаев насилия. Им совсем не хотелось втягиваться в длинные пререкания с тори относительно прошлого, в особенности, когда они были связаны с деятелем, прослужившим в колонии достаточно долго и пользовавшимся известностью в стране. Но в своем стремлении двигаться вперед и похоронить прошлое лорда Милнера, Черчилль проявил слишком много воодушевления. Тори не успели до конца понять, что он имеет в виду, и принялись кричать «Позор!». Для них не имело значения, злоупотреблял ли Милнер своим положением, был ли он виновен или нет. Консерваторы считали, что Черчилль — теперь оказавшийся на стороне победителей — теперь пытается унизить прежних чиновников и правительство, выставляя их мощи на посмешище.

Чем красноречивее выступал Черчилль, тем большую ненависть он вызывал у оппозиционеров. В ритмических повторах им слышалась заносчивость и самонадеянность. Сам звук его голоса, минуя доводы рассудка, раздражал их. Будучи побежденными, они не хотели видеть проявления великодушия с его стороны, и находили утешение, не давая ему говорить. В его словах они слышали только то, что хотели слышать, а его призыв урегулировать разногласия воспринимали как еще один оскорбительный выпад со стороны юного перебежчика.

Слишком ли густо положил краски Черчилль или нет, — трудно сказать, но тори покинули палату, кипя от гнева. Они и до того мечтали снять с него скальп, а теперь, почувствовав, что удобный момент настал, решили не откладывать возмездие. В первый раз он совершил промах, в первый раз открыл уязвимое место, и они тотчас запустили в него когти, чтобы он уже никогда не забыл про этот день.

Все же Уинстону под конец удалось высказать то, что он намеревался сказать: отказаться от каких-либо санкций против Милнера и оставить его прежние ошибки в прошлом. Но «в интересах мира и согласия в Южной Африке, в дальнейшем воздерживаться от насилия по отношению к отдельным людям».

Заключительные слова поддержали его сторонники, представители других партий, но не тори.

Консерваторам предоставили возможность высказать все, что они хотели. Хладнокровие Черчилля, с которым он выдержал их нападки, вызывало большое уважение премьер-министра. Когда в начале лета Кэмпбелл-Баннерман не имел возможности из-за болезни жены присутствовать на окончательных дебатах по предоставлению автономии Трансваалю, он поручил Черчиллю заменить его.

Как и предполагалось, либералы легко одержали победу, подавив противников численным превосходством, но что особенно порадовало премьер-министра, это то, как спокойно, уверенно и в какой выдержанной манере Черчилль вел эти дебаты. Его поведение произвело большое впечатление даже на короля. Он признал, что Уинстон продемонстрировал полную зрелость, и счел нужным подбодрить молодого деятеля. «Его Величество, — уведомили Уинстона, — рад видеть в Вашем лице заслуживающего уважения деятеля министерства и более того — серьезного политика».

* * *

Изучая дела, связанные с Южной Африкой, Черчилль получил письмо от одного американского военного корреспондента, хорошо знакомого ему по Бурской войне. Ричард Хардинг Дэвис — один из самых почитаемых журналистов в Америке — мужественный, с квадратным подбородком, — побывал не только в Южной Африке. Он отправлял репортажи с театров боевых действий Испанско-американской и Русско-японской войн, описал несколько сенсационных преступлений, наводнение в Джонстауне, и сотни других историй, которые становились злобой дня. В тот момент, когда Уинстон получил от него письмо, Ричард уже не был военным корреспондентом. Он писал документальные книги, рассказывал о своих путешествиях, брал интервью у Уолта Уитмена и состоял почетным членом «Мужественных всадников» Рузвельта [22].

В юности, когда ржавчина цинизма еще не проела его, Генри Луис Менкен, известнейший американский журналист, бесконечно восхищался Дэвисом, считая его «героем нашей мечты».

Однако в 1906 году сам Дэвис решил выставить героем своей очередной книги Уинстона Черчилля. «Сейчас я пишу книгу под названием «Настоящие солдаты удачи», — признавался он в

письме, отправленном с его фермы, расположенной в Маунт-Киско, штат Нью-Йорк. — Их будет шесть человек. И мне хочется включить и тебя в их число. Юноша, который успел принять участие в четырех войнах, дитя удачи и солдат удачи, надеюсь, он получится достаточно ярким и выразительным».

Если бы о том зашла речь год или два тому назад, Уинстон только порадовался бы такому предложению. Но сейчас он прилагал все усилия для того, чтобы к нему относились со всей серьезностью как к государственному человеку, как к поборнику мира и человеку, понимающему все проблемы империи. И в такой момент оживление образа бесшабашного Уинстона, в особенности с титулом «солдат удачи», как именовали наемников, выглядело весьма некстати. Ему и без того хватало критиканов, которые при всяком удобном случае попрекали его, называя «бессовестным перебежчиком», не способным хранить верность партии.

Однако у Черчилля не было рычагов власти, которые могли бы приостановить публикацию книги. Глава о нем «уже была наполовину закончена, — как сообщал Дэвис, — оставалось только добыть нужные сведения, порывшись в старых подшивках нью-йоркских газет. — Бьюсь об заклад, что я знаю о раннем периоде твоей жизни намного больше тебя самого».

Подобное заявление способно вызвать нервную дрожь у любого политика, не только у Черчилля, которого весьма тревожило, что Дэвис раскопал много моментов из его личной жизни, о встречах и знакомствах в Южной Африке, а потом в Лондоне. К тому же Дэвис был другом Этель Барримор с юности, можно сказать, стал ей почти братом. В письме от 4 мая он сообщил Уинстону, что «мисс Бэрримор была очень больна. Она с трудом пришла в себя после операции по удалению аппендицита, но после того, как пожила у нас на ферме, заметно окрепла». Итак, с одной стороны, известный американский журналист за своим письменным столом описывает жизнь Черчилля, а в нескольких шагах от него одна из женщин, в которую он был влюблен, приходит в себя после операции. Что ему оставалось? Только надеяться на то, что и Этель, и столь неожиданно явившийся биограф расскажут о нем только хорошее. Внушала надежду и одна строчка Дэвиса: «Надеюсь, ты не забудешь меня, когда станешь премьер-министром».

XII. Частная жизнь

В начале августа 1906 года, после нескольких месяцев напряженной деятельности, когда ему приходилось выдерживать нападки тори, Черчилль позволил себе отдохнуть и немного похулиганить. Он принял приглашение друга детства, и провел у него первую неделю в роскошном курортном местечке — на северном берегу Нормандии — в Довиле. Его друг — барон де Фореста, — весьма удачно женился на прелестной и весьма состоятельной женщине. Их яхта с паровым двигателем была одной из самых крупных яхт такого типа. Уинстон плавал на ней, играл в поло, но вечера проводил в большом казино, где играл каждую ночь до пяти утра. Ему везло. И в конечном итоге он выиграл 260 фунтов — сумму, почти равную его двухмесячной зарплате в министерстве по делам колоний.

С этим выигрышем в руках он отправился в Париж, чтобы там окунуться в ночную жизнь и купить несколько французских книг. Затем он отправился в уединенное шале сэра Эрнеста Касселя в Швейцарских Альпах, где насладился от души вкуснейшей и изысканнейшей едой, какую готовят во Франции, взобрался на Эггисхорн — вершину высотой почти десять тысяч футов. «Изнуряющий подъем, — писал он Дженни, — без помощи мула мне бы не удалось дотемна вернуться домой».

В середине сентября, чтобы напитаться солнцем, он приехал в Венецию, где встретил Мюриэль Уилсон, которая любезно согласилась провести неделю вместе с заместителем министра по делам колоний. Присоединившись еще к одной паре, они отправились попутешествовать по Тоскане, рассекая эти сельскохозяйственные районы на легковом автомобиле с невероятной скоростью — сорок миль в час. Их отношения с Мюриэль были теплыми и нежными, если не считать одного момента. В их путешествии присутствовали все романтические ингредиенты — изумительные виды, спящие деревушки, вино, красивые закаты и рассветы — однако настоящая романтика при этом отсутствовала.

Мюриэл была такой же красивой и обаятельной, как всегда, но по-прежнему оставалась недоступной. Черчиллю отводилось лишь роль друга. Впрочем, он особенно и не сетовал. Он жил как принц, полностью наслаждаясь заслуженным отдыхом. Но он не только развлекался. В середине отпуска он приехал в Силезию, чтобы понаблюдать за военными маневрами немецкой армии. Это была возможность поближе увидеть военную машину, которая представляла серьезную угрозу миру в Европе, хотя кайзер

Вильгельм II убеждал, что не хочет ввязываться ни в какую войну, особенно в войну с Британией, где правил король Эдуард VII, его дядя. «Мы воинственный народ, но мы не любим воевать, — дипломатично заявил Вильгельм британским газетчикам. — А вот вы любите воевать, не будучи воинственным народом».

Идея посетить военные маневры принадлежала Уинстону, но немцы восприняли благожелательно его интерес, и германский посол в Лондоне все устроил наилучшим образом. Кайзер подписал официальное приглашение, Уинстон становился на всю неделю его личным гостем. В посольстве ему посоветовали по такому случаю облачиться в военную форму британской армии.

И вот в течение недели на полях и в лесах Силезии, а затем на южной границе Германии, майор Уинстон Черчилль, восседая на лошади, наблюдал за тем, как проводятся тактические учения — в них принимало участие пятьдесят тысяч немецких пехотинцев, артиллеристов и кавалеристов. Несколько лет он поддерживал свои военные связи через добровольческую конницу территориального резерва, участвуя летом в коротких тренировочных занятиях с Собственным Королевы Оксфордширским гусарским полком [23] в Бленхейме и других лагерях, расположенных поблизости. Это выглядело забавно, однако полк гордился собой, и считал себя серьезной военной силой. Данной точки зрения придерживался и Уинстон. Он выглядел весьма внушительно, когда 6 сентября шагнул на платформу вокзала в Бреслау, демонстрируя свою военную форму: кавалерийские сапоги, саблю, темные брюки и китель, белую фуражку с черным козырьком.

Визит Уинстона беспокоил короля Эдуарда, и он попросил премьер-министра написать письмо с наставлениями. Что тот и сделал: «К. просил меня предупредить тебя перед маневрами, — писал Кэмпбелл-Баннерман, — чтобы ты был более сдержанным и не слишком доверял его племяннику». Вовремя данный совет, поскольку Вильгельм как раз намеревался добиться от Черчилля доверительности. Так что он получил весьма поучительный тактический урок в Силезии, столкнувшись с обаятельной агрессивностью, направленной на него.

По распоряжению Вильгельма Черчиллю выделили отличную комнату в комфортабельном старомодном отеле в Бреслау. В качестве почетного эскорта ему в распоряжение выделили армейского капитана, каждый вечер его обильно потчевали на офицерских банкетах. Кайзер выписал специальный пропуск, позволявший Уинстону осматривать новейшие образцы германского артиллерийского вооружения, и приглашал его

присутствовать на полевых совещаниях вместе с генералами своей армии. Облаченный в парадную форму и украшенный всеми регалиями, Вильгельм приглашал Черчилля встать рядом с ним, чтобы понаблюдать за учениями. Указав своим палашом в нужное место, он встал вместе с Черчиллем, чтобы фотографы смогли запечатлеть их таким образом, словно они совместно обсуждают план сражения.

Со своим начальственным видом и торчащими вверх усами он выглядел очень грозным. Однако с Черчиллем кайзер вел себя дружелюбно, почти по-отечески благодушно. «Как вам нравится наша прекрасная Силезия?» — спросил он на беглом английском. А затем принялся описывать все значительные сражения, что происходили в том ареале. Он преподал серьезный урок истории, ясно давая понять, сколько крови прольется вновь, если кто-то покусится выступить против Германии. «Здесь есть ради чего сражаться, — сказал он, обводя рукой окружающее пространство, — и ради чего стоит побеждать». Эти поля, говорил он Черчиллю, уже по щиколотку пропитаны кровью. А затем, наклонив голову, произнес еще более доверительным тоном: «Германия готова к войне и будет воевать, если ее толкнут на это».

Черчиллю пока не удавалось вставить ни слова. Кайзер обрывал его в самом начале, едва только тот начинал: «Давайте без громких слов, будем говорить начистоту». В конце концов, Черчиллю оставалось только стоять прямо и издавать одобрительные звуки. Вильгельм вел разговор сам.

Фотография, где они стояли рядом, обошла весь мир. «Дейли Миррор» перепечатала ее на половину газетного листа на первой странице. Кайзер был бы более доволен, если бы рядом с ним стоял его племянник — король Великобритании. Правда, в этом случае фотография выглядела бы менее драматичной — просто как времяпровождение во время отдыха.

Подобно многим другим опытным политикам, кайзер видел, как быстро продвигается молодой политик, занимая все более важные позиции, и что молодой майор в ближайшее время, если не завтра, может стать самым сильным противником немцев. И пока этот день не настал, будет весьма предусмотрительно произвести на Уинстона сильное впечатление о силе, боеспособности и духе германской армии. У некоторых британцев эта фотография вызвала только смех. Его снова восприняли как выскочку, который теперь делает вид, что встал на одну ступень с монархами, не подозревая, насколько мелким и ничтожным он выглядит рядом с кайзером, внушающим почтение своим отполированным шлемом, долгополым плащом с пелериной и

длинным императорским палашом.

«Панч» не мог упустить такой возможности и пройти мимо. Через неделю или позже появилась неизбежная карикатура — с мальчишеским видом Уинстон указывал пальцем на Вильгельма и давал ему указания, как вести военные операции: «Подумайте, Ваше Величество, — эти слова Уинстона были обведены кружком, — если вы упустите какой-то важный момент на маневрах, — немедля обращайтесь ко мне!»

Если бы Черчилль осмелился высказать то, что он думает на самом деле, кайзер вряд ли был бы доволен. Но, как показалось Уинстону, войска, разодетые в разноцветные мундиры, играли в войну так, словно это было театральное представление, а не военное действие. Кавалерийские эскадроны, атаковавшие во весь опор со своими пиками, сверкающими на солнце, представляли собой красивое зрелище. Но Черчилль на собственном опыте знал, что современные виды оружия разнесут эти стройные ряды за несколько минут, нарушив порядок. Его личное участие в конной атаке под Омдурманом, позволило ему понять, насколько устарели подобные штурмы. «В мире больше никому не захочется быть такими дураками», — думал он, покидая поле битвы в Судане. И вот теперь германские войска демонстрировали ту же самую тактику, которой они придерживались в 1870-х годах, словно и слыхом не слыхивали о том, что уже наступил двадцатый век.

Смутный ропот из рядов офицеров все же доносился до его ушей, находились те, кто осознавал, насколько устарели эти методы, и что пора вносить новшества. Прошло несколько дней, но Черчилль так и не обнаружил ничего такого, что могло бы вызвать у него тревогу. И хотя ему было приятно внимание, которое выказывал кайзер, он все-таки счел, что пора отправляться дальше. Пребывание на учениях оказалось достаточно утомительным. Его измучила прусская точность и педантичность. Ни одной свободной минуты, с одного мероприятия на другое, с самого раннего утра до самой поздней ночи он был постоянно занят: «Мне с трудом удавалось немного поспать», — признавался он потом.

В своем докладе лорду Элгину он отмечал слабые места кайзера — любовь к театральным жестам и недооценка того эффекта, что производили современные виды огнестрельного оружия. Но он отдавал немцам должное за их превосходство в «численности, качестве, дисциплине и организованности». По его утверждению, это были «четыре верных пути к победе».

* * *

Почти два месяца ушло у Черчилля на путешествие по Европе, и когда он вернулся, вдруг оказалось, что семье угрожает скандал. Герцог и герцогиня Мальборо после одиннадцати лет семейной жизни выяснили, что терпеть не могут друг друга, и даже не пытались скрыть эту неприязнь. Санни слыл человеком, который не умеет держать себя в руках, а Консуэло — гордая американка — думала только о том, как бы бросить в лицо мужу побольше оскорблений, прежде чем повернуться к нему спиной. Оба обвиняли друга в эгоизме и неверности, и, наверное, оба были правы, хотя ревнивцу Санни мерещились любовники Консуэло уже под каждым стулом и диваном.

В Бленхейме бушевали буря, одна сцена следовала за другой. Проведя там неделю, писательница Перл Крейги — одна из подруг Дженни — сочла, что тамошняя атмосфера больше напоминала тюрьму, чем дворец. «Я бы не смогла там жить, — писала она, — я бы лучше умерла с голоду в мансарде, сохранив идеалы. В атмосфере дворца нет ни малейшего признака привязанности: бедный герцог выглядит больным, и сердце его разбито». В октябре они разъехались. Консуэло получила лондонский дом и укатила с отцом в Париж. Новость о семейных неурядицах тотчас разошлась кругами в светском обществе. А вскоре тема вышла в заголовки американских газет, которые с ликующим видом обвиняли вялого английского герцога, женившегося на невинной американке только ради денег.

Санни вполне мог закрыть глаза и пропустить мимо ушей эти обвинения, но они чернили все семейство и особенно могли сказаться на Черчилле. Тем более что отец Консуэло — Уильям Вандербильд — угрожал устроить судебное разбирательство. В этом случае отношения герцога и герцогини стали бы предметом обсуждения широкой общественности и отразились бы не лучшим образом на политической карьере Уинстона. С помощью матери он начал вести переговоры, убеждая их найти компромиссное решение.

К сожалению, Дженни не могла особенно помочь в этом. Со всей прямотой и честностью, она заявила, что Консуэло выбрала неверный путь, что вызвало ожесточение герцогини. Дженни писала ей резкие письма: «Я покинула твой дом с раной в душе, сколько раз я пыталась убедить тебя взять себя в руки, чтобы миновать опасные рифы семейной жизни, но ты отвернулась от меня — той, которая всегда была не только твоим верным другом, но и сестрой, принявшей тебя всем сердцем, и я никак не ожидала, что ты будешь вести себя подобным образом».

У Дженни и самой в это время хватало хлопот, связанных не только с женой Санни. Ее собственное замужество с Джорджем

Корнуоллис-Уэстом, который был много младше ее, тоже дало трещину. Джордж все больше и больше времени проводил вдали от нее, то ссылаясь на дела, то отправляясь на долгую рыбалку или в загородную поездку. Он тоже потерял массу денег, сделав неудачное вложение, поскольку вообще очень плохо умел управлять финансами. «За то время, что мы прожили вместе, — писала он потом, — серьезные размолвки были связаны только с деньгами». Он считал, что траты вызваны стремлением Дженни выделиться, из-за ее «экстравагантности». Но в 1906 году он потерял 8000 фунтов исключительно по своей вине, и только обширные родственные связи не дали ему рухнуть на самое дно в ту же минуту.

Осложнения в собственной семье сделали Дженни менее терпимой и более мрачной. Она даже нападала на Уинстона, о чем потом сильно сожалела. Однажды, после очередной ссоры с ним, она не легла в постель, пока не отправила ему записку с просьбой о прощении. «Дорогой Уинстон, — писала она. — Не могу уснуть, не признавшись тебе, как я жалею о том, что обидела тебя, и что высказала то, чего не должна была говорить сегодня вечером. Я так устала и стала такой нетерпеливой. Ты всегда был так внимателен ко мне. Люблю тебя, мой дорогой!»

При таком положении вещей отношения матери и Консуэло даже ухудшились. Но Уинстон намного лучше понимал состояние молодой женщины и легко добился ее доверия. Консуэло говорила ему все, что думала, прислушивалась к его советам, а потом сама призналась, как она была признательна ему за помощь и поддержку: «Все, что ты говорил, было таким разумным».

Но никому не удавалось найти общий язык с Санни. В полном отчаянии, Уинстон обратился за помощью к Хью Сесилу, чтобы тот посоветовал, как найти подход к герцогу. Хотя Линки втайне гордился тем, что Уинстон просит его совета, он мало чем мог помочь, поскольку Санни, кажется, готов был идти до конца, лишь бы причинить как можно больше вреда репутации Консуэло, пусть даже при этом пострадает его собственная.

В конце концов Уинстону удалось добиться своего, и в начале 1907 года муж и жена пришли к более-менее мирному соглашению. Санни и Консуэло решили не обращаться в суд за разводом, а просто спокойно вести раздельную жизнь, не мешая друг другу. Они поделили опеку над детьми и только в 1921 году — когда оба сына выросли — герцог и герцогиня, наконец, развелись официально. Каждый из них потом вторично вступил в брак. Слухи об их взаимоотношениях продолжали витать в воздухе все то время, что они жили раздельно, но, к счастью,

удалось избежать самого страшного, чего так боялся Уинстон в 1906 году — «катастрофы» в виде публичной разборки в суде.

Когда Консуэло взялась писать автобиографию в 1950 году, она, оглядываясь назад, видела Уинстона уже в роли премьер-министра, но ничего из того, что ей запомнилось в нем, не свидетельствовало о будущем государственном деятеле. Его отличие от Санни бросалось в глаза. Герцог сразу получил все то, ради чего Уинстону приходилось тяжело работать, но именно Санни выглядел обиженным и полным горечи — полной противоположностью того прозвища, которое получил. Конечно, Консуэло была пристрастна, но по ее мнению, в Санни проявился вырождавшийся дух старой аристократической линии, а Уинстон ее возрождал.

«Может быть, сказывалась американская кровь, что текла в его жилах, — писала герцогиня, — или юношеское воодушевление и непосредственность, качества, которые начисто отсутствовали у моего мужа. Я наслаждалась обществом Уинстона, чувствуя в нем истинный демократический дух, совершенно чуждый моему тогдашнему окружению, и которого мне так не хватало».

Не успел Черчилль перевести дух, после того, как разогнал темные тучи скандала над головой, как Ричард Хардинг Дэвис выпустил книгу — собрание коротких биографических рассказов «Настоящие солдаты удачи». На первый взгляд его описание жизни юного Черчилля выглядело безвредным. Он дал честное и прямолинейное описание, как вел себя молодой солдат в сражениях, привел немало цитат из записок самого Черчилля о побеге из бурского плена. Но вот красочный пример приключений Уинстона за пределами поля битвы, который выбрал Дэвис — давний и давно всеми забытый случай, — сейчас заставлял читателей только вскинуть брови.

Дэвис решил вытащить из сундука историю девятнадцатилетнего Уинстона, устроившего беспорядок в Императорском Театре в Лондоне, доблестно защищая девушек из мюзик-холла от активисток, выступавших против порочного развлечения.

Версия Дэвиса строилась либо на рассказе самого Черчилля, который слишком доверился ему в какую-то минуту, либо — что скорее всего — ее припомнила Этель Барримор. Вполне возможно, что она считала этот случай забавным примером его вольного духа. Но Дэвис описал тогдашнее поведение Уинстона, как обычный ночной дебош. Прочитав эти строки, Черчилль был возмущен и подавлен одновременно. Худшего удара даже враги не могли нанести. В описанной журналистом сцене Черчилль

размахивал канделябром и пил шампанское из туфельки одной девушки.

Молодому политику, занимающему одно из первых мест в либеральной партии, давняя выходка виделась малопривлекательной. А в свежеизданной книге он представал участником и даже заводилой необузданной пьянки с красотками мюзик-холла. Оставалось только надеяться, что в Британии никто не обратит внимания на книгу. Но газетчики все-таки довольно скоро разнюхали, какие сенсационные строчки там напечатаны, и появились у его дверей, чтобы он дал пояснение к сцене. Уинстон отказался как-либо комментировать написанное и стал ждать, чем это закончится, подумывая, а не подать ли иск на Ричарда Хардинга Дэвиса. Автору пассажа он написал строгое письмо, в котором обвинял его в «дискредитации и нанесении вреда репутации».

Но поскольку инцидент произошел более десяти лет назад, то почти никаких свидетельств не осталось, кроме того, что было напечатано в «Настоящих солдатах удачи». В результате историю почти обошли молчанием, если не считать некоторых шуточек, которые отпустили в адрес новоиспеченного заместителя министра иностранных дел. «Мистер Дэвис со всей прямотой описал некоторые поступки мистера Черчилля, — заметил обозреватель «Блэк энд Уайт». — Но вряд ли можно считать тактичным упоминание о мюзик-холле, а не о каких-то других вещах, которые имеют отношение к вопросам империи».

Девушки из мюзик-холла считались девицами легкого поведения, но они и в самом деле всегда были такими приветливыми. И десятилетия спустя лорд Роузбери — сын Гарри — вспоминал, что Черчилль не утратил интереса к ним и после того скандального случая, когда так решительно встал на их защиту. Он оставался их поклонником и много лет спустя. Особенно ему нравилось рассказывать случай, когда они с Уинстоном — намного более взрослые — пригласили двух «веселых девушек». Вечером они разошлись, каждый в сопровождении своей девушки. Встретив ту, что отправилась вместе с Уинстоном, Гарри спросил ее, как прошел остаток ночи, и, услышав ответ, ничуть не удивился. «Он говорил без передышки о самом себе до рассвета», — ответила девушка.

Итак, в начале 1907 года Уинстон постоянно переживал треволнения из-за репутации, может быть по той причине, что в кабинете министров образовалась вакансия, и он надеялся занять место. Он делал вид, что вопрос его мало занимает, но газетчики уже начали строить догадки, возьмут его или нет, а если не

возьмут, то можно ли считать это понижением. Уинстону уделяли столько места в печати, что один репортер заметил: «Это просто часть умелой игры — раздуть такую рекламную кампанию. Все буквально помешались на Уинстоне».

Просматривая газеты, премьер-министр не мог не заметить этой шумихи, и успокоил Уинстона, что тот не утратит его расположения. «Мы хотим укрепить министерство по делам колоний, — писал Кэмпбелл-Баннерман 22 января. — И я уверен, что вы продолжите свою деятельность, независимо от того, какие бы перестановки там ни произвели». Однако он не прояснил, что намеревается делать. Сначала премьер-министр надавал много обещаний, и достаточно серьезных, что будет продвигать именно его, а затем передумал и стал рекомендовать Джона Морли. Освободившаяся должность — министра народного образования — не та работа, которая могла бы обрадовать Уинстона, и не та, что сразу бы подняла его в глазах общественного мнения. Но это было место в кабинете министров, а он хотел войти в его состав.

Морли считал, что его поступок пойдет только во благо Уинстону, когда написал премьер-министру, что молодой человек «совершенно не подходит, об этом даже и думать нет смысла» — на место министра образования. Старые либералы выказывали способностям Уинстона больше доверия и уважения, но и они не решались предоставить ему более ответственное место, не без удовлетворения наблюдая за тем, как он хлопает крыльями под зорким оком Элгина. Но Уинстон принимал их опасения как свидетельство того, что рано или поздно он выйдет на другой уровень. Вряд ли его обрадовало, что выбор на место министра образования остановили на достаточно удобном для всех человеке — Реджинальде Маккенне. Он был на десять лет старше Уинстона, весьма сдержанный и респектабельный. Реджи — как называли его — был честным либералом, с неприметными чертами лица, он жил со своей сестрой и играл незаметную роль в партии. Если Маккенна оказался человеком, которого хотели видеть в кабинете министров, то будущее в либеральной партии выглядело не столь радужным, как представлялось Уинстону.

Хорошо, что ему ничего не было известно о том, какими доводами руководствовался премьер-министр, выбирая Маккенну, иначе Уинстона еще больше стала бы волновать его репутация. Но в письме к Асквиту Си-Би объяснил причину: «у него (имелся в виду Маккенна) есть все качества, нужные для работы — за ним не тянется хвост дурной славы, чего еще требовать?» Без сомнения, «дурная слава» тянулась за Уинстоном широким шлейфом. Намного шире, чем у всех министров кабинета вместе взятых.

Еще один коллега Си-Би пояснил причину нового выдвиженца — это то, «что более всего ждет публика, и что вызовет восторг у газетчиков. Он блестяще справляется с теми делами, которые ему поручают, и полон энтузиазма. Но вчера он был либералом, а что касается его будущего, то он весьма туманно». Неважно, как и что делает Черчилль сейчас, его всегда будут побаиваться, а вдруг он устроит очередной взрыв. «Премьер-министр и думать не желает, чтобы Уинстон в данный момент вошел в кабинет, — написал в январе хорошо осведомленный в этих вопросах царедворец лорд Эшер. — Ему нравятся старомодные типы, а не молодые торопливые люди».

Однако среди членов кабинета был один, который считал, что Си-Би совершил ошибку, и что это место следовало предложить Черчиллю. Это был Асквит — он не был близким другом Черчилля, но все больше проникался восхищением молодым политиком и его методами работы. Асквит считал, что вместо спокойного и выдержанного Маккенны место следовало предложить Черчиллю, и вопрошал: можно ли назвать мудрым безопасный выбор вместо того, чтобы остановиться на более неудобном кандидате? Маккенна работал вместе с ним в министерстве финансов, так что лорд Асквит имел все основания судить об этом человеке и отдавать предпочтение другому.

Уинстон не подозревал, что есть человек, который им восхищается, но это вскоре выяснилось. В своих чувствах признался не лорд Асквит, а его дочь, вполне разделявшая мнение отца. Девушка хотела познакомиться поближе с подающим надежды политиком.

XIII. Политическая чистота

Весной Уинстон Черчилль и Вайолет Асквит стали друзьями. Ей только что исполнилось двадцать, она наслаждалась жизнью и всякий раз оказывалась в центре внимания как единственная дочь министра финансов Великобритании. Немалое число молодых людей проявляли к ней повышенный интерес, но она пока не собиралась выходить замуж — большинство мужчин ее возраста казались ей глуповатыми и слишком предсказуемыми. Она обожала отца, и больше всего на свете ей нравилось вести с ним разговоры о политике, обсуждать последние события и новости. Ее приемная мать Марго даже беспокоилась, что Вайолет слишком умна и серьезна и это помешает ей найти подходящего супруга.

Девушка выставила слишком высокие требования, сетовала Марго в разговорах со своими друзьями. Она ждет, что получит золотой за золотой, а ей подсовывают только медный грош. «Вайолет — чистой воды бриллиант и, к сожалению, самой лучшей огранки!»

Ее привлекательность отличилась от эдвардианского шаблона красоты. Фигура девушки вовсе не напоминала статуэтку, хотя талия была достаточно тонкой. Правда, нос у Вайолет был чуть-чуть длинноват, однако не портил ее неброскую красоту: чистую, свежую кожу и чудесные вьющиеся, слегка непослушные волосы, обрамлявшие лицо. Взгляд ее ясных глаз был полон интереса, губы были полными, а подбородок хорошо очерченным. Многие влюблялись в нее и часто теряли голову — как она того заслуживала. «Ты оставляешь за собой разбитые сердца, дорогая, — говорила Этти, — они просто так и валятся тебе под ноги». Наверное, не было случайностью, что дружба Вайолет и Уинстона началась во время уик-энда в апреле 1907 года — их пригласила к себе Этель. (Поскольку Уилли Гренфелл заседал в палате лордов, Этти стала теперь леди Дезборо.) Как потом напишет Вайолет в письме к друзьям, ей наконец удалось выкроить время, чтобы по-настоящему поговорить с Уинстоном. Время от времени их пути пересекались и раньше, но тогда они просто обменивались приветствиями. И вот теперь во время уик-энда, когда гости забавлялись в Таплоу — разыгрывали шарады, играли в бридж и теннис, устраивали долгие прогулки вдоль Темзы, она смогла послушать Уинстона. Его чувство юмора и описания политической кухни разительно отличались от того, что она слышала от других мужчин, исключая, разумеется, отца. И она вдруг ощутила незнакомый ей до сих пор при общении с

мужчинами прилив восторга.

После возвращения Вайолет написала Этти записку с выражением благодарности, полную радостного восторга. «Для меня всегда такое счастье встречаться с Вами», — признавалась она Этти.

Чем чаще она встречалась с Уинстоном, тем больше росло ее восхищение. Пока что эти встречи сначала проходили в светском обществе — на балу, каком-то званом ужине, а потом и у нее дома, куда Уинстон приходил повидаться с ее отцом, а иной раз она сама приходила в палату общин, чтобы послушать дебаты. Как только он приходил на очередной бал, Вайолет отказывала всем, кто приглашал ее на танец, увлекала Уинстона в уголок, где они говорили часами, пока другие кружились в вихре вальса.

«Почему все говорят, что он опьянен сами собой? — недоумевала Вайолет. — Я этого не замечаю, потому что меня он точно опьяняет!»

Наконец-то в тридцать два года Уинстон нашел молодую женщину, которая с таким пылом разделяла его убеждения. У нее не было сомнений относительно его талантов, ее не раздражал и не смешил самоуверенный вид Уинстона в те моменты, когда он вслух рассуждал о том, что его полностью занимало. С самого начала она осознавала, насколько он погружен в свои мысли, насколько порой не замечает ничего, что происходит в данную минуту рядом с ним. Повторяя его же собственное сравнение, она говорила о нем, как о «водолазе в подводном колоколе». За лето их отношения стали принимать другую форму, — как ей казалось, — уже нерасторжимой связи. Словно ему удалось найти ключик к ее сердцу. «Возблагодарим его величество случай, — писала она впоследствии. — Я нашла способ проникать в подводный колокол».

Последние слова были написаны, когда ей исполнилось семьдесят лет. Она всегда хорошо владела литературным языком и умела строить фразы, но не напечатала ничего существенного до 1965 года, когда вышли — вскоре после смерти Уинстона — ее воспоминания о годах дружбы с ним. (Книга была опубликована в Британии под названием «Уинстон Черчилль: каким я его знала» и в Америке под названием «Уинстон Черчилль: интимный портрет». Большинство восприняли книгу как полные уважения личные записки о встречах с Уинстоном. «Нью-Йорк Таймс» отозвалась о воспоминаниях Вайлет как о строках, «полных нежной привязанности»). Но образ этого знаменитого политика стал настолько общепризнанным, что большинство воспринимало его теперь только как всем известного пожилого господина с сигарой и насмешливой улыбкой, поэтому портрет Черчилля,

который создала Вайолет, описав его жизнь в эдвардианскую эпоху, когда они были близки, не произвел на публику особенного впечатления. Ее воспоминания были быстро оттеснены толстыми книгами о великом государственном деятеле поздних лет.

Если бы она не пыталась представить Уинстона только как друга, публика с жадностью набросилась бы на ее записки. Но ее описание стало всего лишь описанием безответной любви. Все страницы заполняли восторженные слова о том, как он умел приковывать внимание, с каким трепетом она слушала его речи. Вайолет делилась с читателями своими ощущениями, как рядом с ним все сияло и сверкало, будто звездный небосклон, а без него все становилось тусклым и блеклым. И любому становилось ясно, что их связывала не просто дружба, как пыталась она уверить. Те, кто дочитал воспоминания до конца, осознавали, что Уинстон был для нее «путеводной звездой», «маяком», позволявшим прокладывать путь в бурном житейском море. «Десять лет, — писала она, — в любых кризисных ситуациях моим первым импульсом являлось желание обратиться к нему, чтобы разобраться в происходящем. Он был следующим после моего отца человеком, чья реакция и чье мнение интересовали меня более всего».

Книга начиналась с описания ужина и с того разговора, что произошел между ними — за год до памятного уик-энда у Этель. Сохранившиеся живые свидетельства той встречи — письма и дневники — свидетельствуют, что на самом деле она пришла в некоторое замешательство от беседы за ужином. Но приведенная в книге сцена «обольщения» выглядит достаточно убедительной — Уинстон цитировал поэтические строки, выставлял смешные стороны политиков, легко оперировал историческими фактами и умел сослаться на ходившие слухи. Ее ровесницы, слушая его, впадали в тоску и могли даже заплакать, — образные сравнения Черчилля отличала точность и краткость, порой они были безжалостны и беспощадны, когда он рассуждал о бренности человеческой жизни и о том, как он понимает смысл и назначение каждого. Без малейшего признака скромности, он говорил ей: «Мы все подобны земляным червям. Но я, смею надеяться, — светлячок».

Уинстону нравилось говорить, а Вайолет слушать. Что еще важнее, она не только прекрасно понимала смысл произносимых им речей, но и могла оценить то, каким образом это было выражено, как он шлифовал и отделывал каждую фразу, придавая ей форму афоризма или эпиграммы. Разговор с ним превращался в представление, полное неожиданных отступлений и поворотов.

После него любая другая вежливая беседа на отвлеченные темы представлялась пустой, не цеплявшей ни душу, ни сознание. Симпатизирующие ему слушатели, которые хотели следить за нитью разговора, должны были в течение беседы вместе с ним совершать непредсказуемые и неожиданные прыжки то в одну область, то в другую. Вайолет освоила эти трюки очень быстро и с самого начала ценила их.

Во многом они были очень похожи — оба чрезвычайно самоуверенные и наделенные сильной волей, но вместе с тем идеалисты, романтичные и впечатлительные. Она была требовательной так же, как и он, и большой спорщицей. Но противоречий или разногласий в их взглядах, как правило, не возникало, — они сходились почти во всем. Иной раз Вайолет казалось, что Уинстон — зеркало ее собственного ума. Ее мачеха Марго, считавшая Уинстона и Вайолет двумя самыми яркими представителями тогдашнего молодого поколения, как-то сказала приемной дочери, что «такая неподражаемая женщина должна идти рука об руку с замечательным мужчиной».

Но, наслаждаясь беседами с ней, восхищаясь остротой ее ума, Черчилль никогда не чувствовал даже искорки той страсти, которая полыхала в ее душе. Он никогда не искал женского варианта Уинстона. В женщинах его привлекало, как ему казалось, то, что отец обрел в лице Дженни — загадочную манящую красоту, недостижимую звезду, которая вдохновляла и увлекала вперед, своего рода музу. Вайолет чувствовала его романтическую жилку, но на ее поведении это никак не отражалось. Слишком молодая, слегка неловкая, она слишком сильно преклонялась перед ним, чтобы стать его путеводной звездой.

Однако в 1907 году на его горизонте больше никого не было. А Вайолет — рядом, молодая привлекательная женщина, которой он мог полностью доверять. Одна из тех, кто не смеялся, когда он называл себя «светлячком».

Но коли он намеревался строить серьезные планы, ему следовало весьма внимательно и тщательно взвесить те ожидания, что возлагали на избранника отец и ее приемная мать, в особенности последняя. Марго была капризной и страстной в своих порывах — как в любви, так и в ненависти, в общении с ней было что-то сродни хождению по минному полю — никогда нельзя предугадать, что вызовет взрыв эмоций. В иные дни она считала, что Черчилль — гений, на другой день могла заявить, что он бессовестный мошенник, и ему одна дорога — в ад, а послезавтра уверять, что он сущий ребенок, и эти черты ее и

привлекают больше всего.

Но чаще всего его отношения с приемной дочерью огорчали Марго, ей казалось, что он внушает девушке слишком нереалистические идеи. И под его влиянием она сильно изменилась, что после долгого общения с ним Вайолет становится нетерпимой. «Уж слишком он самолюбивый», — фыркала Марго.

Уинстон изо всех сил старался угодить и понравиться нервной жене лорда Асквита, но редко когда ему это удавалось. Консуэло Мальборо помнила ее «маленькой и необыкновенно худощавой», «с ястребиным носом и пронзительным взглядом», слишком язвительной и невыносимой в общении.

Во время разговора с людьми Марго имела привычку грубо прерывать собеседника. «Она совершенно не умела слушать других, — писала Консуэло. — Марго выпаливала свои умозаключения, словно выстреливала из хлопушки, обожала критиковать все и всех или осуждать».

В зрелые годы Уинстон отозвался о ней более мягко и доброжелательно, чем Консуэло, он писал, что Марго была «великая женщина, независимая, дерзкая, с пламенной душой». Со слов матери он знал, какой была гордой Марго в юные годы, каким свободомыслием отличались ее речи, как она умела покорять людей намного старше себя прямотой и смелостью, как она с дикой скоростью скакала на лошадях, «словно фурия».

С годами ее характер становился все более сложным и трудновыносимым. Ее семейная жизнь с лордом Асквитом была полна восторгов и отчаяния. Первая жена Асквита умерла в 1891 году, оставив на его руках пятерых маленьких детей — четырех мальчиков и одну девочку по имени Вайолет. Через три года лорд женился во второй раз на тридцатилетней Марго, которая изо всех сил старалась заменить детям мать, что ей далеко не всегда удавалось. Она тоже родила от Асквита пятерых детей, но трое из них умерли при рождении. Смерть малюток сильно омрачила ее отношение к жизни и подорвала здоровье.

Асквит, которого она всегда называла Генри, не мог отказаться от желания пофлиртовать на стороне, что не укрепляло семью. Его страстью были молодые привлекательные женщины типа уинстоновской Памелы, но он всегда возвращался в лоно семьи, а Марго предпочитала закрывать глаза на его бесчисленные короткие увлечения и похождения.

Она питала иллюзию, что оказывает огромное влияние на воззрения Асквита. Генри относился к этим претензиям с большим юмором, делал вид, что так оно и есть, а на самом деле не обращал ни малейшего внимания на ее суждения, что тоже

служило причиной семейных размолвок. Время от времени между Марго и Вайолет возникали споры. Быстрая смена настроений мачехи и ее колкости девушка выносила с трудом. Наступали такие моменты, когда они обе готовы были взорваться. После очередной стычки Марго записала в дневнике, насколько невыносима Вайолет с ее сильной волей, «мне кажется, я однажды не выдержу и стукну ее кулаком».

В обществе Марго терпели по той причине, что она была женой Генри. Но на склоне лет к ней относились уже без прежней почтительности. Когда в 1920 году появилась автобиография Марго, Дороти Паркер — американская писательница и поэт язвительно заметила: «Взаимоотношения между Марго Асквит и Марго Асквит оставляют впечатление одной из самых привлекательных любовных историй в литературе». А один из американских дипломатов в частной беседе признался, что Марго «одна из самых невыносимых женщин в мире».

Высказанные Марго колкости производили еще большее впечатление из-за ее голоса — низкого и густого, почти мужского баритона, как считал внук.

Один из ее выпадов — печально знаменитых — случился во время поездки в Америку в 1930 году. Там ей довелось встретиться с известной в то время кинозвездой Джин Харлоу. Актриса не расслышала имя и неправильно произнесла его — Маргот. Та поправила собеседницу, подчеркнув невежество и необразованность кинодивы: «Моя дорогая, буква «т» немая, так же, как в «Харлоу».

Герберт Генри Асквит и в поздние годы, убеленный сединами, выглядел весьма импозантно. Его легко было вообразить сенатором Древнего Рима, недаром многие карикатуристы любили изображать его в тоге. Он был полноват, но крепко скроен, хотя, кроме гольфа, никакими другими физическими упражнениями не занимался. Однажды неистовая Марго поторопила его: «Если мы сейчас не побежим, то опоздаем на поезд», — на что он спокойно ответил: «Ну уж нет, только не бег. Я в этом не силен».

Сдержанный, невозмутимый на публике, он производил впечатление очень надежного деятеля, но в частной жизни, когда Генри переставал следить за собой, ему случалось быть и порывистым. Он потворствовал своим слабостям — пристрастию к крепким напиткам, хорошей еде, любил поиграть в бридж, даже больше, чем в гольф, или провести время в обществе хорошенькой женщины.

Асквит охотно соглашался идти с Черчиллем на любые

светские мероприятия, но Черчиллю никогда не удавалось убедить Асквита почитать что-то, имеющее отношение к государственным вопросам. Генри был весьма сдержанным в выражениях, когда беседовал с Уинстоном, но — в отличие от Марго — был рад, что Вайолет подружилась с молодым политиком. И всегда терпеливо выслушивал ее полные восхищения пересказы того, о чем они беседовали накануне. Как-то она сказала, что Черчилль «гений», на что Асквит засмеялся и ответил: «Да, Уинстон, несомненно, согласился бы с тобой».

Но он понимал причины энтузиазма дочери и даже разделял его. Было в Черчилле что-то такое, что напоминало ему собственные молодые годы и собственные честолюбивые планы. Будучи молодым юристом, он провел немало лет, дожидаясь момента продвижения, и все еще помнил болезненные огорчения тех лет, когда его незаслуженно обходили. Друзьям он доверительно говорил: «Те, кто не пережил этого сам, не в состоянии понять, насколько угнетают, парализуют волю все эти отложенные планы, сколько энергии тратится впустую при топтании на месте». Многие его коллеги действительно этого не осознавали и, так же как и газетчики, недоумевали: куда торопится Черчилль?! Асквит знал, куда и почему, и сочувствовал молодому политику.

Уинстон не только принимал обожание Вайолет, но волей-неволей использовал ее чувства, чтобы повлиять на ее отца. Генри ничего не имел против замужества дочери с новым героем. Но с точки зрения Уинстона вопрос, насколько он выиграет, став зятем Асквита, оставался сомнительным. Либералов не привлекала идея создать что-то вроде второго «отеля Сесила» и раздавать лакомые доходные места родственникам, вот почему женитьба на Вайолет вместо того, чтобы помочь продвижению, могла затормозить его.

Однако либералы видели в Асквите наиболее подходящую кандидатуру на пост очередного премьер-министра. В июне 1907 года Черчилль и его сторонники надеялись, что замена должна вот-вот произойти. У Кэмпбелл-Баннермана в этом месяце случился серьезный сердечный приступ, второй за девять последних месяцев. Врачи сделали все, чтобы помочь ему встать на ноги и возобновить работу, но требовали снизить нагрузки, поскольку состояние здоровья все равно внушало опасения. Очень многие беспокоились, что он не сможет заниматься делами с полной отдачей. И если бы Си-Би вдруг написал прошение об отставке или внезапно умер, то его место, несомненно, занял бы Асквит. Черчилль высказывался на эту тему совершенно недвусмысленно: «Асквит должен стать наследником: и я уверен, что никто не справится с этими обязанностями лучше — его

можно смело сравнивать с сэром Робертом Пилом [24].

Но чем оборачивались для Черчилля грядущие и неизбежные перестановки в кабинете министров — вот в чем вопрос? Его шансы были неплохи — будущий премьер-министр отзывался о нем весьма высоко, а его дочь восхищалась им. И пока что, наверное, следовало не торопиться с женитьбой, а подождать, что произойдет, когда начнут формировать следующее правительство. То, что он вызывает симпатию Аскита, — было и великой удачей и большой неудачей. Это могло сыграть ему на руку в продвижении наверх, но могло и навредить — с ним бы стали обращаться как со своим родственником. Все могло повернуться таким образом, что ему пришлось бы дорого за это заплатить. Эти переживания сплелись в такой тугой узел, где соединились и высокие ожидания, и тайные опасения. Сложная жизнь семейства Асквитов чем-то напоминала трагикомедию времен королевы Елизаветы, где за внешним благополучием скрывались темные подводные течения.

Благодаря Вайолет, Уинстон мог войти в личную жизнь семейства, но шагать там следовало с большой осторожностью.

Весной 1907 года стали распространяться слухи, которые приписывали Черчиллю романтические отношения с молодой женщиной. Но это была не Вайолет. 27 апреля редакторы газет «Дейли Мейл» и «Манчестер Кроникл» написали Черчиллю, попросив подтвердить или опровергнуть слухи о том, что он намеревается обручиться с мисс Элен Бота. Черчилль ответил отрицательно. Но другие газеты подцепили новость, что дало его недругам возможность поиронизировать над ним. Вполне возможно, что именно они запустили эту утку.

Для тех консерваторов, которых возмущало, как оценил, а точнее принизил деятельность лорда Милнера в Южной Африке, не было ничего забавнее, чем идея обручения Уинстона с дочерью генерала Луиса Боты, бывшего бурского командира, умело сражавшегося против британцев в 1899–1902 гг.

Луис Бота вместе с дочерью и другими родственниками прибыл в Лондон на конференцию всех премьер-министров империи. Благодаря тому, что Трансвааль получил автономию, там прошли выборы, в результате которых премьер-министром стал Бота. И теперь он наслаждался уважением, которое ему выказывали те самые люди, которые не так давно мечтали убить его. Газетчики поражались, что его дочь, прибывшая из столь отдаленной колонии, оказалась не только привлекательной, хорошо одетой, но и достаточно образованной девушкой. Они описывали ее чудесные волосы, покрой платья цвета «розового

коралла», восхищались ее отличным английским так, словно это была какая-то диковинка для бурской девушки. Черчилль принимал участие в организации конференции, и несколько раз виделся с ней, но не более того.

Для ожесточенных тори теплый прием, который оказывали Боте Черчилль и другие либералы — было все равно, что сыпать соль на раны. Они относились и к Боте, и к Черчиллю, как к предателям, стоившим друг друга. И нельзя было сильнее уколоть и того и другого, пустив слух, что Уинстон намеревается жениться на полудикарке — дочери человека, пролившего немало британской крови. Тори просто исходили желчью, пытаясь выставить Черчилля зятем ничтожного Боты. (При этом критиканы не подозревали, что предводителем отряда, взявшего Черчилля в плен в ноябре 1899 г., был именно генерал Бота.)

Слухи действительно задевали Черчилля — он выступал в роли незадачливого холостяка, который не смог найти себе пару получше, чем девушка из отдаленной колонии, оказавшаяся проездом в Лондоне. Весть достигла и ушей Мюриэль Уинстон, и она не могла отказать себе в удовольствии подразнить Уинстона. Она знала доподлинно, что все это чистой воды выдумка, и вряд ли Черчилль способен жениться на провинциальной девице, которую он почти не знает, но ей нравилось выводить его из себя.

Со своей виллы на Лазурном Берегу, расположенной в местечке Кап-Ферра, где весна выступала во всей своей красе, она писала Уинстону, что с надеждой ожидает того дня, когда он и Элен Бота нанесут ей визит. Она даже добавила, что ждет на вилле не только его и «мисс Бота», но и «всех маленьких ботатят, которые смогут побегать по саду». Черчилль привык к насмешкам Мюриел, возможно, он и улыбнулся, читая ее письмо, но это стало еще одним уколом, еще одной занозой в сердце.

Наконец, Элен Бота уехала в таинственную и непонятную Южную Африку, но ее отец сделал королю эффектный подарок, который Черчилль счел символом полного взаимопонимания, достигнутого между бурами и британцами. С полного согласия своего парламента, Бота преподнес на день рождения короля, которому исполнялось шестьдесят шесть лет, необработанный алмаз «Куллинан («Звезда Африки»), считающийся самым большим в мире. Его масса составляла 3106,75 карата (621,35 грамма). Этот алмаз случайно нашли в шахте Южной Африки в 1905 году, и он оценивался почти в 500 000 фунтов. Тори отнеслись к подарку с презрением, явно недооценив его, им чудилось, что за этим стоят какие-то подозрительные мотивы. Черчилль выразился по этому поводу: «Они фыркали и фукали от

огорчения». Но подарок вызвал сомнения и у многих либералов. Они сомневались, стоит ли принимать столь дорогой камень. Черчилля возмущал такой вялый отклик, и он выступал в числе тех, кто ратовал за то, чтобы подарок приняли.

Выступая в палате общин, Уинстон назвал этот подарок «поразительным событием», и добавил: «Вполне возможно, драгоценный камень сотни лет будет напоминать о значимости того законопроекта, что был нами подготовлен и принят, хотя наши имена будут забыты».

Правительство еще колебалось. «Верьте мне, — настаивал Черчилль, убеждая короля принять камень, — это подлинное, бескорыстное выражение верности короне, оно идет от самого сердца этих странных, непокорных и упрямых людей».

Король согласился принять бриллиант. Кабинет медленно и постепенно пришел к тому же самому решению. 9 ноября 1907 года, в день рождения монарха, представитель министерства по делам колоний под усиленной охраной доставил камень Эдуарду VII. Позже алмаз пришлось разрезать, поскольку внутри камня имелись трещины, и сделали из него два необычайной величины бриллианта, пополнившие королевскую сокровищницу. «Первая звезда Африки» увенчала собой монарший скипетр (этот бриллиант и по сей день остается самым большим в мире), а «Вторая звезда Африки» украсила корону Британской империи. В качестве памятного сувенира Черчиллю подарили стеклянную копию необработанного алмаза, послужившего для изготовления двух знаменитых бриллиантов.

Через год, во время долгого ланча у него в доме, Черчилль решил похвастаться копией алмаза, и распорядился принести ее. Когда после довольно долгих поисков огромный бесцветный камень вынесли на подносе, один из гостей, мельком взглянув на него, принял копию за затвердевшее желе и отрицательно покачал голой, отказываясь от угощения: «Нет, благодарю вас!»

XIV. Место под солнцем

Осенью 1907 года Черчилль снова сделал передышку, он поехал во Францию и Италию, чтобы повидаться с друзьями и расслабиться. В Венецию он тоже намеревался заехать — там как раз оказалась Мюриэль Уилсон со своей весьма состоятельной подругой Элен Винсент, которой принадлежал необычайной красоты палаццо Джустиниан на Большом канале. В 1904 году американский художник Джон Сингер Сарджент — один из наиболее успешных живописцев «прекрасной эпохи» [25] — написал портрет Элен в Венеции, на котором она с соблазнительным видом опиралась на стену рядом со своим балконом.

Декольте открывало ее белые плечи, цвет которых подчеркивал черный шелк платья, отделанного золотом. Элен выглядела так, словно только что сошла с портретов эдвардианских времен, воплощение мечты и столь же отчужденная и недоступная, как и Мюриэль. И все равно Уинстон был на седьмом небе от радости, когда теплым сентябрьским утром Элен Винсент пригласила его на ланч, а затем они вместе с Мюриэль сели в гондолу, чтобы показать гостю каналы.

«Красавица-блондинка, — писал он Памеле, которая и сама относилась к той же породе, — а я восседал, как паша. Хотелось бы мне быть им».

Ему было мучительно видеть, что и Мюриэль и Элен интересуют другие вещи, но в этот осенний отпуск он запланировал не только отдых, он строил и кое-какие деловые визиты. Ему предстояла двухнедельная поездка на Мальту, с которой он намеревался начать намеченный им длинный вояж по британским колониям на Средиземном море и в Восточной Африке. Путешествие не носило официального характера, это была «частная экспедиция». За это время Уинстон намеревался изучить факты на месте, как если бы это была официальная поездка. Дженни описывала его поездку в таких выражениях, словно ее сын выступал в роли младшего принца, который отправился проверить жизнь подданых своей империи.

До того, как Элгин сообразил, что происходит, Уинстон вызвал в качестве сопровождающего его в морском круизе Эдди Марша и организовал корабль, который должен был доставлять их, куда они захотят.

Корабль Его Величества «Венус» (HMS *Venus*, то есть «Венера») в четыреста футов длиной, оснащенный одиннадцатью шестидюймовыми пушками, выглядел именно таким судном, на

каком должен путешествовать принц со своей свитой [26]. Две каюты были отведены лично для Черчилля, и он имел возможность с капитанского мостика следить за тем, что происходит на корабле и на море. К концу октября, когда они рассекали воды Красного моря, Уинстон хвастался Дженни, что «стал настоящим моряком». (Когда в Лондоне узнали, что адмиралтейство «снабдило» Черчилля кораблем для поездки, один из стариков-тори съязвил: «Надеюсь, адмиралтейство получит его назад».)

Лорд Элгин так и не понял, каким образом Черчилль все это устроил. И затем, много месяцев спустя, он продолжал недоумевать, пытаясь выяснить, каким образом поездка получила официальную поддержку. Как всегда планы Черчилля были грандиозны, и ему не терпелось тотчас воплотить их в жизнь. При любой возможности он отправлял рапорты в Лондон в министерство по делам колоний, объясняя, какие вопросы ему удалось выяснить после пребывания на Кипре или в протекторате Сомалиленд, и предлагал административные реформы.

Государственные служащие в его ведомстве с трепетом в душе ждали каждого нового отчета — на каждом письме он ставил особые пометки. «8 писем от Уинстона за субботу!» — возопил один из старейших сотрудников, жаловавшийся Элгину, что «нет ничего утомительнее, чем иметь дело с Черчиллем». Зато в отличие от сотрудников министерства прежних лет, им не требовалось много времени, чтобы найти «это место» на карте, какой бы удаленной ни была колония, о которой заходила речь.

А поездку Уинстон затеял не ради удовольствия. Он хотел увидеть все своими глазами, поговорить с людьми, которые там жили. Если в кабинете и в самом деле произойдут — как он надеялся — перестановки, то ему бы хотелось занять место Элгина. Путешествие давало ему козырные карты, и упрочивало его позиции. Многие служащие из числа либералов неплохо знали старые, хорошо обустроенные колонии, но имели смутные представления о новых владениях. Вот почему Черчилль наметил в качестве последней точки маршрута исследование обширных, незнакомых просторов Кении и Уганды. Он собирался преодолеть обширные пространства на лошадях, а кое-где пройти пешком.

После того как «Венус» доставил их в Момбасу — второй по величине город Кении, расположенный на коралловом острове в Индийском океане, Уинстон и Эдди ступили на берег в сопровождении небольшой группы проводников, слуг и местных представителей власти. За ноябрь и большую часть декабря они пересекли всю Восточную Африку и добрались до Нила у северной оконечности озера Виктория, затем проследовали к

водопаду Мерчисон-Фоллс, а оттуда продолжили путь до Хартума и далее до Каира. Путешественники были одеты в костюмы цвета хаки и носили на головах пробковые шлемы, оберегавшие их от солнца.

Когда они шли пешком, их сопровождало не менее 350 носильщиков, тащивших их имущество и припасы. Эдди вначале беспокоила мысль о встрече со львами. Перед отъездом он спросил миссис Патрик Кэмпбелл, любимицу английской публики [27], что она сделает, если узнает, что его сожрал лев. «Сначала засмеюсь, — ответила он, — а потом очень, очень огорчусь».

Ключевой точкой путешествия Черчилля была Уганда (он описал страну как «красивейший сад», который протянулся с одного конца страны до другого). Он восхищался людьми, называя их «воспитанной и умной расой», пришел в восторг от встречи с одиннадцатилетним королем, который позже отправит Уинстону свой портрет с изысканной подписью от руки: «Эти слова на фотографии означают — я Ваш друг». Место было просто великолепным, если не считать маленьких летучих врагов, опасных для европейцев [28]. «Уганда, — коротко написал Черчилль, — защищена своими насекомыми».

А вот положение в Кении вызвало у него тревогу. Забота исключительно о личной выгоде белых поселенцев могла привести к конфликту с коренными жителями Африки, и тогда Британии пришлось бы встать между ними, чтобы сохранить мир. В Уганде на него произвело большое впечатление развитие образования и самоуправления среди населения, однако в Кении подобного прогресса он не обнаружил и снисходительно заметил о народности кикуйю и других кенийских племенах, что они «хотят учиться», но нуждаются в том, чтобы их «вели вперед».

Он закончил путешествие, сделав для себя главный вывод: «Надо сосредоточить внимание на Уганде». Он рассматривал эту часть Африки как модель для будущего развития всех колоний. Ситуация в Уганде показывала, что даже легкая рука помощи, протянутая британскими властями, может приносить намного больше пользы, чем тяжелые «кулачные удары» Фредерика Лугарда. В этот идеалистический период своей жизни Черчилль верил, что между культурными и расовыми различиями внутри империи можно навести мосты, найти общий язык. Но этого можно было достичь, если строго следовать путем «сочувственного постижения, справедливой и честной дисциплины, способствовать развитию образования».

Благородные цели приводились в его книге «Мое африканское путешествие», чей сокращенный вариант увидел

свет в конце 1908 года. Но его колониальные проекты интересовали читателей меньше, чем описание охоты на крупных животных или то, как они спасались от нападения крокодилов, а также рассказ об экскурсионной поездке на площадке локомотива. Как писатель-путешественник, он был непревзойденным мастером, со своим блистательным стилем. Его скрытый поэтический талант вырвался наружу в этой книге, наполнив ее незабываемыми образами и сравнениями, вроде Мальты, «сверкающей на синевато-стальной глади Средиземного моря», сухих холмов Кипра, застывших в ожидании осенних дождей, «длинной красной трещины Суэцкого канала», «громадного снежного купола Килиманджаро», «радужных брызг» и «громовых раскатов» водопада Мерчисон-Фоллс.

К удивлению Черчилля, Эдди Маршу путешествие понравилось, и это настроение не покидало его с самого начала до самого конца. Из-за того, что Марш был высокого роста и казался туземцам более свирепым на вид, они часто принимали его за главного. Чему Черчилль не переставал удивляться, так это беспомощности Марша в обращении с огнестрельным оружием. Во время охоты на диких животных он представлял больше опасности для своих спутников, чем для самих зверей. Как-то Черчилль, заметив, как тот размахивает ружьем, в такт цитируемым строкам из «Потерянного рая», попросил его отложить подальше винтовку. Позже Черчилль подтрунивал над Эдди, уверяя, что тот был настолько счастлив в Африке, что, раздевшись донага, удалялся в заросли кустарника, откуда его выманивали три раз в день, выложив еду».

К концу путешествия Черчилль и сам был поражен, какие пространства они преодолели за такой короткий срок. За четыре месяца он оставил за спиной более девяти тысяч миль территории с самыми различными климатическими условиями. Уинстон вернулся в Лондон в середине января 1908 года. Во время африканского вояжа его не затронули опасности, которым подверглись другие путешественники. Он не заразился малярией, не страдал от сонной болезни, что было в порядке вещей в Восточной Африке. Уинстон остался жив и здоров, хотя, отправляясь в поездку, вовсе не был уверен в таком благополучном исходе. Однако без несчастий он путешествовал только до Хартума, где его слуга Джордж Скривингс, работавший на него в Лондоне, внезапно заболел холерой и умер на следующий день.

Черчилль был подавлен случившимся. Склонившись над могилой своего слуги, он невольно подумал, что болезнь могла настичь и его самого. Эти похороны вызвали в памяти другое

столь же печальное событие в Судане. «На следующий день после битвы под Омдурманом, — вспоминал он, — нам предстояло похоронить тех солдат 21-го уланского полка, которые ночью умерли от ран [29]. И вот теперь, через девять лет… мы снова оказались в этих печальных местах, где пролилось столько крови. Я остановился возле могильных холмов. Желтые лучи заходящего солнца освещали пустыню, молчание которой нарушил только погребальный залп из ружей».

* * *

Богатство империи и необыкновенные ресурсы, которые еще только предстояло использовать, заставили Черчилля вновь вспомнить ту ночную прогулку с Эдди по трущобам Манчестера. И снова он не мог не задавать себе тот же самый вопрос: почему Британия вкладывает столько денег в заморские страны, когда ей есть чем заняться дома? Масштаб огромной державы, конечно, весьма привлекателен и воодушевляет больше, чем устранение неприглядных сторон этой самой власти. Вражда с консерваторами открыла ему глаза на массу вещей, мимо которых он прежде проходил, не задумываясь о них. Тори отшвырнули его настолько далеко от своего лагеря, что он невольно стал мыслить более радикально — во всяком случае, по стандартам тори.

Время, когда следовало приступать к решительным действиям, подошло вплотную. Кэмпбелл-Баннерман не явился на открытие заседаний парламента 29 января 1908 года. Болезнь сердца приблизилась к финальной стадии. Многие пришли к выводу, что весной он должен уйти в отставку. Размышляя над тем, кто войдет в новую администрацию, Асквит часто советовался с Черчиллем. В письме от 14 марта Уинстон высказал ему напрямую желание возглавить министерство по делам колоний. Но, добавил он, не меньше вопросов вызывают и социальные проблемы на родине, и ему очень хочется поделиться своими мыслями с остальными членами правительства: «развеять темные глубины невежества. Перед моим мысленным взором встает абрис города, в котором будет иметься все то, что я называю «минимальный стандарт».

В какой-то степени это напоминало реформы, намеченные Беатрис Уэбб и ее друзьями, которые они уже давно продвигали. Уинстон надеялся, что государственное вмешательство позволит ввести и установить в Британии минимальные стандарты жизни, решить вопросы в сфере занятости, в строительстве домов и

заботе о пенсионерах. Абсолютно еретические мысли для тори, который покинул партию всего три с половиной года назад. Но они стали продолжением тех выводов, которые он сделал для себя во время путешествия. Чем в больших переменах нуждалась вся империя, тем более ему не терпелось начать реформы с Англии.

Вся разница между позицией Черчилля и другими реформаторами-радикалами заключалась в том, что он делал упор на личности более, чем на государстве. Он не испытывал ни малейшей симпатии к продуманным по шагам теориям, запутанным, силовым бюрократическим планам и методам. Найти соответствие между правами и обязанностями, а также «минимум» государственного вмешательства — таким ему виделось решение. «Есть какие— то вещи, — писал он в 1904 году, — которые должно сделать государство. Не потому, что государство сделает это лучше всех, а потому что кроме него это никто вообще не сделает».

Некоторые из его друзей-либералов находили несколько странным, что бывший консерватор, сын Бленхейма воспылал интересом к тому, чтобы сделать жизнь низших слоев лучше. К таковым относился, например, Чарльз Мастерман — член парламента, того же возраста, что и Черчилль, уже написавший книги о жизни в трущобах «Из пропасти». Он провел неделю с Уинстоном за городом, а потом описал, как тот, жестикулируя, расхаживал по комнате из угла в угол, излагая свои планы. Он был полностью поглощен бедняками, о существовании которых Уинстон только что узнал. Поздно ночью Черчилль признался, без всякой самонадеянности: «Иногда мне кажется, что я должен взвалить на свои плечи весь мир».

Вайолет Асквит истосковалась по разговорам с Черчиллем, ей очень хотелось обсудить с ним те вопросы, что не давали ему покоя, но она не могла поехать за город из-за болезни. В конце января Вайолет вдруг ослабела, сильно кашляла, и Марго считала, что падчерица нуждается в длительном отдыхе. Поэтому Вайолет следует отправить на несколько недель в Швейцарию или Италию. Пожить отдельно было полезно не только для Вайолет, но и для Марго. Им становилось все труднее и труднее вдвоем, напряжение нарастало, поскольку обе с нетерпением ждали того момента, когда Асквит станет премьер-министром. Вайолет спорила — ей очень хотелось остаться в Лондоне в такой ответственный момент и следить за последними сводками состояния здоровья Си-Би. Но Марго настаивала на скорейшем отъезде за границу и не слушала никаких возражений Вайолет.

Асквит не вмешивался, пытаясь сохранить мир в семье, хотя

противостояние двух женщин сильно утомляло его. Дочери он написал теплое проникновенное письмо, уверяя ее: «Не жалей о том, что тебя не будет в этот момент здесь», и добавлял: «Мы с тобой уже столько вместе пережили». Они постоянно обменивались письмами и телеграммами. Вайолет напоминала ему, что он должен приложить все силы и ввести Черчилля в кабинет министров. «Ты должен это сделать для Уинстона», — писала она.

«Не беспокойся насчет У., — успокаивал ее отец. — Мы сделаем для него все возможное, пока тебя не будет».

Уинстон знал, как ему позаботиться о себе, и в этот момент ему предстояло совершить шаг, который значил для его дальнейшей жизни много больше, чем продвижение в кабинет министров. В один из дней в середине марта он пришел на ужин в особняк на Портленд-плейс, 52, принадлежавший леди Сент-Хелиер. Эта светская дама держала дом открытым, и через него прошел такой неиссякаемый поток гостей, что писательница-романистка Эдит Уортон назвала особняк «автоматической машиной для приемов». У леди Сент-Хелиер был экспансивный характер, ей нравилось смешивать самых разных людей за столом, и рядом с какой-нибудь знаменитостью могли сидеть и такие, о которых не было известно ничего примечательного.

Хозяйке доставляло удовольствие наблюдать за тем, как политики беседуют с писателями, а исследователи внимают театральным критикам. Толпы приглашенных заполняли дом и так в течение нескольких лет подряд, а потом многие из них выслушивали забавные истории, которые случались здесь. Эдит Уортон придумала историю о том, как вождь каннибалов собирался зажарить взятого в плен путешественника, но, взглянув на него повнимательнее, передумал: «Мне кажется, мы с вами встречались у леди Сент-Хелиер!»

В некоторых книгах о Черчилле говорится, что этот мартовский ужин был дан в честь Фредерика и Флоры Лугард, и что Уинстон вел себя по отношению к Флоре очень грубо. Обычно леди Сент-Хелиер быстро и умело разруливала такие сложные ситуации, но в данном случае ее вмешательство не потребовалось. По той простой причине, что Лугардов на званом ужине не было. Они находились за шесть тысяч миль от Лондона — в Гонконге, куда сэра Фредерика отправили подальше от неприятностей. Флора вернулась в Лондон только в мае. Ее имя не упоминается в числе приглашенных, хотя сохранился дневник Рут Ли, где она подробнейшим образом описала все, что происходило в тот вечер (Рут Ли — богатая американка, вышедшая замуж за англичанина по фамилии Артур. Им

принадлежал огромный загородный дом Чекерс, который они потом передали стране.)

15 марта 1908 года она записала: «На ужине, который давала леди Сент-Хелиер, в числе других присутствовал Уинстон Черчилль. Он приехал позже всех, когда мы уже пошли к столу, и занял свободное место, слева от хозяйки. На хозяйку он не обращал ни малейшего внимания — настолько неожиданно и полностью был поглощен мисс Клементиной Хозиер, которая сидела по другую от него руку. Он оказывал ей такие исключительные знаки внимания и смотрел только на нее весь вечер, что все потом обсуждали это».

Двадцатидвухлетняя девушка, которая привлекала его внимание в тот вечер, не имела никакого отношения к театру, как Мюриэль, не была она и столь богатой, как Уилсон, ее не так занимала политика, как Вайолет, не была она и столь известной, как Этель. Но она излучала некую тайну, что так привлекало Уинстона. Было что-то волнующее в ее экзотической красоте. Один из тех, кто восхищался ею, написал: «Приветливый взгляд миндалевидных глаз газели». Старый поэт и развратник Уилфред Скоуэн Блант был совершенно заворожен, когда Клементина появилась в маскарадном костюме на одном из приемов: «Она напоминала русалку в своем плотно облегающем фигуру шелковом платье, словно на ней вообще не было никакого одеяния… Она, несомненно, была обаятельнейшей женщиной, не имеющей представления о силе своего обаяния».

Клементина — или Клемми, как ее всегда называл Уинстон, — была внучкой графа Эйрли, но относилась к числу тех семейств, что очень много потеряли в трудные времена. Ее мать, леди Бланш, — подобно Дженни, матери Уинстона, — была расточительной и свободолюбивой женщиной с тянувшейся за ней хвостом длинной романтической историей. Она родила четверых детей, но неизвестно, был ли ее муж — сэр Уильям Хозиер — отцом хотя бы одного из них. Подозрения некоторых позднейших исследователей пали на кавалерийского офицера по имени Уильям «Бэй» Миддлтон, именно его они считают биологическим отцом Клементины. Девочке исполнилось шесть лет, когда сэр Уильям окончательно потерял терпение из-за выходок ветреной жены, и они развелись.

С того момента Бланш с детьми жила очень экономно, но нередко наведывалась во Францию. Семья довольно часто останавливалась в Дьеппе или Париже, где Бланш наслаждалась обществом писателей и художников. В особенности тесные узы у нее завязались с художниками — Джеймсом Макнилом Уистлером и Уолтером Ричардом Сикертом. Оба восхищались

красотой Клемми — когда она была еще девочкой, — и ее старшей сестрой Китти. Какое-то время Клемми была влюблена в Сикерта, который устроил ей поход по любимым музеям и галереям Парижа. Ее французский язык был превосходен, а в двенадцать лет она даже зарабатывала деньги, давая уроки французского для английских учеников.

Уинстону нравилась сомнительная биография Клементины, а также ее знание Франции и французской культуры. Все это, с его точки зрения, только усиливало романтическую привлекательность девушки. Их пути на короткое время пересекались в 1904 году, но тогда он был полностью увлечен Этель и Мюриэль, и не обратил на девушку внимания. Но за ужином у леди Сент-Хелиер, при свете свечей, он вдруг увидел то магическое излучение, которое не заметил прежде. Но и она тоже открыла в нем неизвестное прежде. Когда они впервые встретились, в глаза сразу бросалась его юношеская незрелость и самонадеянность. Сейчас в нем не осталось ничего мальчишеского, это был зрелый мужчина.

Подобно Уинстону она успела пережить любовные разочарования. Ее больше привлекали пожилые мужчины, и с двумя из них Клементина даже была обручена. Один — юрист и банкир — был на пятнадцать лет старше ее, другой — чиновник — старше в два раза. Видимо, ей невольно хотелось обрести в мужчине отца, поскольку в семье не было взрослого мужчины, в обществе которого она бы почувствовала себя любимой и защищенной. Неугомонная и непредсказуемая мать не могла внушить дочери такого чувства. Но присмотревшись к своим женихам, Клементина все-таки разрывала помолвку.

Ее тетя — «тетя Мари» — известная как леди Сент-Хелиер — пыталась вывести Клементину в светское общество. Это было нетрудно, ведь она обладала обширными связями, знала всех на свете и прославилась способностью удивлять приглашенных каким-нибудь неожиданным гостем. Именно благодаря легендарной гостеприимности леди Сент-Хелиер, Уинстон занял свободное место за столом рядом с Клементиной. И, оказавшись рядом с ней, забыл обо всем на свете, не обращал никакого внимания на тетушку и не сводил глаз с племянницы.

3 апреля 1908 года премьер-министр лежал в своей постели на Даунинг-стрит, 10. Он уже не только не мог спуститься вниз по лестнице, ему даже трудно было удерживать в руках газету, чтобы дочитать ее до конца. Лицо его стало бледным, как и волосы цвета выбеленной временем соломы, голос ослабел. Но в этот день он все же собрался с силами, чтобы продиктовать короткую

записку, адресованную королю. Вот ее содержание: «Сэр Генри Кэмпбелл-Баннерман почтительно просит Его Величество подписать прошение об отставке с должности премьер-министра и первого лорда казначейства». Преодолев слабость, он наклонился, чтобы подписать листок, и затем произнес устало: «Последний пинок… Я был премьер-министром дольше, чем того заслуживал».

Пять дней спустя Герберт Генри Асквит (теперь уже, как и ожидалось, — новый премьер-министр) предложил Черчиллю возглавить министерство торговли — департамент, связанный с индустрией, транспортом и рабочим классом. Не самая эффектная должность, требующая тяжкого труда и принятия на себя большой ответственности. Уинстон, не колеблясь, согласился и поблагодарил Асквита за оказанное ему доверие. Наконец-то в тридцать три года он занял место в кабинете и стал самым молодым министром. Джон Морли — всегда осмотрительный — советовал молодому другу не придавать слишком большого значения этому достижению. «На этой ступеньке, — писал Морли, — департамент почти ничего значит. Там происходит только сбор сведений. Вся власть и авторитет находятся в руках кабинета министров».

Благодаря тому, что Вайолет не было в Лондоне, Марго предприняла попытку выяснить, насколько Уинстон может быть ей полезен. Одна из его обязанностей, как она дала ему понять, будет состоять в том, чтобы защищать Генри от удара в спину со стороны коллег. В особенности ее беспокоил Ллойд-Джордж, которого выдвигали на место министра финансов [30], — как бы он не сыграл роль Брута по отношению к Цезарю-Асквиту. Марго надеялась, что Уинстон будет наблюдать за действиями Ллойд-Джорджа, но сначала ей хотелось прощупать Уинстона, проверить его верность, а также убедиться, станет ли он ее осведомителем.

Предложение Марго прогуляться с ней в Ричмонд-парк прозвучало для Уинстона как гром среди ясного неба. Список новых членов кабинета еще не был выпущен, но каким-то образом газета «Дейли Кроникл» выяснила подробности и напечатала этот список. Марго считала, что утечку допустил Ллойд-Джордж. Знал ли что-нибудь об этом Уинстон?

Сказать, что-то по этому поводу он не мог, но когда Марго обвинила Ллойд-Джорджа, вступился за коллегу. Этим же вечером Марго отправила записку Уинстону, в которой сообщала, что провела небольшое расследование, и теперь все явно указывает именно на Ллойд-Джорджа. Она написала, что Генри «в гневе». И спрашивала, готов ли Уинстон теперь, когда у нее на руках есть факты и свидетельства, выступить против Ллойд-

Джорджа?

«Дражайший Уинстон, — писала она. — Я пригласила Ллойд-Джорджа поужинать с тобой сегодня. И мне бы хотелось, чтобы ты прямо сказал ему, что три сотрудника «Дейли Кроникл», независимо друг от друга, назвали именно его. Надеюсь, что Ллойд-Джордж не станет это отрицать и признается Вам… Думаю, что Вы могли бы помочь Генри и кабинету, если возьмете на себя храбрость». Подчеркивая важность миссии и то доверие, которое она ему оказывает, Марго мелодраматическим тоном добавила в конце: «Сожгите письмо». Он его не уничтожил.

Черчилль оказался меж двух огней. Если он выступит подручным Марго, это оскорбит Ллойд-Джорджа. Если будет хранить молчание, оскорбится Марго. Ночью он отправил записку, но не Марго, а прямо Асквиту, в ней он писал, что поговорил с Ллойд-Джорджем, но тот отрицал свою причастность к утечке информации. Чтобы вывести себя из-под огня, он посоветовал Асквиту поговорить напрямую с новым министром финансов.

Не в первый раз Асквит оказывался в неловком положении из-за склонности Марго к интригам. Хотя Ллойд-Джордж был, скорее всего, виновен в утечке информации, Марго, выставляя его первым подозреваемым, вызвала недовольство премьер-министра, считавшего, что она сует нос не в свое дело. Начинать новые перестановки Асквит не хотел и предпочел замять дело, а не раздувать его. «Принимаю без оговорок Ваше утверждение о непричастности, — написал глава кабинета министров своему коллеге, полагая, что будет разумнее обвинить журналистов и их способность выуживать сведения. — Вездесущая пресса в настоящее время такова, что их невозможно удержать, и они умеют анализировать и делать выводы как из умолчания, так и из высказываний».

Марго гордилась тем, что «предупредила» Генри насчет Ллойд-Джорджа, благодаря чему теперь ее муж будет намного пристальнее следить за возможным противником. Но и Генри, и Уинстон дали понять Марго, что вмешиваться в дела кабинета ей бы не следовало. Она приняла это как унижение. Марго не волновало то, что им не хотелось затевать недостойную возню в самое неподходящее время. От переживаний она слегла, ссылаясь на то, что ее одолевает дурнота, что она страшно похудела и ослабела, и какое-то время оставалась в постели, предаваясь печали. Удачная возможность провести две недели за городом при таких непростых обстоятельствах — показалась ей лучшим выходом.

Войдя в новый кабинет, премьер-министр сообщил о

предстоящих выборах. Значительная победа 1906 года внушала Уинстону оптимизм, что и на этих выборах он получит большинство голосов. Он не замедлил поделиться своими надеждами с Клементиной Хозиер. Они уже несколько раз встречались в доме его матери, и беседы доставляли удовольствие им обоим.

«Должен признаться, — писал он 16 апреля, — что я ни на минуту не сомневаюсь в успехе». Речь шла о выборах, но теми же самыми словами он мог описать свои чувства к ней. Уинстон был полон надежды, что они вскоре «смогут подружиться».

XV. Большие надежды

Ничего похожего раньше не видели. Политики, проезжая по улицам, вставали в автомобиле и махали приветственно рукой, но воспользоваться лимузином, чтобы произносить речь, — это что-то небывалое. Это было ниже их достоинства, не говоря уже о безопасности — взобраться на водительскую кабину и стоять на крыше, как на гигантском куске мыла! Тем не менее, вот он — Уинстон Черчилль — посреди улицы в Манчестере, обращается к толпе, стоя на автомобиле. И при этом размахивает кулаком точно так, как он это делал в палате общин. Толпа собирается очень быстро. Вот уже люди заполнили улицу с одного конца до другого. И возникает ощущение, что автомобиль Черчилля бросил якорь в море из шляп. Расслышать, что именно он говорит, — трудно. Но суть таких импровизированных выступлений заключалась в другом. Люди должны были запомнить произведенный эффект, его решительную фигуру, а не голос. Черчилль был неистощим на всякого рода выдумки, находки, где он использовал любую возможность пустить в дело с пользой для себя современные технические новшества.

Его критиков это уже не удивляло. Для них это служило еще одним доказательством того, что Черчилль бессовестным образом устраивает из жизни некое представление. И что отвратительнее всего, — возмущался один из враждебно настроенных журналистов, — он оскверняет британскую политику, привнося «вульгарные способы американцев, которые они используют во время предвыборных кампаний». На самом деле даже американцы удивились, увидев фотографию Черчилля, выступавшего на крыше автомобиля. «Случалось, что представители той или иной партии обращались к избирателям из машины, — отметили в автомобильном нью-йоркском журнале, — но благодаря Уинстону Черчиллю стало ясно, что крышу лимузина можно превратить в импровизированную трибуну для выступлений».

Во время апрельской выборной кампании Черчилля можно было увидеть даже на фонарном столбе, откуда он произносил речь перед горожанами, собравшимися на углу улицы. Его противником опять был Уильям Джойнсон-Хикс, чьи способы ведения кампании оставались столь же примитивными, как и прежде. Черчилль рвался в бой, его выступления были полны напора, решимости и энергии. А кандидат от консервативной партии произносил речи на фоне вялого плаката со слоганом «Настало время Джойнсон-Хикса».

Но, несмотря на все провальные методы ведения кампании,

используемые кандидатом от консервативной партии, Уинстон заметил, что его соперника окружают большие толпы народа. Настроение избирателей после 1906 года качнулось в другую сторону. Очень многих разочаровал осмотрительный и осторожный Кэмпбелл-Баннерман, и они не верили, что Асквит будет намного лучше. Других перестали волновать вопросы протекционизма и то, что политика Чемберлена могла ударить их по карману. Уже два года как вопрос не обсуждался и они потеряли к нему интерес. Между тем тори, мечтая о реванше после прошлого провала, решили объединить все свои силы, чтобы свалить Уинстона.

К тому же в ходе выборной кампании он столкнулся с неприятелем, который использовал еще более необычную тактику политической борьбы, чем сам Уинстон. Чтобы вынудить либералов предоставить женщинам право голоса, активистки-суфражистки выбрали своей мишенью Уинстона. Они надеялись продемонстрировать, какое влияние способны оказывать на результаты выборов, а поскольку в выборах участвовал представитель кабинета министров, — это была идеальная возможность. Не имело никакого значения то, что лично Черчилль симпатизировал их идеям. В 1904 году он проголосовал за предоставление женщинам гражданских прав, и готов был и дальше голосовать за них. Когда ему задали прямой вопрос, сочувствует ли он идее о предоставлении женщинам права голоса, он ответил столь же прямо: «Эти требования нельзя оспаривать ни с точки зрения справедливости, ни с точки зрения логики. Меня можно считать дружески настроенным человеком по отношению к движению. И, надеюсь, мое слово примут на веру, если я пообещаю: как только это позволят обстоятельства, я сделаю все возможное, что будет в моих силах».

Черчилль мог заполучить в лице суфражисток полезного союзника, но, похоже, это воинствующее крыло не выказывало ни малейшего интереса к сотрудничеству с ним. Поскольку старые лидеры либеральной партии — в особенности Асквит — не симпатизировали суфражисткам, те решили показать наглядно, во что это может обойтись правительству либералов, и выбрали для демонстрации Уинстона. Каждый раз они просто не давали ему выступать или срывали выступление. Иногда они давали ему возможность подойти к самому главному моменту выступления, когда предстояло произнести ударную фразу, и именно в этот момент начинали кричать «Женщинам право голоса!», запускали ракеты или начинали звенеть в колокольчики.

Эммелин Панкхерст — выдающаяся руководительница движения суфражисток, которое базировалось в Манчестере,

охотно признала, что они выбрали для нападок Черчилля только из-за того, что он представляет собой удобную мишень. Во время выборов в 1906 году они устраивали время от времени акции протеста, но в 1908 году демонстрации шли непрерывно одна за другой. «Мы не питали никакой враждебности к мистеру Черчиллю, — вспоминала впоследствии Панкхерст. — Мы выбрали его потому, что он был очень важным кандидатом, представлявшим главный орган управления. Мы появлялись на каждом митинге, где должен был выступить мистер Черчилль, безжалостно прерывали его, мы выворачивали его слова наизнанку так, что толпа покатывалась от хохота».

Звоны колокольчиков, раздававшиеся посреди выступления, изматывали Уинстона. Они трепали его нервы и подрывали чувство уверенности, что ему требовалось больше всего. Стоило ему достичь наивысшего пика выступления, как в толпе со всех сторон начинали звенеть колокольчики, и тотчас все начинали смеяться. Черчилль только раздраженно топал ногой. Позже, даже немного занижая влияние этих звоночков на его выступления, он писал: «Мне было чрезвычайно сложно найти нужные аргументы в таких случаях». А Ллойд-Джордж пошутил: «Суфражистки восстановили против себя Черчилля, потому что портили его эффектные концовки».

Эта назойливая тактика в конце концов перешла в насильственные методы, и чем чаще случались случаи физического нападения, тем меньше Черчилль сочувствовал тем, кого он вначале поддерживал. Худшее произошло в 1909 году, когда без всякого предупреждения какая-то женщина на вокзале в Бристоле ударила Черчилля по голове собачьим хлыстом. Следующий удар пришелся по лицу. Сержант-детектив, который стал очевидцем нападения, отметил, что если бы хлыст ударил по глазу, Черчилль мог ослепнуть. Еще больший риск для Уинстона представляло то обстоятельство, что он тогда занимал опасное положение на железнодорожной платформе. Напавшая на него женщина так сильно толкнула Черчилля с платформы, что он едва не угодил под колеса только что тронувшегося поезда.

«Они боролись в конце перрона, перед узким пространством между двумя вагонами, — писал репортер. — Это были очень опасные полминуты. Женщина кричала отчаянным голосом, впав в неистовство. Она сделала еще одну попытку ударить Черчилля, но тот схватил ее за запястье, и плеть лишь слегка коснулась его лица. «Получай, животное! — кричала она, — ты, животное!»

Оба они были спасены от падения в последнюю секунду, когда полисмены оттащили женщину в сторону. После того, как ей предъявили обвинение в нападении, женщина потребовала,

чтобы ей вернули хлыст, поскольку он теперь представляет «исторический интерес», и пообещала не пускать его в ход опять «против члена кабинета министров». Но ее просьбу отказались удовлетворить.

Через некоторое время другая женщина швырнула железный болт в машину Черчилля и чуть не попала в него. На следующий год три женщины набросились на Уинстона, пытаясь ударить его по лицу, но им удалось только сбить с него шляпу. Спустя несколько лет сторонницы женского движения достигли большего успеха, разбив ему губу, когда набросились на Уинстона в толпе и повалили его на землю. Бесчисленные угрозы сыпались на Черчилля и его семью. Хотя суфражисткам удалось разбить стекла в окнах его жилища, он избежал такой же смертельно опасной атаки, как та, что была проведена против Ллойд-Джорджа, в чей дом бросили самодельную бомбу. Эта бомба взорвалась на нижнем этаже, в результате чего в сотнях ярдов вокруг во всех зданиях повылетали стекла. К счастью, нападение совершили в уик-энд, когда Ллойд-Джорджа не было дома.

Во время короткой предвыборной кампании Черчилль отчаянно боролся со своими противниками. Ему вызвалась помогать Дженни, но ее появление на помосте только еще больше наэлектризовало феминисток. Она изобрела собственный слоган в виде каламбура, не очень удачный, правда. «Они много говорят о дорогих сигарах и дорогом пиве на этих выборах, — заявила Дженни. — А я хочу сказать на это: голосуйте за дорогого Уинстона».

Но суфражистки добились своего. Имя Черчилля утратило магическое обаяние. Когда вечером 24 апреля были подведены итоги и озвучены результаты выборов, Черчилль проиграл. Ему не хватило 429 голосов. Консерваторы ликовали и распевали: «Прощай, Уинстон», — когда удрученный министр покидал зал манчестерской ратуши. Он признался своим сторонникам, что поражение было «тяжелым, горьким и сокрушительным». Ему трудно было смириться с тем, что жители Манчестера, принимавшие его как героя всего два года назад, отдали предпочтение бездарному Джойнсон-Хиксу, которого Герберт Уэллс, горячий сторонник Черчилля, назвал «дремучим и бестолковым ничтожеством».

Эммелин Панкхерст была уверена, что это она и ее последовательницы стали причиной поражения Черчилля. А потом данное утверждение подхватили газетчики, которые стали писать, что «суфражистки свалили Черчилля». Удары были направлены не на того, кто их заслуживал, и они причинили

Уинстону немалый вред, но Эммелин не собиралась останавливаться на этом. Черчилль решил отправиться в Данди — четвертый по величине город в Шотландии, чтобы добиться победы и сохранить еще одно место в палате общин для Либеральной партии. Прежний член парламента должен был оставить его, так как получил звание пэра. Только что закончившаяся предвыборная гонка измотала Черчилля, но делать было нечего, и он ввязался в следующую кампанию, намеченную на май. Панкхерст поклялась, что ему не будет покоя и в Данди — суфражистки об этом позаботятся. В ее задачу входило доказать либералам, что ни один из них не может чувствовать себя в безопасности, если она добьется ухода из кабинета министров такой знаменитой персоны, как Черчилль.

Через много недель после своего поражения на выборах Черчилль обнаружил в случившемся и забавную сторону. Уайтло Рид, американский посол в Лондоне, позже поведал историю о том, как той же весной Уинстон был покорен шуткой, связанной с его неудачей в Манчестере. Черчилля часто упрекали за то, что во время званого обеда он, увлекшись беседой с кем-либо, не обращает внимания на других своих соседей по столу, и однажды Рид сказал ему, что тот игнорирует Мод Аллан — канадку по рождению, получившую известность как танцовщица, которая при исполнении эротичного «Танца с семью покрывалами» выступала в весьма откровенном костюме, из-за чего в некоторых городах ее представление даже запрещали.

«Ну хорошо, мистер Черчилль, — сказала Мод Аллам, когда она и другие гости вышли из-за стола, — у нас с вами очень мало общего. Хотя есть одна вещь из всего, что существует в мире, которую можно признать объединяющей нас. И вас и меня выкинули из Манчестера».

Через неделю после своего манчестерского провала Черчилль уже ехал в открытом автомобиле по улицам города Данди в поисках голосов, которые могли бы помочь ему выиграть новые выборы. Он остановился у ворот большой фабрики. Как раз наступило время ланча, и рабочие вышли, чтобы приветствовать его. Он встал на заднее сиденье автомобиля и произнес короткую речь. Весна в Шотландии выдалась холодной, воздух был влажным, голос Черчилля звучал чуть-чуть хрипловато, но он даже не позаботился о том, чтобы надеть шляпу. И когда он уже подошел к самому важному моменту, появился экипаж, запряженный парой лошадей и управляемый кучером в ливрее. В экипаже сидела улыбающаяся молодая женщина в шляпе, украшенной цветами. В руках она держала огромный медный

колокол. На передке экипажа был плакат: «Голосуйте за женщин».

Ирландская суфражистка Мэри Мэлоуни не входила в ассоциацию Эммелин Панкхерст, но сочла нужным бросить вызов Черчиллю в Данди. Во взятом напрокат экипаже она ездила следом за ним всю неделю, и звон железнодорожного колокола был оглушительным. Подъехав к воротам фабрики, рядом с которыми выступал Черчилль, Мэлоуни не стала дожидаться, когда его речь достигнет пика. Все время, пока он говорил, она била в колокол. И как сообщили репортеры, ее колокол оказался необычайно эффективным оружием, самым громким из всех звуковых раздражителей, с которыми когда-либо сталкивался Черчилль.

Когда он двинулся прочь, Мэлоуни последовала за ним. «Он не слышал самого себя, — написал один репортер, — он не мог думать, не мог говорить из-за этого металлического лязга, уже стоявшего у него в ушах. Самое скверное, что толпа рабочих, вместо того, чтобы негодовать из-за того, что Мэлоуни помешала им, начала смеяться». И министр торговли вынужден был отступить. Он уехал, провожаемый хохотом и насмешками».

Черчилль продемонстрировал невероятное терпение, столкнувшись с таким мучительным испытанием. Он даже как-то снял шляпу и поклонился Мэри Мэлоуни, когда проходил мимо, хотя знал, что она пойдет следом за ним на митинг, и снова будет перебивать его выступление. Единственное, что он мог позволить себе, когда раздавался гул колокола, это выкрикнуть: «Если леди считает, что это аргумент, достойный Данди, пусть она им пользуется. Желаю вам удачного вечера». С этими словами, приподняв шляпу, он уезжал, надеясь только на то, что она не успеет его догнать, и ему удастся закончить речь в другом месте.

К концу кампании колокольный звон стал всем действовать на нервы, и симпатии публики перекинулись на Черчилля. В результате Мэри Мэлоуни принесла ему больше пользы, чем вреда. Но беспокойство не покидало его до последнего момента. Когда шел подсчет голосов, его видели стоящим в углу здания суда. Не в силах справиться с волнением, он нервно теребил резиновую тесемку, намотанную вокруг его пальцев. Он получил меньше половины голосов, но из-за того, что против него выступало три кандидата, Уинстон все-таки вырвался вперед, победив своих соперников.

Свою речь победителя он произнес с балкона здания суда. Но когда он спустился вниз и вышел, чтобы сесть в автомобиль, его окружила ликующая толпа — там было не менее десяти тысяч человек. Полиция вынуждена была прокладывать ему дорогу, а другие полицейские сдерживали его избирателей, пока он шел к

своему автомобилю. Так им пришлось сопровождать его до самого отеля, где он остановился.

Перед тем, как войти в гостиницу, он остановился и помахал всем рукой, испытывая большое чувство облегчения, — на этот раз он снова вышел победителем. В своей победной речи он выразил огромную благодарность шотландцам, и восхищение ими. «Данди — навеки, Шотландия — вперед!» — выкрикивал он под одобрительные аплодисменты.

Самые большие опасения на этих выборах у него вызывал не представитель партии консерваторов, а кандидат от партии лейбористов, начавшей занимать достаточно важное место в палате общин. Лидер этой партии — шотландский социалист Кейр Харди — продвигал в парламент своего кандидата, Джорджа Стюарта. И количество голосов, поданных за него, оказалось таким же, как и за представителя тори. Трудно себе представить, насколько сложно было Черчиллю доказать рабочим фабрик и заводов, почему они должны отдать предпочтение либералам, а не социалистам.

Блестящее выступление Черчилля в Данди 4 мая — наконец-то без сопровождения колокольного звона — стало лучшей из его попыток изложить главную политическую линию партии. Он говорил до поздней ночи в Киннэйрд-Холле, где его слушали примерно две с половиной тысячи человек. Это была длинная и подробная речь, которая подводила итог предвыборной деятельности, но он постарался сформулировать мысли последних лет относительно социализма. Еще прошлой осенью, когда он паковал вещи для поездки в Африку, один журналист — его друг — обратил внимание, что Уинстон берет в поездку большое количество серьезных книг и материалов для чтения. «А почему здесь так много трудов по социализму?» — удивился журналист. «Хочу разобраться, что он из себя представляет на самом деле», — ответил Черчилль.

Поскольку Черчилля больше волновали результаты, а не теория, он в своем выступлении в Киннэйрд-Холле сосредоточил внимание на изъянах социализма. Основная проблема, говорил он, что социализм выглядит очень убедительным и логичным в теории, но когда его пытаются воплотить в жизнь, возникает много нестыковок. Его последователи уверяют нас, что «нам следует жить вместе в полном согласии и товариществе. Но они сами уже разбились на двадцать не согласных друг с другом фракций. И они обвиняют и укоряют друг друга даже больше, чем они обвиняют нас. Они хотят перестроить мир. И жить, не следуя законам человеческой природы… Сколько я ни пытался, я никак не могу представить себе искусственное сердце в мире

социализма, которое способно будет заменить обычное человеческое сердце, бьющееся в нашей груди. Какие мотивы могут заставить человеческую личность принести себя в жертву не на час, не на день, а на всю оставшуюся жизнь?»

Постановка вопроса о выборе между служением обществу или личности — изначально неверна. Потому что правильнее будет служить и тому, и другому. «Чтобы добиться цели, мы должны объединять наши усилия. Но во всем остальном мы должны свято поддерживать личность и самих себя. Есть очень много хорошего в единении. У нас есть полиция, армия, военно-морской флот, государственные учреждения. Я представляю министерство торговли — оно тоже предназначено для единения. Но мы не едим вместе, каждый из нас ест сам. И мы не просим леди, чтобы они стали нашими общими женами». Вместо жестких установок нужны правила, которые можно менять. Вместо строгого следования диктату теории, лучше сохранять верность здравому смыслу, помнить об уроках истории и о традициях. «Вот где стоит искать правду на эти вопросы, — говорил он, — посредине, между крайностями».

В либерализме, как он считал, он обрел «многоквартирный дом», достаточно большой, чтобы вместить самых разных деятелей, вплоть до таких, каким являлся сам Черчилль. Благодаря этому там предоставляется простор каждому, чтобы сформулировать идеи на свой лад. Направление его мысли было возвышенным и практичным, доброжелательным, индивидуальным, распахнутым в мир, прогрессивным, и он не мог бы вынести ограничения столь жесткой теоретической установки, как социализм. Однако совместные усилия необходимы, когда идет речь о том, чтобы поддержать слабых, укрепить сильных, возвысить благородных, исправить гордых.

Если бы Черчилль потерпел поражение на вторых выборах, Асквит мог крепко подумать, прежде чем снова рисковать своим собственным престижем и престижем партии, предоставляя новому министру третью возможность. В апреле, предлагая Уинстону место в кабинете, он напомнил ему выражение, которое приписывали Гладстону: «Великий премьер-министр должен быть в первую очередь хорошим мясником». Наверное, когда Черчилль стоял в здании суда и крутил резинку на пальцах, он представлял, как кладет голову на колоду для рубки мяса.

Он знал о жестокой стороне характера Асквита. И его прежний шеф в министерстве по делам колоний тоже мог проявлять раздражение. Когда Черчилля выдвинули в кабинет министров, лорд Элгин оказался поставленным перед фактом и

возмутился тем, что его заранее не уведомили о состоявшемся назначении. «Даже горничные заранее предупреждают об уходе», — жаловался он. Так что нет ничего удивительного в том, что Вайолет чрезвычайно тревожилась из-за того, как шла выборная кампания Уинстона. 5 мая она написала Эдди Маршу, находившемуся вместе с Черчиллем в Данди, что «второе поражение будет просто невыносимым», и заканчивала мольбой: «Выиграйте!»

Вайолет наконец-то разрешили вернуться с континента домой в Англию. Ее по-прежнему огорчало то, что она не была свидетельницей триумфальных перемен в администрации, но ее не радовала мысль о переезде на Даунинг-стрит, 10. Там ей было не по себе — она ощущала атмосферу смерти, которая все еще витала в комнатах. Кэмпбел-Баннерман умер в своей постели 22 апреля, а уже через две недели туда въехал Асквит. На Марго особняк тоже не произвел впечатления. Она назвала его «неудобным домом с тремя бедными лестничными маршами», а по поводу внешнего вида здания заметила, что оно имеет «цвет ливера» и кажется «запущенным».

Только одно примиряло Вайолет с ее новым домом — то, что он находился по соседству с ведомством Уинстона. Как только Черчилль вернулся из Данди, она приняла его приглашение осмотреть офис министра торговли в Уайтхолл-Гарденс. Следующие два месяца они встречались довольно часто. Много десятилетий спустя Вайолет вспоминала, по какому бы вопросу он ни проходил поговорить с премьер-министром, перед выходом он должен был «зайти в беседку в саду, чтобы поговорить со мной».

Весной газетчики снова принялись строить догадки по поводу женитьбы Черчилля. Светские журналы нашли единственное объяснение, почему он все еще оставался холостяком — «Уинстон должен жениться на деньгах» — так якобы высказалась его мать. Конечно, это было полной чепухой, но пресса была уверена, что Черчилль должен увенчать свою политическую карьеру пышной свадьбой. Один из его коллег по кабинету министров — Реджинальд Маккенна — не так давно объявил, что женится в июне. Для всех это стало неожиданностью, поскольку Реджи был необыкновенно прост и скромен и в свои сорок четыре года являлся не самым привлекательным холостяком. Однако его невестой стала молодая девушка, которой только что исполнилось девятнадцать лет — Памела Джекилл, одна из подруг Вайолет.

«Чего Памела больше всего ждала так долго, — признавалась Вайолет близким друзьям, — чтобы кто-нибудь написал, что она

единственная, на ком бы он хотел жениться». Для новоявленной невесты, судя по всему, не имело значения, что будущий муж будет намного старше ее и что, как считала Вайолет, он был гадкий с «пятнами, гамашами, веснушками и трикотажным бельем».

После свадьбы Маккенны, на которой она присутствовала вместе с Уинстоном, Вайолет задумалась: а почему бы ее герою и большому другу не последовать примеру Реджи и не предложить кому-нибудь руку и сердце? Она совершенно недвусмысленно дала понять Уинстону, что готова принять предложение, а он знал, что Вайолет обожает его и готова пойти за ним в огонь и воду. Да, ее нельзя назвать очень богатой наследницей, но она, в конце концов, была дочерью премьер-министра.

О том, что Уинстона заинтересовала Клеметина Хозиер, Вайолет еще не подозревала. Девушка могла бы принять ухаживания какого-нибудь другого молодого человека, но среди них не находилось ни одного, похожего на Уинстона. Все другие уступали ему во всем, с ее точки зрения. Как она позже напишет, «он излучал свой собственный свет — яркий, прямой, сконцентрированный в один пучок — как прожектор».

Марго наметила, что семья должна провести август и сентябрь в старинном замке, который они арендовали в Шотландии, на берегу моря, неподалеку от Абердина. Рядом находилось поле для гольфа, где премьер-министр мог проводить день. Она приглашала друзей и знакомых приезжать к ним и оставаться погостить. Получил приглашение от Вайолет и Уинстон. Возможно, девушка надеялась, что романтическая обстановка подвигнет его к решительному шагу. Он согласился приехать 17 августа и остаться на несколько дней.

Похоже, что в конце июля Уинстон подал Вайолет некие ободряющие сигналы. Все его надежды и страсть были обращены к Клемми, но та все еще колебалась. Уинстон не был уверен, что она согласится выйти за него замуж, и не хотел получить еще один отказ. А в том, что Вайолет скажет «да», сомнений не было. Так что он оставлял Вайолет про запас на тот случай, если Клемми не примет его предложения. Это было не совсем честно — ухаживать за одной женщиной, втайне надеясь завоевать сердце другой, и он понимал это. «Я вел себя отвратительно с Вайолет, — признался он позже своему другу Гарри Примроузу, наследнику лорда Роузбери, — потому что мы практически уже были обручены».

XVI. Замок

В начале августа 1908 года, когда приближалось время поездки к Асквиту, Черчилль начал беспокоиться, что интерес Клементины к нему сошел на нет. Она наслаждалась отдыхом на острове Уайт, и он не получал от нее никаких известий. Но несчастный случай заставил девушку мгновенно откликнуться: Уинстон чуть не погиб в горящем доме.

Это произошло в то время, когда Уинстон после свадьбы своего младшего брата остановился со своими кузенами в просторном арендованном особняке — Берли-он-зе-Хилл в Ратленде. Утром 6 августа на его кухне неожиданно вспыхнул пожар, который начал стремительно распространяться по всему зданию. Гости и слуги стали поспешно спасаться. Одетые только в ночные рубашки, успев прихватить с собой лишь немногие вещи, они выскочили на лужайку перед домом и с ужасом смотрели оттуда на бушующее пламя. Эдди тоже был среди гостей и потерял в огне все свои вещи, включая документы, которые он привез Уинстону из министерства. Все стояли на лужайке, кроме Уинстона. А он бросился в горящий дом, чтобы вынести самые ценные и редкие книги и картины.

Как сообщали на следующий день в «Таймс»: «Пожарные бригады приехали очень быстро, но дом уже нельзя было спасти. И когда мистер Черчилль выскочил из особняка, прижимая к себе два мраморных бюста, крыша за его спиной рухнула. Еще бы несколько секунд, и трагедии не удалось бы избежать».

Глаза Черчилля еще саднили он гари и копоти, когда Клементина прочитала в газете сообщение о пожаре. Она тотчас отправила телеграмму, чтобы уточнить, не пострадал ли он. Черчилль в своем ответе похвастался Клементине, что он воспринял пожар как великое приключение, и живо описал тот момент, когда крыша обрушилась позади него «расплавленным ливнем». А потом добавил, что для него было приятным сюрпризом получить ее телеграмму и узнать, что она его не забыла.

В самом деле, пожар оказался своего рода катализатором их отношений. Ранее Уинстон планировал встретиться с Клементиной в середине месяца, но теперь, возможно, осознав, что надо ковать железо пока горячо, он предложил ей приехать 10 августа в Бленхеймский дворец и провести там вместе с ним несколько дней в качестве гостьи его кузена Санни. Клементина сначала колебалась, нервничая из-за того, что в родовом поместье герцогов Мальборо будет слишком много светской публики. Она

не хотела быть вовлеченной в эту, как ей представлялось, «гламурную жизнь Бленхейма». Однако Черчилль рассеял ее страхи, объяснив, что во дворце сейчас живет только его мать и несколько близких друзей, и ей там понравится.

Клементина приняла приглашение и приехала 10 августа в Бленхейм. Но теперь уже Уинстон проявлял нерешительность. Он не смог вовремя встретить ее, чтобы объясниться с ней на утренней прогулке 11-го числа. И чем больше он медлил, тем все нетерпеливее она рвалась домой, к матери в Лондон. Опять ему помог случай. Во второй половине того же дня, 11 августа, когда Уинстон и Клементина совершали променад по саду, внезапно начался проливной дождь, который заставил их спрятаться в беседке, оформленной под греческий храм. Здесь Черчилль, наконец, отважился сделать предложение, рискуя получить отказ от четвертой женщины из тех, у кого он просил руки и сердца. Но к его величайшей радости Клемми сказала «да».

Лорд Рэндольф в свое время подарил Дженни три кольца, и мать отдала одно из нихУинстону, чтобы тот мог надеть его на палец Клемми. Это кольцо, украшенное большим рубином и двумя бриллиантами, очень понравилось Клементине. Влюбленная невеста не скрывала своей радости. Родственникам и друзьям она писала, что находится «на седьмом небе от счастья». Ее бабушка тоже порадовалась за внучку. Зная, насколько Уинстон привязан к Дженни, она уверила Клемми: «Хороший сын непременно будет хорошим мужем».

Бланш Хозиер потом призналась, что глядя на дочь и Черчилля, «не могла решить, кто из них влюблен больше».

А через несколько дней после того, как Черчилль сделал предложение, Клементина написала: «Не понимаю, как я могла прожить эти 23 года без тебя?»

Да и он сам не верил своему счастью. Помолвку назначали на самое ближайшее время — 15 августа. Черчилль боялся, что долгие сборы каким-нибудь образом помешают свершиться долгожданному событию. К тому же свадьбу не стоило откладывать и по другим причинам — ему необходимо было в октябре браться за исполнение министерских обязанностей. Так что они едва успевали подготовиться к свадебной церемонии, назначенной на середину сентября, чтобы успеть провести вместе медовый месяц.

Черчилль отправил массу писем своим друзьям, чтобы сообщить им добрую весть. Памела Литтон и Мюриэль Уилсон тоже получили такие послания. Ответ Памелы не сохранился. Мюриэль написала ему в ответ очень теплое, радостное письмо, по тону которого чувствовалось, как высоко она его ценит,

пожалуй, как никогда прежде. Может быть, по той причине, что Мюриэль осознала: Уинстон уже никогда больше не будет чахнуть от любви к ней. Написала она и о том, какая счастливица Клемми, что заполучила его, а также выражала уверенность, что они с Уинстоном навсегда останутся друзьями.

«Во всяком случае, я всегда считала тебя таковым». Письмо заканчивалось словами «Будь здоров, дорогой Уинстон!».

Король прислал Черчиллю поздравление, лорд Роузбери отправил ему доброжелательную записку, даже Джо Чемберлен продиктовал жене любезное письмо из Хайбери («моего вынужденного убежища»). Даже хулиганы, всплывшие из далекого прошлого, пожелали ему всего самого хорошего. Йэн Малкольм «с благодарными воспоминаниями» желал счастья «старому другу». Хью Сесил вызвался быть шафером на его свадьбе, и Уинстон с благодарностью принял это предложение.

Одно из наиболее примечательных писем, полученных Черчиллем в ответ на приглашение почтить своим присутствием его свадьбу, прислал один из друзей Дженни, который, припомнив пожар в особняке Берли-он-зе-Хилл, добавил: «Рад, что Уинстон, выполняя предписания Библии, осознал, что лучше жениться, чем сгореть».

Свадьбу предполагалось устроить в субботу, 12 сентября, в церкви Святой Маргариты в Вестминстере. Молодоженам оставалось чуть меньше месяца на подготовку всего необходимого для столь знаменательного события.

А как же Вайолет? Похоже, она ничего не подозревала о помолвке, пока Уинстон не отправил ей письмо за день до того, как появилось официальное сообщение в газетах. Ей пришлось приложить немало сил, чтобы сделать вид перед близкими и друзьями, насколько она рада за него, и что нисколько не ревнует того, кого она втайне уже давно видела своим мужем. Но новость поразила ее как молния. И потеря казалась непереносимой. Она не очень хорошо знала Клемми, но понимала, что Уинстон выбрал ту, которую полюбил всей душой и которая заслуживала его чувства.

У Вайолет были высокие запросы. Она много и жадно читала, преимущественно серьезную литературу, сама умела бегло писать и была чрезвычайно осведомлена во всем, что происходит на политической сцене. Вайолет хорошо понимала мир Уинстона. Она знала, что Клемми хороша собой и обаятельна, но считала, что его увлечение мимолетно и скоро пройдет, поскольку он должен очень скоро увидеть, что она не очень умна.

Со временем ее представления о Клемми, похитившей сердце

Уинстона, смягчились. Но в тот момент, когда пришло его письмо, она испытывала жгучую ревность и зависть к сопернице. «Когда Вайолет услышала, что Уинстон женится на мне, она упала в обморок», — вспоминала Клемми в зрелые годы, по-прежнему испытывая по этому поводу чувство удовлетворения.

Фактически, в то богатое событиями лето 1908 года каждая из двух девушек имела основания для ревности. В понедельник 24 августа — за неделю до свадьбы, — Уинстон, оставив Клемми в Лондоне, сел на вокзале Кинг-Кросс в поезд, который должен был через четырнадцать часов доставить его в небольшую шотландскую деревню Краден-Бэй, где Асквиты проводили летние каникулы в арендованном замке со зловещим названием — Слейнс-Касл («Убийственный замок»). Этот замок, построенный на высоком, протяженном утесе, который выдавался в Северное море, принадлежал лорду Энроллу, чей род владел им уже три сотни лет.

Сэмюэл Джонсон [31], посетивший замок Слейнс-Касл в августе 1773 года, стоя у большого оконного проема, с восхищением наблюдал за тем, как бурные волны бьются о скалы, и, глядя на бескрайние водные просторы, которые тянулись до самой Норвегии, сказал: «Не хотелось бы мне оказаться здесь в шторм, но если шторм, хочу я того или нет, все же грянет, забыв о проявлении гуманизма, я бы предпочел наблюдать за ним из Слейнс-Касла».

25 августа 1908 года в лондонских газетах появилось довольно безобидное сообщение: «Министр торговли… прошлым вечером отправился в Абердиншир. По приглашению премьер-министра он остановится в Слейнс-Касле». Черчилль устроил себе нечто вроде экскурсионной поездки протяженностью в сто одиннадцать миль и не собирался вернуться в Лондон до конца недели. Она не была связана с какими-то неотложными государственными делами, которые ему надо было срочно обсудить с премьер-министром. Тем более что сам премьер-министр покинул Лондон несколькими днями ранее.

Клемми пришла в ярость. Она даже собиралась расторгнуть помолвку. Только ее брат Билл сумел отговорить ее от столь безрассудного поступка, объяснив, насколько это будет «унизительно» и какой непоправимый урон ее отказ нанесет Уинстону, занимающему столь высокий пост и все время находившемуся под прицелом общественного внимания. К тому же свадебные подарки от десятков людей — истинных друзей Уинстона, занимавших видное положение, — уже были получены. В день свадьбы число этих подарков перевалило за сотню, они полностью заполнили большую комнату.

Не подозревающие о том, что Черчилль затеял поездку только ради Вайолет, его ранние биографы считали, что Клемми страдала от предсвадебной нервозности, обычной для молодых невест, или же ее тревожила мысль о том, что она станет женой политика. «Вполне возможно, что она желала знать — любит ли ее Черчилль на самом деле», — высказывала догадки ее собственная дочь. Но самым главным было то, в чем Клемми призналась только на склоне лет, — ее огорчило, что Уинстон перед свадьбой не оказал ей «должного внимания».

Уинстон, убедив Клемми в своей любви к ней, теперь чувствовал необходимость выплатить долг Вайолет. И уже ничто не могло остановить его в порывистом стремлении взглянуть любящей его девушке в глаза, объяснить все, стоя рядом с ней. Он даже помыслить не мог о том, что отделается пусть даже самым сердечным письмом, где бы он объяснил случившееся. Уинстон знал, что Вайолет ждет, чтобы он произнес эти слова сам. На нее магическое действие производил даже звук его голоса. И он мог себе представить, насколько глубоким было бы ее разочарование, если бы Уинстон не приехал к ней в Шотландию.

Но насколько трудно было объяснить все это Клемми, которой уже дважды доводилось расторгать помолвки, а теперь приходилось переживать немалый стресс, связанный с подготовкой к свадьбе. Когда Уинстон уехал, журналисты сосредоточили свое внимание на ней. Они следовали за Клемми по всему Лондону, а потом помещали в газетах репортажи о том, как она посещала портних, и о покупках, сделанных ею в магазинах. Ее фотографии то и дело появлялись на страницах газет.

В конце недели, когда Уинстон уже был на пути в Лондон, «Дейли Мейл» докладывала: «Одной из самых занятых женщин в Лондоне была мисс Клементина Хозиер, чья свадьба с Уинстоном Черчиллем, намеченная две недели назад, состоится завтра. В сопровождении леди Бланш Хозиер, своей матери, она совершала покупки и находилась в руках портнихи с предполуденного времени до шести часов вечера. Обе они вернулись домой, утомленные дневными хлопотами».

В своих воспоминаниях о Черчилле Вайолет кратко описывает его визит в Слейнс-Касл в то лето, но очень неопределенно говорит о том, когда он вернулся. По ее словам, они обсуждали женитьбу, но только в общих словах, не вдаваясь в детали. Они редко говорили на отвлеченные темы, наверное, это случилось впервые. Нет сомнения, что их слова были полны возвышенных слов и значительны. Лучшая подруга Вайолет —

Венеция Стэнли — несомненно, рассчитывала на бурные излияния чувств и выяснения отношений. 26 августа она спрашивала, вернулся ли Уинстон из замка. «Не считаешь ли ты своим долгом высказать ему все, что думаешь о ней?» — вопрошала она у подруги, имея в виду Клемми.

Слейнс-Касл с его окрестностями предоставлял Уинстону и Вайолет все возможности для бесед и дискуссий. Дни в это время года были длинными, а вокруг простиралось много тропинок, что тянулись на целые мили от замка к лужайкам и холмам, вдоль берега моря, и они могли долго идти вдвоем. Более романтичного места трудно было найти. Зеленые свежие луга с сочной травой, огромное небо, затянутое облаками, и с каждой вершины холма открывались бесконечные морские валы, бьющиеся о пустынный берег. Сам замок с затейливыми выступами башен, выстроенных прежде и не так давно, в обрамлении высоких каменных стен, имел массу выходов, что вели прямо к утесам. Они могли сесть на мягкую траву высоко над береговой линией и следить, как мимо проплывает лодка с рыбаками на борту.

Гуляя часами по округе, исследуя то одно направление, то другое, они обсуждали, какой будет их жизнь в дальнейшем. Как-то они даже добрались до лугов у Краден-Бэй, где премьер-министр обычно играл в гольф. Вечером они ужинали вместе с остальными членами семьи и приехавшими в замок гостями, а потом садились вдвоем у большого камина и играли в карты. Чтобы приободрить Вайолет, Уинстон изобрел удивительную игру в слова. Игра и в самом деле отвлекла ее от печальных мыслей, и Вайолет впервые даже начала смеяться. Надо было придумать прилагательные, которые бы по ритму совпадали с названиями различных станций, расположенных на железной дороге от Лондона до Абердина, как, например, Донкастер, Йорк, Эдинбург. И эти прилагательные должны были быть заимствованы из иностранного языка. Как вспоминала потом Вайолет, Черчилль ликовал как ребенок, когда находилось какое-то необычное сочетание.

Что же касается женитьбы, кажется, ему удалось убедить Вайолет в том, что это правильный выбор, во всяком случае, для него. И еще он настаивал на том, что их дружбе это не должно помешать, как бы потом ни складывалась жизнь. Но самое главное, ему удавалось рассмешить ее. И он пустил в ход все свое остроумие, чтобы заставить ее улыбаться.

Вайолет нравились уединенные прогулки вдоль берега, и она как-то уговорила его взобраться на высокую скалу, откуда они могли бы и дальше карабкаться с одного отвесного утеса к другому. Дорога оказалась очень опасной, перед ними то и дело

появлялись глубокие узкие расщелины, на дне которых море со страшным грохотом билось о камни.

Сначала он шел следом за ней, а потом вырвался вперед. Вайолет нравилась его тяга к рискованным приключениям, и она не преминула упомянуть, с какой бесшабашной радостью он преодолевал опасные участки, как карабкался по скалам и утесам, перешагивая с одного шаткого выступа на другой, по скользким водорослям, что выбрасывали бушующие внизу волны. Берега как такового не было. Только громадные камни, сваленные один на другой, с острыми зазубренными краями, на которые садились чайки. Иной раз пройти между ними было невозможно — оставалось только перепрыгивать, но не так-то просто было угадать, насколько надежна точка приземления. Каждый очередной прыжок мог закончиться падением в пенистые буруны.

В этой прогулке, — пронизанной почти маниакальным возбуждением, — с карабканием по скалам и прыжками через расщелины, было много странного. Словно и тот и другой хотели избавиться с помощью напряжения всех мышц от воспоминаний о прошлом и мыслей о будущем. Если бы кто-то стороны увидел, как они взбираются на отвесный утес, наверное, он бы счел, что это какая-то молодая парочка, любители острых ощущений, которым нечего терять, или которые настолько помешались от любви, что забыли про всякую опасность. Никто бы не поверил, что видят перед собой дочь премьер-министра двадцати одного года от роду и тридцатитрехлетнего министра торговли Великобритании. Еще более удивительным было и то, что член кабинета министров через две недели собирался жениться.

Их опасная вылазка по красноватым гранитным утесам закончилась не очень благополучно. Поскользнувшись на влажной скале, Вайолет упала и ударилась о камни, на ее лице остался глубокий порез. «Я сильно расцарапала лицо, взбираясь следом за Уинстоном», — написала она Венеции Стэнли. Счастье, что все обошлось лишь этим ранением, ведь могло быть намного хуже. Если бы она сорвалась со скалы и упала в воду, ее могло увлечь в открытое море сильным и бурным течением. Там ничего не стоило утонуть даже опытному пловцу. Да и на обратном пути легко можно было сорваться с утеса и рухнуть вниз с высоты пятидесяти-шестидесяти футов.

Несмотря на пережитую опасность, на этот эмоциональный выброс, когда настало время Уинстону уезжать, Вайолет впала в отчаяние. А ему не оставалось ничего другого, как попрощаться и оставить девушку в замке. Она отказалась приехать на свадьбу, хотя Венеция, которая приходилась ей кузиной, выступала в роли подружки невесты. Сама поездка в Лондон на несколько дней, где

она могла остановиться в собственном доме на Даунинг-стрит, не представляла сложности. Она могла бы встретиться со многими друзьями, которых давно не видела, и со своими поклонниками. Но Вайолет чувствовала, что не готова к такому испытанию. Церемония прошла 12 сентября без нее.

У Вайолет хватило сил прочитать отчеты о свадьбе, которые появились почти во всех главных газетах и журналах. «Таймс» представила свадьбу как одно из главных событий столицы. Огромные толпы собрались на улицах, список приглашенных тоже внушал уважение, в церкви собралось такое количество людей, что яблоку негде было упасть, десятки полицейских — пешие и конные — следили за соблюдением порядка. «Несомненно, — писали в «Таймс», — свадебная церемония привлекла всеобщее внимание».

Статья в «Скотсмене» начиналась со слов: «Ни одна свадьба за последнее время не вызывала таких бурных чувств и такого интереса, какой мы имели возможность наблюдать в субботний день в церкви Святой Маргариты». На первой полосе «Дейли Миррор» заголовок огромными буквами гласил: «Свадьба года».

Памела — леди Литтон, посетившая торжество, выглядела «ужасно хорошенькой», по словам Этти Дезборо. Этти одобрила Клемми и отметила, что Уинстон сиял от счастья. «Ему все доставляло наслаждение, — писала она впоследствии, — каждое лицо в толпе, каждый подарок, что им прислали. Он разворачивал один за другим, показывая их мне». Погода тоже сделала им подарок — и день выдался ясный. Невеста была в белом шелковом платье, подчеркивавшем «удивительной красоты фигуру». Ллойд-Джордж говорил с Уинстоном о политике. Бланш Хозиер сидела в церкви на передней скамье вместе с тремя бывшими любовниками. Джордж Корнуоллис-Уэст плакал, победитель на выборах в Манчестере Уильям Джойнсон-Хикс поздравил молодоженов. А когда — чуть позже остальных — появился поэт Уилфред Скоуэн Блант, зрители в толпе, взирая на его длинные белые волосы и бороду, перешептывались: «Кто этот высокий красавец-мужчина?» Но для Этти «красавцем дня», без всякого сомнения, был Хью Сесил — «шафер Линки в жилете цвета зеленого утиного яйца».

Первую брачную ночь молодожены провели в Бленхейме. Этот громадный дворец был почти полностью предоставлен в их распоряжение — в замке остался только обычный штат прислуги, а Санни уехал в Париж. Через день молодые уехали в Италию, чтобы провести там остаток медового месяца. Все прошло без сучка и задоринки. И даже беспокойство за Вайолет отступило.

Однако через неделю после свадьбы в Слейнс-Касле произошло событие, которое показало, что с Вайолет все не так хорошо, как это представлялось.

19 сентября, ближе к вечеру дочь премьер-министра, взяв книгу, вышла из замка и отправилась тем же самым путем, что они проделали с Уинстоном, карабкаясь со скалы на скалу. Асквит и Марго принимали за ужином гостей и не заметили, что дочь не явилась к трапезе.

Когда совсем стемнело, Венеция Стэнли, только что прибывшая из Лондона, где она присутствовала на свадьбе Уинстона и Клемми в качестве подружки невесты, ворвалась в гостиную и объявила, что нигде не может найти Вайолет. Все бросились ее искать, в том числе и приехавшие гости. Лорд Кру — заместитель Элгина в министерстве по делам колоний, тоже был в числе тех, кто принял участие в поисках пропавшей девушки. Слуги несли фонари. Обшарили все склоны и выступы, заглядывали во все страшные расщелины и пропасти. Ночь выдалась беззвездной, густой туман висел в воздухе. Было очень трудно даже разглядеть идущего в нескольких шагах человека. Крики «Вай-о-о-лет!» — заглушал непрерывный рокот моря.

После часа бесплодных поисков премьер-министр, беспокойство которого все нарастало, обратился за помощью к жителям ближайшей деревушки. Десятки людей присоединились к ним, включая и несколько рыбаков, которые хорошо знали береговую линию и зажгли яркие фонари на своих лодках.

Когда в полночь не обнаружилось и следа девушки, Асквит, не выдержав нервного напряжения, склонился в объятия Марго. Он уже почти не сомневался, что дочь упала с обрыва и волны унесли ее далеко в море. Но люди не прерывали поиска. Отовсюду раздавались голоса, свет фонарей то скрывался за скалами, то появлялся вновь. Многие с риском для жизни, перебираясь в густом тумане с одного валуна на другой, заглядывали в каждую расщелину. Наступил момент, когда и Марго впала в отчаяние, она упала на колени и начала молиться.

Несколько минут спустя раздался возглас рыбака. И тут Марго упала в обморок. Но рыбак обнаружил не тело, а живую и невредимую Вайолет. Она объяснила свое долгое отсутствие тем, что поскользнулась и ударилась о выступ головой. Странность заключалась в том, что ее нашли лежащей на мягкой, пружинистой траве неподалеку от берега. И нигде не было видно следов удара и падения.

Газетчики, конечно же, не преминули сообщить о случившемся: «Пропала мисс Асквит, дочь премьер-министра. Все домашние и гости отправились на ее поиски». Репортеры

окружили замок, требуя интервью или фотографии. Такого внимания Вайолет никогда не получала за всю свою жизнь, и Марго, видимо, не без основания сочла, что происшествие было чистой воды инсценировкой, устроенной ее приемной дочерью только ради того, чтобы привлечь к себе внимание. Сколько Марго ни всматривалась, она не могла обнаружить ни синяка, ни царапины от удара, И Вайолет не давала внятного объяснения, почему не подала голоса, когда слышала, что ее зовут. Чем больше Марго осознавала, чем вызвано происшествие, тем больше не сердилась на падчерицу. «Полная глупость и опасная выходка» — так она отозвалась о Вайолет в своем дневнике.

Жизнь многих людей находилась под угрозой во время поисков, поэтому семейство постаралось скрыть истинные мотивы девушки. Они беспокоились, как бы газетчики не пронюхали, что выходка дочери — безрассудный шаг впавшей в отчаяние молодой девушки, направленный на то, чтобы привлечь к себе внимание. Она жаждала сочувствия и внимания после отъезда Уинстона, но изо всех сил старалась делать вид, что ничего особенного не произошло. Имелся один молодой человек, чье внимание и симпатию она хотела привлечь, и в письме к нему Вайолет описала случившееся, сильно преувеличив опасность, грозившую ей. Письмо датировано октябрем: «Кажется, я немного прихожу в себя… мне удалось избежать пяти вариантов смерти: я не разбилась вдребезги, упав со скалы, не утонула, оказавшись в воде… дело обошлось без сотрясения мозга…».

Марго пыталась убедить падчерицу молчать о происшествии. Как она опять же писала в дневнике, «мне просто хотелось обратить ее внимание на то, что рыбаки и бедные люди из селения, которые нашли ее, ничего не сказали о том, что думают: бедная Вайолет! Все это так далеко от того, что она пытается показать. Конечно, я чувствую, как ей тяжело». Чтобы поскорее забыть об этом происшествии, Марго решила, что оставшуюся часть времени семья должна провести где-нибудь в большем уединении, и они переехали из замка в дом, принадлежавший ее брату, поблизости от Эдинбурга. Решение оказалось очень своевременным. Мрачная привлекательность замка совершенно не подходила в данный момент для Вайолет, которая и сама находилась в некотором помрачении. Действительно, это место оставляло какое-то гнетущее настроение, недаром замок заворожил писателя Брэма Стокера, который часто бывал в этих местах. Обычно он останавливался в гостинице Килмарнок-Армс (*Kilmarnock Arms Hotel*) в деревне Краден-Бэй. И очень многие считают, что именно замок Слейнс-Касл вдохновил его в 1897 году на написание романа «Дракула». Во всяком случае,

последние строки этого произведения он написал именно в этой гостинице.

За Вайолет установили постоянный пригляд, после того падения «со скалы», как она сама говорила, — девушка выказывала признаки нервного расстройства. Особенно в тех случаях, которые, так или иначе, были связаны с Черчиллем. В октябре премьер-миистр был вынужден вмешаться в ее планы, чтобы отговорить от поездки к Уинстону, когда тот вернулся после медового месяца. Прослышав о том, что в Данди должен пройти ежегодный конгресс шотландских либералов и по этому поводу будут произнесены речи, Ваойлет внезапно решила, что должна непременно появиться на той же платформе, где будет Черчилль, чтобы выступать в его защиту. Отец убеждал ее не делать этого.

«Как жаль, — писала она Венеции, — мне так хотелось высказаться!» Премьер-министр внушал дочери, что ей не стоит выступать из «политических» соображений, но и он, и Марго тревожились, что ее появление рядом с Уинстоном привлечет внимание газетчиков и породит массу сплетен и слухов.

Вскоре это маниакальное состояние стало сходить на нет, особенно после того, как Марго завела речь о том, что, раз Вайолет находится в таком расстроенном состоянии, ей необходимо снова поехать в Швейцарию для поправки здоровья. Конечно, Марго не представляла всей глубины того душевного потрясения, что пережила Вайолет, однако от нее не укрылись резкие изменения в настроении приемной дочери. «Этим летом, — записала она в дневнике, — что-то вдруг сразу переменилось». Но провести еще одну долгую зиму за границей Вайолет смертельно не хотелось. Поэтому, несмотря на отчаянное желание с головой окунуться в политику, ей пришлось согласиться, что этого делать не стоит, чтобы ее снова не услали из Англии. На протяжении следующих двух месяцев она уделяла меньше внимания своей дружбе с Уинстоном, поскольку ей требовалось время, чтобы смириться с присутствием его жены Клемми. И после того, как это все-таки, наконец, произошло, она в конце зимы в сопровождении Марго отправилась на шесть недель в Европу. На этот раз она выдержала испытание ссылкой относительно спокойно, довольная уже тем, что она оказалась не столь продолжительной.

Черчилль очень хотел, чтобы Вайолет и Клемми подружились, и старался сделать все, чтобы сгладить ранящие моменты. Через два месяца после свадьбы он пригласил девушку на ланч. Вайолет старалась держать себя в руках, но Клемми не произвела на нее большого впечатления. Когда она призналась в

этом Уинстону, тот сказал, что достоинства его жены таятся в глубине и не бросаются в глаза. Вайолет готова была высказаться более резко, но сдержалась — к чему она приучала себя уже в течение этих месяцев, — поэтому только улыбнулась и ответила загадочно: «Но глаза видят так много!»

Хотя горечь в душе Вайолет еще оставалась, все были заинтересованы в том, чтобы летние волнения остались позади и больше никого не беспокоили. Вайолет осталась самым большим защитником Черчилля на Даунинг-стрит. Но оба все-таки принимали меры безопасности, чтобы не сближаться уж слишком тесно. Очень небольшая часть их переписки сохранилась, хотя оба больше всего на свете любили эпистолярный стиль. На публике Черчилль почти ничего не упоминал о Вайолет. Имеются только разбросанные то тут, то там фразы, большая часть из них посвящена воспоминаниям о том, как дочь обожала своего отца. Он называл Вайолет «доблестный боец» Асквита.

Уинстону приходилось туго в его попытках не обидеть Вайолет, и оберегать счастье Клемми. Но его стремление миновать эти рифы было очень честным и искренним. Поэтому он не утратил дружбы одной и сохранил любовь другой. В первые два года их совместной жизни Клемми побаивалась, что он разочаруется в их браке. «Тебя никто не сможет мне заменить, — уверял Уинстон. — Ты единственная, кого я люблю. И ты должна верить мне. Я никого не смогу полюбить, кроме тебя».

Он отвечал за сказанные слова, хотя это было необычно для политика его возраста и с его представлениями о себе.

XVII. Выдающийся эдвардианец

Его восхождение было необыкновенным. Менее чем через семь лет — когда Черчилль вышел из заднескамеечников консервативной партии, он выдвинулся в первый ряд либерального кабинета. Комментаторы со всех сторон предсказывали, что однажды он займет место премьер-министра. Еще во время его помолвки, воспользовавшись удобным случаем, в «Дейли Миррор» отметили, что ожидания, связанные с его ярким политическим будущим, вполне оправданны. После спасения в горящем доме, репортер с оттенком добродушной насмешки, но с полным основанием, писал: «Если пророчества когда-либо сбывались, то можно смело предсказать, что мистер Черчилль — солдат, военный корреспондент, путешественник, биограф, а теперь, имея в виду только что случившееся, еще и пожарник, — однажды решит (и это случится не в столь отдаленном будущем) достичь поста премьер-министра».

А.Г. Гардинер из «Дейли Ньюс» рисует его как человека, уже готового сесть в кресло премьер-министра. «Он представляет собой наиболее интересную фигуру в политике, его жизнь — постоянная драма действий и поступков, он отчаянно храбрый, его взгляд ничто не замутняет, двигатель работает неустанно». Джеймс Дуглас — редактор «Стар» — так воодушевился планами на будущее, связанными с молодым политиком, что перестал обращать внимание на других государственных деятелей. «В палате общин много умных людей, — писал он, — но никто из них не возбудит в вас ни романтического воодушевления, ни страсти к приключениям… Мистер Черчилль один слышит звуки драматического будущего».

И вот настало время, когда столь многообещающий политик наконец имел возможность доказать, что эти ожидания относительно его карьеры не были напрасными. Верил ли он, что наделен нужными способностями, чтобы возглавить один из главнейших департаментов страны, стать мощной силой кабинета и проявить себя как умелый и достойный законодатель? Уже на следующий год ни у кого не оставалось сомнений, что он покажет свои способности во всех перечисленных направлениях.

Несмотря на отсутствие опыта, Черчилль как министр торговли утвердил три важнейших закона, ставших заметным достижением эдвардианской эпохи.

Первые два относятся к 1909 году. Первый из них — закон о бирже труда, который дал возможность навести порядок в национальной сфере занятости. Инициатива была отчаянно

смелой, но весьма практичной, она позволяла безработным одного региона найти работу в другом регионе. Второй закон — утверждение комиссии по вопросам заработной платы. Этот закон облегчал нездоровые условия трудящихся, получавших мизерную плату за свой труд, в основном, женщин в маленьких цехах и мастерских. Первые важнейшие законы, которые предусматривали «минимальную заработную плату». Когда закон вступил в силу, Мэри Макартур, — секретарь женской лиги профсоюза, — с благодарностью сказала, обращаясь к американским слушателям: «Не уверена, что Англия осознала, что сделано. Это настоящая революция. Революция в наших условиях работы в промышленности».

Чтобы добиться утверждения третьего закона, потребовалось время. Но именно Черчилль впервые — в 1908 году — выдвинул эту идею, которая затем оформилась в систему страхования от безработицы в рамках закона о государственном страховании 1911 года. Ллойд-Джордж пожинал плоды, но всю черную и неблагодарную работу по подготовке провел Черчилль со своими подчиненными в министерстве торговли. Впервые он изложил идею Асквиту в начале 1908 года, затем развернул детальный план уже к концу года, а затем через несколько месяцев представил и конкретные затраты. Но из-за специального запроса Ллойд-Джорджа пришлось отложить продвижение законопроекта в палату общин. Они вдвоем пришли к выводу, что следует объединить законопроекты о безработице и о медицинском страховании в единый закон. Только Ллойд-Джорджу требовалось время для выяснения нужных сумм по медицинской страховке. Министр финансов не был уверен, что сумеет подготовить план, но хотел попробовать, и Черчилль согласился подождать.

Уже через два с половиной года Ллойд-Джордж настаивал, что ему принадлежит идея общего плана, и что Уинстон «отошел», — как он представил это, — в схему о безработице. Это неправда. Ллойд-Джордж просто подхватил мысль на лету, подготавливая бюджет 1900 года, он только добавил то, что излагал Черчилль в своих проектах реформ. Но в 1911 году Джордж делал вид, что вклад его коллеги не был особенно значимым.

Как потом Черчилль писал в письме Клемми: «Ллойд-Джордж практически использовал страхование по безработице как свое собственное предложение и вытолкнул меня из этой сферы, хотя все это отняло у меня столько сил и времени».

Если окинуть взглядом — в самом широком контексте — то, что сделал Ллойд-Джордж, когда занял место министра торговли, становится понятно, какие именно новшества принадлежат ему.

Он вступил в эту должность в конце 1905 года и занимал ее до апреля 1908 года. За все это время он почти не касался социальных реформ. Основными его предложениями по новому законодательству были: закон о торговых морских перевозках, закон о патентах и промышленных образцах, а также закон о работе лондонского порта. Так что он не поставил рекорда в области социальных перемен.

Один из его биографов задавался вопросом, почему так случилось, что Ллойд-Джордж не сделал ничего существенного, не стал истинным преобразователем, хотя считается таковым. Ответ в том, что и деятельные представители кабинета, и его соперник Уинстон Черчилль, пришедший впоследствии, подталкивали Ллойд-Джорджа делать больше, чем давать пустые обещания. И как только Черчилль вошел в кабинет министров, все изменилось. Этих двух влиятельных людей с высокими запросами коллеги называли «два Ромео» — Уинстон и Ллойд-Джордж возвышались над всеми в Либеральной партии, они были партнерами и соперниками, каждый старался подмять другого, чтобы защитить свои собственные идеи и интересы.

Но Уинстон буквально горел идеей изменить устаревшие представления либералов, сформировавшиеся при правлении Кэмпбелл-Баннермана, и утвердить на повестке дня правления Асквита то, что впоследствии называли «новым либерализмом». В кабинете министров сразу почувствовали этот новый дух времени. Уинстон сразу дал понять, что возвращаться к старой политике не намерен. «От меня будет много хлопот!» — провозгласил он на встрече представителей кабинета в 1908 году. И добился своего. В дневнике секретаря министра финасов Чарльза Хобхауза осталась запись: «Как отмечали все члены кабинета, с появлением Уинстона Черчилля исчезла та гармония, которая присутствовала прежде». Хобхауз возлагает вину на Черчилля, что из-за него Ллойд-Джордж стал более жестким. Ему представлялось, что необычные, царапающие идеи Черчилля — всего лишь уловка для того, чтобы посадить Ллойд-Джорджа на мель или толкнуть на утесы. «Не могу себя заставить избавиться от предположений, что Уинстон Черчилль вынуждал Ллойд-Джорджа на безрассудные поступки».

Среди министров Хобхауз не был единственным, кто считал, что Черчилль вносит смуту и беспокойства, чтобы проложить самому себе путь наверх. Лорд Эшер, слыша ворчание членов кабинета, заключил: «Мне представляется, что Уинстон хочет скакать впереди кабинета. Он воображает себя Наполеоном».

Разумеется, Ллойд-Джордж, как и другие члены кабинета, читал пророческие высказывания газетчиков о том, что они видят

Черчилля в ближайшем будущем премьер-министром. И видел, как тот стремительно действует, вырываясь вперед. Со своего кресла министра финансов он мог отслеживать всю цепочку, что потом привела к событиям десятого ноября. Нет сомнения, что его беспокоила и тесная дружба Уинстона с дочерью премьер-министра. Он не ошибался в том, насколько та заинтересована в его продвижении. А Ллойд-Джорджа она считала мелким интриганом и даже не пыталась скрыть своего презрительного отношения к нему.

Вайолет любила рассказывать, как она спросила Джона Мейнарда Кейнса (экономиста, основателя кейнсианского направления и макроэкономики как самостоятельной науки): «Как вы думаете, чем занимается мистер Ллойд-Джордж, когда остается в комнате?» Кейнси улыбнулся: «Когда он один в комнате, там больше никого нет».

За короткий отрезок времени в конце 1908 года Беатрис Уэбб настолько была воодушевлена работой Черчилля как министра торговли, что не сомневалась — он уже затмил Ллойд-Джорджа как представитель либералов. И написала в дневнике: «Черчилль сверкает как бриллиант». Теперь она явно отдавала предпочтение Уинстону, а Ллойд-Джорджа называла «умный парень», но, по ее мнению, он уступал Черчиллю в интеллекте и не был такой же привлекательной личностью — в большей степени проповедником, чем государственным деятелем.

Сам Уинстон не размышлял на тему личных амбиций, он просто трудился на благо преобразований. И работал настолько усердно, что к концу 1908 года смог представить Асквиту полный, исчерпывающий проект. Никто из членов кабинета, включая и Ллойд-Джорджа, не продвинулся так далеко в деле социальных преобразований страны при помощи либерального законодательства. С присущей ему уверенностью он волей-неволей навязывал свой собственный курс премьер-министру. Он даже указывал в одном из писем к Асквиту сроки, в которые должно уложиться правительство, — два года.

«Потребность в них настоятельная, момент созрел, — писал он Асквиту. — Германия — притом, что климат там суровее, и она располагает меньшими ресурсами, — сумела создать вполне удовлетворительные базовые условия жизни для своего народа. Как государство, она организована не только для войны, но и для мира. А мы не создали ничего, кроме большого числа партийных политиков».

Список его реформ включал планы по организации бирж труда, страхование от безработицы, систему национального страхования в случае телесной немощи, генеральную ревизию

помощи беднякам, перемены в области образования и транспорта, более агрессивную политику в области индустриального развития, предусматривающую улучшение отношений между нанимателями и рабочими, сокращение рабочего дня, установление минимальной зарплаты. И это только на начальном этапе. Но даже эти первые шаги были основательно продуманными, практичными, вполне достижимыми и результативными. Более того, он считал, что эти законы получат широкое одобрение даже в палате лордов.

Если мы добьемся успеха, уверял он Асквита, эти преобразования сделают нацию и либеральную партию намного сильнее. Но даже если мы проиграем, то насколько почетнее проиграть при попытке выполнить столь важные вещи, чем медленно загнивать, бросая слова на ветер.

Асквит одобрил планы Черчилля и всячески подталкивал его продолжать в том же духе для утверждения новых законов. В сущности, Черчилль предлагал стране ту самую стратегию, которую использовал сам: добиваться большого успеха, ставя перед собой великие цели, рискуя и используя для исполнения задуманного любые возможности, как только они появляются.

И хотя его часто подвергали критике за нетерпение и неумеренность, Черчилль выказывал неколебимую твердость и способность методично продвигаться вперед на пути прогресса. После того, как закон о биржах труда был представлен на утверждение, Черчилль с гордостью написал «его прекрасно встретили» в парламенте, и даже «друзья» — имеются в виду Бальфур и другие лидеры консервативной партии — одобрительно кивали головами. Поскольку министр намеревался и далее коллекционировать свои законодательные победы, ему пришлось немного умерить пыл и манеру выступления в палате общин, чтобы хоть на какое-то время каждое его выступление не принимали в штыки. Он был рад тепло поблагодарить Бальфура за «исключительно справедливое» толкование закона о биржах труда, которое поступило со стороны оппозиции, и объявил: теперь, чтобы оправдать поддержку, он берет на себя проработку всех деталей для подготовки окончательного документа.

В начале 1909 года Уинстона переполняло чувство уверенности. Одному из журналистов он доверительно сообщил, что этот год будет полон волнующих достижений: «Огромные планы и при этом тщательно проработанные». Он не сомневался, что за два года, если все пойдет, как задумано, страна получит разумную и эффективную систему, позволяющую помочь тем, кто не в состоянии позаботиться о себе, и дать возможность продвинуться тем, кто этого хочет. Собственно, именно об этом

он говорил в октябре во время выступления в Данди, когда только что вернулся из свадебного путешествия: моя главная цель «обратить внимание на нужды нации, для того, чтобы выстроить наиболее полную и тщательно продуманную социальную организацию».

Те же самые мотивы прозвучали и в пятницу вечером, когда он выступал перед избирателями Данди в Киннэйрд-Холле (его молодая жена сидела рядом): и страстно произнес: «Мы шагаем в лучшее будущее. Мы утверждаем человеколюбие. Полные надежды, мы идем широкой прямой дрогой, оставив за спиной горы, навстречу рассвету».

Пока Черчилль наслаждался новой ролью в Либеральной партии — ролью пророка, молодого, чисто выбритого Моисея, указывающего путь к спасительной земле, — две силы стремительно вырастали, чтобы преградить ему путь «на широкой дороге». Одна — это Германия, другая — Ллойд-Джордж.

Пока генералы кайзера играли в игры, изображая рыцарские турниры, его адмиралы занимались созданием современного флота, чтобы выступить соперниками Британии. В 1906 году им пришлось модернизировать свои планы, когда британцы спустили на воду огромный линкор под названием «Дредноут» (HMS *Dreadnought*) — настоящий монстр с впечатляющей огневой мощью, способный потопить любой из существующих кораблей. Было не слишком благоразумным трубить в фанфары по поводу превосходства его дальнобойных орудий, но британцы не могли удержаться. Один преисполненный гордости офицер Королевского флота заявил представителям прессы: «В тот день, когда линкор «Дредноут» поднял флаг, все флоты мира тотчас стали устаревшими». К концу 1908 года уже десятки таких британских линкоров были в строю или находились в процессе постройки.

Германские адмиралы отнюдь не были устрашены этим и восприняли новый корабль как вызов, который им следует повторить и превзойти. Они не теряли времени даром. В 1908 году немцы спустили на воду четыре линкора с теми же способностями, что имел «Дрендоут», и взяли курс на создание к 1912 году флота из двадцати одного корабля такого же типа. В Британии росли опасения, что нация, которая долгое время оставалась королевой морей, может утратить свое влияние в этой области. И те, кто раньше утверждал, что новый британский корабль превосходит по мощи все другие, пришли к выводу, что он лишь вызвал гонку вооружений. «Если мы выставляем иностранные флоты устаревшими, — писали в «Эдинбург

Ревью», — мы показываем иностранцам путь, как сделать это с нами».

Покрытые завесой тайны военно-морские приготовления Германии породили у британских властей неуверенность, они не представляли, насколько опасны новые виды кораблей, какое количество Германия уже имеет и сколько находится в производстве.

В один из дней декабря 1908 года член оппозиции, Джон Лондсдейл, спросил у Реджинальда Маккенны, нового главы адмиралтейства, может ли он назвать «количество и технические характеристики больших орудий, установленных на новом германском линкоре «Позен». Маккенна ответил: «Я не располагаю информацией по этому вопросу».

Потрясенный Лондсдейл задал следующий вопрос, обращаясь уже к присутствующим: «А не считаете ли вы нужным предпринять шаги, чтобы ознакомиться с этими фактами?» Маккенна попытался ответить вопросом на вопрос: «Если уважаемый джентльмен поможет мне разобраться в тяжелом вооружении «Позена», я буду ему чрезвычайно признателен». «Это не является моей работой», — отразил нападение Лондсдейл.

Возможно, Маккенна имел смутные представления об оснащении некоторых линейных кораблей, но он знал больше, чем хотел признать. Только он боялся посеять панику, если выскажется по существу. И через две недели он признался Асквиту: «Возможности Германии строить дредноуты в данный момент равноценны нашим возможностям». И если эта «тревожная» новость станет достоянием общественности, предупреждал он, это вызовет горькое разочарование в силах правительства. Последние поступавшие в кабинет доклады настолько тревожили Маккенну, что он подготовил записку с просьбой о предоставлении дополнительных финансовых средств, необходимых для строительства новых дредноутов. Запрашиваемая сумма в 9 миллионов фунтов — умопомрачительная по тем временам — превышала ранее запланированные расходы в шесть, а, может, и в восемь раз. Кабинет министров принял запрос в январе 1909 года, и два месяца его члены спорили о том, что предпринять.

Увлеченный планами социальных преобразований, занятый сначала ухаживанием за Клементиной Хозиер, а затем женитьбой, Черчилль меньше обычного обращал внимание на вопросы внешней политики. Военные планы проходили мимо него. Молодой человек, который некогда бросался в атаку и рисковал собственной жизнью, уже привык к менее мучительным перипетиям политических баталий. И он не сразу разглядел те

опасности и угрозы, которые создавало все возрастающее военно-морское соперничество между Германией и Британией. Реформы, сокращение расходов и мирные переустройства являлись основными лозунгами Либеральной партии, и Черчилля воодушевляли эти великие цели. Они казались ему теперь лучшим путем для достижения славы, чем тот традиционный путь, который предоставляла война.

В нем ничего не было от милитариста, разжигателя войны, как расписывали позднейшие критики, — напротив, Черчилль тогда считал, что у двух стран — Германии и Британии — нет причин для военного противостояния. «Я считаю, что надо решительно пресекать высказывания тех людей, которые считают, будто война между Великобританией и Германией неизбежна, — говорил он слушателям в Уэльсе. — Это полная чепуха. Нам не из-за чего сражаться, нет такой награды, которую мы способны выиграть. Я разделяю высокую и господствующую в обществе веру в неизменно добрые чувства великих народов».

Пока Черчилль мечтал о мире и процветании, мягкий и кроткий Реджи Маккенна проталкивал планы, предусматривающие значительное увеличение мощи британской военной машины. Для выполнения этой задачи требовались такие огромные деньги, которые Черчилль не мог изыскать. Потратив месяцы на поиски средств, необходимых для общественных преобразований, он не имел никакого желания тратить миллионы ради противостояния тому, что представлялось сомнительной угрозой. И он решил, что теперь важнее сразиться с Маккенной, чем ускорять подготовку к некоему будущему конфликту с Германией.

Вместе с ним рука об руку выступил Ллойд-Джордж. Они доказывали, что строительство четырех дредноутов вполне достаточно для предстоящего года. Вдвоем ни сражались столь уверенно, что им удавалось выводить Реджи из себя: «Ненавижу их!» — сказал он жене после длившихся месяцами споров по военно-морскому вопросу.

Его противники оспаривали все, что он предлагал. Маккенна предоставлял кабинету министров письменное обоснование своих планов, а Черчилль возвращал его назад со своими критическими замечаниями на полях. Реджи был так разгневан и расстроен, что ходил на заседания кабинета, приготовив письменное заявление об отставке, которое он держал в кармане, чтобы выложить его, как только Черчилль зайдет слишком далеко в своей критике. Ллойд-Джордж упивался конфликтом. Чтобы еще больше подстрекнуть Уинстона, он говорил ему, пользуясь военной терминологией, что наслаждается, наблюдая, как словесная

огневая мощь Черчилля «разбивает в пух и прах эскадру Мак-Кея» [32]. Ораторское мастерство Маккенны не было столь ярким и убедительным, как у Черчилля, и он надеялся только на Асквита, ожидая, что тот предотвратит разгром. Но премьер-министр предпочитал, откинувшись на спинку кресла, наблюдать за сражением, пока одна из сторон не выйдет победителем или пока не будет достигнут компромисс.

Как первый лорд адмиралтейства, Маккенна рассчитывал на более серьезную поддержку со стороны Асквита в том, что касалось военно-морского флота, учитывая, что его противником выступал министр торговли. А получалось так, что он вступал в бой в полном одиночестве. «Сегодня кабинет снова предоставил Черчиллю возможность продемонстрировать свое ораторское искусство, — объяснял Реджи жене. — Управление кабинетом невозможно, если кучер не держит вожжи в железных рукавицах… Моя работа — сущее наказание».

Отчасти сложности с продвижением вопроса были вызваны тем, что ни Черчилль, ни Ллойд-Джордж не питали ни малейшего уважения к Маккенне, отсюда и их стремление принизить значение того, о чем он говорил. И когда он настаивал, что Германия готовится к войне и вскоре будет реально угрожать Британии на морях, они просто отказывались ему верить. Они считали, что он слабый первый лорд, которым вертят как хотят его адмиралы, стремящиеся заполучить как можно больше кораблей. Когда Ллойдж-Джордж услышал слова Маккенны о том, что «восемь дрендоутов Германии могут положить нас на обе лопатки», он заметил: «Уверен, что адмиралы подсунули ему ложные сведения, чтобы испугать нас».

Когда спорщики раскалили атмосферу докрасна, Асквит, наконец, предложил прийти к компромиссу. Вместо того чтобы приступать немедленно к строительству восьми дредноутов, он предложил начать с четырех и затем постепенно достраивать остальные, если подтвердятся сведения о достижениях германских военно-морских сил. Кажется, этот компромисс никого не устраивал, но Маккенне дали возможность 16 марта представить запрос в палату общин.

В полной тишине он изложил свое представление о кризисе, который переживают военно-морские силы Британии. О разногласиях по этому вопросу в министерстве он не стал упоминать. Но присутствующие не понимали, насколько серьезны были основания Маккенны тревожиться по этому вопросу. О многом он умалчивал и даже притушевывал, чтобы не вызвать паники.

«Приближается день, — говорил он, — когда в почти

автоматическом режиме все корабли, построенные до «Дредноута», придется отправить на свалку. Тогда наше превосходство будет зависеть только от нашего численного преимущества в дредноутах. И можно забыть о господстве на морях, если мы допустим отставание в этом классе кораблей». И хотя его слова были тщательно взвешены, они все равно прозвучали неожиданно, никто не подозревал о таком положении дел.

Для большей части британской публики казалось почти невероятным, что первый лорд адмиралтейства мог иметь даже малейшие сомнения относительно морского владычества Британии. Это все равно, как если бы солнце вдруг рухнуло вниз. Одна фраза в его высказывании о кораблестроительных планах германского военно-морского флота, выраженная с несвойственной этому ведомству прямотой, стала сенсационной: «Трудность правительства состоит в том, что на данный момент мы не знаем в той степени, в какой нам бы хотелось, какими темпами будет осуществляться германское строительство».

Если даже первый лорд адмиралтейства не имеет понятия, насколько быстро в Германии будут созданы дредноуты, то испугать население уже не составляет труда. И мнение о том, что Британия должна приложить все силы, чтобы ускорить выпуск более мощных боевых кораблей, распространилось очень быстро. Говорилось и о том, что англичане в один прекрасный день могут проснуться и обнаружить, что их остров со всех сторон окружен германским флотом. «Невозможно открыть газеты, — сказал вышедший в отставку морской офицер, тоже член оппозиции, — чтобы не увидеть, что почти целая страница отведена тревожным предупреждениям о грозящей стране опасности».

Потребовалось меньше недели, и вот уже со всех сторон слышался боевой клич — слоган с требованием строительства восьми новых дредноутов, впервые использованный 27 марта умелым представителем партии тори Джорджем Уиндемом: «Мы хотим восемь и мы не можем ждать!» С этого момента — осознавали это все политики или нет, — они уже не могли избежать большой эдвардианской гонки вооружений. Народ требовал спуска на воду восьми и даже более дредноутов. На утверждение, что войны с Германией удастся избежать, Уиндем ответил Уилфреду Бланту: «Только в том случае, если будем ускоренно строить корабли».

Ллойд-Джордж считал, что деньги, которые будут истрачены на строительство суперлинкоров, было бы лучше пустить на социальные преобразования, как им хотелось с Черчиллем. Он

доказывал в парламенте, что это «акт преступного безумия» — тратить миллионы на создание «гигантской флотилии, которая должна противостоять мифическим армадам». Как министр финансов, он обязан был найти деньги, чтобы поддержать решение кабинета. И ему предстояло извлечь максимум доходов из внутренних ресурсов. Он подготовил «народный бюджет» на 1909 год, где повысил налоги во всех сферах — на машины, шахты, полезные ископаемые, земельную собственность и другие доходы.

Главным источником налогообложения для него стали представители богатых классов, они должны были платить десять процентов от своих доходов на покрытие государственных расходов.

Черчилль приложил сверхусилия, чтобы найти свои источники доходов и не сокращать расходы на преобразования в социальной сфере. После того, как бюджет в апреле был представлен на рассмотрение, он написал жене, что у него «хватит резервов на великие реформы следующего года». Увлеченный открывавшимися перед ним перспективами, он даже отодвинул в сторону многие свои прежние представления о правительстве. В этот сложный период его взгляд, устремленный к лучшему будущему на «великом высоком пути», претерпел некоторые поправки.

Так, например, он теперь смотрел иными глазами на свои выступления против протекционизма, когда он находился в лагере консерваторов. Тогда он решительно выступил против резкого увеличения пошлины на товары, потому что, как он утверждал, большая часть этих денег осядет в карманах правительственных чиновников. И новые доходы только позволят им тратить на себя еще больше. «Правительство ничего не делает, — говорил он тогда. — И ему нечего дать. Но что они делают с удовольствием — так это прибирают к рукам, что только возможно. Положите деньги в карман одного англичанина, но это будут деньги, взятые из кармана другого, и огромная их часть потеряется по дороге».

Но теперь, в 1909 году все изменилось. И разница состояла в том, что репутацию правительства уже не пятнали подозрения в коррупции и некомпетентности, свойственные прежним временам. Ему бы хотелось верить, что он и лорд Асквит, и Ллойд-Джордж используют налоги на нужное дело. Он надеялся, что все они — верные и честные управители большого хозяйства, и управляют им мудро, на пользу всему обществу, а не для собственной выгоды. «Не стану делать вид, что налоги сами по себе хорошая вещь, — заявил Черчилль лондонской аудитории в

1909 году. — Нет, конечно. Все налоги плохи», но затем поспешил добавить, что они нужны для того, чтобы поддерживать такие жизненно важные вещи, как национальная безопасность и, по его мнению, «социальная безопасность», которая еще важнее военной. Бюджет Ллойд-Джорджа предусматривал «необходимое» количество денег, чтобы «страна могла начать преобразования на великом поле социальной организации».

Однако ни Черчилль, ни другие лидеры либералов не получили возможности предпринять что-либо, кроме как «начать хлопотать». Их отбросили назад не только возросшие траты военно-морского ведомства, но также и пагубный способ, который использовал Ллойд-Джордж для представления «народного бюджета» в палате общин. Вместо того чтобы, по крайней мере, попытаться провести закон обычным путем, он принялся сражаться с палатой лордов с самого начала, будучи уверенным в том, что они отвергнут предложение о повышении налогов на богатство. Действительно, цифра в десять процентов выглядела поистине революционной, и чтобы ее утвердить, требовалось умение маневрировать. Либеральный журналист, свой человек среди политиков Дж. А. Спендер верил, чтобы если бы законопроект попал в руки Асквита, тот бы сумел его провести, несмотря на протесты оппозиции. Ведь в конечном итоге повышение налогов было связано с необходимостью высоких трат на расходы военно-морского ведомства, и тори сами горячо поддерживали эту идею.

Но Ллойдж-Джордж почему-то повернул разговор таким образом, что получилось — он ратует не за пенсы и фунты, а выступает против государственной власти. А он сражался не только за бюджет и был уверен, что выиграет. Ему представлялось, что он должен выступить триумфатором Либеральной партии на следующих всеобщих выборах, которые окончательно повергнут консерваторов и унизят палату лордов. А на самом деле та азартная игра, в которую он ринулся, привела страну к конституциональному кризису, из-за которого пришлось отложить и все задуманные социальные преобразования, и одновременно стоила его партии главенствующего положения — тори получили более ста мест в палате общин. Решение Ллойд-Джорджа прибегнуть к методам классовой борьбы должно было, по словам Спендера, «вывести партию тори из равновесия; они бы пришли в ярость и действовали бы соответствующим образом».

Ллойд-Джордж разжег страсти, представляя в палате общин свой «военный бюджет». Он намеревался добыть деньги, отняв их у богатых, столкнув в борьбе «неимущих с имущими». Но все это были большей частью риторические приемы. Более двух третей

возросшей расходной части его бюджета шло на оплату двух вещей: строительства дредноутов и пенсий по старости. (После исправлений, внесенных по предложению Асквита, расходы на пенсию покрывались только на семьдесят процентов, но и это было больше того, что ожидали получить.) Ллойд-Джордж полностью осознавал, что от него могут потребовать выделения еще большего количества денег на Королевский военно-морской флот. Если будет принято решение о строительстве четырех дополнительных дредноутов, заявил он, то годовые затраты на военно-морские силы «достигнут таких размеров, что налогоплательщики содрогнутся». Понимая, что рост расходов на вооружение расстроит планы либералов, он заложил в бюджет расходные статьи на более крупные суммы, чем ожидалось, чтобы иметь возможность для маневров.

Либералы готовились к главной схватке за власть, но подготовка к противостоянию с Германией истощала все силы. В ближайшие два года расходы на военно-морское ведомство выросли на 20 процентов. В то же время те немногие выступления против власти, происходившие в тот период, во многом были связаны с идеями Черчилля о национальном страховании.

Ошибки по отсрочке реформ Черчилль возложил на Ллойд-Джорджа. Зная, с какой страстью Черчилль бросается в бой, отстаивая свои идеи, Ллойд-Джордж вступил в борьбу, и тем самым вынудил его присоединиться. Блестящий способ отобрать лидерство у восходящей звезды. В зрелом возрасте Черчилль объяснит, почему он позволил Ллойд-Джорджу втянуть себя в свои игры. «Он сумел бы уговорить и птицу покинуть гнездо, когда был в ударе, — писал он. — Я видел, как он мог за десять минут повернуть мнение кабинета совсем в другую от намеченной линии сторону, когда уже все вроде было решено. И никто не мог вспомнить, каких-либо особенных доводов, которые могли бы объяснить такой резкий поворот мысли».

Каждый, кому доводилось сотрудничать с Ллойд-Джорджем, поражались, как легко он мог обаять любого, в ком был заинтересован в тот момент. «Когда вы входили в кабинет, — вспоминал дипломат и писатель Гарольд Николсон, — он вставал из-за стола, чтобы приветствовать вас, обнимал за плечи, начиная вести разговор. Он производил впечатление абсолютного дружелюбия, радости от того, что просто видит вас и симпатии. Он был прекрасный слушатель и когда он внимал — или делал вид, что внимает, — большую часть времени он пропускал все слова мимо ушей — он смотрел на вас с таким видом, словно видел единственного умного человека, с каким ему доводилось встречаться».

Собеседнику было нелегко прервать человека, прозванного за способность очаровывать людей «валлийским волшебником». Уинстону нравилось, что они были равны друг другу по умению убеждать, и позже признавался: «Вдвоем мы представляли мощную силу». Но Ллойд-Джордж смотрел на их взаимоотношения иначе. Чарльз Хобхауз писал в дневнике, что Ллойд-Джордж «обладал магической силой покорять людей за короткое время. Но он не понимал значения таких слов, как «правда» и «благодарность». Асквит его побаивался, а Ллойд-Джордж знал это, но с уважением относился к Асквиту. Он … обращался с Уинстоном Черчиллем так, как если бы тот был любимым, избалованным и упрямым ребенком». То в одном случае, то в другом, Черчилль бунтовал и говорил Ллойд-Джорджу: «Отправляйтесь в ад своим собственным путем. Не буду мешать вам. Не хочу иметь ничего общего с вашей чертовой стратегией». Один из их общих друзей вспоминал, как Черчилль однажды выкрикнул: «Нет, нет, нет! Я не пойду за [33] Джорджем».

Однако, то в одном, то в другом, Уинстон все же уступал и снова вставал рядом с Ллойд-Джорджем. Это было необычное проявление слабости в молодом человеке, для которого утрата уважения к лидерам являлась признаком растущей собственной силы. Каким-то образом он убедил себя, что Ллойд-Джордж необходимый для его соратник — отчасти, потому что тот умел сохранять хладнокровие в политической схватке — весьма ценное качество, которого так не хватало Черчиллю. И в то же время именно эти стороны характера делали Ллойд-Джорджа циником, чего Уинстон не замечал. «Ты намного сильнее меня, — признался он как-то Ллойд-Джорджу. — Я отметил, как ты многое воспринимаешь спокойно и без волнения, ты не будоражишь себя, но все, чего ты хочешь, свершается. Я слишком сильно воодушевляюсь, терзаюсь и произвожу слишком много шума».

XVIII. Шум и ярость

Высокий, оштукатуренный в кремовый цвет дом под номером 33 в конце улицы Экклстон-сквер находился в спокойной и тихой части тогдашнего Лондона. Зеленый анклав простирался между рекой и Белгравией [34]. В том районе селились многие большие и процветающие семьи, главами которых являлись обеспеченные профессионалы и успешные бизнесмены. Они гордились ухоженными, элегантными садами, которые аккуратно тянулись за высокой оградой, украшая Экклстон-сквер и соседнюю улицу Уорвик-сквер. Проехав всего полмили, можно было попасть на беспокойный вокзал Виктория, куда приезжали утром и отбывали вечером толпы пассажиров из пригородов. Полный спокойствия, но расположенный недалеко от самого сердца Вестминстера, район Экклстон-сквер был для Уинстона Черчилля идеальным местом, чтобы обосноваться там с молодой женой и начать создавать семью.

Они переехали в дом номер 33 в мае 1909 года, когда вереница фургонов всю пятницу и субботу перевозила туда мебель и ковры — новые и старые. Дженни выбирала обои для оклейки стен, а Уинстон следил за тем, как устанавливают книжные шкафы, куда должна была вместиться его громадная библиотека. Для столовой Клемми заказала привлекательный голубой ковер. Она также выбирала радостные, светлые вещи для детской комнаты, появление малыша Клемми ждала летом. В тридцать четыре года Уинстон Черчилль готовился к следующему большому приключению своей жизни — отцовству.

С насмешливой улыбкой Ллойд-Джордж уверял всех, что ребенок освобождает человека от уплаты подоходного налога (или «брэта», как он это называл), и что именно эту статью Черчилль якобы особенно оценил. «Уинстон, — говорил он друзьям, — высказывается против всех вопросов по бюджету, кроме «брэта», и это по той причине, что скоро сам должен стать отцом».

Появление 11 июля в доме под номером 33 Дианы Черчилль родители встретили с восторгом. Ее волосы отливали рыжиной — как и у отца, что умиляло его. Он с восторгом смотрел на крошечное создание — крепенькое и здоровое, что еще больше радовало: «Ее крошечные ладошки крепко хватают меня за палец», — писал он.

Как и многие другие молодые семьи, Уинстон и Клементина немного уставали из-за хлопот, связанных с уходом за маленьким ребенком, и из-за того, что все еще продолжали устраивать жизнь

в новом доме. Беременность Клемми протекала легко, но после родов она приходила в себя довольно медленно и часто уезжала на недельку-другую для поправки здоровья пожить за городом, с матерью и друзьями. Во время разлуки молодые супруги постоянно переписывались между собой, обмениваясь новостями и нежными словами. С детским удовольствием они придумывали друг другу ласковые уменьшительные имена, пользовались шифрованными словечками, для выражения любви и нежности, их привязанность друг к другу росла с каждым днем, перемежаясь вспышками глубокой страсти. Черчилль не хотел этого признавать, но одинокая жизнь холостяка уже тяготила его. И вот, наконец, он обрел ту, с которой мог делить и радости и горе. Они стали прекрасной парой, и оба были признательны за это. «Ты очень много значишь для меня, — писал Уинстон жене, — ты внесла покой и радость в мою жизнь. Теперь она стала намного богаче».

Счастливая жизнь этой молодой семьи не осталась незамеченной. После ланча, проведенного в обществе супругов Черчилль в Суссексе, Уилфред Блант был поражен, как сблизились эти два человека всего за год совместной жизни, и записал в дневнике: «Удивительно счастливая семейная пара». Зоркий, как и полагается быть поэту, он улавливал самые незаметные жесты Уинстона, который прилагал все усилия, чтобы выполнить желание Клемми или избавить ее от какого-либо неудобства. Сидя с ними в саду, он видел, как повел себя Черчилль, заметивший осу. «Клементина боялась ос, — писал Уилфред, — и тут одна из них села ей на рукав». Но молодая женщина даже не успела испугаться, настолько муж быстро устранил опасность. — «Уинстон мягким движением взял осу за крылья и сунул ее в пепельницу».

Клемми с симпатией относилась к Бланту и часто хвасталась ему, как сильно она гордится своим мужем. После блестящего выступления Уинстона в палате общин она написала поэту: «Сидя на галерее, я с гордостью слушаю его речи. Надеюсь, он никогда не превратится в обычного занудного государственного чиновника. Побывав у них на ланче на Экклстон-сквер — вскоре после рождения Дианы, — Блант потом написал в дневнике: «Счастливее человека, чем Черчилль, когда он в собственном доме, я не видел».

Но за счастье надо было платить. Семейная жизнь увеличила его расходы. Счета поступили за новую мебель, врачи тоже слали счета, и для ухода за большим домом требовался больший штат прислуги. К счастью, за новое переиздание романа «Саврола» он получил 225 фунтов, удачные вложения, сделанные сэром

Эрнестом Касселем, тоже приносили хороший доход. Среди его вкладов были акции железной дороги Атчисон, Топека и Санта-Фе, и сталелитейной компании Соединенных Штатов (United States Steel). Его годовая заработная плата министра торговли составляла 2000 фунтов. Он мог бы получить дополнительные гонорары, если бы ему хватало времени на написание очередного бестселлера.

О том, как Черчилля переполняла гордость и радость после рождения Дианы, ходят целые истории. Большая из них часть полуправда-полувыдумка, и придумывали их его коллеги, чтобы чуть-чуть подтрунить над известным политиком. Рассказывают, например, что во время перерыва в палате общин Ллойд-Джордж, повернувшись к нему, спросил: «А девочка очень хорошенькая?» — Уинстон тотчас расплылся в улыбке. — «Красивее не бывает». — «Вся в мать, надеюсь?» «Нет, — с серьезным видом отозвался Уинстон. — Вылитая моя копия».

Еще одним серьезным доводом в пользу покупки дома на Экклстон-сквер, было то, что там по соседству, в доме под номером 70, жил вместе с женой и двумя детьми его друг Ф.Э. Смит [35]. Блестящий барристер, Смит вошел в палату общин как представитель Консервативной партии в 1906 году. Несколько месяцев он не желал даже видеть Черчилля — и не мог ему простить предательства. Но стоило им однажды поговорить, как они тотчас подружились.

Внешне у них ничего не было общего. Фредерик Эдвин Смит — с его темными добрыми глазами — производил впечатление театрального героя-любовника. Он всегда носил дорогие костюмы, сшитые у самых лучших мастеров и подчеркивавшие достоинства его данной от природы мускулистой фигуры. Атлет от природы, он был прекрасным пловцом и неутомимым игроком в теннис. В ранние годы их дружбы Ф.Э. Смит считался самым сильным и умным критиком либералов. Все министры правительства, да и сам премьер-министр, старались не ввязываться с ним в спор, настолько убийственными были его мгновенные остроты. Одним из немногих, кто мог состязаться с Фредериком Смитом, был Черчилль. Находчивость, остроумие, быстрая реакция — вот что выковало их крепкую связь.

Ф.Э. — как его обычно называли [36], — прославился как опытный адвокат, его имя частенько появлялось в колонках новостей, потому что особенно он отличался при ведении чрезвычайно запутанных процессов. И его выступления имели ошеломляющий успех. Пожалуй, выступления Ф.Э. в суде были намного ярче выступлений в палате общин, и судьи часто

становились мишенью его ядовитых реплик. Чаще всего его жертвой становился напыщенный судья окружного суда по фамилии Уиллис. Обиженный его дерзостью, судья Уиллис однажды спросил в отчаянии: «Как вы думаете, мистер Смит, почему я сижу на этой скамье?» Чрезвычайно вежливым тоном Ф.Э. ответил: «Ваша честь, боюсь, что я не смогу разгадать неисповедимые пути Провидения».

Как и Уинстон, он мог устроить настоящий фейерверк, зажечь любую вечеринку. Иногда все зависело только от того, с кем его посадили рядом. «У меня мелькнула мысль — а не поведать ли вам историю моей жизни», — проговорила одна из светских дам, склонившись к его уху. «Дорогая леди, если вы не возражаете, мы отложим это удовольствие». Любитель крепких напитков, он после определенного количества рюмочек становился заметно добродушнее. Когда за обедом представили новую гостью «Миссис Портер-Портер, через дефис», — он посмотрел на нее пьяненьким взглядом и представился: «Мистер Виски-Виски через сифон».

Если кто-либо мог помочь Уинстону отточить его остроумие, то это был, конечно, Ф.Э. Они могли часами обмениваться колкостями и остротами, забавляясь словесными играми в том же духе, что Уинстон предложил Вайолет Асквит, но уже рангом выше.

Именно Вайолет впоследствии утверждала, что настоящим другом Уинстона можно назвать только Ф.Э., с которым можно было по-настоящему позабавиться. Но из-за того, что он не упускал момент, чтобы не вонзить шпильку в адрес либералов, его не часто приглашали в общую компанию, и Марго Асквит называла его «вульгарным реакционером». Она соглашалась с тем, что он «очень умный», но при этом добавляла, со свойственной только ей неподражаемой непоследовательностью, что «весь его интеллект ушел в голову».

Клемми тоже не благоволила Ф.Э. Смиту, поскольку ей казалось, что он оказывает дурное влияние на Уинстона, часто побуждая его к совместной выпивке, после чего тот слишком поздно возвращался домой. Но пока две семьи жили поблизости друг от друга, их трудно было развести в стороны. Где бы они ни сходились вдвоем — в палате общин, или на полевых учениях Собственного Королевы Оксфордширского гусарского полка территориальных сил, в котором оба они состояли офицерами, Ф.Э. и Уинстон всегда находили удобный предлог, чтобы уединиться [37]. И после того, как заканчивались маневры, Уинстон возвращался в Лондон совершенно без сил. Отчасти он уставал из-за физической нагрузки, но более из-за того, что

проводил всю ночь со своим другом. Как-то Санни Мальборо, Уинстон, Ф.Э. и еще несколько знакомых просидели под навесом при свете свечей, играя в карты до самого рассвета. Кто-то из присутствовавших запомнил случай, когда подвыпивший Санни спросил: «На что мы будем играть, Ф.Э.?» Может, поддразнивая, а может и нет, Ф.Э., глядя на герцога, ответил: «На твой чертов Бленхейм!» Санни благоразумно отказался от такой ставки.

Каким-то образом Уинстону и Ф.Э. удавалось избегать политических разногласий, они не впускали их в частную жизнь. Даже в тот момент, когда вопрос о бюджете, выдвинутый летом 1909 года, кардинальным образом разделил парламент на две партии. Во главе либералов стоял Уинстон, а во главе консерваторов, выступавших против бюджета (Ф.Э. Смит называл его «злостным моенничеством») — его самый близкий друг.

Вечер 30 июля 1909 года, когда Ллойд-Джордж приехал в обширный зал в Ист-энде, чтобы произнести свою речь о бюджете, выдался теплым. Ллойд-Джордж долго выбирал нужный момент, чтобы произнести свою речь в защиту выдвинутого им бюджета. И очень умно выбрал место, где ее произнести. Это было мрачное, запущенное задание, называемое Эдинбург-Касл, чей фасад напоминал уменьшенную в размере средневековую крепость. Его окружали не менее мрачные, запутанные улочки Лаймхауза, одного из неблагополучных районов Лондона. Часть этого здания долгие годы занимал пивной трактир — один из самых злачных пабов города. Затем Томас Барнардо — благотворитель, известный своей помощью детям из семей бедняков, — перестроил его, превратив в евангелический центр для бедных. Вместо пивной там появилась кофейня, а самое большое помещение было переоборудовано в место для церковных проповедей и проведения службы.

Очень необычное место выбрал министр финансов для произнесения своей речи. Обычно те, кто вставали на кафедру в этом зале, произносили слова из Библии. Зал вмещал не более трех тысяч человек. Один из биографов Барнардо написал, что в этом помещении выступали известнейшие священнослужители-евангелисты и другие проповедники самого разного уровня, от новообращенного боксера-профессионала Неда Райта до обладателей университетских степеней и сановников, представлявших все ветви христианской церкви.

Ллойд-Джордж не хотел выступать в обычном зале для политиков. Ему требовалась именно трибуна, откуда произносились проповеди, чтобы его речь воспринималась как воззвание к народу, и в окружении бедняков, живших в местах

вроде Лаймхауса, — людей, которых он хотел призвать к участию в своем крестовом походе против богатых. Разумеется, их набралось немалое число. Зал был переполнен, а сотни тех, кто не мог войти внутрь, собрались под окнами, чтобы слушать оттуда, что он будет говорить. Створки были распахнуты настежь. И легкий ветерок теплой летней ночи проносился от одного конца помещения к другому. Толпа встретила его популярной приветственной песней «For He's a Jolly Good Fellow» («За него, веселого доброго парня») и быстро оттеснила нескольких суфражисток, пришедших, чтобы помешать выступлению Ллойд-Джорджа.

Потом, наклонившись вперед, люди приготовились слушать. Он обвел сидевших в зале и начал свою речь, которая стала одним из самых важных его выступлений. Наверное, публика ожидала от него того же, что сделал Черчилль, выступая в шотландском городе Данди, когда он пообещал избирателям «приближение зари», которую принесут либеральные реформы. Но Ллойд-Джордж лишь слегка коснулся того, что бюджет может дать простым людям. Вместо этого он с яростью обрушился на аристократов тори, которые, с его точки зрения, прилагали все усилия, чтобы помешать утверждению предлагаемого им бюджета. Они настолько упрямы, что даже не желают оплачивать строительство дредноутов, хотя сами же просили о них.

Как хороший актер, он обрисовал перед аудиторией трагическую картину того, как либералы ездят по стране — с одного ее конца на другой, собирая деньги на дредноуты. Бедные труженики готовы отдать свои последние деньги, — говорил он лайнхаузской голытьбе, — но богачи в своих роскошных лондонских особняках не желают платить даже один пенни сверх тех сумм, что с них взимали раньше. «А когда мы входим в Белгравию — нас вышвыривают, не пуская дальше лестницы. Богатство, — доказывал он, — требует особенного чувства ответственности, тем более это касается земельной аристократии. И если богатые герцоги, владеющие обширными поместьями, отказываются платить сообществу, тогда, — Ллойд-Джордж мрачно нахмурил брови, — пришло время пересмотреть условия, кому должна принадлежать земля в нашей стране».

К этой угрозе он добавил следующую: «Ни одна страна, какой бы богатой она ни была, не в состоянии держать на постое класс людей, которые отказываются исполнять свой долг».

Аудиторию из Лаймхауза чрезвычайно вдохновила нарисованная им картина, как герцогов сгоняют с их земель, потому что они отказываются помочь маленькому валлийцу, выступающему в трущобной крепости Барнардо, посвященной

Богу и трезвости. Когда в заключение своей речи Ллойд-Джордж дал обещание бороться за бедняков против аристократов, он выкрикнул: «Я один из детей народа!» И толпа восторженно завопила: «Браво, Дэвид!»

Это было мощное выступление. И оно произвело впечатление на тори, которые побросали газеты с его речью на пол, и были настолько к близки к инсульту, что не могли прийти в себя еще несколько дней. Невозможно было представить, что глава министерства финансов призывает народ к крестовому походу против состоятельных людей, к классовой борьбе. На миг они даже представили себе, как тысячи акров земли могут каким-то образом быть конфискованными. Заголовки газет гласили: «Министр финансов против лендлордов», на страницах «Фортнайт Ревью» Ллойд-Джорджа назвали «народным оратором». (Однако все его угрозы были, фактически, мыльными пузырями. Его земельный налог никогда не давал существенного вклада в казну, а в 1920 году его и вовсе отменили, когда премьер-министром стал именно Ллойд-Джордж.)

Если до этого выступления еще и была какая-то надежда утвердить бюджет без полномасштабной битвы с палатой лордов, то после лаймхаузской речи Ллойд-Джорджа об этом можно было забыть. Для тори это было равносильно брошенной им в лицо перчатке. Они приняли вызов. Оппозиционный член парламента сэр Эдвард Карсон сразу понял, что главная цель выступления Ллойд-Джорджа заключалась не в финансовых вопросах, а в том, чтобы вызвать конфронтацию между двумя палатами парламента. Карсон был успешным политиком и адвокатом, известным своими прямыми и непреклонными выступлениями. Как и многие другие его соратники по Консервативной партии, он приготовился к схватке.

«Министр финансов, — сказал он, — позиционировался как министр, заботящийся о том, чтобы финансовый билль не встретил возражений, и как ответственный попечитель общественного благосостояния и спокойствия. В своей речи в Лаймхаузе мистер Ллойд-Джордж снял с себя маску и открыто призвал людей к гражданской войне, разжигая зависть и жадность, играя на самых низменных чувствах, только ради достижения популярности. Он стремился не к утверждению закона, не к тому, чтобы бюджет был принят, ему нужна революция».

Речь в Лаймхаузе переменила все для Ллойд-Джорджа. Он стал самой ненавистной и опасной фигурой среди либералов для консерваторов, и наиболее уважаемым в рабочей среде.

Обманутые его риторическими приемами, обе стороны этой социальной шкалы преувеличивали степень его влияния на перемены в Британии. Но очень часто слова и созданный образ оказываются намного важнее поступков. Выступив — только на словах — против привилегий, бросив столь дерзкий вызов могущественным аристократам, он теперь мог спокойно дожидаться того момента, когда можно будет помочь и беднякам.

А Черчилль не хотел ждать. Его привела в восторг смелость Ллойд-Джорджа, он не испытывал симпатии к палате лордов, и он считал, что главное — битва за бюджет. Но он хотел действовать, а не ограничиваться словами, как Ллойд-Джордж. Пока либералы маршировали прямо к неразрешимому конфликту, Черчилль ездил по стране, агитируя сторонников за поддержку «системы национального страхования».

За четыре дня до лаймхаузской речи он излагал аудитории в Норидже свой план создания системы страхования от безработицы, которая могла охватить 24 миллиона рабочих. И он наделся, что после утверждения бюджета появятся деньги для того, чтобы начать осуществлять этот план, и что он будет отвечать интересам как тружеников, так и нанимателей. Но пока вопрос о бюджете не был решен, то и продвинуть план тоже не было возможности. В ноябре, когда споры вокруг бюджета тянулись уже седьмой месяц, Черчилль в полном отчаянии воскликнул, что этому бюджету «уделили так много параламентского времени, как ни одному другому закону».

С самого начала битвы Уинстон колебался, чему отдать предпочтение: бескомпромиссной борьбе или комнате переговоров. В июле он еще придерживался умеренного тона, убеждая лендлордов, что их собственности ничего не грозит. «Если наша собственность остается пока еще неприкосновенной, — говорил он в либеральном клубе, — то только потому, что мы прошли долгий исторический период, постоянно уступая реакционерам и сдерживая напор революционеров». Но лаймхаузская речь Ллойд-Джорджа вдохновила и его, он отошел от умеренной позиции, хотя еще и ринулся в бой со своей решимостью. До последней минуты, пока он готовился к собственному выступлению, которое должно было стать чем-то вроде «лаймхаузской речи», он все еще спорил сам с собой, какого направления придерживаться. 30 августа он писал Клемми: «Сегодня я переписывал речь для Лестера… Никак не могу прийти к решению, какой ей быть — провокационной или примирительной. Разрываюсь между этими крайностями. Но в целом она уже сформировалась!»

На самом деле выступление в Лестере 4 сентября было в

основном взвешенным, если не считать начала и конца, когда его слова прозвучали даже резче, чем у Ллойд-Джорджа. В начале выступления он удивлялся тому, что аристократы-реакционеры — эти «декоративные создания» — зачем-то суют свой нос в политику вместо того, чтобы наслаждаться спокойной роскошной жизнью в своих удобных поместьях. Под конец он пустил в ход более резкие выражения, заявив: «Мы разорвем на куски их право вето». Он осудил всех пэров — это «ничтожное меньшинство титулованных персон, которые не представляют ничьих интересов и которые выползают из своих загородных домов в Лондон только для того, чтобы проголосовать за свои собственные интересы, интересы их собственного класса и за свои личные интересы». Он угрожал тем, что не только палата лордов будет распущена, но и тем, что встанет вопрос о конфискации земель.

Пора понять, говорил он, что это будет битва до конца, и только конфискация земель ради общих интересов страны ознаменует полную победу. Как все это будет проходить, Черчилль не очень ясно описал, но голос его звучал так, как у генерала, чьи войска уже окружили врага.

Да, он разозлил консерваторов, и они в раздражении немедленно признали его речь «вульгарным обвинением» верхней палаты. Но вот планы Черчилля перепрыгнуть Ллойд-Джорджа и самому выбиться в народные радетели провалились. Во-первых, он опоздал. Но, что еще важнее, в его выступлении отсутствовали такие театральные эффекты, как у его соперника в Лаймхаузе. Насколько уместно выглядела речь хитроумного Ллойд-Джорджа — в полутемном мрачноватом помещении, — настолько нелепыми выглядели слова Черчилля, когда он обращался к слушателям со сцены недавно отремонтированного театра преуспевающего провинциального города. В зале в удобных креслах сидели вполне уважаемые люди, в ложах расположились более состоятельные люди, а на просторных балконах — представители среднего класса. В лестерском театре даже была большая мраморная лестница с бронзовыми перилами, а парадная дверь была из полированного орехового дерева.

Хотя его слова слушали сочувственно, однако присутствовавшие не могли не заметить несоответствия в том, что Уинстон проклинал герцогов и прочих лендлордов, стоя на красиво оформленной сцене. И когда он только в первый раз отпустил замечание против знати, кто-то из сидящих в зале выкрикнул: «А как насчет вашего дедушки?»

Как только Уинстон задумал возглавить движение по отмене привилегий, сразу же неизбежно вставал вопрос о его взаимоотношениях с Бленхеймом. Волей-неволей он давал повод

для насмешек как той, так и другой стороне. Политик из рядов консерваторов в Манчестере спросил, каким образом Черчилль может нападать на аристократов, если он родился в семье, где в поколении семь герцогов, и при наличии более десятка титулованных родственников. Обставить Ллойд-Джорджа Уинстон не смог, а дураком себя выставил. Его речь была напечатана с крупными заголовками: «Двенадцать титулованных родственников. Черчилль призывает нападать на герцогов».

Количество слушателей в Лестере было примерно таким же, как и в Лаймхаузе. Но речь Черчилля просто утонула в болоте. А речь Ллойд-Джорджа стала легендарной.

В этот бурный период Уинстон заглянул к Асквитам и как всегда потом задержался побеседовать с Вайолет. Она внимательно слушала, как он рассказывает о последних политических событиях, а потом посмотрела на него и сказала: «Ты говоришь как Ллойд-Джордж». Вайолет слишком хорошо его знала, чтобы не заметить перемены в интонациях.

«А почему я не могу говорить его словами?» — спросил Уинстон.

«Конечно, можешь, — ответила она. — Но он оказывает на тебя слишком сильное влияние. Ты говоришь, как он, вместо того, чтобы говорить так, как присуще тебе».

Он попытался отрицать степень влияния Ллойд-Джорджа, но это особенно отчетливо проступило в лестерской речи. Вайолет сразу это почувствовала и предупредила, насколько это заметно. В этом и была разница между ней и Клемми. Та подбадривала Уинстона, призывая к более решительным высказываниям. Ей не нравился Санни Мальборо и не волновал тот факт, что Уинстона связывала многолетняя дружба со многими консерваторами, хотя он не мог забыть обиды, которую нанесла эта партия.

В одном из своих писем Клемми настойчиво убеждала его не подпадать под влияние красивой жизни, которую вели его друзья-консерваторы. «Так называемые сливки общества — невежественные, вульгарные и предубежденные люди». И подписалась: «Твой радикальный еж».

Уинстон старался поддерживать добрые отношения с Санни, но Клемми с большим трудом удавалось прятать недовольство герцогом и его невежеством. Правда, она старалась держаться с ним с холодной вежливостью, но через некоторое время не выдержала. Гроза разразилась, когда она гостила в Блейнхейме после нечаянной фразы Санни. Заметив, что она пишет письмо Ллойд-Джорджу, он шутливо просил ее: «Пожалуйста, Клемми, как ты можешь писать письмо этому маленькому монстру на

блейнхеймской бумаге?» Не говоря ни слова, Клемми собрала вещи и отправилась на станцию, не обращая внимания на извинения, которые принес Санни.

Упоминать имя Ллойд-Джорджа в особняках тори было неуместно. Один из аристократов-землевладельцев как-то воскликнул в присутствии родственников: «В тот день, когда — выбросят из парламента, он на радостях зажарит быка в парке». Когда до Ллойд-Джорджа дошли эти слова, он ответил: «Надо посоветовать благородному лорду держаться подальше от костра, чтобы его не перепутали с быком».

Как часто случается в политике, вопрос о бюджете отошел на второй план, а все переключились на взаимные упреки и оскорбления. Количество претензий и с той, и с другой стороны росло, а шансы на достижение разумного соглашения между ними все больше таяли. В конце октября Чарльз Хобхауз прямо спросил Ллойд-Джорджа, зачем он подбрасывает дрова в огонь? В надежде войти в историю как автор триумфальной финансовой схемы? Министр финансов согласился, что в этом есть доля правды, и добавил: «Но еще больше меня запомнят как того, кто вывел из себя наследственную палату лордов». Ллойд-Джордж мог рассчитывать на победу над старым правящим классом, втянув палату лордов в заведомо проигрышную борьбу. Право объявлять вето являлось анахронизмом, и уже не должно было переходить в двадцатый век. Но до того как этот вопрос поднял Ллойд-Джордж, оно не представлялось столь жизненно важным. Ну а после того, как о праве вето заговорили, оно оттеснило в сторону все остальные проблемы. И, наверное, Ллойд-Джорджу льстило, что внук герцога сражается на его стороне.

Чем ближе был день подсчета, тем оживленнее и радостнее он потирал руки, довольный тем, как умело подвел все к критической точке. В октябре он писал брату: «Все понимают — обе стороны, — что надо сражаться, либо останешься ни с чем… Мне удалось стравить их. Какое-то время я боялся, что они выскользнут из ловушки, разрушив мои планы». Он настолько ловко все проделал, что теперь уже было поздно отступать. И когда палата лордов 30 ноября (в тридцать пятый день рождения Уинстона), как и ожидалось, не утвердила предложенный бюджет, произошел конституционный кризис. Главные выборы назначили на начало 1910 года.

Вместо того чтобы использовать имеющееся у них преимущество в голосах для утверждения нужных законов, либералы теперь должны идти на новые выборы с неутвержденным бюджетом, возросшими налогами, истраченными миллионами на дрендоуты и напуганным

истеблишментом. Назвать это победой было трудно. Ллойд-Джордж оптимистично предсказывал, что они снова получат преимущество. Но он ошибался.

И далеко не все разделяли его розовые мечты. Памела — жена Реджи Маккенны, сидя на женской галерее 2 декабря, глядя на то, как развиваются дела в палате, с печалью думала о будущем. Ее печалило, что правительство не нашло в себе силы продемонстрировать власть. «Начать столь многообещающую работу, — писала она в дневнике, — с почти беспрецедентным перевесом в голосах, а если взглянуть назад на четыре года энергичной работы, то, оказывается, достижений так мало».

Для многих это было еще не очевидно, и даже сейчас это не все признают, однако крупнейшей фигурой в лагере либералов в тот жесткий 1909 год (последний год, когда Либеральная партия имела преимущество в палате общин) был Уинстон Черчилль. Коварный и хитрый Ллойд-Джордж выступал в том стиле, который обычно являлся сильной стороной Уинстона. Однако Черчилль, войдя в состав кабинета, показал, что он также был настоящим политическим лидером. Он выдвигал новые идеи, разрабатывал самым тщательным образом планы их воплощения, и умел их излагать самым доходчивым образом.

Незадолго до того, как палата лордов зарезала бюджет, он опубликовал подборку выступлений, которую можно смело назвать манифестом партии. Но этот сборник вышел слишком поздно. Партия пребывала в полном расстройстве, и теперь подробности вопроса о социальном страховании уже не так занимали ни кандидатов, ни избирателей, как проблема бюджета. Однако подборку речей Черчилля «Либерализм и социальные проблемы» тепло приняли сторонники партии и некоторые радикальные реформаторы. Они надеялись, что смогут продвинуть высказанные в ней прогрессивные идеи после победы на выборах 1910 года. Среди тех, кто восхищался сборником, был Дж. А. Хобсон — он считал, что это «ясное, наиболее понятное и наиболее убедительное изложение» идей нового либерализма.

Даже весьма преуспевающие либеральные журналисты удивлялись, как четко Черчилль увидел то, что будущие поколения назовут социальной безопасностью. Г.У. Массингам — «духовный отец нового либерализма», как величал его один историк, — написал вступление к сборнику выступлений Уинстона. Он отмечал «прямоту и ясность мысли», способность автора «выстраивать политические теории и подкреплять их впечатляющими убедительными доводами». Он почти готов был назвать эту подборку современной Библией. Читатели найдут в ней «мощь убеждения и силу сочувствия, — писал он, — очень

мало какие из речей современных политиков могут сравниться с ними».

За очень короткий срок своего пребывания в рядах либералов, Черчилль предложил и обрисовал очень внятно «способы защиты всех слоев населения, в особенности трудящегося класса». Кроме того, что он придумал такие важные службы, как биржи труда и страхование от безработицы, он еще строил планы, как защитить нанимателей в трудное для них время, и обдумывал, как наиболее эффективно использовать трудовые ресурсы, повышая образование рабочего класса. К сожалению, провести намеченные реформы Черчилль не успел, окно захлопнулось. Он еще не подозревал о том, но эта подборка стала его прощальным словом ведущего либерального законодателя.

XIX. Жизнь и смерть

Наверное, убегая от разгневанной толпы и карабкаясь на кирпичную стену, Ллойд-Джордж понял, что выборы 1910 года окажутся не столь уж удачными. Но он хотел войны, — как сам писал своему брату, — и он ее получил.

Жители северного морского порта Гримсби предупреждали Ллойд-Джорджа о нежелательности его приезда в их город, но он все-таки прибыл туда поздним вечером в пятницу 14 января. Конные полицейские окружили встречавшую его машину, когда он около полуночи покидал железнодорожную станцию. Сторонники известного либерального политика, желая приветствовать его должным образом, организовали что-то вроде факельного шествия, но по дороге к дому, где Ллойд-Джордж должен был разместиться, на их пути встала толпа. Бутылки и картофель полетели в сторону машины, одно стекло разбилось. Из возмущенной его приездом толпы раздавались голоса: «Предатель!»

На следующий день сотрудники сыскной полиции проводили Ллойд-Джорджа к катку, где по намеченному расписанию должна была пройти встреча с его сторонниками. Полицейские окружили платформу для выступления и остановились у входа. Но вскоре каток окружила разъяренная толпа в тысячу человек. И перед полицейскими встал тот же самый вопрос, что стоял перед полицейскими в Бирмингеме в 1901 году: как безопасно вывести Ллойд-Джорджа? Главный констебль Стирлинг предложил воспользоваться задним выходом, а потом перебежать по мосту, что шел над железной дорогой.

Но им не удалось уйти незамеченными. Кто-то из толпы увидел, и бросился следом. Теперь была только одна возможность ускользнуть: перебраться через стену возле железной дороги и спрятаться на пожарной станции. И вот министр финансов, с помощью нескольких констеблей взобрался на стену и бросился к зданию пожарной станции. Через двадцать минут подъехал его автомобиль, Ллойд-Джордж нырнул внутрь, и машина на полной скорости повезла его к месту следующего выступления. Естественно, несколько дней спустя в газетах появилась карикатура, где франтоватый Ллойдж Джордж, встав на спину дюжего полицейского, лезет на стену. «Все же убежал», — гласила подпись.

Пока министр финансов спасался от жителей Гринсби, Черчилль вел свою — вполне безопасную — кампанию в Данди. Теперь он стал любимцем города и не боялся потерять свое место.

Его речи были достаточно умеренными. Отчасти потому, что Асквит попросил сбавить тон на время выборов. И все же он допустил некоторые выпады. Зная о том, что результаты выборов, проведенных чуть раньше в некоторых частях страны, оказались не в пользу либералов, во время выступлений он намекал, что это злобные происки некоторых пэров, которые подталкивают местных людей голосовать против правительства. «Нет сомнения, — заявил Уинстон, — это следствие, как мы и ожидали, феодального давления».

Когда были провозглашены результаты, Уинстон без труда оторвался от соперников. Но во многих других районах страны либералы проигрывали с большим отрывом, и им не оставалось ничего другого, как списать все это на грязные штучки консерваторов. Число мест у консерваторов в союзе с их партнерами-юнионистами повысилось по сравнению с выборами 1906 года со 157 до 272. А либералы потеряли — вместо 377 голосов у них осталось 274. Чтобы удержать власть в руках, Асквит вынужден был объединиться с двумя небольшими партиями — лейбористами и ирландскими националистами, что создало еще один момент напряжения в будущем (особенно по вопросам гомруля). Либералы собирались объявить выборы недействительными, но это могло еще больше укрепить оппозицию и вызвать сомнения, настолько ли уж правильным был их выбор, когда они пошли путем сеющего распри Ллойд-Джорджа.

Во время доверительной беседы с Черчиллем Марго сказала, что, по мнению Асквита, неумеренные речи Ллойд-Джорджа обошлись им, по меньшей мере, в тридцать голосов. Избиратели дали хороший урок, отсутствие у членов парламента «сдержанности и выдержки» обошлось им потерей большинства голосов. Марго поздравила Уинстона с тем, как ответственно он провел выборную кампанию, и советовала и далее придерживаться такой же линии. «Почему бы не начать с чистого листа и добиться того, чтобы тебя все любили и уважали? — спрашивала она своим требовательным тоном. — Ты считаешь, что это глупо. А разве не глупее разговаривать с журналистами и объединяться с Ллойд-Джорджем?»

Уинстон не пытался оправдать своего коллегу. Он понимал — нынешняя расстановка сил в парламенте усложнит продвижение новых законов. Либералы утратили возможность сделать то, на что он потратил два последних года. Он мог оставаться по-прежнему министром торговли и продолжать двигаться в том же направлении, но ему нравились те дела, где он мог ожидать быстрых результатов, а теперь на это было мало надежды. Все

начинания будут срываться. А еще следовало позаботиться о том, чтобы подняться на ступеньку выше в кабинете министров и встать на один уровень с Ллойд-Джорджем.

Премьер-министр согласился, что Уинстон заслужил продвижение по службе, и предложил ему «одно из наиболее щекотливых и трудных мест — в министерстве по делам Ирландии». Но Черчилля предложение заниматься «щекотливым» делом не вдохновило. Оно сулило много сложностей, из-за новых требований ирландских националистов. Поскольку он был своим человеком в семье Асквитов, Уинстон решил отказаться от ирландского отделения и высказать свое пожелание. Две сферы деятельности представлялись ему достаточно престижными, то есть такими, которых, как ему представлялось, он заслуживал. 5 февраля он написал премьер-министру, что «был бы рад занять руководящий пост в адмиралтействе (учитывая, что место стало вакантным) или в министерстве внутренних дел. «Хотелось бы сказать, с Вашего разрешения, — что министры должны занимать такие позиции в правительстве, которые бы соответствовали их влиянию в стране».

Другими словами, он заслужил (что можно было видеть по результатам работы последнего года) встать на один уровень со своими коллегами и хотел, чтобы его должность была соответствующей. Асквит не счел нужным возражать. Через несколько дней появилось сообщение, что Черчилль назначен новым министром внутренних дел. Это продвижение сразу вывело его в первые ряды членов кабинета, а также заметно улучшило его собственное финансовое положение. Его зарплата сразу выросла почти в два раза по сравнению с зарплатой министра торговли. Теперь он получал 5 000 фунтов.

В круг его обязанностей входило наблюдение за работой судов, полиции и тюрем. В день его выхода на службу Уинстон получил приглашение на ужин. Он пришел и сел, настолько погруженный в себя и свои мысли, что с ним случалось довольно часто, что почти не произнес ни слова во время еды. А потом неожиданно повернулся к сидевшей рядом с ним Джин Хэмилтон — привлекательной пожилой леди — и проговорил, как если бы продолжал думать вслух: «В конце концов, мы делаем слишком много смерти». Джин — жена генерала Йэна Хэмилтона, друга Черчилля, достаточно хорошо знала, насколько мало его заботят обычные вежливые обмены любезностями, и что он способен отпускать замечания по совершенно непонятным для других поводам. Поэтому она просто вежливо уточнила: «Да, думаю, вы правы, но почему вы заговорили об этом сейчас?»

Черчилль не мог избавиться от тягостной мысли, которая преследовала его весь первый день работы, когда он столкнулся с одной из самых малоприятных сторон своей деятельности.

«Я подписал смертный приговор в первый день пребывания на посту, — ответил он. — И это не дает мне покоя».

«А кому вы подписали приговор? — спросила она. — И за что?»

«Мужчине, который схватил маленького ребенка на улице и перерезал ему горло».

Джин Хэмилтон была потрясена, но все же не могла понять, почему он сокрушается о жестоком убийце? «Меня бы это не тяготило».

Но это тяготило Уинстона, потому что он не мог понять, как такое жестокое и бессмысленное преступление могло произойти в якобы цивилизованном обществе.

Джозеф Рен — бывший матрос, а теперь безработный — жил в одном из фабричных городков Ланкашира. В декабре он убил ребенка трех с половиной лет и бросил тело возле железной дороги. 14 февраля ему вынесли смертный приговор. Рен пытался покончить жизнь самоубийством в тюрьме, но его выходили. Признавшись в своем преступлении, он заявил, что, убивая ребенка, был «в столь подавленном состоянии, что не понимал, что делает». 21 февраля Черчилль просмотрел дело и не нашел причин, по которым мог бы отменить приговор. В тот вечер, когда Джин Хэмилтон рассуждала о справедливости наказания с новым министром внутренних дел, Рен сидел в тюрьме Стрейнджуэйз в Манчестере. На следующий день его повесили.

Занимаясь вопросами нового законодательства, Уинстон пытался улучшить жизнь миллионов людей, работающих в тяжелых условиях индустриальной Англии. Однако на посту министра внутренних дел он получил возможность увидеть всю неприглядную картину преступлений и развращенности низов нации, и, оценив масштаб проблем, понять, насколько неискоренимыми они были. Папки с делами позволяли увидеть изнанку эдвардианского мира — и часто это был болезненный опыт узнавания. Жизнь раскрывала перед Черчиллем трагедии преступлений и наказаний. Никогда он не думал, что эта работа будет производить на него столь сильное впечатление, и вовсе не потому, что ему опять приходилось работать много и подолгу (к чему он привык), а потому, что от росчерка его пера зависела жизнь или смерть других людей — то, выйдет ли осужденный на свободу, или отправится на виселицу.

Рядом с его письменным столом лежала регистрационная книга со словами «смертный приговор», набранными черным

шрифтом вверху каждой страницы. Сорок два имени были добавлены к уже имеющемуся списку. После приведенных сведений о человеке, рядом с именем имелась колонка с пометкой — «результат». Для двадцати заключенных Черчилль счел возможным отменить приговор, но против имен двадцати двух в графе «результат» было написано: «казнен». Среди преступников последней группы значился незадачливый убийца доктор Хаули Харви Криппен и более известные душегубы, такие как Уильям Генри Палмер, который, забравшись в дом, задушил старушку и ограбил ее.

Один случай преследовал Черчилля до конца его дней. Он был связан с убийцей, признавшим свою вину, Эдвардом Вудкоком. Этот бывший солдат жил в Лидсе с женщиной, на которой не был женат. Во время вспыхнувшей пьяной драки он зарезал ее, а когда осознал случившееся, пришел в отчаяние.

«После преступления, — вспоминал Черчилль, — он спустился вниз по лестнице. Возле входа толпились детишки. Они привыкли к тому, что он обычно раздавал им сладости. В этот раз он вынул из кармана все деньги, что у него имелись на тот момент, и отдал детям со словами: «Они мне больше не понадобятся». После чего отправился прямиком в полицейский участок и сознался в содеянном. Судья, который вел дело, считал, что виновный заслуживает смертной казни. Но меня что-то тронуло в его поступках и несчастной судьбе. Опытные чиновники из министерства советовали мне не вмешиваться в судебный процесс. Но я имел собственную точку зрения и вмешался в это дело с целью смягчения приговора». По распоряжению Черчилля в начале августа 1910 года смертный приговор Вудкоку был отменен и заменен пожизненным заключением. Однако в начале следующего месяца потрясенный министр внутренних дел узнал, что осужденный покончил жизнь самоубийством. Рядом с его мертвым телом нашли записку, адресованную семье.

Тридцать восемь лет спустя, когда Уинстон Черчилль был уже всемирно известной личностью, защитником страны от нацизма, он все еще хранил копию этой предсмертной записки Эдварда Вудкока и принес ее с собой в палату общин, чтобы зачитать, когда речь зашла о смертной казни. С тех пор как Вудкок написал эти строки, страна пережила кровавую бойню двух мировых войн, большая часть Европы еще находилась в руинах, а Черчилль не мог забыть человека, которого обвинили в убийстве по страсти, и который раздал все свои деньги детям, перед тем как пойти в полицию. Что более всего ужаснуло Вудкока — так это мысль всю жизнь провести в тюрьме.

«Не думаю, — заявил Черчилль в парламенте, — что уважаемые члены палаты, выступающие за отмену смертной казни, могут представить всю степень отчаяния человека, приговоренного вместо этого к пожизненному заключению. Для многих людей — все, конечно, зависит от склада характера, — ужаснее такого наказания представить нельзя».

Разумеется, Уинстон имел в виду и свой опыт сидения в бурской тюрьме, когда он был готов рискнуть всем, только бы вырваться на свободу. И в страхе Вудкока перед длительным тюремным заключением он угадывал свои собственные переживания узника в Южной Африке. Беспокойный и неугомонный Уинстон тоже не смог бы долго оставаться пленником — в буквальном и переносном смысле. Но он решил, что делает Вудкоку одолжение, когда отменил смертный приговор, и самоубийство заключенного послужило основанием для важнейшего умозаключения — есть вещи и похуже смерти.

Наверное, мало кто в палате общин 15 июля 1948 года понимал, что этот человек, который провел их сквозь испытания военных лет, который трудился изо всех сил, чтобы не сдаться врагу, — привносит что-то личное в обсуждение вопроса о смертной казни. Когда он настоял на том, чтобы зачитать предсмертную записку Эдварда Вудкока, члены палаты могли счесть, что это эксцентричная выходка старика, пожелавшего по какой-то причине встряхнуть былые воспоминания. Но Уинстон делился с ними переполнявшим его ощущением — отчаянием человека, который не может никуда деться.

Вот по какой причине один из опытнейших и умелых ораторов, в годы, когда его увенчала слава, помолчал перед тем, как громко зачитать грубоватые строки посмертной записки незатейливого человека эдвардианской эпохи: «Я обрадовался тому, что меня помиловали, — писал Вудкок родственникам. — Из-за вас, а не из-за себя. Потому что понимал смысл приговора «пожизненное заключение». С тех пор я все время думал, что же мне делать… и понял, уж лучше бы мне лежать в могиле. Если я выйду из тюрьмы даже через 15 лет, мне будет 61 год. Как мне найти работу в таком возрасте? Так что уж лучше я попрощаюсь с вами. Благослови вас Бог! Ваш бедный несчастный брат Э. Вудкок».

Черчилль снова сложил письмо, положил его в карман и обвел взглядом палату общин. «Я упомянул про этот случай, — сказал он, — для тех, кто приходит в ужас при мысли о вынесении смертного приговора, чтобы они помнили — есть что-то похуже могилы».

Эдварда Вудкока арестовали в конце мая, однако ни он, ни его жертва, Элизабет Энн Джонсон, почти не привлекли внимания прессы. Потому что в это время вся страна была опечалена смертью другого Эдуарда — короля, — и никому не было дела до трагедии, случившейся в трущобах фабричного города. 6 мая 1910 года Эдуард VII умер в покоях Букингемского дворца.

Несмотря на сравнительную краткость его правления, покойного короля воспринимали как величественную фигуру в истории. Он был добродушный, почти по-отечески настроенный, верно исполнявший свой долг, но одновременно не отказывающий себе и в удовольствиях, которые следовало измерять по самой высокой шкале, даже его аппетит, который можно было сравнивать с аппетитом Гаргантюа. Однако монарх вкушал со смаком и пониманием, как и полагается тюдоровскому монарху. Слишком хорошая жизнь разрушила здоровье. Его и без того полная фигура к концу жизни расплылась бесформенной массой, а в последние дни он уже почти не мог передвигаться. Один германский дипломат записал после встречи: «Он настолько тучный, что не в состоянии нормально дышать, когда поднимается на три ступеньки лестницы».

Жизнь для него превратилась в сплошной праздник со светскими красавицами, благосклонность которых делала еще более комфортной его жизнь. Мать Уинстона относилась к числу таких дам. И она всегда сохраняла с ним самые теплые и нежные отношения, даже когда ее сын раздражал монарха. После смерти Эдуарда VII она воскликнула: «Великий король и любвеобильный мужчина».

Дженни знала, как себя вести с этим королем. Обращаться с ним следовало как можно более нежно и ласково. Однажды она даже посоветовала Уинстону, как лучше добиться желаемого от короля: «его надо чем-то ублажить. Он любит, когда его балуют». Без всякого сомнения, нежнейшие прикосновения ее пальцев помогали успокоить гнев старика, когда Уинстон выводил его из себя.

В последний год жизни Эдуарда VII сын Дженни нередко доставлял неприятности старому монарху. В сентябре 1909 года король совершил чрезвычайный шаг, поручив своему личному секретарю сделать публичный выговор Уинстону. Это случилось после того как одна из шотландских газет сообщила, что Черчилль высмеивал консерваторов за их обычай делать пэрами своих друзей из газетного бизнеса. Разгневанный лорд Ноллис попросил короля одернуть насмешника. В результате в «Таймс» появилось краткое сообщение: «Хотел бы сообщить, что, вопреки утверждению мистера Уинстона, возведение кого-то в звание пэра

пока еще остается королевской прерогативой».

Из-за постоянной вражды между либералами и лордами вопрос посвящения в звание пэра стал щекотливой темой. Король хотел напомнить Черчиллю и другим его коллегам по кабинету министров, что решение о возведении в пэрство принадлежит монарху, а не политикам. Черчилль считал, что король излишне чувствителен к данному вопросу. Всем известно, — объяснял Уинстон своей жене Клемми, что «прерогатива короля опирается на решение и постановление министров. Не только корона несет за это ответственность». К своему собственному аристократическому происхождению Уинстон относился с легким пренебрежением, поэтому не придал особое значение королевскому выговору: «Не собираюсь обращать на это внимания», — сказал он Клемми.

Из-за своей тучности король был почти лишен возможности свободно передвигаться, он мог только рычать, как старый могучий лев. Что Эдуард и делал в последние месяцы жизни. Асквит просил его разрешения посвятить сто членов Либеральной партии в звание пэра, если палата лордов откажется ограничить свое право вето. Идея состояла в том, чтобы заполнить верхнюю палату либералами в такой степени, чтобы пэры-консерваторы отказались от своего права вето. Но королю подобная затея решительно не понравилась, — он считал, что такой «массовый прием» превратит королевскую процедуру посвящения в нелепость, вызовет насмешки и приведет к «уничтожению палаты лордов» как таковой. Он выбрал стратегию уклонения и придерживался ее насколько возможно долго в надежде, что борьба между двумя палатами со временем утихнет, и скандал не затронет института монархии.

Черчилль настаивал на том, что король должен сделать решительный шаг и прийти к какому-то решению. Хотя войну с верхней палатой парламента начал Ллойд-Джордж, Уинстон считал, что знает более быстрый способ покончить с нею. Из Букингемского дворца последовало предупреждение, чтобы он прекратил «выпады и намеки на корону» в своих выступлениях, что это вызывает «очень сильное недовольство» короля. Такого рода предупреждение остановило бы любого члена кабинета министров, но только не Уинстона. За полтора месяца до смерти короля он, стоя в палате общин, произнес: «Наступил момент, когда корона и палата общин должны действовать рука об руку, чтобы восстановить конституционный баланс и отменить право вето палаты лордов».

Опираясь исключительно на свой собственный авторитет, Черчилль провозгласил, что Эдуард уже готов встать в их ряды,

чтобы сражаться вместе с народом против пэров. Это был слишком смелый выпад. Не будь король так болен, Черчилль мог бы поплатиться за дерзкую выходку. Придворные были вне себя от возмущения, и один из них даже сказал, что фиглярство Уинстона ускорило кончину Эдуарда. Но в середине мая, когда вся нация погрузилась в траур, по Лондону стали распространяться слухи, что короля свели в могилу треволнения, вызванные либералами вообще, что все последнее время король пребывал в постоянном волнении из-за угрозы классовой войны и нападок на палату лордов.

9 мая лорд Балкаррес, представитель партии тори, записал в своем дневнике: «В кругах среднего класса лондонцев все более крепнет мнение, что смерть короля ускорила тревога, вызванная тем, что Асквит намеревался оказать сильное давление на трон. Что король в последнее время был расстроен, мы все знаем: он разгневался, когда Черчилль заявил о договоренности между троном и палатой общин».

На самом деле Эдуарда VII убило плохое здоровье, а не плохие манеры либералов. Однако слухи продолжали циркулировать и нарастать. «Небылицы о том, будто либералы убили короля, просто изумительны, — с иронией писал Эдди Марш своему другу Уинстону. — Рассказывают даже, будто королева пригласила премьер-министра и Маккенну в комнату короля и, указав на покойника, воскликнула: «Взгляните на дело ваших рук!»

Как бы то ни было, но смерть короля ударила по либералам. Однако Черчилль и кое-кто из его коллег все еще продолжали надеяться на то, что для короны и палаты общин существует возможность объединиться против палаты лордов, чтобы избавиться от права вето. Не имело значения, что Эдуард предпочел держаться в стороне. Главное было заставить лордов поверить, что их конституциональное право неприемлемо, после чего они должны сдаться. И Черчилль упорно двигался к намеченной цели, когда король вдруг взял и умер. До этого такая стратегия, похоже, работала. В апреле палата лордов без всяких проволочек, наконец, утвердила бюджет Ллойд-Джорджа — через год после того, как он был представлен на обсуждение.

Теперь только оставалось ждать, когда их светлости опять сорвут продвижение очередного важного билля. Столь исторически значимый вопрос не мог быть незамедлительно решен сразу после смерти Эдуарда и, конечно, до того, как политики разберутся в том, что из себя представляет новый монарх — Георг V. Никто не знал, каковы его намерения. Но ставка была высокой. Сообщение о смерти короля настигло

Асквита во время круиза по Средиземному морю. Он стоял на палубе и смотрел в ночное небо, пытаясь представить, что ждет всех в ближайшем будущем. Небо подавало знаки, но как узнать, сулят ли они удачу или провал?

«Я очень хорошо запомнил, — вспоминал он много лет спустя об этой майской ночи, — первым знаком, который попался мне на глаза, была комета Галлея, мерцавшая в небе». Разыгравшаяся сцена напоминала избитую историческую пьесу, списанную с шекспировских драм. Судьба нации в промежутке между смертью одного монарха и восхождением на трон другого застыла в неверном равновесии.

«В тревожный момент, от которого зависело, как сложится судьба страны, — продолжал Асквит, — мы ощущали себя потерянными, мы оказались не готовы потерять правителя, уже набравшего большой опыт, зрелого, прозорливого, с взвешенными суждениями… оказывается, он так много значил для нас. Мы оказались на краю кризиса, не имея необходимого исторического опыта для его преодоления. Как теперь поступать?»

Немало бессонных ночей пришлось пережить Асквиту, прежде чем он нашел выход.

За несколько месяцев до того, как премьер-министр разглядывал комету в средиземноморском небе, в Ливерпуле была арестована предводительница протестующих суфражисток — ничем не примечательная женщина в старой твидовой шляпке и заношенной одежде. Полицейские нашли в карманах задержанной дамы камни и обвинили ее в нарушении порядка. Ее и других ее сподвижниц доставили к мировому судье, им тотчас вынесли приговор — две недели тяжелых исправительных работ. Женщине, как и другим, приносили в камеру еду — овсянку и мясо. Но она отказывалась принимать пищу. После четырех дней голодовки ее силой накормили врач и четыре помощницы. Заключенная сопротивлялась изо всех сил каждый день в течение недели. А потом ее выпустили, — потому что обнаружилось, кем она является на самом деле.

Представ перед мировым судьей, она назвалась вымышленным именем — «Джейн Уортон, белошвейка». Но семья, обеспокоенная исчезновением женщины, отыскала ее в тюрьме и вызволила из заключения. После того, как ее отпустили на свободу, она испытывала болезненные ощущения из-за насильственного кормления, и то, как обращались с ней в тюрьме, обернулось грандиозным скандалом. Так называемой «белошвейкой» оказалась не кто иная, как леди Констанс Литтон из Небуорт-Хауса, сорокалетняя сестра Виктора, графа Литтона и,

соответственно, золовка его жены Памелы, урожденной Плоуден.

Судьбе было угодно распорядиться так, что Уинстон стал министром внутренних дел через три недели после ее освобождения. Следующие несколько месяцев, наряду с другими обязанностями, ему пришлось проводить расследование по поводу дурного обращения с леди Констанс. А затем вступить в долгие споры с лордом Литтоном о том, как следует обращаться с суфражистками, а также о возможности предоставления женщинам права голоса. У леди Констанс было больное сердце, и ее брат возмущался из-за того, что ей не оказывали надлежащей медицинской помощи в тюрьме. Ему хотелось, чтобы полетели чьи-то головы, и обвинял Уинстсона, что тот не желает искать виновных.

В данном случае обвинять кого-либо, как того требовал Виктор Литтон, было затруднительно по той причине, что его «сестра назвалась вымыленным именем и отказывалась отвечать на вопросы медиков». Черчилль сочувствовал семье пострадавшей, однако ничего не мог сделать, чтобы утолить их жажду крови. Виктор возмущался. Не очень приятный случай особенно остро переживал Эдди Марш, который писал Виктору: «Ничто на свете не ранило меня сильнее, чем этот ужасный разрыв с Уинстоном, разрыв между двумя моими самыми близкими друзьями».

В какой-то степени преувеличенный гнев лорда Литтона на Уинстона был вызван другой причиной. Не очень хорошее обращение с сестрой наложилось на другое — более серьезное обстоятельство. В семье начались нелады из-за жены — женщины, на которой Уинстон когда-то собирался жениться. Памела оказалась не очень хорошей женой, и в тот момент ее страстное увлечение другим человеком находилось в самом разгаре. Объектом ее воздыханий был Джулиан, двадцатидвухлетний сын Этти Дезборо. Он постоянно искал встречи с Памелой, и Виктору трудно было не заметить, что и жена испытывает влечение к молодому человеку. Разумеется, Этти была встревожена, поскольку ее сын не мог ничего скрыть от нее (к великому неудовольствию Памелы).

«О, мама, — писал Джулиан матери в 1910 году, — я провел два таких чудесных дня в Небсе[38]! Ты наверно огорчишься (или нет?), узнав, что с каждым днем, как я вижу Памелу, я все больше люблю ее».

Хотя Уинстон не понимал, почему Виктор столь нетерпим и вспыльчив, он пытался обращаться с ним как можно любезнее. Распорядившись, чтобы Виктору составили письмо, он предупредил служащих: «Попытайтесь обойти все острые углы

так, чтобы мы сохранили свои позиции и чтобы выразили максимальное уважение к чувствам лорда Литтона».

Отсутствие у правительства какого-либо прогресса по поводу требований суфражисток являлось его ахиллесовой пятой. Случай с леди Констанс с особенной яркостью показал всю абсурдность наказания женщин только за то, что они отстаивают свои права. Конечно, хулиганские выходки многих суфражисток отталкивали многих членов кабинета, но от этого суть не становилась менее значимой. Данная проблема требовала как можно более быстрого решения, и если бы Асквит, Черчилль и Ллойд-Джордж уделили вопросу о праве женщин на участие в выборах столь же много внимания, сколько они уделили праву вето в палате лордов, — они бы только выиграли.

Но, когда в своей памятной записке Уинстон подвел итог разногласиям с лордом Литтоном, его собственное отношение к требованиям суфражисток было настолько отравлено их нападениями лично на него, что он уже не испытывал никакого энтузиазма в продвижении и утверждении закона о предоставлении женщинам избирательных прав. Памятная записка от 19 июля 1910 года, в которой Черчилль пишет о себе в третьем лице, открывает всю глубину его неприязненного отношения к воинственным суфражисткам: «Они бросали против него все силы своих организаций во время четырех последовательных выборов. Они все время относились к нему с самой низкой неучтивостью и пристрастием. Они постоянно нападали на него, используя самые оскорбительные выражения. Они атаковали его физически».

В записке он этого не упомянул, но последней соломинкой стала угроза в отношении его дочери Дианы. Позже в газетах напишут, что «долгое время полицейские охраняли дочь мистера Уинстона Черчилля, потому что суфражистки пригрозили выкрасть ее». Во время встречи с суфражистками в конце 1910 года он особо отметил, что потерял терпение из-за их тактики: «Каждый дружественный шаг в вашу сторону, вызывает только еще больше обвинений и ведет к возмутительным выходкам».

В письменном обращении к одному из сторонников суфражистского движения. Ллойд-Джордж предупреждал, что протестующие женщины слишком часто позволяли себе унижать Уинстона. «Величайшая ошибка с их стороны избрать его своей мишенью, — объяснял он. — Это не тот человек, которого можно запугать».

Часть III. 1910–1915 гг

XX. Храбрец

Яростная энергия копилась в эдвардианском обществе из-за нарастания все более высоких ожиданий и их столкновения с суровой действительностью. Требовались перемены, а они происходили слишком медленно. Следствием этого стало даже не все более жестокое противостояние между классами, политическими партиями, полами или богатыми и бедными. Оно вылилось в то, что обычные люди стали покидать страну в поисках лучшей доли. За десять лет после смерти королевы Виктории, когда численность населения Соединенного Королевства достигла 43 миллионов человек, семь процентов из них — то есть три миллиона — выбрали эмиграцию. Массовый исход, например, из Глазго, был таков, что в 1910 году количество свободных домов в этом шотландском городе увеличилось до двадцати тысяч.

Черчилль осознавал, что его служба в министерстве внутренних дел оплачивается намного лучше и менее сложна, чем штормовая качка в министерстве по делам Ирландии. Но эта должность вовлекала его в сердцевину растущих неурядиц внутри страны, вынуждая тратить массу времени и сил на то, чтобы каждый день встречаться с разгневанными людьми, выражающими недовольство условиями содержания в тюрьмах, поведением полиции и судебными приговорами, а также с лицами, обращающимися в министерство с целью разрешения производственных конфликтов, или в связи с угрозами со стороны шпионов, революционеров и анархистов. Он остался доволен тюремной реформой и получил подтверждение правильности проделанной работы в этом направлении, а еще большее удовольствие доставляло ему оказание помощи недавно созданному бюро секретной службы (Secret Service Bureau). Но все остальное было слишком рутинным для его мятежного духа, все тянуло его не к вершине, а вниз, к земле. К концу своей политической карьеры он скажет: «Ни один пост, занимаемый мной в правительстве, я не покидал с такой радостью».

Самая трудная полоса в его жизни началась осенью 1910 года, когда главный констебль в Южном Уэльсе прислал ему срочную телеграмму. Он писал, что бастующие шахтеры устроили беспорядки в районе Тонипэнди — компактного города с населением в тридцать четыре тысячи человек, окруженного угольными копями и дымовыми трубами. Там много пострадавших, и срочно требуются войска, чтобы восстановить порядок, — докладывал полицейский чиновник. Телеграмма

заканчивалась словами: «Положение угрожающее. Буду держать в курсе. Линдсей, главный констебль Гламоргана».

Бывший офицер британской армии, служивший в Египте, Лайонел Линдсей был человеком старого образца, прямодушным военным, нетерпимым к нарушителям законности. Чтобы положить конец беспорядкам, он запросил две сотни кавалеристов и две пехотные роты. Черчилль содрогнулся, прочитав телеграмму, потому что это означало, что войска уже находятся на полпути к шахтерскому городку. Вот уж чего хотелось бы меньше всего либералам, так это столкновения между разъяренными валлийскими шахтерами и крупным воинским контингентом. Но забастовщики угрожали мирным жителям, они громили магазины, разбивали витрины и занимались грабежами.

Десятилетия спустя критики Черчилля отнесут случившееся к самому тяжкому проступку в его деятельности, упрекая его за то, что он ввел в Тонипэнди войска, которые атаковали шахтеров. В 1978 году в палате общин разгорелся скандал после того, как лейбористский премьер-министр Джеймс Каллаган сказал, что Черчилль «объявил вендетту шахтерам Тонипэнди». Члены парламента настояли, чтобы он отказался от своего обвинения («дешевый и совершенно необоснованный выпад» — как выразился один из членов парламента), но Каллаган настаивал на своем: «Действия сэра Уинстона Черчилля — исторический факт, и он заслуживает обсуждения. Я придерживаюсь другого мнения, чем вы».

Но все дело в том, что сохранились документы, и они свидетельствуют о том, что Черчилль делал все, чтобы удержать военных от конфронтации с шахтерами. Только отряды полицейских, вооруженных дубинками, были брошены на усмирение. Главными обвинителями Черчилля стали не шахтеры, а владельцы угольных шахт.

На второй день забастовки — 8 ноября — репортер «Таймс» в Тонипэнди при виде огромной разъяренной толпы, заполнившей улицы, испугался до смерти и не мог поверить, что начальство в Лондоне не соглашается ответить на запрос главного констебля Линдсея о присылке военных подкреплений.

В своей статье «Осадное положение» репортер писал: «Войска, которых ждали здесь весь день, так и не прибыли. Очевидно, были получены приказы, предписывающие им остановиться в Кардиффе. Я не могу найти оправдания тем, кто должен был прислать военных, учитывая критичность сложившегося положения, но не решился на это».

Но именно Черчилль потребовал, чтобы войска задержали в

Кардиффе. Нельзя использовать военных, доказывал он главному констеблю Линдсею, «пока не станет окончательно ясно, что полиция не сможет справиться своими силами».

Ни один человек в Тонипэнди не был застрелен или растоптан атакующей кавалерией. Войска удерживались в резерве своим командиром, генералом Невилом Макриди, который подчинялся распоряжениям Черчилля, и делал все, чтобы участие военных не ухудшило и без того накаленную обстановку. Тем временем сотни полицейских сражались с бастующими холодным ноябрьским днем. И много голов было разбито как с той, так и с другой стороны.

К большой досаде владельцев шахт, Черчилль отправил примиряющее послание шахтерам, обещая сделать все возможное для справедливого решения вопроса, о чем он сообщит им. «Военные в данный момент держатся в стороне, и мы отправили туда только полицию». Владельцы шахт обвинили Черчилля в сочувственном отношении к шахтерам и в неспособности утихомирить их. Управляющий директор Кэмбрианской угольной компании сказал корреспонденту «Таймс»: «Мистер Черчилль поставил себя выше законности, выступив посредником. Он отправил представителям рабочих телеграмму, в которой вопрос выглядел уже решенным, и обещал кэмбрианским шахтерам, что их не станут обвинять в нарушениях».

Вскоре Черчилль понял, что угодить и тем, и другим он не сможет. По каким-то своим собственным соображениям, глава Лейбористской партии — убеленный сединами Кейр Харди (сам бывший шахтер) счел, что намного выгоднее выставить Черчилля негодяем, чем героем. Нет сомнения, для того, чтобы привлечь на свою сторону сторонников и сочувствующих, надо было придать ситуации больше драматизма, а это было проще сделать, выставив министра внутренних дел злодеем, который предает интересы шахтеров, натравливая на них армию. Кейр Харди рисовал страшную картину того, как «военные получили разрешение стрелять в случае необходимости по людям, вина которых заключалась только в том, что они боролись за свои права». После того, как кризис миновал, 28 ноября при встрече в палате общин Харди сказал Черчиллю: «Надеюсь, мы по-прежнему останемся друзьями». А еще он утверждал, что в шахтерском городке «99 процентов бастующих сами сохраняли порядок и не нуждались ни в полицейских, ни в военных».

Для его сторонников и сочувствующих подобное «доблестное заявление только усиливало негодование по отношению к Черчиллю». Но лидер лейбористов утаивал многие реальные факты. В то самое время, когда Харди запугивал всех действиями

армии, он встречался с генералом Невилом Макриди, и тот принял его со всей вежливостью и внимательно его выслушал.

Когда был открыт доступ к документам министерства внутренних дел, стало известно, что Харди соглашался помочь генералу исправить сложившееся ошибочное представление о целях и реальных действиях армейских подразделений. В рапорте, отправленном 13 ноября из Уэльса в министерство внутренних дел, приводятся такие слова: «Мы дружески побеседовали в отеле за ланчем с мистером Кейром Харди. И он согласился помочь пресечь ложные слухи, поскольку военные присутствовали там только в качестве украшения и не принимали никакого участия в каких-либо силовых акциях».

Так что Харди был прекрасно осведомлен о том, насколько Макриди избегал какого-либо кровопролития, и очень хотел, чтобы шахтеры знали — военные будут вынуждены выступить только в том случае, если их вынудят к этому, если силами полицейских не удаться устранить бесчинства. Только после этого предполагалось ввести войска. «Генерал ясно дал понять, что их главная задача — сохранение мира, и что солдаты не являются слепым орудием правящего класса».

Однако все меры убеждения не остановили Харди и его сторонников. Они продолжали выставлять Черчилля насильником. Это несправедливое обвинение было огорчительным для Уинстона, поскольку только два года назад он получил полное восторгов приглашение на ежегодный сбор шахтеров в Южный Уэльс. Благодаря его немалым усилиям, в 1908 году удалось утвердить закон, по которому для шахтеров был установлен восьмичасовой рабочий день, и шахтеры теперь считали его защитником их интересов. Черчилль страстно выступал в их защиту по вопросу сокращения рабочего дня, несмотря на протесты представителей промышленности, доказывавших, что это приведет к уменьшению добычи угля и росту цен.

В Суонси в августе 1908 года шахтеры, оценив его старания, встретили Уинстона «оглушительными аплодисментами». Дэвид Ллойд-Джордж убеждал Черчилля летом поехать в Уэльс. Но теперь, когда в районе угольнодобывающей промышленности развернулись беспорядки, он не мог появиться перед шахтерами Тонипэнди. Поэтому он обратился за помощью уже к самому Ллойд-Джорджу, чтобы тот помог пресечь распространение ложных слухов, упирая на то, что Дэвид сам родом из Уэльса, хорошо знает валлийский язык и пользуется там особенной популярностью. Однако Ллойд-Джордж старательно держался на расстоянии, избегая хоть каким-то образом связывать свое имя с

этими событиями. Случись что не так, и он мог бы утратить свой авторитет в районе, где всегда голосовали за него. Вся его карьера строилась исключительно на всеобщей поддержке со стороны Уэльса, и он страшился потерять главную опору.

Черчилль оказался меж двух огней, нажив себе во время кризиса новых врагов, как справа, так и слева. Одни обвиняли его в излишней жестокости, а другие, напротив, что он проявил слишком большую мягкость при подавлении беспорядков. Его идеалистические взгляды терпели крушение. Перед тем, как войти в кабинет министров и получить реальную власть, он представлял, что добрые намерения и высокие цели помогут ему преодолеть препятствия. Однако ему пришлось столкнуться с тем, что на пути то и дело возникают трясины, способные засосать любого человека, какими бы высокими идеями он ни руководствовался и как бы тщательно ни выбирал дорогу к намеченной цели.

Разумеется, это не останавливало его, Уинстон все еще верил в свое предназначение. Однако несправедливые обвинения, удары в спину вынуждали его быть менее уступчивым, не доверять хорошим помыслам других, понимая, что они пойдут на любой обман. Крепко сжатый кулак — вот что могло возыметь действие. Юноша к удивлению британских политиков быстро мужал.

Подобно Ллойд-Джорджу, Асквит был рад взвалить всю ответственность за происходящее в Уэльсе на плечи министра внутренних дел. Много лет назад — в 1893 году, — политическая карьера Асквита оказалась под угрозой из-за того, что он отправил военных для наведения порядка в йоркширский шахтерский поселок Физерстоун. Солдаты, превысив полномочия, застрелили двух гражданских лиц. С тех пор на многих его публичных выступления раздавались выкрики «Убийца» и «Физерстоун». И теперь Асквит очень боялся, как бы к ним не прибавился еще один — «Тонипэнди».

К тому же, пока Уинстон пытался урегулировать — с наименьшими потерями — положение в Южном Уэльсе, премьер-министр тоже переживал не менее сложный кризис, пытаясь урегулировать отношения с новым королем — Георгом V. Подошел момент, когда пора было подвести итог сражениям с палатой лордов, и Асквит надеялся на поддержку короля. Но у политика и юриста, получившего прекрасное образование, было очень мало точек пересечения с малообразованным и не утруждавшим себя чтением серьезных книг Георгом V. Все, что вызывало ненужные с его точки зрения хлопоты, Георгу не нравилось — даже путешествия не вызывали у него интереса. Он

мог утруждать себя разве только тем, чтобы дважды день проверять барометр и следить за переменами погоды. Будь у него возможность отказаться от королевской мантии, он бы это сделал, чтобы вести счастливую и беззаботную жизнь обычного джентльмена где-нибудь в загородном поместье.

Небольшого роста, неуклюжий, он не внушал почтения даже своим видом. Самым примечательным в его внешности была аккуратно подстриженная борода, которая более, чем что-либо иное, придавала ему королевский вид. Трудно было иметь дело с этим нервным, нетерпеливым, с беспокойно бегающими глазами человеком. Зато ему нравилось облачаться в мундиры (может быть, они придавали ему большее чувство уверенности) и маскарадные костюмы (за которыми тоже можно было спрятать истинную сущность), и он при всяком удобном случае появлялся при дворе то в том, то в другом наряде. Он обожал свою коллекцию марок, любил стрелять и курить. «Наш король — славный парень, — говорил Ллойд-Джордж друзьям, — но, слава богу, голова у него пустая, как котелок».

Либералы надеялись, что им будет намного легче управлять монархом с таким ограниченным кругозором. Однако Асквит убедился, как трудно объяснить королю смысл тех или иных политических планов, когда его не интересуют ни политика, ни планы. Асквиту понадобились две долгих встречи в ноябре, чтобы заручиться твердым обещанием (которое король обещал хранить в тайне) сделать то, на что Эдуард VII так и не решился: посвятить в пэры нужное количество либералов, чтобы изменить состав в палате лордов. А еще Асквит собирался провести новые выборы, после чего сообщить о договоренности с королем и перебороть оппозицию. Ни в один из этих планов Асквит не посвятил короля во всех подробностях, тот довольно смутно понимал их значение и воспринимал скорее как некую забаву. Он даже спросил, а нельзя ли ему вначале обсудить вопрос с Бальфуром, на что Асквит ответил, что тогда это испортит сюрприз.

И хотя позже король объяснял придворным, что Асквит заморочил ему голову и запугал, отказаться от данного слова Георг уже не мог. Когда король спросил, а что произойдет, если он не станет участвовать в затее Асквита, тот ответил: «Тогда я немедленно подам в отставку, и на выборах будут говорить, что «король и пэры против народа». Спрятав в карман свою гордость, король позволил Асквиту разыгрывать партию своими картами.

Но и у премьер-миистра не было столь уж большого пространства для маневра. Черчилль не уставал напоминать ему: «Пока право вето остается у палаты лордов, мира между двумя

партиями не наступит, и мы не сможем добиться национального единства. Чем быстрее и чем увереннее мы покончим с этим делом, тем будет лучше для всех». Либералы верили, что только молниеностность проведенной операции позволит им избавиться от давления палаты лордов. Через два дня после того как он заручился согласием короля, Асквит объявил о роспуске парламента в конце ноября и о том, что новые выборы пройдут в начале декабря.

Выдержать две выборные кампании за год — было задачей трудной для всех. Однако либералы надеялись, что им удастся привлечь народ на свою сторону, и выборы закончатся полной их победой. И снова они ошиблись. Итоги голосований показали, что их положение не только не улучшилось, а, напротив, заметно ухудшилось. И либералы и тори в результате выборов получили одинаковое количество мест в палате общин — 272. Вновь Асквиту, чтобы удержать власть в своих руках, пришлось привлечь на свою сторону ирландцев с их 84 местами и опереться на не очень надежных союзников — лейбористов, имевших 42 места.

Результаты могли бы оказаться намного хуже, если бы Черчиллю не удалось вести правильную политику в Южном Уэльсе. Если бы там прозвучал хотя бы один выстрел, это могло бы всколыхнуть идею самоопределения Уэльса и дало бы в руки консерваторов и лейбористов козырные карты. Уинстон сумел справиться с ситуацией. И, похоже, что он сделал больше, чем мог сделать один человек. После убедительной победы в Данди он позволил себе короткую передышку, устроив прием в загородном доме в Йоркшире. Клемми настаивала, что ему надо хоть немного отдохнуть.

«Дорогой, ты так много работаешь, — писала она, — и не позволяешь себе развлечься». Она была права лишь отчасти. Тяжкий труд в деле, которое увлекало его и приносило плоды, и был для него самым лучшим развлечением.

Возможно, именно из-за настойчивых уговоров Клемми Уинстон согласился немного расслабиться утром 3 января 1911 года и остался у себя в доме на Экклстон-сквер. Он принимал ванну, когда из министерства внутренних дел позвонили, сообщив ошеломляющую новость. В Ист-энде произошла перестрелка между полицейскими и хорошо вооруженной бандой русских анархистов [39]. Один констебль был сразу ранен, а банда забаррикадировала окна верхнего этажа дома на улице Сидни-стрит и вела оттуда такой интенсивный огонь, что одному из полицейских пришлось бежать за поддержкой к лондонскому

Тауэру. Вскоре полисмен вернулся к осажденному дому вместе с двадцатью стрелками Шотландского гвардейского полка [40].

Уинстон попросил уточнить, так ли уж необходима помощь военных. И дал согласие на их участие, стоя у телефона завернутым в полотенце. Через час он уже был рядом с полицейскими и солдатами, наблюдая с боковой улицы за все еще продолжавшейся перестрелкой. Пули летали повсюду, врезаясь в кирпичные стены домов и проносясь со свистом над головами любопытствующих зевак. Стрельба со стороны наспех вооруженных полицейских, которые обычно никогда не носили оружия, была большей частью неэффективна. Их револьверы [41] и дробовики не могли соперничать с огневой мощью банды, засевшей в укрытии. Что касается солдат с винтовками, то им тоже было трудно вести прицельный огонь. Осажденный дом находился в центре жилого массива, поэтому солдатам, прижатым к земле на обоих концах улицы, приходилось стрелять под углом.

«Ничего подобного на памяти всех живущих поколений не доводилось видеть в тихой, законопослушной Англии», — утверждал Черчилль впоследствии.

Банда анархистов использовала «маузеры» — скорострельные «самозарядные пистолеты» [42]. Благодаря складному прикладу, крепившемуся к рукояти, такой пистолет можно было использовать как ружье и стрелять из укрытия во всех направлениях. Опустошенный магазин, обычно вмещающий десять патронов, стрелок быстро заменял другим, что позволяло вести из «маузера» почти непрерывный огонь. В Британии с этим новым образцом стрелкового оружия, производимым в Германии, практически никто не сталкивался, если не считать некоторых армейских офицеров. К счастью, на улице Сидни-стрит присутствовал один чиновник высокого ранга, хорошо знавший данный пистолет и эффективно применявший его в бою. Это был Уинстон Черчилль.

Когда «маузеры» только появились в продаже в 1898 году, Черчилль приобрел два пистолета этой марки и уже вскоре пустил один из них в ход во время кавалерийской атаки под Омдурманом. Опустошив магазин своего «маузера», он убил нескольких дервишей [43], включая одного, пытавшегося пронзить его копьем и застреленного с расстояния менее ярда. Тогда полуавтоматический «маузер» спас Уинстону жизнь, и теперь, зная по собственному опыту его убойную силу, он сам постарался спасти как можно больше жизней полисменов и солдат, участвовавших в перестрелке с анархистами на Сидни-стрит. Когда несколько констеблей попросили позволения броситься в

осажденное задние, Уинстон отговорил их от бессмысленной затеи, объяснив, что их всех перестреляют, как кур. Репортер описал данный эпизод в более мягких выражениях: «Министр внутренних дел, опасаясь, что это действие может подвергнуть жизни безполезному риску, воспрепятствовал его осуществлению». Опасность была столь велика, что Уинстон даже не позволил пожарной бригаде приблизиться к зданию, из окна которого вырывался огонь и дым. Правда, авторитета министра оказалось недостаточно, чтобы заставить почтальона отказаться от намерения отнести письма в дом, соседствующий с убежищем банды, однако он все же смог переубедить офицера пожарной бригады, настаивавшего на том, что его долг тушить пожар, несмотря на риск. Только после того, как Черчилль заявил, что берет всю ответственность на себя, если дом сгорит, пожарный офицер перестал рваться в огонь и остался на месте, чтобы наблюдать, как пламя все больше и бльше охватывает здание.

Анархисты погибли в огне, но в итоге выяснилось, что «банда» состояла всего из двух человек, чьи обугленные тела нашли в руинах вместе с двумя «маузерами» [44]. Они имели при себе так много патронов, а их оружие стреляло с такой скоростью, что создавалось впечатление, будто дом действительно защищают несколько отчаянных анархистов. Однако погибшие боевики действительно принадлежали к довольно крупной банде. За ними числился целый ряд вооруженных ограблений, которые они совершили при помощи других изнанщников, чтобы добыть денежные средства, необходимые для их революционной деятельности в России.

В течение двух следующих недель органы власти разыскали пятерых анархистов, убивших 16 декабря 1910 года трех полицейских во время неуклюже организованного ограбления ювелирного магазина [45]. Тот случай получил известность как «худший день в истории британской полиции». Грабители выпустили более двадцати пуль, из которых восемь попали в одного невооруженного полицейского. Два других офицера полиции были ранены и выжили, но остались парализованными [46]. Никто из полицейских пока не был готов к встрече с таким убойным видом оружия. Ведущему детективу, допрашивавшему убийц, никак не удавалось выследить группу преступников, пока еще один полицейский не столкнулся лицом к лицу с «маузером».

Черчилль присутствовал в декабре на похоронах погибших полисменов, и, оказавшись на Сидни-стрит, понял, что преступники пустили в ход то же самое оружие, которое стоило жизни трем его подчиненным [47]. «Положение было чрезвычайно сложным, — вспоминал он, объясняя, почему должен был явиться

на место столкновения, — и я чувствовал, что обязан увидеть все собственными глазами». И он был прав. С несвойственной ему скромностью, Уинстон не приписывал себе никаких подвигов, не подчеркивал того, что он оказался единственным, кто мог в тот день понять, из какого вида оружия ведется огонь, и минимизировать потери сил правопорядка. Он никогда не упоминал о своей роли эксперта по «маузерам», которая на самом деле оказалась важной, и на протяжении ста лет, прошедших после перестрелки на Сидни-стрит, никто из исследователей не уделял этому внимания.

То дело следует признать одним из славных моментов в жизни Черчилля, проявившего тогда свои самые лучшие качества. Его чаще всего высмеивают как самовлюбленного типа, которому не было до дела других. В данном случае он мог бы отсидеться в министерстве, пользуясь своим положением, и предоставить разборку с анархистами чиновникам более низкого ранга. Вместо этого Уинстон лично прибыл на место происшествия. Даже один из самых доброжелательных биографов назвал данный эпизод «большой ошибкой Черчилля». Действительно, высокая шляпа на голове министра вряд ли защитила бы его от пули [48].

На фотографиях, опубликованных в тогдашних газетах, Черчилль в цилиндре действительно выглядит как человек, который шел танцевать на бал, а по ошибке оказался в гуще перестрелки. Когда Эдди Марш, храбро сопровождавший своего босса на Сидни-стрит, потом пошел в кинотеатр, он неожиданно для себя увидел на экране кадры кинохроники, показывающие Уинстона во время осады дома с анархистами. Он был неприятно поражен — и даже немного испуган, — когда в кинотеатре раздались крики: «Да застрелите же вы его!»

Артур Бальфур, не разобравшийся в происшествии, и даже не имевший понятия о том, что такое «маузер», с радостью обозвал Уинстона тщеславным дураком, который сам лез под пули, непонятно зачем рискуя жизнью. В палате общин он высказался еще более презрительно: «Как я понимаю, если выражаться яыком военных, Уинстон оказался в зоне огня. Он и фотограф оба рисковали ценными жизнями. Я еще понимаю, зачем это делал фотограф, но зачем надо было так поступать достопочтенному джентльмену?»

Асквит отнесся к критическим нападкам на министра внутренних дел достаточно равнодушно и почти не пытался защитить его. Уинстон сидел рядом с премьер-министром, когда тот, посмотрев на него, обратился к парламенту: «Если мой уважаемый друг, сидящий справа от меня, позволит, то я скажу так: «Участие в опасной ситуации привлекает внимание к

личности». Фраза запоминающаяся, но она совершенно не соответствовала действительности и не защищала Уинстона от дальнейших нападок.

Однако даже этот снисходительный отзыв звучит намного лучше, чем высказывание Редьярда Киплинга. Оголтелый хулитель Уинстона, Киплинг написал своему другу, что министр внутренних дел должен был проявить больше храбрости и шагнуть прямо под пули. «Три часа перестрелки, — прокомментировал он эпизод на Сидни-стрит, — и один дьявольский выстрел мог бы принести некоторую пользу нации».

Выражать ненависть к Уинстону стало своего рода национальным хобби. Некоторые консерваторы докатились до того, что уверяли, будто худшего предателя не было со времен Иуды. Кейр Харди расписывал его черными красками, как одного из самых жестоких реакционеров, а те, кто поддерживал суфражисток, грозили устроить ему засаду. В декабре 1910 года Уинстон получил письмо от человека, назвавшего себя Алексом Баллантайном. Автор заполнил три страницы угрозами типа: «Как только мне представится случай, я выпорю тебя собачьим хлыстом как ты того заслуживаешь». Письмо отправили в Скотланд-Ярд для проведения расследования. Вскоре удалось выяснить, что его написал бывший полицейский, сильно обиженный на Уинстона за свое увольнение со службы и намекавший, что он может убить министра внутренних дел, чтобы «сравнять счет». «Я намереваюсь разоблачить несправедливость мистера Черчилля, — клялся он, — Может быть, я собственноручно убью своего оппонента, чтобы ускорить кризис?»

Так что Уинстону приходился постоянно быть начеку. Нельзя было предугадать, из-за какого угла грозит нападение.

Когда его попросили присоединиться к группе официальных представителей власти, — это был кортеж из экипажей, совершавший круг по Лондону в честь коронации Георга V, то Уинстона либо встречали аплодисментами, либо освистывали. Никто не хотел садиться вместе с ним в один экипаж. Герцогиня Девонширская и графиня Минто, получив предложение разделить с Черчиллем места в экипаже, согласились на это с большой неохотой. «Они приходили в крайнее уныние, — писал Уинстон Клемми, — когда по пути раздавались громкие приветственные крики, но слегка оживились возле резиденции лорд-мэра, где были враждебные демонстрации». Недовольная этим испытанием, герцогиня Девонширская сказала лорду Балкаррасу, что она никогда «не согласится снова участвовать в процессии вместе с

Черчиллем, поскольку уверена, что в следующий раз не выдержит и присоединится к улюлюканью, направленному против министра внутренних дел». Даже старые друзья из числа консерваторов под давлением все более увеличивавшихся политических разногласий считали неприличным для себя выказать ему симпатию. В марте 1911 года на заседании палаты общин, продолжавшемся целую ночь, Линки Сесил в четыре часа утра потерял всякое терпение и яростно обрушился на Уинстона, сидевшего в качестве министра на передней скамье. Лорд Хью решил, что тот специально вводит в заблуждение оппозицию, заставляя ее обсуждать мелкие процедурные вопросы. Уинстон ответил, что его друг попирает установленные правила вежливости.

«Правительству известно имя некой другой персоны, нарушившей данное ею слово, — заявил лорд Хью, — но оно не открывает его, чтобы избежать обвинения в бесчестии, связанном с нарушенным обещанием. За такой проступок, если он касается денежных дел, виновного отправляют в тюрьму. За такой проступок, если он касается частной жизни и личных отношений, человека изгоняют из общества джентльменов».

Он использовал прием ораторского преувеличения, которым Уинстон и Линки пользовались в те времена, когда оба они были «хулиганами». Однако в четыре часа утра министр внутренних дел не хотел тратить время на пустую перепалку.

Репортеры на галерее оживились, когда Уинстон и его шафер вступили в бой как роялист с «круглоголовым» [49]. Кое-что из их словесной перепалки было опубликовано в прессе:

«Мистер Черчилль, бледный, с округлившимися глазами, грозно взглянув на лорда Хью, заявил: «Я уже привык к возражениям со стороны аристократов…»

Буря недовольных возгласов заглушила последние слова молодого министра. Он стоял, молча дожидаясь, когда воцарится спокойствие.

«Я настолько привык к возражениям со стороны аристократов, которые всегда прибегают к насмешкам и обвинениям…», — повторил мистер Черчилль.

В течение пяти минут не удавалось погасить очередную волну возмущенных возгласов.

Уинстон продолжал стоять, но выглядел очень уставшим. И тогда молодой член Консервативной партии, чтобы добить его, выкрикнул: «Это ваша первая попытка возглавлять палату общин и вот как вы справляетесь с этим! — и добавил насмешливо: — Будущий премьер-министр Англии!»

Подобные насмешки были еще одним напоминанием о той цене, которую Черчиллю теперь приходилось платить за свой

быстрый подъем по карьерной лестнице. Обида, зависть, злоба — Уинстон хлебнул их в полной мере и от своих друзей и от врагов. Ему хотелось стать национальным героем, но теперь он был также и национальной мишенью. Многое ему удавалось, благодаря юношескому задору, неистощимой энергии, блестящим качествам ума. И, конечно, неизбежно, что его как лидера постоянно критиковали либо за то, что он недостаточно блестящ, либо за то, что выказывает слишком много храбрости, как в случае с перестрелкой на Сидни-стрит.

И уж коли он брал бразды правления в руки, следовало ждать, что ему поставят немало палок в колеса. В конце невероятно долгого и изматывающего заседания, — после девятнадцати часов прений, в ходе которых Уинстон защищал действия правительства, — Уинстон, к удивлению падавших с ног репортеров, прошел по гостиной, бодро улыбаясь, словно только что совершил прогулку. Он сел за столик рядом с Остином — сыном Джо Чемберлена — и два противника с удовольствием позавтракали вместе яйцами, беконом и испеченной на решетке камбалой.

Ничто не могло надолго ввергнуть его в уныние. А перед завтраком — что входило в его обязанность, он успел он отправить королю короткий отчет о том, как прошло заседание. «В какой-то момент во время долгих споров температура поднялась намного выше нормы, — писал он, — но сейчас здоровью парламента ничто не угрожает. Температура нормализовалась, дискуссия завершена самым наилучшим образом».

XXI. Штормовое предупреждение

На валлийском острове Энглси в апреле 1911 года мужчина тридцати шести лет увлеченно строил на берегу моря крепости и дамбы из песка. Он был так поглощен своим занятием, что восхищенные прохожие невольно останавливались, чтобы получше рассмотреть его сооружения. Выстроить такие красивые здания из песка мог только замечательный архитектор, приехавший сюда провести выходные дни, или же это был просто эксцентричный человек — они никак не могли понять. Но, присмотревшись внимательнее, обнаружили, что их творец — не кто иной, как министр внутренних дел. Новость быстро облетела небольшой городок, и вскоре собралась приличная толпа. Правда, почти все из уважения держались подальше от берега, наблюдая за гостем через театральные бинокли.

«Занятие потеряло для него всю привлекательность, — писал впоследствии Эдди Марш, — пришлось бросить «строительство», потому что на площадке собрался народ, наблюдавший за ним». Сооружение из песка плотин и протоков было любимым увлечением Уинстона во время отдыха. Оно отвечало его деятельной и активной натуре. Но сторонние зрители мешали полностью погрузиться в это занятие. Ведь он создавал свой собственный мир, и ему не хотелось выставлять его напоказ. Завершив строительство, Уинстон оставлял его, предоставив волнам и ветру разрушить сделанное. В его обычной работе все создавалось с меньшей легкостью, чем сооружения из песка. Такие воскресные походы к морю доставляли ему невыразимую радость. И он всегда просил Клемми отыскать место поинтереснее. «Хорошо бы найти действительно хороший песчаный пляж, — писал он, — где я бы мог выстроить конусообразную крепость, и чтобы рядом протекал небольшой ручеек. Как найдешь — сообщи!»

Короткий частный отдых на северо-западе Уэльса — вдали от волнений в Тонипэнди — был для Уинстона только небольшим перерывом, после которого ему предстояло снова вернуться к нескончаемой веренице дел в министерстве и парламенте. Вот почему он с таким самозабвением лепил из песка замечательные здания на тихом острове, где его приютил лорд Шеффилд, отец Венеции Стэнли. Клемми была вместе с ним и тоже пребывала в хорошем настроении. Она ждала второго ребенка в мае, и большую часть апреля провела на Энглси, чтобы вернуться в Лондон перед самыми родами. Уинстону она писала: «Я уже с нетерпением жду появления нашей «корзиночки» — так она

называла ребенка. Клемми была уверена, что родится мальчик.

Несмотря на то, что Уинстон со всей страстью отдавался работе и карьере, он ухитрялся оставаться любящим и заботливым отцом. Когда в положенный срок родилась вторая дочь, он проявил весь свой недюжинный ум и аналитический дар, чтобы подобрать хорошие вещи для ребенка. С такой же сосредоточенностью он искал подходящие игрушки и для первой — двухлетней девочки. Уинстон осмотрел все полки одного из лондонских магазинов, прежде чем остановил свой выбор на наборе «Животные Ноева ковчега». После чего принялся анализировать: какого цвета игрушки покупать — белые или разноцветные?!

«После долгих размышлений я пришел к выводу, что лучше всего покупать деревянные, некрашеные игрушки, — объяснял он Клемми, — но все-таки рискнул взять и несколько разноцветных. Они такие яркие и привлекательные». Однако он все еще продолжать сомневаться — слова директора магазина, что красочное покрытие совершенно безвредно для малышей, — не успокоили его. Уинстона заверили, что краски выбраны самого лучшего качества, но он продолжал тревожиться, и писал жене, чтобы она следила за тем, чтобы дети не совали игрушки в рот.

Одним словом, Черчилль даже покупку детских вещей рассматривал как государственный проект, который следовало изучить со всех сторон и предусмотреть все мелочи, прежде чем прийти к какому-то решению. Чем бы он ни начинал заниматься, он отдавался этому делу полностью, исследуя его во всех подробностях. Незначительных вопросов для него не существовало. Требование представить весь объем сведений по тому или иному делу, — для тех, кто не знал его настырность, кто еще не привык к его требовательности — изнуряло подчиненных.

Сын, появления которого на свет так ждали оба супруга, родился 28 мая 1911 года. Естественно, его назвали в честь отца Черчилля — Рэндольф. Мальчик родился крепеньким, здоровым, с приятными чертами лица. Клемми была счастлива настолько, что через неделю после появления ребенка на свет написала Уинстону: «Ты так изменил всю мою жизнь, что я теперь даже не могу представить, какой она была до того, как три года назад я вышла за тебя замуж».

За четыре дня до рождения маленького Рэндольфа сосед семьи Черчиллей по Экклстон-сквер — Ф.Э. Смит — устроил вместе со своим молодым другом-тори лордом Уинтертоном костюмированный бал в отеле «Кларидж». Бал стал событием

сезона и одновременно предметом критических нападок — как декадентская причуда состоятельных людей. И вместе с тем десятки либералов были счастливы принять участие в празднике, устроенном тори. Каждая из двух партий состязалась с другой в выдумке и изощренности костюмов. Без сомнения, самое большое впечатление на всех произвел костюм Консуэло Мальборо. С ее стройной фигурой, длинной шеей, покатыми плечами она производила впечатление дрезденской фарфоровой пастушки. На костюмированном балу никого не удивило появление Генриха VIII, Клеопатры или рыцаря-крестоносца. Ф.Э. Смит оделся как придворный восемнадцатого века, дополнив свой костюм из белого атласа напудренным париком. Но члены кабинета не решились уронить достоинство правительственных деятелей каким-нибудь сомнительным нарядом. Они пришли в обычных костюмах и — как это сделал Уинстон — накинули поверх красные плащи.

Пока любители развлечений танцевали до полуночи, политики стояли чуть в стороне, закинув на плечи свои плащи, курили и разговаривали. Главным сюрпризом вечера стало появление на балу Уолдорфа Астора и его прелестной жены Нэнси. Она была одета в розовое платье — как балетная танцовщица, но всеобщее внимание и оживление вызывал костюм ее мужа. Он пришел, облаченный в мантию пэра с нагрудным знаком, на котором красовался номер 499. На спине у него был другой знак с надписью *one more vacancy* («еще одна вакансия»).

Каждый из присутствующих понимал, что это означает. Палата лордов потеряет свое давнее право накладывать «вето» на обсуждение того или закона, — если либералы наберут из своего числа достаточное число пэров. Смысл шутки был ясен всем. Но смех многих выглядел натянутым. Асквит, одетый в обычный строгий вечерний костюм, сдержанно усмехнулся при виде шуточного наряда Астора. Он уже сообщил оппозиции, что король дал торжественное обещание возвести в звание новых пэров. Бальфур и другие представители палаты лордов надеялись, что угроза отмены «вето» лопнет как пузырь. Однако им пришлось пересмотреть свои представления.

Сам не подозревая о том, Ф.Э. Смит, устраивая костюмированный бал, предоставил тем самым либералам и тори последнюю возможность посмеяться над собой, прежде чем вспыхнут новые ожесточенные сражения, в пожаре которых исчезнут старые привилегии аристократов. Дружба Черчилля и Смита выдержит испытания политических баталий нескольких ближайших лет, но многие парламентарии из двух противоборствующих партий разорвут существовавшие между

ними прежде дружеские или приятельские отношения. Костюмированный бал не был демонстрацией богатства. Это была демонстрация веселого презрения к приближающейся катастрофе — утрате давних привилегий, — и последняя попытка предотвратить горькие потери, которые внесут смятение и раскол в собственной стране и за ее пределами. Обе стороны осознавали, что течение несет их к водопаду, однако ни те, ни другие не пытались вовремя, пока это еще не поздно, уклониться от опасности.

Усмешка частенько появлялась потом на лице Асквита. Он слишком долго продержал всех в неведении о том, что король дал торжественное обещание, и когда объявил об этом, оппозиция почувствовала себя преданной. Премьер-министра обвиняли в том, что он сбивает страну с правильного пути, что он обвел нового монарха вокруг пальца и вовлек его в унизительную для его положения политическую игру. Одним из самых ярких критиков готовящегося закона стал Ф.Э. Смит. В понедельник 24 июля он устроил в палате общин грандиозное шоу, которое могло бы затмить и костюмированный бал в «Кларидже», хотя на этот раз Ф.Э. явился в обычном делом костюме. Заднескамеечники тори бурно поддерживали его. И этот спектакль был намного более шумным, чем костюмированный бал.

В тот июльский день Лондон накрыла волна духоты и нестерпимого зноя. Члены кабинета изнемогали от жары, когда Асквит встал, чтобы произнести послеобеденную речь по вопросу о парламентском билле. Он приехал на заседание парламента с Даунинг-стрит в открытом автомобиле вместе с Уинстоном в сопровождении Марго и Вайолет. На улице выстроились толпы сочувствующих. Когда Марго и Вайолет поднялись на галерею для леди, то и там все было заполнено до отказа. Многие женщины в состоянии волнения даже встали со своих мест, чтобы лучше видеть происходящее.

Но как только Асквит открыл рот, Ф.Э. Смит и Линки Сесил вскочили и начали перекрикивать премьер-министра. Половину из того, что они сказали, понять было невозможно, потому что ропот поднялся со всех сторон. Однако сквозь шум и крики Смит все же сумел прокричать, что «правительство привело к полной деградации политическую жизнь в стране». Сесил своим пронзительным голосом все время то призывал всех «к порядку», то выкрикивал бессвязные фразы вроде «проституирование общепринятых парламентских правил». Наверное, с полчаса Ф.Э. и Линки продолжали в том же духе, причем к ним присоединились остальные тори, выкрикивавшие Асквиту «диктатор» и тому подобные оскорбления. Премьер-министр,

кому так и не дали высказаться, вынужден был сесть. Лорд Хью пришел в такое неистовство, что казалось вот-вот и его нервная система не выдержит напряжения: лицо его исказилось, а тело изогнулось под каким-то невероятным углом.

В момент короткой паузы член лейбористской партии Уилл Крукс услышал, как Линки говорит: «Многих людей обвинили бы уже давно даже за половину того, что благородный лорд сделал сегодня».

И без того взмокшие от пота Марго и Вайолет пришли в ужас из-за бешеного нападения, которому подвергся Асквит. Сесил не просто покраснел, он почти побагровел от прилива чувств, и Вайолет позже напишет, что тот «выглядел настолько же отвратительно, как бабуин или эпилептик на грани припадка или как все суфражистки вместе взятые». Марго настолько вывели из себя действия Смита и Сесила (она назвала их «скотами», а потом почему-то «евнухами»), что она отправила записку министру иностранных дел сэру Эдварду Грею, сидевшему рядом с ее мужем, с просьбой положить конец этому бесчеловечному и унизительному представлению.

Еще с тех пор, когда Кэмпбелл-Баннерман занимал премьерское кресло, Грей пользовался всеобщим уважением, может быть, отчасти из-за того, что в отличие от Черчилля никогда не вступал ни с кем в жаркие споры и не устраивал представлений из своих речей. Он оставлял впечатление человека щепетильного, руки его были чисты, ни в каких закулисных интригах он не был замешан, не принимал участия в «драках не по правилам», столь свойственных многим политикам. Благодаря этим качествам сэра Эдварда Грея, один из журналистов написал о нем: «Мужские страсти, базарные крики, неистовство споров его не касались. Он всегда держался в стороне от них в некоторой изоляции, исполненной степенного величия».

Вот почему Марго инстинктивно обратилась именно к нему, чувствуя, что только он в состоянии навести порядок в парламенте. Позже она вспоминала: «Я быстро нацарапала ему записку и отправила ее вниз с нашей душной галереи: «Они должны прислушаться к твоим словам, — ради бога, помешай им передраться между собой как кошки с собаками!»

И они действительно прислушались к его словам. После того, как Асквит встал, а затем вынужден был сесть, после того, как Бальфур пытался призвать всех к порядку, Грей в своей сдержанной манере сделал замечание оппозиции. Некоторые из нарушителей спокойствия еще пытались вскинуться, но таких было совсем немного, а все прочие сразу замолчали.

«Еще никогда, — начал Грей, — ни один лидер партии,

располагающей большинством в палате общин, — не пользовался таким благородным личным уважением и такой же всеобщей политической поддержкой, как мой достопочтенный друг премьер-министр… Достопочтенные члены палаты от оппозиции легко могут представить себе, насколько менее сильными станут эти чувства после той сцены, которую мы здесь наблюдали. Хотя это была персональная неучтивость в отношении достопочтенного джентльмена, премьер-министра, она возмутила каждого из нас».

Когда Грей сел, Ф.Э. вскочил и попытался возобновить дебаты, но его заставили замолчать, и заседание было объявлено закрытым из-за беспорядка. В коридоре Марго бросилась к сэру Эдварду и обняла его, словно рыцаря былых времен, только что сразившего страшного дракона. «Я встретила Эдварда Грея, в тот момент, когда он вышел из зала, — вспоминала Марго. — И когда я прижала губы к его руке, его глаза наполнились слезами». Но премьер-министр не ждал помощи Грея, он считал, что с политической точки зрения было бы намного вернее дать возможность Линки и Ф.Э. выразить несогласие от лица тори. Однако Марго, склонная к мелодраматическим эффектам, предпочитала думать, что ее Генри был спасен от дальнейшего унижения неустрашимым министром иностранных дел».

Что касается Черчилля, то, с одной стороны, ему было жаль, — вместо того, чтобы приводить серьезные аргументы, оппозиционеры «устроили беспорядок», а, с другой, он не без удовольствия наблюдал за тем, как Линки, его старый друг из числа хулиганов, и Ф.Э. подняли такой гвалт. Либералы не сомневались — несмотря на то, что на этом заседании их лидеру не дали говорить, парламентский билль все равно пройдет тем или иным способом. У них для этого хватало голосов. А если нет, тогда король посвятит в пэры столько членов Либеральной партии, сколько ей понадобится для достижения преимущества в палате лордов. Среди тех, кого Асквит намеревался удостоить почетного звания, был, например, писатель Томас Харди.

Несмотря на возражения и поднятую шумиху, в августе закончилось давно наследуемое право лордов накладывать вето. Теперь землевладельческая аристократия не могла застопорить работу нижней палаты парламента. Правда, за ними оставили возможность отсрочить на два года утверждение любых законов, за исключением тех, что касались денежных вопросов. Таким образом, лордов из двенадцатого столетия втолкнули в двадцатый век. Но либералы старались по пути хорошенько пнуть их, задевая самолюбие наделенных властью людей. И теперь многие из этих «раненых» оппонентов искали случая, чтобы

отомстить за свое поражение и ответить ударом на удар.

* * *

Либералам не составляло сложности выкрикивать протестные лозунги в парламенте, но они не подозревали, что последует за «бомбометанием». Управиться с последствиями оказалось намного сложнее. Среди рабочих нарастали волнения. Жаркие споры в парламенте перевели ропот недовольства в рабочей среде в открытые мятежи. То тут, то там вспыхивали стачки, но наибольшее число бастующих приходилось на докеров Лондона и Мерсисайда и на железнодорожных рабочих, обслуживавших железные дороги всей страны. За две августовские недели хаос воцарился везде, транспортировка грузов остановилась, а как следствие начались перебои и с доставкой продуктов. Забастовщики начали громить склады, нападать на охранников вагонов, перевозивших товары.

Уличные беспорядки в Ливерпуле достигли такого масштаба, что местные власти предупредили Черчилля — «город оказался на осадном положении». Прекратилась доставка не только продовольствия, но и лекарств. Встревоженный возникшей ситуацией король говорил Черчиллю, что это уже «больше похоже на революцию, чем на обычные забастовки». И настаивал на том, чтобы войскам, если те будут задействованы, «развязали руки», и подавление беспорядков велось устрашающим образом». Черчилль потерял терпение в отношении забастовщиков и отправил в Ливерпуль целую бригаду пехоты и два полка кавалерии.

Город превратился в поле битвы. Многочисленная толпа начала штурмовать тюрьму, чтобы освободить пятерых своих товарищей. Конный полицейский выстрелил из револьвера в воздух, когда один из бунтарей попытался стащить его с лошади. Поскольку нападавший продолжал упорствовать, полисмен выстрелил в этого человека и ранил его. Понадобился кавалерийский эскорт с обнаженными саблями, чтобы очистить запруженную улицу. Восставшие забирались на крыши и оттуда забрасывали войска кирпичами, кусками черепицы, бутылками, камнями — всем, что попадалось под руку. Солдаты произвели много предупредительных выстрелов, но это не испугало забастовщиков. В ходе яростного столкновения сторон случилась трагедия. Двое местных мужчин были убиты — их обоих застрелили военные.

На следующий день — 16 августа — сотни солдат и

полицейских сформировали конвой, чтобы на повозках доставить продовольствие из доков в город. «Такого наплыва военных в Ливерпуле до сих пор не видели, — писал репортер. — И никогда еще ни в одном английском городе не требовалось такой охраны для безопасного сопровождения продуктов».

Положение было опасное. Тот же репортер писал: «После продолжавшейся более недели анархии город стоял на грани разрухи… Среди бедноты распространилась жесточайшая нужда, народ пребывал в отчаянии. Надо было искать еду, люди не знали, чем кормить детей… Улицы были запружены толпами, вскоре могли начаться эпидемии. И все только из-за того, что железные дороги не работали. В течение нескольких последних дней в городе разыгрывались душераздирающие сцены».

Уинстон семь лет старался быть хорошим либералом, проводя социальные реформы, заботясь о мире и сокращении военных расходов, и подставляя другую щеку различным врагам. Теперь он внезапно преобразился в решительного воина, противостоящего большой смуте. Его коллеги по кабинету министров были потрясены масштабом рабочих волнений, но некоторых из них еще более потряс агрессивный ответ Черчилля на эти беспорядки. 17 августа новый министр иностранных дел в кабинете Асквита — Льюис Харкорт, сын старого либерала сэра Уильяма Вернона Харкорта, писал жене: «Пятьдесят тысяч солдат сегодня ночью были выведены из казарм и направлены в разные концы страны, чтобы защищать жизнь людей, собственность и продукты питания… Уинстон все еще не в себе от негодования, но, кажется, — по сравнению со вчерашним днем — уже начинает брать себя в руки».

Лулу — как его называли — пустой и тщеславный младший сын Харкорта, как всем было известно, не относился к числу бойцов. Но даже он осознавал, что чрезвычайные меры, предпринятые Черчиллем, были вынужденными. Он сообщал своей жене: «Уинстон уже произвел слишком много действий в качестве главнокомандующего и передвинул с места на место тысячи солдат; он только что послал военный корабль к Мерси с приказом высадить «синие куртки» [50] и, если потребуется, работать в качестве парома». Действительно, Черчилль собирался использовать все доступные средства, чтобы восстановить порядок и сделать это как можно быстрее. Крейсер Королевских военно-морских сил «Антрим» (HMS *Antrim*) он отправил по просьбе мэров Ливерпуля и Биркенхеда, — те опасались, что ситуация в доках может выйти из-под контроля. В то время он был готов послать войска туда, где требовалось дать населению мощный сигнал, свидетельствующий о решимости правительства

прекратить беспорядки. Его старые военные навыки пробудились, и он бросился в бой со всей своей энергией.

Развертывание такого количества войск представляло большой риск для правительства, поэтому Ллойд-Джордж был также задействован, но как миротворец, то есть ему предстояло выступить в той роли, играть которую он всячески избегал в Тонипэнди. Желая предотвратить дальнейшие столкновения между войсками Уинстона и забастовщиками, Ллойд-Джордж предложил свою кандидатуру в качестве посредника на переговорах. Отдавая ему должное, надо отметить, что он с невероятной скоростью нашел способ разрешения конфликта. 19 августа, после продолжавшейся весь день встречи с полномочными представителями железнодорожных рабочих и их нанимателей, он сумел найти компромисс, удовлетворяющий все стороны. Железнодорожники возобновили обычные перевозки, а те из них, кто участвовал в забастовках, вернулись на работу. Солдаты начали возвращаться в свои казармы, товары стали снова своевременно доставляться в пункты назначения, и даже невыносимая летняя жара отступила.

Ллойд-Джордж ликовал. Прибыв в военное министерство, он объявил о своем триумфе следующими словами: «Бутылку шампанского! Я справился! Не спрашивайте меня как — я и сам не понимаю, но с забастовкой покончено!»

Но известие о достигнутом соглашении поступило к забастовщикам города Лланелли в Уэльсе слишком поздно. Они остановили трамвай, напали на водителя, а затем вступили в драку с войсками, которые пытались остановить их. Двух забастовщиков застрелили. Трое других погибли при взрыве на атакованной ими станции, где они подожгли депо, в котором хранился динамит, предназначенный для прокладки железнодорожных путей. От взрыва этого динамита содрогнулся весь город, а многие забастовщики получили ранения. Несколько невинных гражданских лиц, в том числе три женщины, тоже были ранены. Беспорядки продолжались несколько часов, и один из местных торговцев, бакалейщик, лишился почти всего, когда его лавка была разграблена.

Владелец газеты Джордж Риддел — близкий друг Ллойд-Джорджа и его финансовый гарант, заметил в дневнике, что во время забастовок Черчилль метался между желанием проявить сдержанность и побуждением к бою. «Положение министра внутренних дел обязывает его действовать безотлагательно, что не отвечает его внутренним устремлениям. И это серьезное внутреннее разногласие. Невозможно не заметить, что ему приходится стискивать зубы. Но как человек военной закалки, он

все же предпочитает действовать самыми жесткими способами, чтобы предотвратить дальнейшие рабочие волнения».

Ллойд-Джордж беспокоился о том, что Черчилля, как министра внутренних дел, сделают ответственным за чрезмерное применение силы. Другие либералы открыто возмущались по этому поводу. Вайолет Асквит слышала некоторые недовольные высказывания, касающиеся силового ответа Черчилля на забастовки, и прекрасно понимала, почему либералы были «столь критично настроены и обеспокоены». На старости лет она объясняла это так: «Конечно, они осознавали, что его действия были верными и отвечали сложившейся обстановке, но они не могли ему простить того жара, с которым он это делал… Но ведь Уинстон никогда ничего не делал наполовину. С такой же страстью и энтузиазмом он вел мирные переговоры — чему я сама была свидетелем».

Вопрос вставал таким образом: следует ли Черчиллю вести соглашательскую политику — ради того, чтобы сохранить расположение либералов, зато тем самым причинить вред большому числу людей в стране, если беспорядки будут продолжаться. Не считаясь с тем, кто выступал в роли противника — упрямые представители палаты лордов или бесчинствующие рабочие, — он всегда действовал самым решительным образом, как написала Вайолет, «с пылом и жаром». Но его энтузиазм, с которым он бросался в бой, не разделяли многие умеренные и более хладнокровные либералы. По степени внутреннего накала ему не уступал, пожалуй, только Ллойд-Джордж, но тот обычно приберегал его для выступлений, в поступках это почти не проявлялось. Уинстон сохранял жар в груди и когда произносил речи, и когда наступало время действовать.

Точно так же он не юлил, пытаясь оправдаться, когда выступил 22 августа в палате общин. «Политика, которой мы тщательно следовали, — сказал он, — требовала посылать столько солдат, чтобы не возникало сомнений относительно очевидной способности властей установить порядок… Четыре или пять человек были убиты военными. Палата знает об этих случаях, повсюду упоминаемых сегодня. Их мучительный эффект еще свеж в нашей памяти. Что не осознается, и что следовало бы принимать в расчет, так это то, как много жизней было спасено и как много трагедий и человеческих страданий предотвращено».

Черчилль становился все более решительным к концу забастовок, потому что в июле и августе вспыхнул серьезный внешнеполитический кризис. В то же самое время, когда британское правительство боролось с лордами и рабочими у себя

дома, немцы решили вмешаться в ситуацию в атлантическом порту Агадир в Марокко, к юго-западу от Марракеша. 1 июля 1911 года «Пантера» — немецкая канонерская лодка, вооруженная только двумя небольшими четырехфунтовыми орудиями, — вошла в вышеупомянутый марокканский порт с заданием защитить германские торговые интересы [51]. На самом деле там находился только один молодой гамбургский торговец, господин Вильберг, который даже не понимал, какого рода помощь ему требуется, но, получив соответствующие инструкции, вышел встречать канонерку. Он стоял на причале в белом костюме и махал рукой, чтобы соотечественники обратили на него внимание и «спасли» [52].

Эта грубо разыгранная уловка понадобилась немцам для того, чтобы запугать Францию, которая воспринимала Марокко как свой неофициальный протекторат. Они рассчитывали, что присутствие в Агадире их военно-морского флота заставит французов пойти на уступки и передать Германии часть своих колониальных владений. Когда германский посол в Лондоне граф Меттерних известил министерство иностранных дел Великобритании о прибытии «Пантеры» в Агадир, немногие британские чиновники, знакомые с обстановкой в том регионе, были удивлены и шокированы, зная, что немцы не имели причин там появляться. Но то, что сначала Гилберт и Салливан восприняли как фарс, обернулось реальным противостоянием. Франция не собиралась поддаваться на угрозы, а Германия не желала отступать, и Англия сочла необходимым сказать свое слово.

По сути, никому не было дела до самого Агадира, однако британский министр иностранных дел осудил Германию за нечестную игру. «Пруссаки — надоедливый, циничный народ, — писал сэр Эдвард Грей в письме другу. — Они считают, что настало время, когда им удастся что-то заполучить, но они не получат столько, сколько им хотелось бы». Немцы совершили ошибку, решившись действовать, не зная, как довести дело до конца. Почти три недели в июле они хранили молчание по поводу своих намерений, и Британия и Франция из-за этого молчания представляли все в самом худшем свете. «Германия ищет повода для войны с Францией, — предполагал Черчилль, — или просто пытается при помощи давления и последующего торга улучшить свою колониальную позицию?» Журналисты в своих газетных статьях тоже строили догадки, и сочли, что Германия намеревается базировать свой флот в Агадире для контроля над Атлантикой. В таком случае, насколько это будет угрожать военно-морскому превосходству Британии? На протяжении

нескольких прошедших месяцев Уинстон Черчилль постепенно менял свою прежнюю точку зрения, состоявшую в том, что Германия будет пытаться избежать войны с Британией. Это вопрос он, как министр внутренних дел, всесторонне обсудил с Бюро секретной службы, а затем представил свои выводы Грею. «Мы являемся объектом детального и научного изучения со стороны германского военного и военно-морского руководства, — писал Черчилль главе внешнеполитического ведомства, — ни одна нация в мире не уделяет нам столь же пристального внимания». Уинстон также отдавал себе отчет, что германская армия заметно усовершенствовалась с тех пор, как он, наблюдая за ней с седла своей лошади на полевых маневрах 1906 года в Силезии, улыбался при виде ее устаревших тактических приемов. В 1909 году, ненадолго оторвавшись от своих обычных министерских дел в Лондоне, он снова посетил маневры кайзеровских войск и отметил «выдающийся» прогресс в их обучении. Там было меньше помпезности, намного больше пулеметов, и еще лучше использовались смертоносные артиллерийские батареи.

Анализируя и сопоставляя факты, он пришел к выводу, что немцы не будут начинать войну с захвата порта, о котором большинство европейцев никогда и не слышало. Но германское бряцание оружием продолжало возбуждать его сомнения и увеличивать его тревогу до самого конца того жаркого лета.

Эти же сомнения начали тревожить и Ллойд-Джорджа. Он беспокоился не только из-за того, что угроза прусского милитаризма заставит забрать больше денег у британских социальных программ, но еще и потому, что слабая Франция может поддаться давлению Германии, и это подтолкнет кайзера на новые опасные действия. Во время совместного завтрака с Черчиллем и редактором газеты «Манчестер Гардиан» Ллойд-Джордж сообщил, что Франция боится, что «эти грозные легионы перейдут ее границу… Они могут оказаться в Париже через месяц». По совету Черчилля и с одобрения министра иностранных дел он решил выступить с речью, которая могла бы стать предостережением для немцев.

21 июля на обеде, данном в Лондоне, Ллойд-Джордж сделал заявление: «Я готов пойти на величайшие жертвы, чтобы сохранить мир… Но если нам будет навязана ситуация, при которой мир может быть сохранен только путем отказа от той значительной и благотворной роли, которую Британия завоевала себе столетиями героизма и успехов; если Британию в вопросах, затрагивающих ее жизненные интересы, будут третировать так, точно она больше не имеет никакого значения в семье народов,

тогда — я подчеркиваю это — мир, купленный такой ценой, явился бы унижением, невыносимым для такой великой страны, как наша».

Когда выступление появилось в печати, оно застало германское правительство врасплох. Кайзер был разгневан и обрушился на британского посла, который позже вспоминал: «Он обвинял нас так, словно мы были карманными воришками».

Ближе к вечеру 25 июля Черчилль и Ллойд-Джордж прогуливались возле Букингемского дворца, когда к ним чуть ли не бегом подошел чиновник из министерства иностранных дел и сказал, что сэр Эдвард Грей срочно хочет встретиться с ними. Обычно невозмутимый министр иностранных дел с нетерпением ждал их появления. Он только что закончил разговор с графом Меттернихом и находился под сильнейшим впечатлением от того, насколько посол Германии был возмущен выступлением Ллойд-Джорджа. Со слов Меттерниха у Грея создалось впечатление, что британский флот «может быть атакован в любой момент».

Лето выдалось таким напряженным, что сэр Эдвард запаниковал, истолковав по-своему гневные высказывания Меттерниха. Действительно, немцы не скрывали своего возмущения, но оно все-таки не было настолько сильным, чтобы немедленно напасть на могучий Королевский флот Британии. Если бы у Грея было время на то, чтобы все взвесить, он бы успокоился. Но события развивались так стремительно. Реджи Маккенна прибыл из адмиралтейства и согласился с тем, что надо вывести корабли Его Величества в море. В течение пары дней люди, занимавшие в Британии высшие посты, с минуты на минуту ждали сообщения, что война началась.

К счастью, тревога оказалась напрасной. Многие адмиралы — часть из них находилась в отпуске, который они взяли из-за страшной жары, — не разделяли тревоги сэра Эдварда. Но случайный выстрел, сделанный не в ту сторону в те дни, мог сыграть роковую роль и спровоцировать немцев на бой. Вот из-за таких накладок и непонимания очень часто и начинаются военные действия.

Но из-за ложной тревоги Асквит и другие члены кабинета сочли, что есть все основания поддержать Францию. При встречах на самом высшем уровне обсуждались вопросы стратегии, уточнялись данные карт, и Черчилль принялся строчить письма и докладные записки о том, что необходимо предпринять в ближайшее время. Его перу — в нем, видимо, снова проснулся писатель, — принадлежит работа под неутешительным заглавием «Военные аспекты континентальной проблемы». Фактически, это была памятная записка, предназначенная для Асквита и Комитета

имперской обороны, но она читалась как набросок романа о первых неделях будущей общеевропейской войны. Опираясь на свой немалый дар воображения, Уинстон описывал то, что, по его представлениям, будет происходить в первые сорок дней боев. Насколько точными оказались его прогнозы, стало ясно после начала Первой мировой войны — «спустя три года эти пророчества были почти дословно подтверждены реальным ходом событий».

Среди прочего, он предсказывал, что немцы начнут войну, смяв сначала бельгийскую армию и вынудив французские войска перегруппироваться для обороны Парижа. «Баланс возможностей, — писал Черчилль в 1911 году, — состоит в том, что к двадцатому дню военных действий французские армии будут отброшены с линии Мёза и отступят к Парижу и на юг». Проблема для немцев, по его представлению, заключалась в том, что «к сороковому дню Германия достигнет полного напряжения сил и возможностей как внутри страны, так и на ее военных фронтах». Тогда французы, как надеялся Черчилль, получат шанс провести контрнаступление, только «если французская армия не растратит свои усилия в опрометчивой или отчаянной акции».

Удивительным образом Черчилль попал в яблочко. Именно 9 сентября 1914 года — на сороковой день после германской мобилизации — перенапрягшаяся армия кайзера была обращена вспять в Первой битве на Марне, вследствие чего ей пришлось окопаться и в течение следующих четырех лет вести войну на истощение. Однако Уинстон не смог предусмотреть, что эта патовая ситуация наступит после нерешительного французского наступления, и что в результате окопного противостояния обе стороны понесут такие огромные потери. Тем не менее, в 1911 году Уинстон был единственным человеком в руководящей верхушке Британии, кто видел так далеко вперед, предсказывая грядущую мировую катастрофу.

Страхи, вызванные Агадирским кризисом, вскоре отступили, как и предполагали холодные головы. Чтобы предоставить немцам спасающую их лицо уступку, французы отдали им некоторую часть африканской территории, не представлявшую для них самих особой ценности [53]. После этого многие в Британии сочли положение достаточно безопасным, чтобы вернуться к своим обычным делам.

Но кризис изменил Уинстона. Коль скоро его воображение затронули проблемы европейской войны, это стало для него предметом постоянных размышлений и более глубокого изучения вопроса. И этот глубокий интерес толкал его на исследование всего, что имело к этому отношение. Он осознавал, что к

конфликту надо основательно готовиться. Вот причина того, почему он ощущал, что рожден быть лидером. Занимая пост министра внутренних дел, он не мог полностью отдаться вопросам безопасности страны. Военное министерство, адмиралтейство, министерство иностранных дел, возможно даже пост премьер-миистра, — вот что могло развязать ему руки, вот где он мог приложить все свои силы, чтобы предотвратить грядущую войну или добиться победы Британии.

До того как произойдут перестановки, он взял давно заслуженный отпуск, чтобы отдохнуть вместе с Клемми на морском побережье Кента, неподалеку от Бродстэрса. И вот ранним сентябрьским утром он появился на берегу с ведром и совком. Репортер из «Дейли Миррор», оказавшийся в этих же местах, имел возможность следить, как министр внутренних дел занимается любимым делом на песчаном берегу. Когда он, наконец, добрался до Уинстона, то был поражен, с каким самозабвением тот возводит серию мощных укреплений и замков из песка. Министр внутренних дел стыдливо сказал, что делает это все для того, чтобы позабавить свою младшую дочь и окрестных детишек.

На следующий день в газете появилась вполне невинная заметка «Кропотливая работа мистера Черчилля». И никто, за исключением его друзей, не заподозрил, насколько серьезно отдавался этому занятию Черчилль, который наслаждался возможностью позволить рукам формировать то, что рисовало его воображение. Когда Эдди Марш прочитал заметку, он засмеялся и написал друзьям: «Представляю, какие мысли придут в голову немцам, когда они услышат, что министр внутренних дел проводит отпуск, строя личные укрепления на южном побережье».

XXII. Армада

В конце сентября Уинстон проехал по Шотландии, чтобы встретиться со своими избирателями и провести несколько дней с премьер-министром, который остановился в том самом месте, куда Марго увезла семейство после «падения Вайолет со скалы «у Слейнс-Касла в 1908 году. В начале осени брат Марго, Арчерфилд, предоставил им для отдыха свой дом — большой каменный особняк примерно в двадцати милях от Эдинбурга. Приманкой для премьер-министра служили обширные площадки для игры в гольф на побережье. В 1908 год в журнале «Кантри Лайф» про них говорилось — «лучшие в мире среди частных площадок».

За последние месяцы отношение Вайолет к Клемми заметно потеплело, однако она все еще не могла прийти в себя после расставания с Уинстоном. Лицо ее сразу озарялось, как только он входил в комнату, и она не упускала ни единой возможности, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз, без посторонних. Как только Уинстон прибыл в Арчерфилд-Хаус, она тотчас увлекла его на одну из площадок, где, как она потом писала, «мы играли в гольф при золотых лучах закатного осеннего солнца, а чайки кружились над нашими головами».

В его глазах Вайолет читала невысказанный вопрос и понимала, что он имеет в виду. Политика была их общей любовью, и Уинстон не мог скрыть от нее свои мысли. С момента, когда случился Агадирский кризис, начались разговоры о замене на высшем посту в адмиралтействе. Черчилль рвался к работе, и знал, что Асквит недоволен тем, как ведет дела Реджи Маккенна. Не так давно премьер-министр сделал выговор Реджи за медленное исполнение рекомендаций встревоженного сэра Эдварда Грея.

Кто-то должен был хорошенько встряхнуть военно-морское ведомство и подготовить его к битве. Логически рассуждая, это был пост для Ричарда Холдейна, который уже показал себя отличным работником за прошедшие шесть лет в военном министерстве и которого совсем недавно возвели в пэры.

Не было секретом и то, что лорд Холдейн хотел бы стать первым лордом адмиралтейства. «Думается, я был едва ли не единственным подходящим человеком, — вспоминал он, — способным справиться с проблемами Главного военно-морского штаба. Я полагал, что и премьер-министр придерживается такой же точки зрения, но мы пока старательно избегали говорить о предстоящих переменах».

Именно Вайолет Асквит первой заговорила об адмиралтействе. Поддразнивая Уинстона, она сказала: «Почему ты не спрашиваешь моего совета об этом?»

Он понимал ее мысли так же хорошо, как она знала его мысли. «В вопросе выбора между Холдейном и Уинстоном, — ответил он, — ты не являешься беспристрастным судьей, ведь ты мой откровенный сторонник. Твои чаши весов отягощены явным фаворитизмом и эмоциями… Ты думаешь: «Ах, как будет счастлив Уинстон!»

Но Вайолет думала и о том, как она сама будет счастлива при этом. «Мне страстно хотелось, чтобы Уинстон перешел в адмиралтейство, — вспоминала она. — И не только потому, что тем самым исполнится его сердечное желание, но и потому, что я была уверена — это его истинное призвание, где он сможет полностью проявить свои величайшие способности».

Ее отец склонялся к тому, чтобы согласиться. На него произвели большое впечатление комментарии Черчилля относительно германской угрозы, а еще он думал, что намного безопаснее будет направить боевые навыки Уинстона на службу военно-морским силам, вместо министерства внутренних дел. Вайолет дирижировала за сценой, побуждая своего отца решиться на такую перестановку. Сложность состояла в том, как объяснить все это Холдейну. И Асквит нашел самое мудрое решение. Он счел, что надо дать возможность Черчиллю и Холдейну обсудить свои преимущества. Встреча должна была пройти наедине. Он верил, что Уинстон еще более укрепится в своих позициях, и смягчит своему коллеге — полноватому, обладавшему хорошим чувством юмора Холдейну, — тяжесть отказа.

Как только Холдейн приехал в дом, где остановился премьер-министр, он сразу почувствовал, как тают его надежды. Он увидел, что Черчилль ждет его у входа, чтобы поздороваться с гостем. Уинстон вел себя так, словно был членом семьи Асквита. Когда Асквит вышел, оставив их вдвоем, Холдейн понял, что угодил в ловушку: «Премьер-министр, — писал он впоследствии, — оставил меня наедине с Черчиллем». Холдейн выставил в свою пользу лучший, по его мнению, довод, указав на собственный опыт работы в военном министерстве и выразив сомнения в соответствующих навыках Уинстона. «Я прямо заявил, — отметил он позже в своих мемуарах, — что с моей точки зрения склад ума Черчилля больше подходит для планирования, чем для принятия мер, необходимых для решения проблем… противостоявших нам». Но Холдейн не смог состязаться с Уинстоном, который давал ему аргументированные ответы по всем пунктам. Поняв, что его дело проиграно, Холдейн

изящно отступил. «Я расстался с ним [Черчиллем] в Арчерфилде в самом дружеском духе», — вспоминал он.

В воскресенье 1 октября Уинстон и премьер-министр, взяв клюшки для гольфа, вышли на поле поиграть. Вайолет как раз готовила чай, когда заметила, что улыбающийся Уинстон идет к ней. Он вывел ее из дома и сообщил радостную новость: «Твой отец только что предложил мне адмиралтейство».

Она навсегда запомнила тот взгляд, которым он тогда смотрел на нее. Никогда она не видела его более счастливым. При вечернем свете они вместе отправились к морю, и Уинстон воодушевленно говорил всю дорогу. Его радовало не только то, что он перейдет в адмиралтейство, но и то, что сможет оставить тяжкую ношу министра внутренних дел: «судить и выносить приговоры».

Той же ночью Вайолет открыла дневник и описала реакцию Черчилля на его назначение: «Он был в прекрасном расположении духа (новый пост в кабинете министров был его долгожданной Меккой), строил грандиозные планы и упивался возможностями, которые открывались перед ним».

Только один человек был подавлен новостью — Реджи Маккенна. Асквит переводил его в министерство внутренних дел, куда тот не хотел идти. Распоряжение о перестановке пришло 10 октября, но еще две недели он пытался переубедить премьер-министра. Он даже поехал к Асквиту в Арчерфилд-Хаус, чтобы тот передумал и оставил его в адмиралтействе. Премьер-министр был непреклонен, но старался найти убедительные доводы. Он спросил Маккенну: «Вы действительно уверены, что вы тот единственный человек, который стоит между нами и большой европейской войной?» Не найдя подходящего ответа, Маккенна с неохотой согласился на свой перевод в министерство внутренних дел.

«Но он был страшно огорчен, — рассказывала Марго, — вид его был душераздирающе печален».

И четыре месяца спустя Маккенна все еще не мог смириться, продолжая доказывать всем и каждому, что он намного больше соответствует должности, чем Черчилль. Во время одного из званых обедов, 10 февраля, он оказался рядом с Вайолет и затеял тот же самый разговор, не дав себе труда задуматься, что Вайолет обожает Черчилля. В своем дневнике она записала: «Маккенна в напыщенном тоне отзывался о Черчилле — обратившись с этим не к кому-то другому, а именно ко *мне*. Он, должно быть, сошел с ума».

Рано или поздно Черчилль, наверное, все же добился бы желанного места первого лорда адмиралтейства, но нельзя не

отметить, что в 1911 году он получил эту должность не только благодаря собственным заслугам. При наличии конкурентов, он тогда имел на своей стороне важную союзницу в лице Вайолет — любимой дочери премьер-министра, шептавшей на ухо отцу нужные слова.

25 октября 1911 года, за месяц до своего тридцать седьмого дня рождения, Уинстон прибыл в адмиралтейство, располагавшееся в Уайтхолле, и занял свое кресло как гражданское лицо, возглавляющее самые мощные в мире военно-морские силы. Имея в своем составе более пятисот боевых кораблей и 130 000 человек, Королевский флот все еще оставался гордостью Британской империи и главным инструментом ее власти. Помимо Флота метрополии [54], в ведении первого лорда адмиралтейства находились Атлантический, Средиземноморский и Восточный флоты, а также громадные доки, разбросанные по всему земному шару, от английского Портсмута до Мальты, Бомбея, Сингапура, Сиднея и Гонконга. Это был в прямом смысле слова мировой флот, и он мог, теоретически, идти войной на кого угодно. Но Черчилль знал: его работа состоит в том, чтобы не возникало никаких сомнений относительно возможности британских ВМС сражаться и выиграть битву в одном отдельном водном регионе — Северном море.

Первым делом, придя в кабинет главы адмиралтейства, Черчилль прикрепил к стене за столом карту Северного моря, где штабные офицеры могли бы отмечать флажками позиции германского военно-морского флота.

Каждое утро Уинстон рассматривал карту, не потому даже, что перемещения немецких кораблей были так уж важны на тот момент. Как он позже писал, это делалось для того, чтобы «внушать себе и всем, кто работал со мной, чувство постоянного присутствия опасности». Негостеприимные северные воды между Германией и Британией — вот арена, где он должен был выиграть любой ценой.

У него были основания испытывать чувство благодарности к Маккенне за то, что тот выступил против него в тот памятный день 1909 года в вопросе о дредноутах и о строительстве новых гигантских линкоров. Сейчас он намеревался поставить вопрос об увеличении их количества и готов был объяснить почему. Он нашел способ публично принести своего рода извинения за ошибочное представление о Германии, сделанное им в прошлом: «Мы очень многим обязаны предусмотрительности и решительности мистера Маккенны», — сказал он в 1912 году на встрече в Шотландии.

Оставив Ллойд-Джорджу возможность завершить работу по утверждению закона о национальном страховании, — благодаря чему его имя навсегда оказалось связанным со страхованием здоровья и страхованием от безработицы, — Уинстон погрузился в изучение всех деталей и тонкостей, касающихся строительства более быстроходных и эффективных боевых кораблей, способных встать на пути германской армады. Военно-морские силы не интересовали Ллойд-Джорджа. Но где бы он ни встречался с Уинстоном, тот сразу начинал рассказывать, как обстоят дела в его ведомстве. «Послушай, Дэвид, хочу тебе сказать…» — обращался Черчилль к Ллойд-Джорджу, после чего следовал длинный монолог «о его убийственных кораблях».

Не будучи специалистом в тактике ведения морских боев, Черчилль все же много знал о войне и понимал самое главное, что часто упускали другие. В первый же год своей работы во главе военно-морского ведомства он обратился к аудитории в лондонском Берлингтон-Хаусе со следующими словами: «Адмиралтейство ставит перед собой одну-единственную задачу, сосредоточив на этом все силы и внимание, а именно — добиться максимума военной мощи в данный момент и в нужном направлении». Другими словами, за фасадом великолепной бюрократической машины адмиралтейства скрывалась тяжелая и постоянная монотонная работа, направленная только на одно: способность противопоставить сильному противнику еще большую мощь. При встрече дредноутов один удачный орудийный залп мог решить исход битвы. Следовательно, говорил Черчилль: «лучший способ сделать войну невозможной — это сделать победу несомненной».

И снова, как говорила Вайолет, он не работал вполсилы, он отдавался ей целиком. Черчилль не хотел войны, он знал, насколько она ужасна. «Какая бы великая цивилизация или развитая нация мира ни вступила в войну, — предупреждал он своих слушателей в Берлингтон-Хаусе, — она очень многое теряет задолго до того, как война подходит к концу». Но если Германия упорно строила все больше кораблей и начинала представлять все большую угрозу, Черчилль готов был приложить еще больше усилий, чтобы предотвратить сражение или ответить убийственным залпом.

Кайзер и его адмиралы прилагали огромные усилия для перевооружения германского флота. Но Черчилль все еще надеялся на иное разрешение вопроса. И за неделю до его выступления в Берлингтон-Хаусе он предложил немцам устроить «морские каникулы». Это давало бы обеим сторонам возможность повременить немного с постройкой кораблей, приостановить

военно-морские программы, рост вооружения, а если получится, то и покончить с этим на какое-то время. Уинстон сказал, что «каникулы» позволят «приостановить конкуренцию на море и начать все с чистой страницы в книге недоразумений». Но кайзер отнюдь не считал развернутую им гонку вооружений «недоразумением». Он полагал, что Британию надо потеснить, чтобы Германия могла возвыситься. Отвергнув британское предложение, он отправил в ответ краткое послание: «такое соглашение возможно только между союзниками».

Хотя Черчилль сознавал необходимость постройки все большего количества боевых кораблей, он искал еще чего-то, что выходило бы за рамки обычного численного превосходства. Желая сохранить преимущество в скорости и огневой мощи, он осуществил два важных нововведения, ставших самыми смелыми шагами за все время его руководства британскими военно-морскими силами. Во-первых, чтобы корабли могли двигаться с большей скоростью, Черчилль решил вместо угля использовать жидкое топливо. Во-вторых, чтобы обеспечить британским дредноутам превосходство над германскими в силе и дальности артиллерийского огня, он решил перевооружить их новыми пушками, заменив прежние 13,5-дюймовые (343-мм) орудия более массивными 15-дюймовыми (381-мм). Снаряды из этих пушек могли поразить цель на расстоянии двадцати миль.

Риск был немалый. Проблема с жидким топливом представлялась весьма серьезной, поскольку Британия испытывала в нем недостаток (как известно, в метрополии отсутствовали нефтяные месторождения). Используя цветистое выражение Черчилля, которое он дал палате общин: «Наши острова не наделены природным богатством — жидким топливом». Что же касается пятнадцатидюймовых пушек, то никто не знал, смогут ли они вообще стрелять должным образом, поскольку «таких стволов еще не существовало. Их до сих пор не выпускали». Но Черчилля ничто не могло остановить. Уже давным-давно он пришел к выводу, что любые трудности можно преодолеть. И ему удалось переубедить всех и принять оба новшества.

За два с половиной года Черчилль смог разрешить одну из двух проблем — и вовлек Британию в нефтяной бизнес, убедив правительство как можно больше заботиться о развитии Англо-персидской нефтяной компании (позже известной как «Бритиш Петролеум») и всячески защищать ее интересы. В отношении другой проблемы, связанной с увеличением калибра главных корабельных орудий, ему оставалось только надеяться, что 15-

дюймовые пушки все-таки будут стрелять, как положено. Он не мог согласиться ждать целый год, пока будут пройдены все испытания: «Даже в мирное время приходится иной раз рисковать, что же говорить о войне? — заметил он. — Смелый проект сейчас сможет помочь нам выиграть битвы потом».

Занятый тем, что впоследствии могло принести победы, он все равно слышал знакомые критические голоса, утверждавшие, что он оплошает. Уинстон знал: «Никаких оправданий не приняли бы. Все в один голос твердили бы «нетерпеливый», «неопытный», «смешавший планы своего предшественника, даже не проработав и месяца на его месте», «он искалечил все имевшиеся в наличии корабли», «все закончится полным крахом». Он уже столько раз слышал нечто подобное в прошлом, что не тратил времени на переживания по этому поводу. Черчилль поднимал планку все выше и выше, чтобы дать волю воображению и решиться на то, о чем другие даже помыслить не могли.

Однако сейчас вопрос стоял не только о его собственной репутации или об интересах какого-то одного ведомства. Сейчас дело касалось огромного морского флота и безопасности всей державы в целом. Так что доверие, которое получил молодой человек, еще не достигший тридцати семи лет, — можно считать совершенно беспрецедентным. Черчилль осознавал это, но никогда не сомневался, что оправдает его.

Маккенна и Холдейн были уверены, что Королевский военно-морской флот готов сразиться с обновленным германским флотом. А Черчилль в отличие от них хотел сделать все, чтобы сделать эту победу неминуемой. Ничего для него уже не имело значения. Ради этого он готов был избавиться от некомпетентных офицеров, уволить с объяснением причин чиновников и начать строить новую систему управления. Именно он выдвинул двух человек, которые потом сыграли важнейшую роль в Первой мировой войне — адмиралов Джона Джеллико и Дэвида Битти. По его распоряжению, они обошли других претендентов, стоящих выше их по званию. Джеллико стал осуществлять командование Флотом метрополии, а Битти возглавил флот линейных крейсеров, названный Черчиллем «стратегической кавалерией Королевских военно-морских сил, той высочайшей комбинацией скорости и мощи, на которую постоянно направлены мысли адмиралтейства». [55].

Новое назначение воодушевило Битти. Молодой, привлекательный, храбрый, он обещал стать адмиралом Нельсоном двадцатого века. Но когда он пришел на встречу с Черчиллем — дело происходило на исходе 1911 года, — он уже был готов подать в отставку и уйти с действительной службы.

Битти очень быстро продвигался вверх по карьерной лестнице, и это вызывало у многих сильнейшую зависть. В какой-то момент он почувствовал, что дальше его не пропустят. Нешаблонные взгляды на морской бой и дух непочтительности, свойственный ему от природы, сделали его непопулярной фигурой у более традиционных адмиралов.

Но он привлек внимание Черчилля. Тот пригласил его к себе, чтобы сообщить о новом назначении. Взглянув на офицера, вошедшего в кабинет, Черчилль сказал: «Вы выглядите слишком молодым для адмирала». На что Битти, не мешкая ни секунды, выпалил: «А вы выглядите слишком молодым для первого лорда адмиралтейства». Это означало, что Битти не только прекрасный моряк, но и умеет управлять ситуацией. К тому же Битти был блестящим игроком в поло, что имело большое значение для Черчилля. Но, конечно, дело не в этом. Битти, как вспоминал Черчилль, «считал, что вопросы войны надо решать в совокупности — на земле, на море и в воздухе. Его ум был быстрый и гибкий, чего часто требовала игра в поло и что требовалось на поле битвы. Подтверждением тому для Черчилля стало странное стечение обстоятельств. «Битти — тогда еще молодой морской офицер принимал участие в том же сражении под Омдурманом на берегу Нила, что и Черчилль [56]. Он обеспечивал орудийную поддержку англо-египетским войскам Китченера, когда 21-й уланский полк, в рядах которого состоял Уинстон, совершал свою знаменитую кавалерийскую атаку.

«Как это выглядело со стороны?» — спросил первый лорд у адмирала Битти об этой атаке, ожидая услышать величественное описание их смелого галопа по пескам пустыни.

«Коричневые изюминки, разбросанные по большому куску сала», — ответил адмирал.

Это был совсем не тот ответ, который хотел услышать Черчилль, но он точно передавал впечатление. Наверное, точно так же ответил бы и сам Уинстон.

Первый лорд адмиралтейства сначала предложил Битти занять место его морского секретаря (правой руки первого лорда), и адмирал согласился. Но когда появилась возможность — год спустя, — назначить его командиром флота линейных крейсеров — «морской кавалерии», — Уинстон ни секунды не колебался, — лучшего кандидата, чем Битти, нельзя было найти.

Уинстон слишком много времени посвятил изучению страны, знал и тонко ее чувствовал, чтобы не осознавать, какую эпическую роль ему выпало сыграть в истории военно-морских сил Британии. Он шел по стопам гигантов, которые разбили

испанскую армаду в шестнадцатом столетии и наполеоновский флот в девятнадцатом. И Уинстон не хотел остаться в истории человеком, который позволил Германии — континентальной державе без великих морских традиций, — одолеть Британию. Выступая 9 февраля 1912 года в Глазго, он напомнил слушателям, что островная нация не может обойтись без мощного флота.

«Британский флот, — сказал он, — суровая необходимость. Со многих точек зрения германский флот — всего лишь предмет роскоши… Для нас это возможность существовать, а для них возможность нападать. Каким бы ни был значительным наш флот, мы не представляем угрозы для мирной жизни обитателей континента».

К сожалению, (может быть из-за перевода) эти великолепные и убедительные фразы вызвали шумное возмущение в Германии. Особенное раздражение вызвало слово «роскошь», которое сочли неуместным. Уинстон объяснял, почему островитяне вынуждены стать морской державой, а немцы восприняли это как хулу на военно-морские силы Германии. И вместо того, чтобы «начать все с чистого листа», германская пресса жаждала начать новые главы противостояния.

«Речь господина Черчилля полна угроз в адрес Германии, — писали в одной из франкфуртских газет. — Мы не можем позволить себе проглотить обиду. Германия никогда не смирится с моральным унижением…» Другая газета так комментировала выступление Черчилля: «Мы понимаем, что он преследовал свои интересы, рисуя перед аудиторией картину военно-морских вооружений Германии, которые представляют угрозу для Англии, вынуждая ее серьезно отнестись к ситуации, с которой она может встретиться».

Национальная гордость была так раздута, что не дала возможности увидеть в словах Черчилля истинный смысл выступления, их возмутило вообще само сравнение двух флотов. Они негодовали из-за того, что он не сказал ни одного доброго слова о противнике. На самом деле выступление отличалось уважительным тоном по отношению к Германии и тому месту, которое она занимает в мире. Германская пресса сочла, что Черчилль обвиняет немцев в неодолимом желании воевать, что лежит в основе их милитаризированной культуры.

Намерение вывернуть простое выступление в главную угрозу достигло пика. Через дипломатические каналы кайзер не замедлил дать понять, насколько он недоволен «невежественным выступлением Черчилля» — как он выразился. Он заявил, что это «провокационная для Германии выходка», и спрашивал, «какое извинение может быть предложено нам, чтобы мы могли не

обращать внимания на речь, описывающую наш флот как «предмет роскоши»?»

Кайзер прекрасно понимал, что дело вовсе не в «провокационном» выступлении Черчилля. В тот момент, когда Черчилль предстал перед аудиторией в Глазго, лорд Холдейн находился в Берлине, выполняя сложную миссию — смягчить напряжение между Германией и Британией. Когда речь Черчилля появилась на страницах британских газет, Холдейн тотчас направился к кайзеру, чтобы ответить на могущие возникнуть у того вопросы, и объяснить, как речь соотносится с нынешней политикой Англии. Так что кайзер ухватился за эту ниточку намного позже, лишь какое-то время спустя она послужила поводом отказаться от мирных переговоров с Холдейном и обвинить Черчилля в том, что тот ведет подрывную работу, принижая гордость Германии за ее славный флот.

Будучи министром торговли и министром внутренних дел, Черчилль не представлял особого интереса для германского правительства. Но как первый лорд адмиралтейства он теперь стал фигурой номер один, и любой предлог немцы готовы были использовать против него.

Пытаясь обвинить Черчилля в том, что он вредит делу мира, кайзер и его ближайшие помощники, наверное, осознавали, насколько первый лорд особенно уязвим в этот момент. Страницы тех же самых газет, что перепечатали его выступление в Глазго, неделю назад были заполнены сообщениями о том, с каким негодованием обрушились на него политики собственной страны за его сопротивление ирландскому гомрулю. За день до выступления Черчилля в Глазго на него совершили нападение в Белфасте, где он вынужден был идти в сопровождении большого числа охранников, чтобы обсудить правительственные планы относительно самоуправления Ирландии. Он приехал, чтобы отдать должное партии ирландских националистов за поддержку Асквита, и, вместе с тем, был готов помочь в прохождении законопроекта.

Но ольстерские юнионисты не желали его помощи. И самое излюбленное словечко, которым они пользовались, описывая его визит — «провокационный». Они посылали Черчиллю предупреждение о том, что не желают видеть его на этом заседании, и теперь, когда он все-таки приехал, сделали то, что имели в виду, когда употребляли слово «провокация».

Ему не составляло труда остаться в Лондоне, чтобы избежать прямого противостояния. Вопрос о гомруле не доставлял английским политикам ничего, кроме беспокойства.

Как первого лорда адмиралтейства, политические сложности

внутреннего управления Черчилля не касались. Но как видный деятель страны, он не хотел уклоняться от ответственности за решение. А оно было чрезвычайно сложным. И, похоже, заходило в тупик. Националисты настаивали на том, чтобы новый дублинский парламент отвечал за положение во всей Ирландии. Юнионисты же настаивали на том, чтобы протестантский Ольстер оставался под контролем лондонской администрации. Асквит надеялся, что, приняв требования националистов, можно будет убедить юнионистов пойти на некоторые уступки. Но, прибыв в Белфаст, Черчилль увидел воочию, что ни о каком компромиссе они не хотят и слышать.

Сотни полицейских и солдат были вызваны для охраны первого лорда и шести тысяч людей, пришедших на обсуждение. Журналисты писали, что этот район Белфаста более всего напоминал зону военных действий. «На случай, если прольется кровь в результате визита мистера Черчилля, — писали в «Дейли Миррор», — в разных концах города открыли временные госпитали для раненых, где находилось большое количество врачей и другого обслуживающего персонала».

Местная полиция была встревожена бесконечными донесениями о том, какое количество предметов, могущих служить орудием нападения, было изъято в разных дворах, большую часть огнестрельного оружия у владельцев тоже изъяли.

Джордж Бернард Шоу сказал Дженни, что бунт вполне может произойти, но он считает, что Черчилль не пострадает. «Не беспокойтесь за У., — писал он. — Его голова не пострадает, хотя они способны расколоть головы друг другу, ну и разобьют несколько окон». Эдди Марш, отправившийся в поездку вместе с Черчиллем, готовился к худшему, но решил, что сумеет создать атмосферу беспечной оживленности. «Жди, не исключено, что меня убьют, — писал он доброму другу поэту Руперту Бруку, — а если нет, то пиши мне длинные письма».

Когда машина с Черчиллем двинулась по улицам Белфаста, большая группа возбужденных ирландцев накинулась на нее, пытаясь перевернуть. Храбрясь, Клемми тоже отправилась вместе с мужем в опасную поездку, но когда толпа окружила и подняла автомобиль, она пришла в ужас. «Она не боялась, что ее убьют, — вспоминали потом друзья, — но страшилась того, что ее могут изуродовать, если бросят что-то и осколки порежут лицо или произойдет еще что-то в этом роде».

Они серьезно рисковали, но в последнюю минуту подоспели полицейские и, пустив в ход дубинки, разогнали толпу. Скорее всего, из-за потрясения, которое она перенесла, у Клемми в следующем месяце случился выкидыш. Черчилль писал ей: «Не

удивительно, что ты чувствовала себя так плохо последний месяц. Бедная моя овечка». Клемми писала в ответном письме: «Это так странно — пережить все то, что чувствуешь при обычных родах, и при этом остаться без ребенка».

Но откуда такая враждебность по отношению к Уинстону? Очевидно, его преступление заключалось в том, что он пересмотрел и модернизировал знаменитое выступление лорда Рэндольфа Черчилля против старого закона о гомруле, предлагаемого Гладстоном. [57]. И если уж сын лорда Рэндольфа оказался способен примириться с идеей автономии, то почему бы твердолобым юнионистам не последовать его примеру?

«Это совершенно разные вещи, — говорил Черчилль народу в Белфасте, — то, что я принимаю и повторяю слова Рэндольфа Черчилля: «Ольстер хочет сражаться, и Ольстер хочет быть правым». Пусть Ольстер сражается за достоинство и честь Ирландии. И пусть эта борьба приведет к примирению и возможности забыть старые ошибки… Пусть это будет борьба за милосердие, терпимость и просвещение. И тогда, действительно, Ольстер будет сражаться, и он будет прав». Но юнионисты в угаре не слышали его слов о милосердии и просвещении. Они не желали жить в мире с католическим большинством Ирландии и разделить власть с новым дублинским парламентом, даже если остров останется частью Британской империи. Они считали Черчилля изменником только потому, что лорд Рэндольф однажды стал победителем в споре с Гладстоном. Такой лозунг был для них удобным способом сплотить свои ряды. Страсти продолжали кипеть, разжигая враждебные чувства, и юнионисты в своем упрямстве не замечали, сколько вреда они наносят тому самому британскому правительству, власти которого они хотели подчиняться, не признавая ирландского гомруля.

Германской правящей верхушке не было дела до этих разногласий. Но Черчилль был их врагом тоже. И они испытывали чувство удовлетворения, наблюдая за выпадами против него, которые достигли кульминации в апреле 1914 года — при выступлении на митинге в Гайд-парке отставного адмирала и пылкого юниониста лорда Чарльза Бересфорда.

Старый адмирал объявил, что Черчилль это «лилипутский Наполеон. Неуравновешенный человек. Эгоманьяк, питающий мстительные чувства к Ольстеру. Он не может забыть прием, оказанный ему в Белфасте… До тех пор, пока господин Уинстон Черчилль остается в правительстве — государство находится в опасности».

XXIII. Старик и море

Уинстон Черчилль стоял рядом с сэром Френсисом Дрейком на причале дока Елизаветы, глядя, как развевается флаг на грот-мачте «Ривенджа» — английского галеона, принимавшего участие в битве с испанской армадой. [58]. Затем, повернувшись к кучке людей, собравшихся неподалеку от него, описал ощущения, которые он испытывал, глядя на корабль Дрейка, наводившего ужас на испанских капитанов. Во время его речи сэр Фрэнсис Дрейк, опираясь на шпагу, гордо глядел на толпу.

Благодаря Дженни, которая, чуть вытянувшись в напряженном внимании, стояла в некотором отдалении, напоминая фигуру, что крепили на носу корабля, Уинстон смог на какое-то время перенестись в своем воображении в самое начало Британской империи, век ее расцвета, триумфа и славы. В этот краткий миг не имело никакого значения, что плывущие над головой облака нарисованы на холсте, что «Ривендж» является полноразмерной копией знаменитого корабля, стоящей в искусственном водоеме, и что роль сэра Френсиса Дрейка исполняет актер из Вест-энда. Все это выглядело достаточно реальным, чтобы взбудоражить кровь, и Черчилль напомнил своим слушателям, собравшимся в доке, что нация, в прошлом побеждавшая могущественные флоты, возможно, столкнется в недалеком будущем с другой мощной силой.

Это была затея Дженни. С энергией, неожиданной для ее пятидесяти восьми лет, она, тщательно продумав все детали, организовала публичную ярмарку, посвященную шекспировской Англии. Она создала компанию с ограниченной ответственностью, влезла в долги, нашла несколько щедрых вкладчиков, пообещав им, что они будут еще долгое время получать с этого прибыль, и выстроила тюдоровскую деревню в Лондоне — в районе Эрлс-Корта. Вдобавок к кораблю, который «вызывающе грозя врагам Англии» своими сорока гипсовыми пушками, плавал в пруду, находившемся в самом центре ярмарки, там имелась реконструкция шекспировского театра «Глобус», куда любители пьес времен Елизаветы могли приходить и смотреть спектакли, игравшиеся на сцене три раза в день. Вымощенные дорожки вели в коттеджи, таверны, ресторанчики, книжные киоски, «сомнительные местечки» и лавки, где продавались картины. Специально нанятые актеры, переодетые в костюмы елизаветинской эпохи, прогуливались по дорожкам и развлекали публику. Дженни не выручила от организованного ею празднества ни пенни. Большую часть деревни спланировал

лучший архитектор Британии Эдвин Лютьенс.

Дженни открыла ярмарку 9 мая 1912 года. На празднике присутствовали и члены королевской фамилии, и представители света, кого она могла найти в тот момент. «Елизаветинские» моряки карабкались по снастям корабля Дрейка и оттуда приветствовали толпу своими криками, труппа актеров давала представление комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» в театре «Глобус», а Дженни устроила для всех своих друзей грандиозную вечеринку в таверне «Русалка». В последовавшие за тем месяцы в стилизованной деревушке прошло несколько балов, король и королева побывали там. Обычные смертные должны были платить шиллинг за вход.

Идея такого образовательного представления казалась многообещающей. Страна испытывала потребность пережить прошлые достижения. Не только Дженни и Уинстон проводили связь между военно-морскими угрозами времен Елизаветы и той новой опасностью, которая теперь грозила стране.

Одним из самых примечательных театральных событий 1912 года стала театрализованная постановка «Дрейк» Луи Наполеона Паркера. В театре Его Величества прошло более 220 ее представлений. В последнем, третьем акте разыгрывалось сражение, во время которого «Ривендж» брал на абордаж испанский галеон, и тогда зрители видели, как над помостами, изображающими корабли, поднимались вверх клубы дыма, и вся сцена то здесь, то там «озарялась внезапными вспышками пламени». Прекликающийся с современностью смысл победной речи сэра Френсиса Дрейка, произносимой в конце представления, был вполне понятен аудитории 1912 года.

«Мы открыли ворота в море, — провозглашал Дрейк, обращаясь к своим сподвижникам в финальной сцене, — и мы вам вручили ключи от всего мира. Вот это небольшое место, где вы стоите — превратилось в центр земли. Берегите наследство, которое мы оставили вам. Да, да! И учите детей самому ценному: что и в грядущих веках их сердца не должны сжиматься от страха, а руки не должны ослабнуть».

Однако, несмотря на широкую рекламу, ярмарка Дженни не вызывала такого же энтузиазма, как представление Л.Н. Паркера. К концу лета число посетителей заметно убавилось. Публика в Эрлс-Корте была отборная, но немногочисленная. Дженни истратила массу денег на бесплатные приглашения своим друзьям, большинство которых надеялось получить пригласительные билеты не только для себя, но и для всех знакомых. Потери были просто громадные — около 50 000 фунтов, но все они легли на плечи банков и вкладчиков, а не на

Дженни. Британские газеты пытались преуменьшить потери. Но американская пресса оказалась более безжалостной. «Фиаско в Эрлс-Корте» — гласил заголовок в «Нью-Йорк Таймс». «Шоу провалилось, — писал репортер этой газеты, добавляя, что «друзья Дженни говорили, что сама она, должно быть, выручила немало, устраивая там званые обеды».

Но как могла женщина, всегда испытывавшая финансовые трудности, взявшаяся в первый раз за строительство тюдоровской деревни, собрать так много денег?

Ответ прост — это связано с самым крупным вкладчиком, и все банки, невольно связывая ее с Дженни, более охотно выдавали субсидии. Этим инвестором была владелица миллиона долларов — тридцатидевятилетняя вдова. Она не была подругой Дженни. Она была одной из любовниц ее мужа. К 1912 году брак Дженни с человеком намного моложе ее — Джорджем Корнуоллис-Уэстом — находился на грани разрыва. Ее муж не прилагал ни малейших усилий, чтобы скрыть свои отношения с другими женщинами. Одной из них была независимая американка, жившая в Париже. Прозванная «Жестяной наследницей», Нэнси Стюарт из Зейнесвилла, штат Огайо, уже успела побывать в браке, развестись, после чего встретила богатого промышленника и вышла за него замуж. Он баловал ее восемь лет, а потом умер в Париже в 1908 году, оставив ей богатое наследство.

Возможно, вклад Нэнси был своего рода платой за нескромность Джорджа. Дженни убедила его попросить Нэнси внести 15 000 фунтов на организацию празднества. По нынешним временам эта сумма равняется 75 000. После смерти Дженни и Нэнси, — когда ни одна из них уже не могла опротестовать его слова, Джордж писал: «Я как раз собирался ехать в Париж, где тогда жила Нэнси, и я сказал ей о предложении Дженни… Она согласилась и, что я с большим сожалением признаю, не получила назад ни пенни. Ни разу она даже не поворчала по этому поводу, и никогда не упрекнула меня ни единым словом за ту роль, которую я сыграл в этом деле». Потом Нэнси вышла замуж за греческого принца Христофора. А к концу 1912 года Джордж и Дженни разъехались.

Оборачиваясь в прошлое, понимаешь, почему центральной частью ее дорогостоящей ярмарки Дженни сделала корабль под названием «Ривендж» («Месть»). Устраивая многочисленные вечеринки и званые обеды в таверне «Русалка» и в тюдоровском банкетном зале, она, наверное, испытывала особенное чувство удовлетворения, зная, что все это оплачено «другом» Джорджа из Парижа.

Нэнси, которая станет греческой принцессой Анастасией, —

наверное, даже не представляла, насколько ее вложение помогло обеспечить скромную рекламу, полезную для первого лорда адмиралтейства и Королевского флота. После того, как Дженни выжала все, что можно, из «деревушки» для себя, своих друзей и знаменитого сына, она задумалась о том, как примут все это в Америке? Когда Кейт Кэрью, колумнистка из газеты «Нью-Йорк Таймс», бравшая у Дженни интервью, спросила ее, возможно ли повторить празднество, она тотчас радостно откликнулась, что будет рада, если новые вкладчики помогут ей перевезти все это за океан. Кейт сочла, что все это только слова, хотя Дженни и могла верить в эту затею.

«Знаете ли вы, — спрашивала Дженни у всех, — какого-нибудь богатого человека с артистическим вкусом, который был бы рад подключиться к идее, и устроить выставку в Америке?»

К сожалению, такого инвестора не нашлось, и стилизованная под эпоху королевы Елизаветы ярмарка была закрыта. «Ривендж» и «Глобус» разобрали. Некоторые из тюдоровских коттеджей перевезли в Бристоль, где их стали использовать как жилые дома для офицеров, когда в 1914 году началась совсем не бутафорская пальба.

В 1912 году, кроме Черчилля, был еще один человек, который мог считать себя современным Дрейком и Нельсоном. Это был вышедший в отставку адмирал «Джеки» Фишер, теперь уже барон Фишер, прослуживший во флоте почти половину столетия [59]. В 1854 году последний доживший до того времени капитан лорда Нельсона присвоил Джеки Фишеру «звание» морского кадета [60]. Мальчику было тринадцать лет. И с тех пор, как он стал моряком, флот мало в чем изменился со времен Нельсона. Свою миссию Джеки Фишер видел в том, чтобы, следуя заветам Нельсона, модернизировать флот, приспосабливая к требованиям времени.

А.Г. Гардинер писал — уже к концу карьеры Фишера: «Его страстная привязанность к Нельсону была настолько сильной и стойкой, что он был словно наделен даром духовного общения с этим великим человеком. Слова, что срывались с его губ, принадлежали Нельсону, как и новые идеи.

Самым большим предметом гордости для него была газета с карикатурой, опубликованная в 1904 году, когда он стал профессиональным главой Королевского флота (первым морским лордом, или начальником Главного военно-морского штаба). На переднем плане карикатуры была изображена всем известная колонна на Трафальгарской площади, с которой пытался спуститься Нельсон, чтобы пойти поздравить Фишера с назначением: «Я уже на полпути к тому, чтобы лично пожать ему

руку, — гласила подпись, — но если Джеки Фишер берется за дело, мне нечего беспокоиться. Лучше я вернусь на свой пьедестал».

Одна из излюбленных историй Джеки была про уставшую пожилую леди, которую моряк на Трафальгарской площади подвел к массивному пьедесталу Нельсона: «А почему его охраняют львы?» — спросила она, жуя однопенсовую булочку. Моряк самодовольно улыбнулся и ответил: «Если бы не львы, которых заслужил в качестве охраны этот человек, твоя булочка стоила бы три пенса».

Возможно, что без поддержки Фишера ни одного дредноута в 1912 году Черчилль не спустил бы на воду. Джеки был отцом дредноутного флота и величайшим военно-морским новатором своего времени. Черчиллю выпала удача познакомиться с ним, и Фишер оказал на него огромное влияние. Именно благодаря старому адмиралу, Уинстон осознал важность преимущества в скорости и огневой мощи. Джеки убедил его, что флот надо будет сконцентрировать на Северном море, чтобы как можно быстрее и эффективнее нанести удар по врагу, вывести его из равновесия до полного разгрома. Взгляд адмирала базировался на трех «китах»: «Бей первым, бей сильно, добивай!» а также: «Безжалостность, беспощадность и беспрестанность». Когда раздались первые выстрелы, говорил он, то выбор один: «Если ненавидишь — ненавидь! Если сражаешься — сражайся!»

Официально он ушел в отставку в 1910 году, но продолжал продвигать свои взгляды через сеть многочисленных друзей, которые еще оставались в разных ведомствах. Фишеру исполнилось семьдесят, когда Черчилль стал первым лордом адмиралтейства, но адмирал по-прежнему не утратил ни бойцовского духа, ни невероятной энергии. С теми, кто соглашался с ним, он мог быть приветливым и ласковым, но на тех, кто осмеливался что-то возразить, обрушивался со страшной яростью. Со свойственной ему страстью к преувеличениям, он уверял своих молодых офицеров: «Если кто-то из подчиненных посмеет противиться мне, я сделаю его жену вдовой, детей — сиротами, а дом — навозной кучей!» При плохом освещении во время очередного пафосного выступления — из-за сверкающих прищуренных глаз, кривой улыбки, помятого носа он мог произвести впечатление героя из фильма ужасов. Но когда он приходил в хорошее расположение духа, жесткие черты смягчались, глаза лучились, и широкая добродушная улыбка расплывалась на лице. Тогда лучшего собеседника было не найти — он рассказывал старые байки, шутил и от души смеялся сам. У него всегда наготове были остроумные эпиграммы и анекдоты,

которые выскакивали из него по поводу и без всякого повода.

Начать он мог, например, с того, почему моряки никогда не страдали морской болезнью, а затем сразу перейти к анекдоту о том, как биржевый маклер, долго живший за границей, получил сообщение о смерти жены. И владелец похоронной компании спрашивал его: «Кремировать, забальзамировать или похоронить?» «На всякий случай сделайте и то, и другое, и третье, чтобы не рисковать», — отвечал маклер.

Иной раз, сев на любимого конька, он мог забыть обо всем на свете, где он находится и с кем говорит. Как-то, будучи приглашенным в замок Балморал [61], Джеки, когда ему наступили на любимую мозоль, принялся страстно доказывать свою правоту. «Будьте так любезны, — попросил его король Эдуард, — не размахивайте кулаками у моего лица!»

Но не нашлось бы ни одного человека, который посмел бы поставить под сомнение дарование Фишера в области проектирования и изобретательства. Все, что касалось машин, занимало его воображение, он со страстью отдавался своему увлечению. Иной раз, увлекшись, он не понимал, что другие могут и не разделять его взглядов. Его гениальный ум вдруг мог занести его в такие дебри, что люди могли принять старика за сумасшедшего. Где-то в конце 1904 года он в таком вот состоянии аффекта предложил королю Эдуарду тайком подобраться к берегам Германии, которая наращивала свою военно-морскую мощь, напасть на немецкие корабли, стоявшие порту, и потопить их. «Господи, да вы совсем с ума сошли!» — воскликнул король.

Но Фишер стоял на своем: «Лучшее объявление войны, — писал он в апреле 1904 года, — это потопить вражеский флот! Вот тогда они и должны узнать, что началась война!».

В 1908 году он вдруг заподозрил, что Соединенные Штаты могут сговориться с Германией и совершить совместное нападение на Британию. И чем больше он размышлял над этим, тем более вероятной ему казалась эта возможность. Выход виделся Джеки только в том, чтобы уничтожить корабли той и другой державы в Северном море. «Это единственный способ не дать Соединенным Штатам объединиться с Германией», — сказал он, хладнокровно прикидывая, какой ущерб могли бы причинить его корабли.

Чем старше становился Фишер, тем эксцентричнее выглядели его предложения. Иной раз он заходил так далеко, что собеседники только чесали затылки в задумчивости. Его способность сочинять едкие эпиграммы угасала, а ей на смену приходили странные боевые лозунги, которые он выкрикивал в упоении: «Надо строить больше подводных лодок, — заявил он

однажды Уинстону, — а не больше омаров!!» В другой раз он объявил новую программу действия: «Нефть, шоферы и радио!»

Однако его блуждающий ум и мрачное воображение давали ему возможность предвидеть будущее. Он догадывался, какой бойней обернется грядущая европейская война. Фишера беспокоило, что многие наивные современники представляли ее как серию спортивных матчей с только лишь случайными потерями и цивилизованными перерывами на чаепитие и осмотр достопримечательностей. Фишер предвидел разрушительные и катастрофические последствия войны. «Это будет всем войнам война, и катаклизмы потрясут весь мир. Армагеддон наступит в сентябре 1914 года, — писал он Памеле Маккенне 5 декабря 1911 года. — Если они начнут войну, то это время наиболее удобное для Германии. Их армия и флот будут тогда мобилизованы, Кильский канал полностью готов, и их новое военное строительство завершено». А через месяц он уже начал вести обратный отсчет от Армагеддона, время от времени напоминая Уинстону и другим, что на подготовку к его приходу остается все меньше времени.

Несмотря на изменчивый и отчасти фантастический характер представлений старого адмирала о будущей войне, Уинстон не мог оставить его предупреждения без внимания. Фишер имел огромный опыт, знание и видение. Но еще труднее было отделить «настоящего» Фишера от «воображаемого». Он врывался как ураган, закручивая могучими порывами ветра мудрость и чепуху одновременно. И понять, где истина, а где просто заскок воображения, с каждым днем становилось все сложнее. Одно оставалось неизменным — нетерпимость адмирала. Он призывал к независимости мышления и одновременно обрушивался на тех, кто пытался сохранить свое понимание. Фишер не сомневался, что он прав, и выделял ключевые моменты в письмах заглавными буками, добавляя к ним восклицательные знаки, чтобы прибавить высказыванию весомость и значимость отданной команды. «Компромисс, — писал он, — смертельно-опасное слово в английском языке!»

Все это должно было подтолкнуть Черчилля к тому, чтобы с большой осмотрительностью следовать советам Фишера. Но точно так же, как в свое время Черчилль все более уступал натиску Ллойд-Джорджа в период кампании по проведению либеральных реформ, точно так же он все более и более поддавался искушению следовать пути, к которому его толкал адмирал Фишер. Пожалуй, только Ллойд-Джордж не поддавался влиянию старого адмирала и сохранял трезвое отношение к его взглядам. В начале декабря 1911 года он говорил Джорджу

Ридделу: «Фишер — не самый мудрый советчик, и Уинстону следовало бы быть осмотрительнее».

Ни для кого не было секретом, что Фишер имеет обыкновение ссориться с друзьями и коллегами, а затем сваливать вину за начавшуюся ссору на них самих. (Самый известный его скандал произошел с собратом по оружию — адмиралом лордом Чарльзом Бересфордом, который ненавидел Уинстона из-за того, что тот сотрудничает с Джеки.) Чтобы ублажить Фишера, Уинстон прибегал порой к самой бессовестной лести, у него для этого имелись заготовки, которые он в нужный момент тут же пускал в ход. Но когда неизбежный взрыв все-таки произошел, старый адмирал пригрозил, что сожжет мосты, и поклялся никогда больше не иметь дел с Черчиллем.

«Я решил переправить свое тело и свои деньги в Соединенные Штаты, — грозил Фишер в апреле 1912 года, после того, как Уинстон отверг три его предложения, — Ты предал военно-морской флот. Это был последний разговор, который состоялся между нами».

Раз за разом Уинстону удавалось задобрить старика, его письма были доброжелательными и теплыми, он каждый раз предлагал встретиться снова один на один и обсудить спорные моменты. Все это было чрезвычайно утомительным делом, однако Черчилль, похоже, считал, что оно того стоит. И не обращал внимания на все обвинения ради редких мгновений вспышек интуитивного прозрения старика. Например, когда они обсуждали возможные риски, связанные с 15-дюймовой пушкой, Фишер мог чудесным образом продемонстрировать то, что Уинстон называл «романтикой проектирования». И то, что казалось невыполнимым, вдруг сразу стало достижимым. «Никто, кто сам не испытал этого на себе, — писал Черчилль о разговоре с адмиралом, — не в состоянии представить ни степени красноречия, ни страсти старого льва, с которыми он досконально разбирает технические стороны вопроса».

Чтобы залатать трещину в отношениях после очередного отвергнутого предложения, Черчилль отплыл в Неаполь, где Джеки проводил часть года. Желая подчеркнуть, что и правительство хотело бы возвращения адмирала, Асквит согласился сопровождать Уинстона. Чтобы путешествовать по Средиземному морю с должной солидностью, первый лорд избрал в качестве транспортного средства корабль Его Величества «Энчантресс» (HMS *Enchantress*, «Чаровница») — огромную роскошную яхту адмиралтейства с командой, составлявшей 196 человек. Вместе с ним и премьер-министром в вояж отправились

Клемми и Вайолет. Покинув Англию 21 мая, вся группа добралась на поезде до Генуи, а там села на борт яхты. Погода — пока они плыли до Неаполя, — выдалась очень хорошей.

Ночью, когда они ехали поездом по Франции, Клемми почувствовала себя не очень хорошо, она расплакалась, «дав волю нервам». Слабость после выкидыша все еще давала себя знать. Но она решила отправиться в путешествие, чтобы развеяться от пережитого, и надеялась, что круиз пойдет ей только на пользу. Пока поезд мчался по горной дороге, она лежала в постели, а Уинстон находился снаружи, в переднем купе, рассказывая ей о переходе Наполеона через Альпы. В это время к ним зашла Вайолет, собиравшаяся узнать о самочувствии Клемми, и та сонным голосом спросила, читает ли Уинстон вслух или рассуждает. В своем дневнике Вайолет забавы ради отметила, что фразы, слетавшие из уст Черчилля, были настолько оформленными и законченными, что даже его собственная жена не могла различить — написанный это текст или нет.

После того, как яхта «Энчантресс» 24 мая бросила якорь в Неаполе, все вышли прогуляться по набережной гавани, а когда они вернулись, адмирал Фишер уже ждал их на палубе. Он тепло поздоровался с премьер-министром, но на Уинстона все еще смотрел исподлобья. Настроение его изменилось к лучшему, когда они посетили дом, принадлежавший одному из закадычных друзей Джеки. Здесь Фишер начал рассказывать свои анекдоты, развеселился, а после чая и вовсе размягчился. «Он оттаял», — прошептала Клемми. «Что оттаяло?» — рассеянно спросил Уинстон, но спросил так громко, что его могли слышать все сидящие.

Находчивость Вайолет спасла положение. Не задумываясь, она указала на стол: «Масло».

К вечеру Уинстон и Джеки снова стали друзьями, и несколько часов прохаживались по палубе «Энчантресс», обсуждая проблемы флота. Все остальное время, что они провели вместе, Джеки оставался в благодушном настроении. Он пообещал Уинстону помочь сформулировать предложения по снабжению флота нефтью. Довольный собой, Джеки даже пригласил на танец Вайолет, когда они затеяли развлечение на палубе, и кружился с ней от одного борта к другому. Черчилль заметил, что Джеки слишком полон энергии и идей, чтобы оставаться под итальянским солнцем, он нужен в собственной стране, где есть куда приложить их, в то время как в Неаполе «его пропеллеры рассекают воздух», — как потом выразился Уинстон.

И Фишер «сдался». После чего «Энчантресс» совершила неторопливый круиз до Портсмута, следуя через Мальту и

Гибралтар. Во время остановок в пути Уинстон и другие путешественники, составлявшие ему компанию, занимались плаванием, гонялись за ящерицами, устраивали пикники, читали наизусть стихи для пустых рядов древнего амфитеатра и инспектировали морские сооружения. А во время плавания можно было посидеть в креслах на палубе, подремать или почитать. Премьер-министр с увлечением читал «Историю Пелопоннесской воны» Фукидида, вне всякого сомнения, выискивая между строк рекомендации по ведению грядущей войны.

Только один момент испортил Уинстону настроение во время круиза, когда он поднялся на борт линкора «Корнуоллис», чтобы посмотреть, как проходят учебные стрельбы. Заткнув ватой уши, он смотрел на горизонт, между тем как корабль, изображающий охотника за дрендоутами, обстреливал из 12-дюймовых (305-мм) пушек удаленную мишень, которую тянуло на буксире другое судно. Меряя шагами палубу, первый лорд адмиралтейства ждал сообщения о результатах. Командующий Средиземноморским флотом адмирал Эдмунд По, который прослужил в Королевском флоте сорок лет и уже собирался уйти в отставку, с сожалением был вынужден сообщить, что ни один снаряд не достиг цели.

Уинстон потребовал объяснения. Но ответ разозлил его еще больше.

«Видите ли, первый лорд, — сказал адмирал, — снаряды либо *чуть-чуть* не долетают до мишени, либо падают *немного* позади нее».

Можно было хоть в сто раз увеличивать число линкоров, но все затраты на их строительство были бы напрасны, если судьба победы зависела от таких служак викторианской эпохи, как адмирал Эдмунд По. Первый лорд счел, что время таких командующих истекло, и вскоре тот был смещен [62].

Через месяц после того, как Черчилль вернулся из путешествия по Средиземному морю, в Бленхеймском дворце состоялся большой политический съезд. Это собрание было намного многочисленнее того, памятного для Уинстона съезда 1901 года, на котором он оказался впервые. Однако на этот раз он вообще не получил приглашения. Несмотря на дружбу с Санни, две тысячи консерваторов и верных им юнионистов, организовавших протестные выступления 27 июля в Белфасте, не пожелали видеть в своих рядах Уинстона. Большинство прибывших в Бленхейм политиков настроились на то, чтобы выразить поддержку юнионистам. И отказ видеть Черчилля был местью за его выступление в Белфасте, когда он высказался за гомруль.

Санни и Ф.Э. Смит, оба выступавшие на этом съезде, не рассматривали свое участие в нем как личное предательство по отношению к Уинстону. Для них, как и для Уинстона, это были лишь политические игры, и оба окунались в них с той же страстью, с какой он это делал сам. Но Клемми, пережившая такую тяжелую драму, как потеря ребенка после нападения в Белфасте, относилась к этим политическим играм не с такой беспечностью. И это стало для нее поводом требовать от Уинстона поменьше видеться с его друзьями-тори. Санни вложил много сил и средств в организацию съезда, проявив большую щедрость. В саду, под тентами, — как писал репортер из «Дейли Мейл», — стояли столы, уставленные блюдами с говядиной, ветчиной, телятиной. В напитках тоже не было недостатка. Белый рейнвейн и красный кларет, пиво и другие напитки, способствующие поддержанию аппетита, текли рекой. Гости могли получить все, что их душе было угодно.

Но главной целью было не развлечение и не простое времяпровождение. Встреча грозила серьезными и даже зловещими последствиями, о которых говорили в своих речах две восходящих политических звезды — сэр Эдвард Карсон и Эндрю Бонар-Лоу. Оба считали, что если правительство примет закон о гомруле, это обернется гражданской войной. Своим сумрачным выражением лица Бонар-Лоу, совсем недавно занявший место Бальфура в Консервативной партии, напоминал скорее строгого школьного учителя, чем подстрекателя мятежников. Однако в речи, которую он произнес на ступенях Бленхейма, он поднял вопрос о возможности государственного переворота. И это затронуло бы не только Ольстер, но и всю Британию.

Правительство, доказывал он, — это «революционный комитет, узурпировавший власть и деспотически управляющий страной … Нам следует использовать любые возможности, чтобы отстранить их». И если либералы будут настаивать на своем в вопросе о гомруле, то последствия не заставят себя ждать. Они могут разжечь костер гражданской войны, которая потрясет империю до самого основания».

Недовольство, нараставшее последние годы как с той, так и с другой стороны, теперь вылилось в готовность вооруженного сопротивления как способа решить политические вопросы. Лидер консерваторов Эдвард Бонар-Лоу не был из тех, кто способен испугать либералов. Сын захолустного пресвитерианского священника в Канаде, он из уст отца, конечно, не раз слышал об Апокалипсисе, но никто не мог представить его в роли предводителя отрядов тори в реальном сражении. Его запал подпитывала неукротимая горячность ольстерских протестантов,

которые считали, что идут на борьбу с гомрулем, осененные Божьим словом. Его вдохновляло, что «эти люди настроены самым серьезным образом. Они готовы умереть за свои убеждения». Но Бонар-Лоу мог занять скорее место духовного лидера, чем полевого генерала.

Зато сэр Эдвард Карсон — тоже сторонник мятежа — с его холодным взглядом серых глаз, выглядел человеком, который готов сражаться до последнего патрона. Как богатый судебный адвокат, он был известен своими беспощадными обличительными дознаниями (Оскар Уайльд стал одной из его самых известных жертв). Карсон, дублинец протестантского вероисповедания, обосновался в Англии, но проявлял теперь большое беспокойство по поводу будущей судьбы Ольстера. Каких-то тесных связей с тем регионом у него не было, однако он решил воспользоваться создавшейся ситуацией, чтобы стать героем. В 1910 году он очень быстро продвинулся в первые ряды противников гомруля. Поездка Черчилля в Белфаст вызвала его сильнейшее негодование. «На севере Ирландии нет человека, которого бы ненавидели больше, чем этого ренегата».

После того, как была открыта частная переписка Карсона, стало ясно: он с самого начала рассчитывал на кровопролитие и видел себя в роли предводителя восставших. В 1910 году он писал: «С радостью займу место председателя ольстерских юнионистов… моя кровь кипит от гнева, насилие неизбежно». И впоследствии воинственный пыл Карсона не угасал: «От всего сердца надеюсь, что горькая ненависть перейдет в первобытную жестокость людей, которые будут вовлечены в это движение… никогда не испытывал такого прилива дикости в себе».

В Бленхейме, пока Бонар-Лоу выступал почти час перед собравшимися, Карсон, сидевший рядом с Санни, вытянувшись вперед, ловил каждое слово. Тень от шелкового цилиндра падала на его мрачное лицо, и он — бледный и неподвижный — напоминал глыбу льда. А когда настал его черед выступить, он сразу объявил о необходимости военного сопротивления, чтобы свергнуть правительство. «Они могут сказать нам, если захотят, что это государственная измена. Мы готовы отвечать за последствия».

Живя вдали от политических бурь и пользуясь всеми привилегиями своего герцогского положения, Санни вовсе не думал о последствиях гражданской войны. Согреваемый летним солнцем, окруженный величием своего дворца, он аплодировал Карсону вместе со всеми участниками сьезда. Но ненависть, которую источали лидеры движения, не могла не просочиться за пределы пышного поместья и не заразить двадцать тысяч

юнионистов. Очень скоро все это непосредственно коснется Черчилля.

Последствия проявились осенью, когда в палате общин шло обсуждение гомруля. До самого вечера жаркие споры не утихали. И к концу дня нетерпимость Карсона достигла предела. В восемь тридцать вечера в зале поднялся такой невообразимый шум, что спикер объявил заседание закрытым из-за «из-за страшного беспорядка». Члены парламента стали расходиться. Но юнионисты принялись комкать листы бумаги и бросать их в либералов. Черчилль достал из кармана носовой платок и помахал им, обратившись лицом к оппозиционерам.

На одного из ближайших соратников Карсона — горячего Роналда Макнила, — это подействовало как красная тряпка на быка. Роналд был человеком весьма внушительного роста и соответствующего телосложения. Современники в воспоминаниях отмечали его тяжелый подбородок, серые — цвета стали — волосы, которые он зачесывал назад. Но, конечно, самым примечательным в нем был его гигантский рост. Перегнувшись через стол, Макнил схватил тяжеленный том — принадлежавший спикеру экземпляр «Уложений палаты», — прицелился и запустил его в Черчилля. «Снаряд» угодил прямо в лицо Уинстона, едва не сбив его с ног и вызвав кровотечение из носа. Придя в себя, Черчилль бросился к Макнилу, хотя сидевшие рядом с ним пытались удержать первого лорда адмиралтейства. Но Макнил уже успел уйти. Карсон не сказал ни слова, но почти все консерваторы пришли в ужас. Остин Чемберлен отметил: «Ничего подобного не случалось в стенах парламента с 1893 года, когда при Гладстоне произошла стычка во время обсуждения второго билля о гомруле».

На следующий день в палате общин Макнил поднялся со своего места и принес извинения. «Поддавшись минутной вспышке, я потерял власть над собой, — признавался он, — и причинил вред первому лорду адмиралтейства».

Выдавив из себя эти слова, «гигант» сел, откинулся на спинку сиденья под глухое ворчание присутствующих, как со стороны тори, так и со стороны либералов. Черчилль «с перевязанной головой» внимательно выслушал слова своего вчерашнего обидчика, после чего выступил с ответной речью.

Хотя на его щеке еще оставался кровоподтек, Уинстон проявил исключительную снисходительность. Он отказался считать нападение личным выпадом против него. «Думаю, уважаемые джентльмены, мы должны прислушаться к его словам. И у меня нет ни малейшего сомнения, что ничего личного в этом выпаде не было. Но даже если бы и было что-то личное, то меня

вполне удовлетворяет извинение, которое он принес».

В этой раскаленной добела атмосфере политических споров чаще всего появлялись карикатуры именно на Черчилля — главного противника юнионистов. Но почти невозможно представить на его месте другого политика, который с такой легкостью отмахнулся бы от физической травмы, нанесенной в процессе спора. Он не обратил на этот выпад внимания, благодаря чему острота случившегося быстро затушевалась. Но если бы Черчилль оказался на месте Макнила и запустил тяжеленным томом в Карсона или Эндрю Бонар-Лоу, угодив кому-нибудь из них в лицо, — то происшествие бы не спустили на тормозах. Ему пришлось бы — после неизбежных воплей негодования, — подать в отставку и покинуть кабинет, забыв о своей карьере.

Юнионистам, напротив, нападение на Черчилля сошло с рук, и Карсон, как ни в чем не бывало, продолжал сеять смуту и ненависть.

В связи со стычкой с Макнилом вспоминается другой случай, произошедший во время одного из выступлений Черчилля где-то на севере Англии. Какой-то человек, сидевший позади всех, постоянно перебивал Уинстона своими выкриками: «Лжец, лжец!» В конце концов, Черчилль прервал речь и, сохраняя полное самообладание, проговорил: «Если джентльмен желает, чтобы присутствующие в зале узнали, как его зовут, пусть он будет так любезен и напишет на листе бумаги свое имя и передаст листок председателю, вместо того, чтобы горланить. Таким образом, он избавит себя от излишних треволнений».

XXIV. Крылья

Пока Черчилль занимался подготовкой к войне на море и отражал нападки противников у себя на родине, Ллойд-Джордж рисковал исключительно ради себя и для себя. Это были рискованные шаги и в финансах и на личном фронте. Ллойд-Джордж отважился, на что он не имел права, вложить деньги в развитие британской компании Маркони, которая обещала принести сказочные прибыли, если — при участии и содействии государства — она сможет выстроить сеть телеграфных станций по всей империи. Когда консерваторы выяснили, что один из лидеров либералов намеревается извлечь выгоду, войдя пайщиком в компанию Маркони, ликованию их не было предела. Скандал мог послужить поводом для смещения правительства. Но Ллойд-Джордж отрицал участие в спекуляции акциями, и через несколько месяцев ему все же поверили, и страсти по этому поводу поутихли.

Но он сказал лишь полуправду. На самом деле ему принадлежала тысяча акций, но американского отделения компании Маркони. В конце 1912 года его ложь могла выплыть наружу, и он впал в панику, что его карьера из-за этого рухнет. За советом и поддержкой он бросился к Асквиту и Черчиллю. Оба выразили готовность поддержать его. В январе 1913 года он писал Клемми: «Меня очень приободрило то, что, по словам Уинстона, вы приняли близко к сердцу мои небольшие треволнения, они меня едва не доконали».

Ллойд-Джордж пребывал в беспокойстве еще и потому, что снова влюбился. На этот раз предметом увлечения политика-либерала стала 24-летняя Фрэнсис Стивенсон — преподавательница французского языка, занимавшаяся с его дочерью. Привлекательная молодая женщина отдыхала со своими друзьями в Шотландии, когда Ллойд-Джордж, который чуть больше чем вдвое старше ее, прислал ей из Лондона письмо. Он писал, что нуждается в ней, «потому что произошло нечто ужасное». К концу января они стали любовниками. Фрэнсис оставалась рядом с ним до конца его жизни, работая секретарем, хотя, по сути, была его тайной второй женой. (Маргарет — многострадальная супруга Ллойд-Джорджа — предпочла поселиться в Уэльсе, где и проводила большую часть времени, вдали от всеобщего внимания.)

Игры, которые затеивал Ллойд-Джордж, могли сослужить Черчиллю плохую службу, учитывая, сколько у него было врагов. В марте Ллойд-Джордж вынужден был публично признать, что у

него есть пакет акций амриканского отделения компании Маркони, но он оправдывал себя тем, что дело не в бизнесе, что он просто поддерживал технические новшества. Однако консерваторы выяснили, что один мелкий чиновник использовал фонды Либеральной партии для покупок акций Маркони. Дело обернулось большим скандалом. Главного фигуранта — Ллойд-Джорджа — обвинили в нарушении политической этики. Исступленные консерваторы уже видели наяву, как он, молитвенно сложив руки, произносит: «Теперь я вижу, что Бог действительно существует».

Журналисты — сторонники тори — сопоставили реальные доходы Ллойд-Джорджа с теми тратами на роскошную жизнь, которую он вел. Они напечатали фотографии его симпатичного особняка в Уэльсе, огромного нового дома с полем для гольфа неподалеку от Эпсом-Даунса, виллы на юге Франции, которую он снимал и проводил там большую часть зимы, а также роскошного автомобиля с водителем. Фотографию, где министр финансов Великобритании играл в гольф, сопровождали полные яда замечания по поводу его роскошного образа жизни. Все это было явно не по карману, учитывая, что он еще содержал жену, детей и любовницу.

В разговорах наедине Черчилль осуждал коллегу за покупку акций Маркони, которые вызвали такую шумиху. Позже, вспоминая про «отвратительный скандал», он признается одному из родственников Этти — Фрэнсису Гренфеллу, — что Ллойд-Джордж с самого начала понимал, на что идет, желая «заработать побольше денег». Черчиллю ничего не стоило бросить Ллойд-Джорджа на растерзание врагам. Он знал, как писал впоследствии, «Маркони ударил по нему очень сильно», и что враги Ллойд-Джорджа могут при желании накопать еще больше компрометирующих сведений, чтобы задать очень неудобные вопросы министру финансов. Но Уинстон не воспользовался ситуацией, когда мог повернуться к нему спиной, по крайней мере, по двум причинам: он надеялся, что теперь Ллойд-Джордж постарается выделить больше денег на военно-морской флот, а еще из чувства солидарности к другу и коллеге.

Однако он пришел в ярость, когда ему пришлось идти в комитет, расследующий дело, чтобы убеждать его в своей непричастности. В адмиралтействе его ждала важная работа, а он вынужден был тратить время и оправдываться в том, чего он не делал и к чему не имел никакого отношения. «Я веду честную жизнь», — с гордостью сообщил он представителям комитета. Но председатель комитета потребовал уточнений, поскольку Черчилль особенно старался скрыть связь Ллойд-Джорджа с

американским филиалом компании Маркони. Уинстон, глядя ему прямо в лицо, набрал в грудь побольше воздуха и проговорил на одном дыхании «с долей иронии и горечи»: «Я никогда и ни при каких обстоятельствах, прямо или косвенно, не делал никаких вложений или еще чего-то, что могло бы напоминать их, в телеграфную компанию Маркони. Не приобретал никаких акций ни в нашей стране, ни в какой другой стране и вообще на этом земном шаре».

При его последних словах все присутствующие рассмеялись. Но Черчилль даже не улыбнулся. Но допрос продолжался еще несколько минут, после чего он встал со словами «Могу я счесть, что проверка закончена?» и, не дожидаясь ответа и не оборачиваясь, вышел из комнаты.

Положение Ллойд-Джорджа, положение самой Либеральной партии, спас Асквит (правда, он спасал тем самым и свой престиж), взявший на себя смелость заявить, что нет необходимости критически оценивать деятельность министра. Асквит признал, что Ллойд-Джордж совершил ошибку, но его подвела беспечность и неосторожность, но в этом не было умысла. Его поступок нельзя считать нарушением «общественного долга». Оппозицию эти слова премьер-министра не убедили, но они решили остановиться и не раздувать дело дальше. Год спустя Уинстон признал, что тори могли бы воспользоваться «делом Маркони», чтобы вынудить правительство уйти в отставку. «Но, — как выразился он, — кто-то из комитета оказался слишком глуповат, а кто-то слишком мягким».

Как первый лорд адмиралтейства Уинстон тоже пользовался особенным комфортом для ублажения своих прихотей. Помимо яхты «Энчантресс», ему выделили официальную резиденцию рядом с адмиралтейством. Клемми называла ее «наш особняк», но они не сразу туда перебрались. Они не были уверены, что смогут жить в трехэтажном здании. Хотя ему не надо оплачивать проживание в самой резиденции, однако Черчилль должен был сам оплачивать содержание обслуживающего персонала из девяти человек, которые следили за порядком. Так что они решились на переезд с Экклстон-Сквер в Уайтхолл только весной 1913 года — как раз в разгар «дела Маркони». Но Клемми решила ради экономии закрыть первый этаж.

Уинстон, чтобы сэкономить деньги, превратил «Энчантресс» в свой плавучий офис. Чем больше он занимался проблемой плохой готовности военно-морского флота, тем больше времени он проводил, перетряхивая состав адмиралов, капитанов и кораблестроителей. По ходу дела он успел влюбиться в

адмиралтейскую яхту — как и всякий, кому доводились вставать на ее палубу. Благодаря яхте он получил возможность очень быстро проводить инспекцию намеченных кораблей или доков, а потом заниматься разбором документов в каюте по дороге обратно, не теряя напрасно ни минуты. Время от времени Клемми присоединялась к нему, или же навещала его в адмиралтействе, или же отправлялась к той гавани, куда должна была причалить его яхта, пока он ездил по стране, исследуя каждый дюйм — современный первый лорд в двубортном синем костюме и яхтсменской фуражке.

Для Черчилля лучшим преимуществом яхты было то, что она давала ему возможность совмещать работу с удовольствием, когда он отправлялся в долгие морские экспедиции. За его средиземноморским вояжем 1912 года, организованным для примирения с Джеки Фишером, последовал другой — в мае 1913 года, снова с заходом на Мальту, откуда он направился в Грецию. Общественная цель заключалась в наблюдении за операциями флота и обсуждении стратегии с командирами, но и свободного времени ему хватало для отдыха и развлечений. На борту яхты снова был Асквит. Но он совершил оплошность, взяв с собой сразу и Вайолет, и Марго, которые сразу после отплытия принялись трепать друг другу нервы. На этот раз в круиз пригласили и Дженни. Вайолет не уставала поражаться огромной разницей в характерах между живой, открытой, общительной матерью Уинстона, и своей угрюмой, капризной, кусачей мачехой. Все наслаждались путешествием, кроме Марго, которая была недовольна всем, начиная с той еды, что им подавали на яхте, и кончая слишком крутыми ступенями, что приходилось преодолевать, чтобы осмотреть древние развалины.

Самым любимым занятием Марго во время поездки было сесть в кресло на палубе и рассматривать всех, кто проходит мимо, чтобы вечером записать критические отзывы о каждом. Но даже и ее завораживала взаимная привязанность Уинстона и Клемми, причину которой она не могла понять. С ее точки зрения жена Уинстона была очень милая женщина, но в интеллектуальном отношении не отвечала его запросам. Однако Марго видела, — лицо первого лорда тотчас озарялось, как только она появлялась в поле его зрения. Если к моменту возвращения из очередной проверочной поездки на берег он не видел на палубе жены, первый вопрос, который он задавал: «А где Клемми?» Заметила Марго и то, что Клемми способна быстро выходить из себя, но эта сторона ее переменчивого характера, кажется, особенно привлекала Уинстона.

Во время прогулки по Афинам Марго заметила, как Уинстон

оттолкнул руку Клемми, когда она попыталась поправить поля его шляпы. Почти неприметный жест возмутил Клемми, она тотчас пришла в ярость, и бросилась прочь от Уинстона. Когда ему удалось догнать ее, Клемми повернулась, и они обнялись так пылко, что Марго вдруг испытала неловкость, словно «подглядывала за ними и застала за столь интимным проявлением чувств».

В письмах домой Вайолет, наконец, прояснила для себя самую суть характера Уинстона — его почти маниакальную увлеченность игрой и работой. Он отдавал игре всего себя, с такой же самоотдачей он и трудился — и эти переходы от одного занятия к другому могли происходить мгновенно. Она заканчивала свое описание — во время долгой остановки у побережья Албании — необычными словами: «Уинстон в три часа утра отправился на охоту за диким кабаном и догнал нас на следующее утро в Корфу на эскадренном миноносце».

Когда Черчилль вернулся в Британию, там прозвучали некоторые недовольные высказывания членов Лейбористской партии, что он превысил права, «пригласив в экспедиционную поездку на яхте нескольких леди, что привело к увеличению общественных расходов». В то же время других политиков больше волновала все возрастающая дружеская привязанность между премьер-министром и первым лордом адмиралтейства. Означало ли это, что старик подготавливает место для своего молодого преемника? На карикатуре, напечатанной в «Панче», их изобразили вдвоем на палубе «Энчантресс». Уинстон, попыхивая сигарой, спрашивает премьер-министра, рассматривающего газету: «Есть какие новости?» На что Асквит отвечает: «Какие там могут быть новости без тебя?»

Терпеть Уинстона рядом с собой — было делом очень нелегким, но Клемми прилагала героические усилия на протяжении всего периода, пока он работал в адмиралтействе. Она гордилась мужем, и старалась разделять все его страстные порывы в то беспокойное время. Но бурная жизнь, необходимость противостоять нападкам и нескончаемое политическое противостояние все-таки сказывались на семейных отношениях. К тому же они постоянно ощущали финансовые затруднения. Как-то Уинстон обмолвился: «Деньги обладают способностью куда-то уплывать». В какой-то момент Клемми настолько не хватало наличности, что она, не говоря ничего Уинстону, продала очень дорогое бриллиантовое ожерелье с рубином в центре. Они ссорились, Клемми пускалась в слезы. Но уже на следующий день они забывали о случившейся размолвке или ссоре. Оба были

сильными личностями с прямым открытым умом. Однажды Клемми призналась, что расстроена из-за того, что слишком много наговорила накануне.

«Когда я волнуюсь, — писала она ему в начале 1913 года, — я всегда говорю больше, чем чувствую на самом деле, и всегда все преувеличиваю. Зато у меня никогда не остается осадка на дне». Несмотря на все недоразумения, их привязанность друг к другу только возрастала и становилась все глубже. «Адмиралтейство — самая волнующая любовница, — сказал как-то Черчилль, — я готов пожертвовать ради нее всем, кроме Клемми».

Уинстон не испытывал ни малейшего желания следовал примеру Ллойд-Джорджа, который переживал одну влюбленность за другой. Но даже если бы какая-то женщина и появилась на горизонте, у него не хватило бы времени ухаживать за ней — слишком много сил он отдавал главному делу своей жизни. А когда ему хотелось погреться в лучах обожания, он шел к Вайолет, та всегда готова была выслушать его жалобы и поддержать его надежды. Она заменила ему сестру, которой у него не было, и с Клемми ее связывали такие же сестринские чувства. Во время круиза 1913 года Клемми окончательно покорила Вайолет.

«Общение с Клемми всегда вносит в жизнь ясность, спокойствие, прозрачность, — вывела она. — И она выглядит еще прекраснее, чем показалась при первой встрече».

И в Лондоне, где Уинстону приходилось работать в поте лица, и на борту адмиралтейской яхты, Вайолет всякий раз оказывалась хорошим компаньоном для Клемми. Она практически жила за следующей дверью, так близко находился дом 10 от здания адмиралтейства. И на уик-энды Клемми часто ездила в гости к Асквитам в их загородный коттедж «Уарф» (*The Warf*, «Пристань») в маленькой деревне Саттон-Кортни.

Супруги Черчилль уделяли много внимания укреплению своего брака, пытаясь сгладить различия в своих характерах и найти компромисс. Им не надо было напоминать, какие рифы иной раз поджидают семью — Дженни служила тому примером.

Красота матери Уинстона успела померкнуть, ее затея с ярмаркой в стиле елизаветинских времен провалилась, вдобавок ко всем неприятностям ей пришлось выдержать пристальное внимание общественности, когда она пришла в суд в связи с бракоразводным процессом. Интересы Дженни представлял Ф.Э. Смит, и хотя процедура длилась несколько минут, она оставалась унизительной. Частный детектив вызвал в качестве свидетельницы неверности Джорджа Корнуллис-Уэста горничную отеля, где тот останавливался.

«Луиза Минтон, — писал газетный репортер, — горничная гостиницы «Грейт Уэстерн Хотел» в Паддигтоне, сообщила, что запомнила леди и джентльмена, останавливавшихся в отеле в конце марта 1913 года как «капитан и миссис Уэст».

Ф.Э. Смит, указывая на Дженни, спросил у горничной: «Эта леди?»

«Нет», — последовал ответ. И обсуждение дела закончилось, заняв всего десять минут. «Ту леди», что останавливалась с бывшим мужем Дженни, не опознали, но, должно быть, у Джорджа было из кого выбирать. После оформления процедуры развода судья провозгласил, что отныне она «будет именоваться леди Рэндольф Черчилль».

Уинстон не был доволен тем, что в свете «полоскали грязное белье» Джорджа Корнуоллис-Уэста, и не только из-за своей матери. В прошлом, когда в газетах появлялись истории о финансовых трудностях Джорджа или о неблагополучии его брака, пресса неизменно трепала доброе имя Уинстона, называя его «знаменитым сыном Дженни». Неудивительно, что сразу после развода первые полосы газет запестрели заголовками о том, что 16 июля развелась «мать первого лорда». Такого рода внимание к его особе отнюдь не радовало Уинстона, но мать, сама того не желая, дала его врагам повод посмеяться над ним и его амбициями.

Наверное, самая большая напряженность в семье Черчилля возникла в тот момент, когда он решил брать уроки летного мастерства. Решительно и, как всегда, бесстрашно, завороженный возможностями военно-морской авиации, он решил, что должен на собственном опыте почувствовать и опасности, и прелести полета. А военно-морская авиация делала только первые шаги. Черчилль сравнивал эту ситуацию с тем, что происходило с паровыми локомотивами Джорджа Стивенсона во времена королевы Виктории. «У нас сейчас «стивенсоновский» этап в развитии воздухоплавания, — повторял он неоднократно. — Наши машины пока еще несовершенны. Скоро они станут намного более мощными и незаменимыми».

Историк Дж. М. Янг вспоминал, что в юности стал свидетелем такой сцены: один человек, указывая на новые бипланы, спрашивал другого: «Могут ли они нести пулеметы?» На что другой отвечал: «Дорогой друг, они пока не могут нести даже сами себя!»

Клемми не могла избавиться от страха из-за нового увлечения Уинстона. Она всячески противилась и не хотела смиряться с его страстью к полетам, считая их слишком

опасными. И, надо признать, основания для опасений имелись. Некоторые его полеты и в самом деле могли закончиться печально. Каждый раз, как муж отправлялся полетать на одном из примитивных летательных аппаратов военно-морского флота, она обмирала от страха, что Уинстон может не вернуться.

Летом 1913 года, когда его вылеты участились, Клемми потребовала, чтобы он позволил и ей тоже полетать — невероятно смелый поступок для женщины в то время. Уинстон ответил отказом, но она не послушалась и забралась в кабину двухместного биплана Сопвит. Спустя несколько минут Клемми уже находилась в воздухе вместе с одним из морских пилотов — лейтенантом Спенсером Греем. Они поднялись на высоту тысячи футов и сделали несколько неспешных кругов над Саутгемптоном.

Уинстон не в силах был следить за полетом. Глядя в землю, он мерил шагами поле, пока его жена оставалась в небе. Когда биплан приземлился, Клемми вылезла из него с растрепанными волосами, держа в руке свою шапку. Во время полета ветер сорвал с нее головной убор, и она едва успела его поймать. Улыбаясь во весь рот, Клемми воскликнула: «Это было великолепно!»

Уинстон покачал головой. «Меня будто на костре поджаривали, пока ты летала!» — пожаловался он.

И пока они шли по полю, он несколько раз повторил: «Больше никогда!»

Потом, в письме к своей свекрови Дженни, жена Уинстона уже не так храбрилась: «Это было невероятное ощущение, но и очень страшное… Я чувствовала, какая это хрупкая конструкция, и каждую секунду думала, что еще немного, и мы упадем на землю…»

Ее беспокойство нарастало с приближением зимы. А Уинстону хотелось проверить новые модели. Некоторые из них были совершенно неопробованными, а он хотел знать, как они будут вести себя в воздухе при разной погоде. Его пилотное мастерство постепенно росло, и первому лорду адмиралтейства не терпелось ощутить, как будут вести себя гидросамолеты, когда условия не идеальны, и какую пользу можно извлечь из них во время войны. Наступил момент, когда Уинстон взлетел на гидроплане и приводнился в устье Темзы во время сильнейшего ливня, при порывах ветра, превышавших пятьдесят миль в час.

Большинство своих вылетов Черчилль совершал с аэродрома в Истчерче, расположенного в графстве Кент, недалеко от Ширнесса. Там он мог смешаться с другими пилотами, когда те возились со своими машинами, прежде чем подняться на них в небо. В своей кожаной куртке и шлеме Уинстон был почти

неотличим от прочих летчиков, что всегда позволяло ему притвориться, будто он не более чем младший офицер, а вовсе не первый лорд.

Во время своих полетов — проходивших на высоте нескольких тысяч футов — он наблюдал то, что раньше оставалось для него невидимым. В тот период далеко не все могли видеть землю и море с такой высоты, а потому не представляли, как выглядит сверху та или иная местность. А Черчилль получил этот бесценный опыт. Из кабины аэроплана он лично осмотрел морское поле битвы, которое ему придется оборонять в случае войны, — воды пролива, отделяющего Англию от побережья Франции и Бельгии. В ясные дни он мог явственно различить береговую линию и обследовать ее очень внимательно. Уинстон увидел то, чего не могли видеть другие командиры, знавшие эти места только по картам и наблюдениям с поверхности.

Хотя не Черчилль дал старт процессу развития авиационной составляющей ВМС Британии, он приложил немало сил для того, чтобы создать отдельное от армии военно-морское авиакрыло. Королевская морская воздушная служба [63] была его детищем [64]. И он превратил ее в первоклассное формирование, в котором служили великолепные пилоты, считавшиеся одними из лучших в мире. Он переименовал новый вид самолета, который мог садиться и взлетать с водной поверхности. До него такие летательные аппараты называли «гидроаэропланами». «Какое громоздкое слово!» — воскликнул Уинстон, впервые услышав этот термин. Повернувшись к группе летчиков, он предложил: «Давайте дадим другое. Пусть они будут называться гидропланами».

Ему очень хотелось подняться в воздух в полном одиночестве, но все инструкторы отказывались отпускать его без сопровождения. И ни один не хотел брать на себя ответственность. Пилоты и инструкторы сознавали: «Если что-нибудь случится с Черчиллем, карьере человека, согласившегося отпустить его в одиночный полет, придет конец».

В ноябре Черчилль стал подниматься в воздух с молодым пилотом — 26-летним капитаном Королевской морской пехоты по имени Гилберт Вернон Уайлдмэн-Лашингтон. Тот летал всего один год. Опыт небольшой, но он уже успел пережить трагедию во время тренировок. В апреле он нечаянно убил другого авиатора, который помогал его аэроплану взлететь, но не успел вовремя отбежать в сторону. Лопасти пропеллера задели этого человека, и спустя два часа он умер от полученных ран. Расследование подтвердило, что пилот не виновен в

случившемся.

Хотя после того трагического случая капитан Уайлдмэн-Лашингтон, возможно, не был уверен в себе, но он очень нравился Черчиллю. Вместе они не один раз летали над Истчерчем на аэроплане с двойным управлением. В субботу 29 ноября они провели в воздухе около трех часов, после чего инструктор сказал, что, в качестве пилота, первый лорд адмиралтейства «подает большие надежды». На высоте пяти сотен футов Черчилль взял управление на себя, и целый час самостоятельно вел аэроплан. Вечером они поужинали вместе на борту яхты «Энчантресс», стоявшей на якоре в гавани Ширнесса.

Во вторник 2 декабря, во второй половине дня, когда Черчилль был в министерстве финансов на встрече с Ллойд-Джорджем, появился посланец с запиской. Развернув ее, Черчилль какое-то время смотрел в текст, не веря своим глазам. Его новый инструктор, не так давно ставший невольной причиной смерти другого летчика, в этот день сам разбился насмерть при аварии в Истчерче. Пилотируемый им биплан потерял скорость на подлете к аэродрому, и он упал на землю, сломав себе шею. Незадолго до своей гибели Уайлдмэн-Лашингтон обвенчался, и Черчилль отправил сочувственное письмо его молодой жене. (Пятнадцать лет спустя она напишет официальному биографу: «Какое счастье для Англии, что полет сэра У. не закончился столь же фатально».)

Дома он застал Клемми в сильнейшем расстройстве. Ее не покидала мысль, что Черчилль мог погибнуть вместе с этим пилотом. И с того момента она твердила слова, сказанные ей Черчиллем: «Больше никогда!» Друзья присоединились к ней: «Какого черта тебе надо постоянно подниматься в воздух? — спрашивал его Ф.Э. Смит. — Ничего хорошего в этом нет ни для твоей семьи, ни для твоей карьеры, ни для твоих друзей».

Через два дня после фатальной аварии Черчилль весьма благоразумно попросил Эдди Марша заключить договор страхования жизни на 10 000 фунтов. Будет ли выплачена эта страховая сумма после какого-либо трагического происшествия в воздухе? К всеобщему облегчению семейный адвокат ответил немедленно: «Я считаю, что страховые полисы покрывают риск смерти в результате несчастного случая, связанного с авиацией».

Но для Клемми это было слабым утешением, и она прилагала все усилия, чтобы отговорить мужа снова отправляться в полет. Он доказывал, что это его долг подниматься время от времени в воздух. Но на самом деле, как Уинстон потом признался: «Я летал для своего удовольствия». Из-за не покидавшей ее тревоги Клемми прибегала к любым средствам, чтобы удержать его на земле. Она описывала, какой ужас ее охватывает всякий раз,

когда приносят телеграмму в его отсутствие: «Всякий раз не могу отделаться от мысли, что это сообщение о твоей гибели! — восклицала она. Одно из писем к нему она закончила словами: «До свидания, мой дорогой и жестокий!»

Она расписывала свои переживания любому, кто готов был ее выслушать. Во время очередного званого обеда, который состоялся до того, как разразилась война 1914 года, она оказалась за столом рядом с пожилым, убеленным сединами писателем-романистом, и завела с ним разговор на волнующую тему. Это был Томас Харди. Он с таким сочувствием слушал ее, что Клемми призналась: «Мне удалось немного смягчить упрямство мужа только после того, как тот узнал, что я ношу под сердцем нашего третьего ребенка». Томас Харди записал состоявшийся за ужином разговор: «Пришли мистер и миссис Черчилль. Ее посадили рядом со мной. Он пообещал жене не летать до рождения ребенка. Но он не дал ей обещания навсегда отказаться от полетов».

XXV. Обратный отсчет

Влажным ноябрьским утром 1913 года плотный мужчина в шляпе-котелке стоял у входа лондонского отеля «Ритц», ожидая такси. У него были темные глаза, длинные черные усы. Во всем его облике сразу угадывался иностранец. Он мог быть европейским банкиром на отдыхе или дипломатом, который прибыл в город для составления не очень значительного договора. На самом деле у прибывшего джентльмена не было никаких деловых планов на тот день. Это был его последний день пребывания в столице Англии, и он мог провести его как ему вздумается для собственного удовольствия. Когда такси подъехало, швейцар открыл дверцу автомобиля и попросил водителя доставить пассажира к магазину «Харродс».

Там эрцгерцог Франц Фердинанд — наследник трона Австро-Венгерской империи — провел почти все утро, с довольным видом разглядывая товары огромного торгового центра, выбирая подарки для своих близких. Он ничем не привлекал внимание остальных посетителей магазина, большинство из них не знало, кто это такой. В газетах напечатали несколько статей о частном визите по приглашению его королевского величества, но вряд ли этот визит привлек чье-либо особое внимание. Расшевелить и взволновать лондонскую публику могло бы появление только двух зарубежных монархов — германского кайзера и русского царя. И этот покупатель оставался всего лишь смутной фигурой, неотличимой от тех, кто пришел в огромный торговый центр.

Однако ровно через семь месяцев со смертью этого незаметного посетителя магазина начнется цепь событий, которые приведут к падению империй и смерти миллионов людей. (Коронованные особы, как всегда, надеялись получить свою долю славы в кратковременном, но эффектном вооруженном конфликте.) Сербский националист, застреливший 28 июня 1914 года в боснийском городе Сараево эрцерцога Франца Фердинанда [65], поджег спичку, из-за которой вспыхнул пожар мировой войны. Огромные армии и флоты были мобилизованы, ультиматумы отправлены, и затем, как и предсказывал Джеки Фишер, случился Армагеддон. Но в тот обычный ноябрьский день 1913 года — в магазине «Харродс», среди полок с дорогими прекрасными товарами самого лучшего качества — мысль о том, что из-за этого человека может начаться мировая война, выглядела просто смехотворной.

Но от сообщений, что Германия продолжает готовиться к войне, нельзя было отмахнуться. Какая страна станет целью ее

нападения? Франция? Россия? Британия? Неужели немцы, в самом деле, полагают, что могут вывести военные корабли в Северное море и смести с карты британский флот? Для многих британцев мысль о том, что две великие цивилизованные державы устроят морской Армагеддон, и одна армада дрендоутов начнет палить в другую, выглядела почти невероятной. В особенности теперь, когда Британия и Германия имели так много этих хорошо вооруженных левиафанов, конфликт между двумя вышеупомянутыми державами представлялся бессмысленным каждому разумному человеку.

Оглядываясь на события 1909 года, подтолкнувшие Англию к строительству большего количества дрендоутов, или на панику, вызванную прибытием крошечной «Пантеры» в Агадир, многие пришли к выводу, что имело место сильное преувеличение. И что уже наступило время прекратить гонку вооружения, во всяком случае, замедлить ее, насколько это возможно.

Следует предоставить дипломатам возможность разбираться со всем этим, а Британия должна, наконец, отвлечься от тикающего взрывателя и заняться делами внутри страны. Женщины должны получить право голоса, рабочие — возможность вести относительно благополучную жизнь, следует позаботиться и о бедняках, чтобы они не скатывались в ужасающую нищету, да и старая проблема с автономией Ирландии требовала способов мирного урегулирования.

В 1913 году определенной вехой стала книга «Шесть паник», на страницах которой ее автор Фрэнсис Хирст, редактор журнала «Экономист», возмущенный гонкой вооружения, непонятно для чего и кому нужной, недоумевал, почему «либералы поддерживают пагубную страсть к демонстрации военной силы на море и на суше»? Пришло время, считал он, когда либералы должны заняться вопросами мира и благополучия граждан. Лорд Лорберн — недавно покинувший либеральный кабинет — поддержал идеи, выраженные в «Шести паниках», и доверительно заявлял: «Время показало, что у немцев нет никаких агрессивных намерений против нас, как и у нас против них; только глупые люди могут поддерживать разговоры о будущей войне между нами, которая на самом деле никогда не состоится».

Следя за колебаниями маятника, Дэвид Ллойд-Джордж решил, что настал удобный момент для того, чтобы провозгласить новое «мирное наступление». Уступку воинственности, связанную с кризисом в Агадире, он считал политической ошибкой, и теперь надеялся показать Хирсту и другим выразителям либерального мнения, что он извлек пользу из полученного урока и собирается вернуться к прежней

антивоенной позиции. Ллойд-Джордж даже сделал недвусмысленное заявление о том, что будет придерживаться нового курса. В интервью, опубликованном в первый день 1914 года в «Дейли Кроникл», министр финансов признал, что все возрастающие военные расходы ложатся тяжким бременем на бюджет, и он хочет вернуться к прежнему уважаемому либералами принципу экономии.

Угроза, показавшаяся столь зловещей в 1911 году, уже не столь актуальна, сказал он. Отношения с Германией «сохраняются дружественными, и останутся таковыми еще долгие годы». Обе стороны уважают интересы друг друга, настаивал он, и здравый ум побеждает в улаживании сложных проблем, касающихся Северного моря». Военное столкновение на море двух держав ему представлялось практически невозможным, поскольку Германия не может не осознавать, как ничтожен ее шанс на победу. «Даже если Германия и собиралась бросить вызов нашему превосходству на море, то нынешнее положение должно полностью положить этому конец», — сказал он.

При таких обстоятельствах Ллойд-Джордж мог прийти только к одному-единственному логическому умозаключению. Настало время, провозгласил он, когда пора остановить «напрасные усилия» по дальнейшему наращиванию мощи британского военно-морского флота. Действительно, с его точки зрения было опасно наращивать силы, поскольку это «неизбежно спровоцирует другие нации». Ллойд-Джордж признавал, что Германия пока что сохраняет прежние темпы вооружения, но был уверен, что у нее на это есть законные причины. «Страна пережила столько нападений, вторжений и разрушений, что она не может отказаться от попыток защитить себя».

Никаких докладов, на которые опирался бы Ллойд-Джордж, высказываясь об англо-германских отношениях и об отсутствии у кайзеровских адмиралов намерения начать войну на Северном море, не сохранилось. Скорее всего, ему хотелось верить в здравый смысл руководителей Германской империи. Что самое скверное, он продолжал повторять свои доводы и спустя двадцать лет, когда отправился в Германию на встречу с Гитлером, а после возвращения сообщил читателям «Дейли Экспресс», что наращивание военной мощи Третьего рейха вызвано исключительно заботой о собственной безопасности.

«Словам Гитлера в Нюрнберге стоит верить, — писал Ллойд-Джордж в 1936 году. — Немцы готовы дать отпор любому, кто вторгнется на ее территорию, но сами они не собираются вторгаться в какую-либо другую страну». После встречи с Гитлером, которого он величал «Джорджем Вашингтоном

Германии», Ллойд-Джордж даже сделал весьма опрометчивое заявление, что «установление германской гегемонии в Европе, которое было мечтой старого довоенного милитаризма, не является даже самой отдаленной целью нацистов».

Точно так же, как в 1914 году, он отказывался верить в «мечту старого довоенного милитаризма», точно так же и в 1936 году он пытался принизить и число жертв, и количество преследуемых нацистами евреев. «Для немецкого духа гонения столь же неприемлемы, как и для жителей Британии, — внушал он своим соотечественникам. — После того, как к ним вернется присущий им юмор, закончится и болезненный приступ».

Мерилом его поездки по Германии в 1936 году станет предупреждение, сделанное им нацистским лидерам Рудольфу Гессу и Иоахиму фон Риббентропу быть поосторожнее с Черчиллем, поскольку тот «не способен делать верные умозаключения».

Пока Ллойд-Джордж в начале 1914 года продвигал свои новые взгляды на германский милитаризм, Уинстон и его семья, включая Дженни, отдыхали на южном побережье Франции в шато, принадлежавшем герцогу Вестминстерскому. Среди других приглашенных гостей был и Фрэнсис Гренфелл. Он вел дневник в течение всего времени, что провел на юге Франции. Чтение его записей захватывает воображение, потому что он сохранил для нас высказывания Черчилля о том напряженном периоде — перед войной. Как бывший солдат, Гренфелл не мог не принимать доводов Черчилля относительно неизбежности войны. Кроме того, они были друзьями, и у них было о чем поговорить наедине. Брат Гренфелла — Роберт — сражался плечом к плечу с Черчиллем при Омдурмане, и погиб там. (Фрэнсис умрет в 1915 году, но он успеет отличиться в боях и получит «Крест Виктории».) [66].

Во время рождественского ланча Черчилль жестко критиковал Ллойд-Джорджа, что уже вошло у него в привычку. «Крестьянин с крестьянскими идеями», — отозвался он о своем коллеге. До конца 1913 года он еще надеялся, что Ллойд-Джордж поддерживает его в стремлении опередить военно-морские силы Германии, но уже к концу года он понял, что министр финансов будет оказывать мощное сопротивление, и другие члены кабинета последуют его примеру.

В самом деле, на следующий день в шато прибыло сообщение — меморандум Ллойд-Джорджа, составленный 24 декабря. Это был открытый отказ поддерживать планы Уинстона на строительство новых линкоров. Их число должно быть

сокращено, — требовал министр финансов.

«Считаю своим долгом, — писал Ллойд-Джордж, — отказаться от напрасных затрат до тех пор, пока не станет окончательна ясной необходимость охранять наши берега… в противном случае у правительства есть опасения, что это «расточительные глупости».

Все это означало, что Черчиллю придется выдержать в одиночку нелегкую битву. Когда два ведущих представителя кабинета не идут в ногу по важнейшим вопросам, это означает, что один из них должен уступить. Уинстон отступать не собирался.

«Целый день он был молчалив и задумчив, — писал Гренфелл о Черчилле, — вечером усиленно работал, с трудом выдавливал из себя слова за ужином, и все они были отрывистые и резкие».

Но затем, как это ему свойственно, к концу вечера Уинстон оживился и принялся детально рассуждать о природе грядущей войны и лучших способах ее ведения. Однако присутствовавшие видели, что он все еще во власти депрессии, проявлением которой становилась неспособность сосредотачиваться на чем-то одном. Время от времени он снова уходил в себя, оттачивая некие предположения, которые мешали ему явственно видеть будущее. В этих случаях он хмурился, и его охватывало состояние, которое он называл «тоска зеленая».

Когда, наконец, приступ меланхолии прошел и к Уинстону вернулась присущая ему энергичность, за потоком его слов стало намного труднее уследить. Фрэнсис Гренфелл следовал за ним по пятам, чтобы не упустить сказанного и записать в дневник: «У. открыто говорил о франко-германской войне, которая, по его мнению, должна вот-вот начаться». Черчилль не знал, каким образом она начнется, но считал, что война не обойдет стороной Британию, потому что «мы не можем себе позволить, чтобы Германия разбила Францию». Он знал, что французы опасаются за исход борьбы, но также считал, что их пренебрежительное отношение к военным способностям кайзера дает им большую надежду. — «Немцы могут потерпеть неожиданные неудачи, если германский император будет единолично распоряжаться ходом военных действий».

Что касается Британии, Уинстон отметил, что «наши действия будут зависеть от четырех или пяти человек». Разумеется, он считал себя одним из этих людей, поскольку был уверен в лучшем для армии способе вступления в бой. «Армия Англии должна находиться на фланге, — говорил он, — так, чтобы ее командование было отдельным [от французского командования], и она постоянно поддерживала связь с морем».

Чтобы добиться победы, военные лидеры нуждаются в людях, которые знают, как надо сражаться. Но в отношении военно-морского флота, — говорил он Гренфеллу, — существует масса предрассудков. Уинстон говорил откровенно и даже заносчиво для человека, имевшего солдатский опыт, но никогда не принимавшего участия в морских боях. «Флот воюет плохо. Его единственная идея — это драться лоб в лоб. Например, если 3 корабля встретят 4 германских [корабля], флот тут же вступит в схватку, вместо того, чтобы собрать 7 или 8 других кораблей».

Есть люди, такие как Ллойд-Джордж, — которые никогда не нюхали пороха — не понимающие, что задача британского флота не только в том, чтобы противостоять германским кораблям в открытом море. На самом деле, флот может поддерживать незащищенный фланг армии на континенте, курсируя вдоль берега и обстреливая объекты на суше. По сравнению с германской армией, которая может выставить миллионы солдат, британская регулярная армия невелика. Экспедиционные силы — как доказывал Черчилль еще в первый год своего пребывания в парламенте, — не способны самостоятельно одолеть континентальную армию. Но если они будут оказывать поддержку французам, сражаясь на фланге вблизи моря, можно повернуть ход битвы в свою пользу. Если же этого не произойдет, британский флот всегда сможет прийти на помощь сухопутным войскам. Но Черчилль прекрасно сознавал, что Британии необходимо, чтобы Королевские ВМС значительно превосходили на морях любые другие флоты.

Предчувствия тех событий, что еще должны произойти, принимали не все члены кабинета. Более убедительными казались доводы Ллойд-Джорджа, а раз так, то и незачем беспокоиться о флангах и развертывании морской мощи вдоль побережья Франции и Бельгии. И вместо четырех дополнительных линкоров вполне приемлемо ограничиться двумя — это самое большее, на что кабинет давал согласие.

Слова «вполне приемлемо» — были ключевыми. Противники Черчилля не уставали повторять, что его доводы не убедительны. И что он не хочет прислушиваться к мнению других, не желает идти на компромисс. Мол, с его стороны это чистое мальчишество, каприз ребенка, требующего больше, чем он заслуживает. В разгар борьбы за новые линкоры Ллойд-Джордж сказал своему другу Джорджу Риделлу: «Уинстон ведет себя как расточительный мальчишка, который вдруг впервые получил доступ к огромному банковскому счету» (забавная критика, если учитывать, что совсем недавно карьера Ллойд-Джорджа находилась под угрозой из-за финансового скандала).

Либеральные критики, выступавшие против гонки вооружения, полагали, что для ее усиления нет убедительных причин. Уинстон возражал, что эти доводы кажутся неубедительными только при отсутствии явной угрозы со стороны Германии. Но все сразу встанет на свои места, если осознать, что эта угроза реальна. После его предложения, сделанного Германии, «устроить морские каникулы», он повторил то же самое в октябре 1913 года. И на этот раз предложение Черчилля было отвергнуто немцами, после чего он понял, что у Британии нет другого пути, кроме как готовиться к войне.

Такова была ужасная и неотвратимая логика событий. Если Германия нападет на Францию, если Британия не допустит, чтобы Франция была «сокрушена», если британская экспедиционная армия будет готова отправиться на помощь французам, а кабинет согласится отправить ее, то последствия — как понимал Черчилль — будут ужасающими. Перед первым лордом адмиралтейства стоял выбор: уйти в отставку и приложить все силы для сохранения мира любой ценой. Или же оставить за собой место и готовиться к мировой войне. Уинстон последовал завету Джеки Фишера: «Если ты сражаешся — то сражайся».

Ллойд-Джордж, однако, занимал двойственную позицию: он и хотел сражаться и не хотел этого. Если возникнет необходимость защищать Францию, это надо сделать, но не сразу. Он хотел, чтобы Британия сохранила свое превосходство на морях, но не слишком большое. Надо построить не четыре, а два линкора. И этим он отличался от Уинстона, который если сражался, то сражался.

После неофициальной поездки во Францию Уинстон вернулся, имея перед собой развернутую картину войны. «Л. — Д. привык иметь дело с людьми, которых легко запугать, — говорил он в частной беседе. — Но меня не запугает. Он говорит, что подаст в отставку вместе с другими членами кабинета. Пусть подают!»

На протяжении следующих двух месяцев он неустанно добивался своего, протаскивая в смету военно-морского ведомства все, что он считал нужным. И смета была огромной. Окончательная цифра составляла 50 миллионов фунтов. Но он делал то, что поклялся сделать. И твердо отстаивал свое, выступая против Ллойд-Джорджа, который призывал к экономии средств с той же неукротимой страстью, с какой он когда-то боролся против дредноутов Реджи Маккенны. Теперь два человека, Маккенна и Черчилль, поменяли свои прежние позиции. Реджи был на стороне Ллойд-Джорджа. «Ты знаешь, я за большой флот, — говорил Реджи одному из друзей, — но я

против расточительства».

Когда препирательства, тянувшиеся так долго, зашли в тупик, терпение Асквита истощалось, и он положил конец спорам, дав добро на строительство четырех линкоров. Асквит поставил своему министру финансов условие: либо тот соглашается с таким решением, либо пусть подает в отставку. Премьер-министр не сомневался, что Ллойд-Джордж не покинет своего поста, и оказался прав.

Выиграв битву за линкоры, Черчилль решил восстановить прежние дружеские отношения с Ллойд-Джорджем. Но со стороны министра финансов чувствовался холодок и затаенная обида из-за того, что Черчиллю удалось выйти победителем в дебатах. «Если бы не теплое отношение ко мне Уинстона и его добрый характер, — какое-то время спустя признался он Марго, — я бы не знаю, что с ним сделал! Но, как ты говоришь, он такой ребенок!»

Публичные высказывания Ллойд-Джорджа, в которых он выражал свою примиренческую позицию в отношении Германии, показывали британскому обществу — и германским военным, — что внутри правящего кабинета существует глубокая оппозиция, выступающая против амбициозных планов Черчилля. Премьер-министр пытался объединить два лагеря, но действовал, как правило, запоздало и не очень убедительно. А в самом кабинете только Асквит и оставался единственным человеком, который поддерживал Уинстона. В январе 1914 года один из гражданских служащих адмиралтейства написал в письме другу: «Дело в том, что Черчилль уже надоел кабинету до чертиков. Он постоянно гребет только в свою сторону, отчего между ним и другими министрами происходят неизбежные стычки. Как коллега, он является для них великим испытанием. Но они не могут с ним тягаться в силу своего невежества, тогда как Черчилль способен прочесть целую поэму по любому пункту военно-морской программы».

После всей политической крови, пролитой в схватках по поводу бюджета и отмены права вето, правительство оказалось слабым и уязвимым. Но еще до того, как этой слабостью воспользовалась Германия, другая хорошо вооруженная сила решила испробовать правительство на прочность. Эдвард Карсон и ольстерские юнионисты решили показать зубы и добиться отмены гомруля. Они оказались настоящими гениями организации. Им удалось набрать 100-тысячное ополчение — Ольстерские добровольческие силы, — и воодушевить все это движение идеями политической и религиозной свободы. По

призыву юнионистов полмиллиона человек подписали «Торжественную клятву», чтобы сокрушить гомруль и защитить Ольстер.

В 1914 году Ольстерские добровольческие силы начали активно вооружаться, добывая контрабандой нарезные винтовки. Это обстоятельство не ускользнуло от внимания германских военных, и они сочли, что мятеж в Ольстере может отвлечь британские войска и создать благоприятные для Германии условия, чтобы начать быстрое наступление против Франции. Как лорд Холдейн писал в мемуарах: «Немцы проявляли необычайно большой интерес к волнениям британской армии в Ирландии». Из австрийского посольства в Лондоне отправили дипломата в Белфаст, чтобы он на месте разобрался в ситуации. То, что он увидел, испугало его. Не оставалось никаких сомнений, что юнионисты готовятся к серьезной войне.

«Ольстер пребывал в лихорадочном возбуждении, — вспоминал австрийский дипломат Георг Франкенштейн. — В Белфасте во всем ощущалась мрачная решимость вооруженного сопротивления. Я видел протестантских священников в церковном облачении, воодушевлявших добровольцев молитвами и гимнами… Многие тысячи этих волонтеров… маршировали вместе с отрядом сестер милосердия, в то время как Карсон, с его будто высеченным из гранита лицом, выглядел как символ несокрушимой решимости, когда он возвышался над толпой и говорил о своем твердом намерении идти до конца, но не допустить выхода Ольстера из Союза».

Карсон и в самом деле оставался непреклонным и столь погруженным в мрачные мечты о кровавой бойне в Ольстере, что не принимал никаких попыток Асквита найти более-менее преемлемое решение вопроса. Одно из его предложений — отложить решение на шесть лет — вызывало только бурю негодования. «Это все равно, что растянуть пытку на шесть лет», — заявил Карсон.

Ольстерские юнионисты поставили правительство в положение, из которого невозможно найти выход. Если бы премьер-министр был тверже и решительнее, он мог бы выбрать подходящий момент, чтобы остановить Карсона и найти способ изолировать его. Но в эту трудную минуту кабинет обратился за помощью к Черчиллю. Еще неделю назад он вызывал всеобщее раздражение из-за непомерных требований, и вдруг стал «любимым бульдогом», который способен поставить лидера юнионистов на место. Ллойд-Джордж счел, что он слишком давил на Черчилля, и заговорил намного теплее со старым другом. «Речь, которую ты произнесешь, прокатится по коридорам

истории», — убеждал он его.

Лесть попала в яблочко. Черчилль выступил на севере, в Брэдфорде, чтобы убедить юнионистов взять назад их угрозы. Но юнионисты сохранили твердость. Напрасно он пытался внушить им беспокойство по отношению к немцам, которые, внимательно наблюдая со стороны, могут надеятся на то, что внутренний кризис в Британии окажется даже более разрушительным, чем все прежние.

В течение следующих четырех месяцев правительство было полностью сосредоточено только на том, чтобы усмирить беспорядки в Ольстере. Но взаимонепонимание только нарастало.

Несколько десятков армейских офицеров, служивших в лагере Карра возле Дублина, считая, что их намереваются послать в Белфаст для борьбы с юнионистами, пригрозили отставкой. Это грозило тем, что мятеж будет разрастаться. Опасаясь, что находящиеся в Ольстере склады с оружием и другим военным снаряжением могут подвергнуться внезапному нападению, Черчилль послал эсминцы, чтобы помочь в переброске в регион армейских подкреплений. Когда оппозиция узнала об этом, Уинстон стал объектом словесной бомбардировки, которая своим размахом намного превосходила само деяние, послужившее для нее поводом. Юнионисты разжигали ненависть к Черчиллю, обвиняя в тайной подготовке заговора для штурма Ольстера и организации там «погрома». Основываясь только на слухах, Эдвард Карсон рисовал портрет Черчилля как самозваного царя Ольстера, решившего устроить бойню в Белфасте. Он величал его не иначе как «предательский сын лорда Рэндольфа, который желает остаться в памяти потомков белфастским мясником».

На протяжении всей его деятельности, критики всегда только набрасывали облик Черчилля, который потом подправляли по ходу дела, как им хотелось. И при помощи карандаша и резинки они могли мановением руки превратить его в чудовище, способное пойти на любое преступление. В очень большой степени это было вызвано его аристократическим происхождением, которого критики не могли ему простить. Никто не замечал того, что другие политики — его современники — с удовольствием принимали высокие титулы, которыми их жаловали, а он большую часть своей карьеры оставался просто Уинстоном. Но ничто не имело значения, когда кому-то из его недоброжелателей хотелось выявить сумасшедшего герцога, напыщенного принца или императора-тирана, спрятанного внутри Черчилля.

В самый разгар Ольстерского кризиса в «Фотнайтли Ревью» дали его портрет: «Мистер Черчилль все более и более

напоминает других аристократичных демагогов, известных в истории… его высокомерие можно сравнить только с надменностью Клавдия, его безрассудные речи преисполнены чванства, он умет витийствовать, он самоуверен, его претензии безграничны, и он не испытывает ни малейших угрызений совести».

К счастью для Британии, грозящая ей гражданская война из-за Ольстера обернулась всего лишь длительной серией грубых словесных дуэлей. Вражда еще продолжала бушевать 28 июня 1914 года, когда другой объект ненависти националистов — австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд, тот самый турист, что посещал Лондон прошлой осенью, — был застрелен в Сараево. И если в прошлом году лондонский визит Франца Фердинанда остался практически незамеченным, то и теперь его известие о его смерти довольно медленно доходило до сознания британской публики. Реакцию Артура Ли, члена парламента от партии тори и владельца Чекерса, можно назвать весьма типичной: «Новость о том, что некий австрийский эрцгерцог (один из многих и неизвестный у нас) был убит в месте под названием Сараево (которое ничего нам не говорит), не произвела на нас сильного впечатления, за исключением того факта, что бал в королевском дворце, которого мы с таким нетерпением ждали, был отменен, и при дворе объявлен траур».

В самом деле, какое значение для страны, находившейся на грани гражданской войны, могло иметь событие в балканском захолустье, где некий обезумевший убийца застрелил некоего наследного принца? Но, как вскоре выяснится, это убийство стало прологом долгой трагедии, которая быстро задвинула в тень Ольстерский вопрос, заставив его «уплыть назад», как выразился Черчилль, «в туманы и шквалы Ирландии». После объявления войны Ольстер тоже должен был сражаться, но против Германии, и вместе с остальной Британской империей.

XXVI. Последняя линия обороны

Пожар войны распространился очень быстро, много времени это не потребовало. Австрия стала угрожать Сербии, Россия готовилась выступить против Австрии, Германия превратилась во врага для всех, кроме Австрии. Были выдвинуты ультиматумы, государственные деятели самого высшего ранга заговорили на повышенных тонах, армии были мобилизованы, линкоры Королевских военно-морских сил вышли в море, и вахтенные матросы тревожно вглядывались вдаль, поскольку опасная черта уже приближалась. Германия, которой так не хватало повода, чтобы развязать военные действия, наконец, могла воспользоваться уважительной причиной и поддержать Австрию против русского царя и его западных союзников — французов.

Как и предсказывал Уинстон, британцы не могли допустить французского разгрома, и когда германские войска решили атаковать Францию через нейтральную территорию Бельгии, это стало поводом для вступления Британии в войну. В Лондоне, теплым вечером 4 августа 1914 года, Черчилль сидел в адмиралтействе, не отрывая взгляда от часов. До одиннадцати часов вечера Германия должна была дать ответ на запрос Британии о соблюдении нейтралитета Бельгии.

Минутная стрелка двигалась. Ответ не приходил. В одиннадцать часов в распахнутое окно донесся бой башенных часов Биг-Бена. И с первым ударом по комнате прошло шелестящее движение — на корабли была послана телеграмма с предписанием «Начать военные действия против Германии».

В свои тридцать девять лет Уинстон находился теперь в центре мировой войны, взяв на плечи груз ответственности за самый большой флот в мире, и обязанность прикрывать берега родного острова. Ему потребовалось тринадцать лет, чтобы подняться из рядов заднескамеечников парламента до одного из самых высоких постов империи. После всех споров и политических стычек, очернительства и брани, он получил возможность повлиять на ход истории, и доказать значимость героического видения жизни.

В этот драматический момент Черчилль получил немало ободряющих писем. Их прислали те, кто догадывался, как много это для него значит, и как долго он этого ждал. 10 августа Памела Литтон писала: «Думаю, что догадываюсь, какие чувства ты сейчас испытываешь: твои мечты сбылись, и ты сможешь проявить все свои способности в твоем положении главы английского флота и руководителя морских битв Англии в ее

величайшей войне».

В первые дни войны многие жители Британии не сомневались, что она закончится через несколько месяцев, и что лучшие командиры вернутся домой, увенчанные венками победы и немеркнущей славой. А как еще могло быть иначе, учитывая мощь империи и давние традиции великих военных побед? Они представляли себе грядущие сражения как сообщения о спортивных достижениях. Это представление было столь распространенным, что вся ее жестокая суть легко скрывалась за возбуждающими чувство фантазиями о том, как войска переходят реки, города берутся штурмом, и солдаты берут в плен врагов после относительно бескровных атак и бесшумных маневров. Некоторые британские стратеги рассчитывали, что они выйдут победителями (как если бы это происходило в игре в гольф), несмотря на численное превосходство германской армии, перехитрив кайзера и вынудив его капитулировать. В то время как британские войска отбросят противника с поля сражения, Королевские ВМС расправятся с германским флотом и установят блокаду, которая повергнет немцев в панику. Вот таким образом очень многие рисовали себе картину «летней войны», когда услышали сообщение о ее начале.

Уинстон в адмиралтействе упивался тем, что наступил его час. Он предвидел эту войну, и теперь был готов к тому, чтобы сражаться, причем неважно где — на земле, на воде или в воздухе. Он даже не в состоянии был скрыть своего возбуждения от ближайшего окружения. Что вызывало у них неприятное ощущение — нельзя же так откровенно ликовать от того, что идет война.

Однако находились и те, кто радовался вместе с Черчиллем, отдавая дань тому упорству, с которым он укреплял флот. Неожиданно для Уинстона, у него появился поклонник — Джайлс Литтон-Стрейчи — биограф, писатель-эссеист и литературный критик. Литтон-Стрейчи был худ, темноволос и обладал едким, сухим чувством юмора. Но в его словах, произнесенных в сентябре 1914 года, не было и тени иронии: «Господь даровал нам остров, а Уинстон дал нам морской флот. Было бы полным абсурдом отрицать это преимущество».

Вначале Черчилль принимал вызов с воодушевлением, хотя и знал — это принесет смерть и множество разрушений. «Все обернется разрухой и крахом, — писал он Клемми. — А я в восторге, я счастлив. Разве это не ужасно? Но подготовка вызывает во мне прилив восторга».

Решительный момент настал, когда в кабинете стали обсуждать вопрос — надо ли вступать в войну? 1 августа Льюис

Харкорт, который сразу убеждал всех, что Британии невыгодно сражаться на континенте, — заметил с изумлением и отвращением в дневнике: «Черчилль намеревается мобилизовать весь флот. Настроен воинственно». Зная, что германская армия собирается вступить в Бельгию, Черчилль и в самом деле был настроен воинственно. А Харкорт настолько не желал признавать очевидного, что не мог понять, почему Черчилль так ведет себя.

Причиной того, что война для Британии обернулась долгим изнурительным маршем, было то, что либералы вроде Харкорта, Ллойд-Джорджа и Асквита заняли двойственную позицию. С одной стороны, они ввергли нацию в войну, но отказывались действовать энергично и решительно. С первых же дней они воспринимали войну как своего рода субконтракт — хорошая работа для военных, но не настолько, чтобы ей отдаваться полностью. Через десять дней после начала войны противник Черчилля в кабинете министров — Реджи Маккенна — провел субботу, играя в гольф, и уверенно доказывал друзьям, что Уинстон слишком глубоко погрузился в дела войны и уделяет ей слишком много внимания. «На словах он хорош, — продолжал Маккенна, — но Уинстон никогда еще не совершил ничего значительного». Реджи еще долго рассуждал на эту тему, не замечая иронии ситуации: пока он играл в гольф, Уинстон отдавал себя полностью делам адмиралтейства.

Одним из немногих членов кабинета, кто сложил с себя полномочия, выступая против вступления Британии в войну, — был старый Джон Морли. Он слишком засиделся на своем месте и готов был уйти в отставку. Он прямо и недвусмысленно объяснил Черчиллю свою точку зрения: «Для военного кабинета я теперь не гожусь. Я буду просто мешать. Если уж мы ввязываемся войну, то все должны быть преисполнены решимости воевать. И мне здесь нет места».

Премьер-министр во многом сходился с Морли, в чем сам не хотел себе признаваться. Его дальнейшее поведение во время войны показывает, насколько Морли был честнее, и насколько его позиция была вернее. Асквиту следовало идти по его стопам. Как только начались боевые действия, Асквит все более дистанцировался от военных проблем и проводил часы, составляя письма молодой Венеции Стэнли, успокаивая и утешая ее. Она была моложе его на тридцать пять лет. Его страсть к Венеции и привязанность к ней становилась все сильнее с каждым днем войны. Вот типичное послание к ней того времени: «Моя дорогая — дороже нет ничего на свете — я люблю тебя всем сердцем и душой».

Он почти ничего не знал о войне, а то, что знал, почерпнул из

книг. При встречах в кабинете министров он не проявлял ни тени радости от предстоящего насилия, но он и не намеревался отдаваться делу ведения войны со всей сосредоточенностью и убежденностью. Во время лихорадочного возбуждения первых месяцев войны, охватившего почти всех, премьер-министр занимался привычными рутинными делами, посещал ужины, произносил тосты и отправлялся вздремнуть после изрядной доли выпитого. В один из сентябрьских дней, когда лорд Китченер — новый глава военного министерства — и Черчилль увлеченно обсуждали планы сражений, Асквит заснул, и ему приснилась обожаемая Венеция. «Когда я открыл глаза, — писал он ей, — твое видение растаяло. Я оказался в роли Кубла-хана» [67]. Я снова столкнулся с суровой реальностью в образе Китченера и Уинстона, кстати, последний только что вернулся из полета — он тайно встречался с адмиралом Джеллико где-то на севере Шотландии».

Асквит был настолько опьянен и заворожен своим чувством к Венеции, что не замечал, как разглашает секретнейшие сведения в письмах к ней. «Это очень секретно», — писал он, а затем в деталях описывал сведения о тайных перемещениях войск, подвергая их величайшей опасности. Многие его письма к ней полны отступлений, в которых он обсуждает тему войны так, словно речь идет о каком-то развлечении в гостиной или же об игре в шахматы, которая идет где-то в отдалении.

Война как-то проходила мимо него. Обеспокоенный тем, что Королевскому флоту придется вести бои в штормовых северных широтах, он говорил об этом не как военный лидер, управляющий целыми армиями, а как пожилая тетушка, жалующаяся на непослушного племянника: «Прошлым вечером я говорил Уинстону… он слишком далеко гребет — так и посуду перебить недолго».

Но если премьер-министр не в силах быть лидером, кто-то должен взять ответственность на себя! Естественно, Уинстону не понадобилось много времени осознать, что именно он должен заполнить вакуум. У него было то, чего так не хватало членам кабинета — юношеская энергия, военный опыт и, главное, желание победить. И многие из них поняли, что для них это удачная находка, во всяком случае, на первых этапах. В эти начальные военные месяцы Уинстон, похоже, успевал быть одновременно во многих местах, то встречаясь с кем-нибудь из адмиралов, то дискутируя о стратегии с генералами. Лорд Холдейн писал ему: «Асквит признался мне сегодня после обеда, что тебя можно сравнить с большим войском в поле, и это правда».

Черчилль принял его слова близко к сердцу. И он поверг военных в ужас (а вместе с ними и всю страну), когда неожиданно решил, что обязан непосредственно принять участие в битве как полевой командир в полном смысле этого слова. Как первый лорд адмиралтейства он вовсе был не обязан стоять на капитанском мостике линкора под огнем, или, тем более, командовать войсками на линии фронта. Но 3 октября, когда Черчилль прибыл в бельгийский порт Антверпен, чтобы проследить за ходом обороны, он решил задержаться там на три дня и превратиться в генерала. [68]. Его не пугал мощный артиллерийский обстрел, что мог закончиться для него печально, как и вся драматическая ситуация обороны против превосходящих германских сил [69]. Но запах пороха пробудил в нем боевой инстинкт.

Вместе с бельгийскими войсками, а также с Королевской морской пехотой и частями Королевской морской дивизии, созданной им еще в августе, Черчилль решил удерживать город до тех пор, пока не прибудут подкрепления. [70].

Сумасшедшая энергия настолько переполняла его, что он забыл обо всем на свете, кроме предстоящей схватки с противником. Один итальянский военный корреспондент описывал, как Уинстон, одетый в плащ и с яхтсменской фуражкой на голове, передвигался среди войск, не обращая ни малейшего внимания на осколки, падавшие со всех сторон. Ему не хватало времени для сна, но его ум оставался все таким же острым, и он то и дело выдвигал всевозможные идеи о том, как защитить город. Некоторые из этих идей были хорошими, а некоторые — неудачными. Об одном из самых необдуманных решений Уинстон сообщил телеграммой Асквиту — он просил, чтобы с него сняли обязанности первого лорда и предоставили ему «полномочия командующего отдельным соединением в поле». Почему-то он вбил себе в голову, что защита Антверпена в данный момент — самое главное дело жизни. И надеялся выйти победителем. Но Асквит ответил решительным отказом.

Его счастье, что Уинстон выбрался оттуда живым и здоровым. Прибывший офицер — старше его по возрасту и намного опытнее, взял на себя обязанность защищать Антверпен [71]. А Уинстон вернулся в Лондон. Реакция его коллег в кабинете колебалась от возмущения до восхищения. Сэр Эдвард Грей преисполнился за него гордостью и писал Клемми: «Я просто светился от счастья из-за того, что сижу рядом с настоящим Героем. Не могу даже передать тебе, как я восхищаюсь его храбростью и доблестным духом. Он настоящий гений войны».

Несмотря на то, что Антверпен был все же взят немцами, его оборона позволила задержать их быстрое продвижение к

северному побережью Франции и помешала им захватить порты на Ла-Манше [72]. В то же самое время падение Антверпена сразу превратило Уинстона из героической фигуры в объект насмешек. Радостный энтузиазм, с которым он рвался в бой, подвел его. Уинстону на какой-то миг представилось, что только он один в состоянии защитить город. Его противники принялись порицать Уинстона за то, что он оставил свой важнейший пост в адмиралтействе ради того, чтобы самому ввязываться в бесполезную борьбу за бельгийский порт. Х.А. Гуинн, редактор «Морнинг Пост», даже попытался возложить всю вину за так называемый «антверпенский промах» исключительно на Уинстона. Он обвинял его в том, что первый лорд поставил под удар британские войска только ради собственной личной славы.

«Вся эта авантюра, — писал Гуинн, — являлась делом Черчилля, и не кажется, что она была обсуждена, обдумана или согласована с кабинетом». Рассерженный редактор даже направил письмо премьер-министру и другим членам кабинета, требуя смещения Уинстона. Владельцу его газеты он написал о первом лорде следующее: «Представьте себе, что нашим флотом командует такой тип. Человек, который что-то вбивает себе в голову и, не дав себе труда поразмышлять над правильностью идеи… вовлекает нас всех в поспешные действия. И это в то время, когда надо беречь каждого человека!»

На самом деле Черчилль принял решение отправиться в Антверпен после обсуждения этого вопроса с Китченером и Греем, и оба пришли к выводу, что жизненно необходимо задержать немцев у города как можно дольше. Задача Черчилля состояла в том, чтобы воодушевить бельгийцев на бой и дать им почувствовать поддержку со стороны. Китченер обещал прислать на помощь защитникам Антверпена до пятидесяти тысяч человек. [73]. Когда план обороны представили Асквиту, он полностью поддержал его.

«Бесстрашный Уинстон должен отправиться в полночь, чтобы достичь Антверпена около 9 часов утра, — так писал 3 октября премьер-министр своей возлюбленной Венеции. — Если он будет в состоянии изъясняться на иностранном языке, то бельгийцы услышат такие речи, которые им никогда не доводилось слышать прежде. Думаю, что он сумеет внушить им твердость духа».

На какое-то время присутствие Черчилля в городе действительно поднимало дух сопротивления бельгийцев. «Уинстону удалось убедить их держать оборону в тот момент, когда они готовы были отступить», — писал Асквит 5 октября. Но как только Черчилль 6 октября покинул Антверпен, сопротивление бельгийской армии ослабло, и город пал спустя

четыре дня. [74]. Асквит не видел в этом никакой вины Черчилля, всю вину он возлагал на военных Бельгии, а также на французов, не оказавших им поддержки в той степени, в которой они нуждались.

И в поздние годы Черчилль оправдывал свои действия в Антверпене, но признавал: «Будь я на десять лет старше, я бы сначала подумал, прежде чем браться за такое невыигрышное задание».

В истории есть масса примеров тому, как полководцы отправляли других умирать, не видя, даже издалека, поля сражения. И самые непримиримые критики Черчилля все же вынуждены признать, что он к таковым не относится. Во время битвы за Антверпен те члены кабинета, кто полностью отдавали себе отчет в том, что город все равно придется сдать, восхищались неукротимой храбростью Черчилля. «Он необыкновенное создание, — сказал Асквит седьмого октября, — с непостижимой решительность школьника… и то, что многие считают характерной чертой гениев — «молниеносным прояснением в голове».

Королевский флот, ради строительства которого Черчиллю пришлось преодолеть такое мощное противостояние заднескамеечников, теперь сдерживал угрозу нападения немцев с моря, а в конце Первой мировой войны вышел победителем. И в самом начале, не будь флот так хорошо оснащен и подготовлен к войне, немцы могли бы застать его врасплох, перекрыть выход каким-то кораблям и сделать так, чтобы высадка Британских экспедиционных сил во Франции прошла бы при мощном противодействии противника. Не исключено, что британцам вообще пришлось бы отступить. Но к концу 1914 года войскам британцев и их союзников, развернутым на Западном фронте, уже не грозил риск внезапного и катастрофического по своим последствиям удара. Маневренный период сменился сидением в окопах, прикрытых заграждениями из колючей проволоки.

Избегая рискованных ситуаций, многие генералы и политики, вовлеченные в войну, привели ее к патовой ситуации. Каждый из них надеялся, что сдвинуть противостояние с мертвой точки удастся благодаря случайному везению, или, возможно, благодаря самопожертвованию тысяч солдат, которые каким-то образом сумеют провести решительную атаку и прорвать оборонительную линию противника. Черчилль ненавидел такое топтание на месте. Ему хотелось что-то немедленно предпринять. Новое и неожиданное. Он искал более эффектных способов сокрушения боевых линий — решительных ударов вместо

булавочных уколов. Разочарованный многими высшими командирами, он обратился за помощью и советом к тому, чьи нешаблонные взгляды его так привлекали — Джеки Фишеру.

Несмотря на личные возражения короля, который считал адмирала слишком старым и неуравновешенным, в конце октября Черчиллю удалось вернуть Фишера на действительную службу. Возвращение его в адмиралтейство оказалось самым худшим из всех решений, принятых Уинстоном в период войны. Опасения короля оправдались. Возраст Фишера начинал сказываться. Ему уже было около семидесяти четырех лет, и его характер стал еще более невыносимым, чем прежде, если говорить мягко.

«В действительности он ничего не делал, — писал капитан 1-го ранга Херберт Ричмонд о Фишере в январе 1915 года. — Он уходил домой поспать после обеда. Он был стар, изможден и очень нервозен. И это ненормально вручать судьбу страны в руки старика, не пользующегося авторитетом, который боялся мелких поражений, чтобы не уронить своего престижа. Печально».

Возможно, Черчилль и рассчитывал получить от адмирала дельный совет, но ему понадобилось больше времени, чем капитану Ричмонду, чтобы осознать, что Фишер «износился». Тем временем Уинстон все еще надеялся найти «точку сборки» и переломить ход войны. Асквит знал его намерения и, как обычно, счел нужным поделиться последними секретными планами с Венецией. «Его быстрый и гибкий ум, — писал он 5 декабря 1914 года, имея в виду Черчилля, — на этот раз сосредоточился на Турции и Болгарии. Он намеревается организовать героическую экспедицию в Галлиполи и в Дарданеллы».

С самого начала Асквит решительно выступил против этой затеи. Узкий пролив Дарданеллы у берегов Турции находился слишком далеко от Западного фронта. Конечно, гипотетическая возможность усмирить Турцию (союзницу Германии) имелась, после чего Россия (союзница Британии) получала возможность провести свои корабли через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море [75]. В случае благоприятного исхода операции, немцы должны были перенести внимание с Западного фронта. А если удача отвернется от русских или же Германия не будет обращать внимания на Дарданеллы? Хотя пролив был всего лишь тридцати восьми миль в длину, турки готовились защищать каждую его милю всеми силами, которые они только могли собрать. Их беспокоило одно: в случае, если вражеский флот благополучно минует пролив, он может легко добраться до Константинополя и напасть на столицу Турции.

Но в тот момент Черчилль уже слегка изменил свои планы. В конце декабря он предложил новую мишень для нападения,

ближе к дому — маленький германский остров Боркум в Северном море. Если мы внезапно захватим его, уверял он Асквита, это сразу изменит ход войны. «То, что он окажется у нас в руках, будет раздражать противника, и, возможно, они решатся на морское сражение». Надо делать какие-то неожиданные шаги, настаивал он. «Неужели нет другого выхода, кроме того, что посылать наших солдат жевать колючую проволоку во Фландрии?!»

Примерно недели две Уинстон был увлечен планом атаки на Боркум, пока Джеки Фишер и лорд Китченер не приняли идею с Дарданеллами. 12 января Фишер писал своему другу, что комбинированное нападение с суши и моря на пролив и Галлиполийский полуостров может дать хороший результат, особенно, если собрать для этого значительное количество войск. «В таком случае мы легко возьмем Константинополь». Но Черчилль решил быть более осмотрительным, обсуждая с Фишером идею о Дарданеллах, которую тот выдвинул. Не имеет значения, будет ли нам легче сражаться с турками, чем с немцами, писал он: «Наш враг — немцы, и нам не стоит искать легких побед и более слабого противника». И Черчилль очень подробно изложил все свои сомнения по этому поводу, однако Фишер победил. Он требовал подключить к штурму пролива новый линкор «Куин Элизабет».

Этот корабль был вооружен теми самыми 15-дюймовыми пушками, которыми так гордился Уинстон. [76]. И ему, конечно, пришлась по душе идея проверить действенность дальнобойных орудий, которые могли издалека разрушить турецкие форты, расположенные в проливе. Это сразу склонило чашу весов, поскольку до этого он сомневался. Но появление в планах операции линкора «Куин Элизабет» меняло все.

Теперь Черчилль был уверен: шквальный огонь самого мощного корабля Королевского флота может разнести береговые укрепления турок. В данном случае на него оказало влияние и то, что он сам пережил в Антверпене: постоянный артиллерийский обстрел со стороны немцев разрушал волю бельгийцев к сопротивлению.

В секретной докладной записке, составленной для российского великого князя Николая [77], Черчилль писал, что план операции включает «систематическое и планомерное подавление фортов дальнобойным огнем 15-дюймовых пушек «Куин Элизабет», за чем последует прямая атака 3 или 4 старыми линкорами, и можно надеяться, что это будет по характеру походить на те методы, которыми немцы разрушали… форты внешней оборонительной линии в Антверпене».

13 января Черчилль описал коллегам по кабинету картину того, как военно-морские силы будут выводить форты из строя «один за другим», пока не установят контроль на всем проливом. В ответ первым выступил Ллойд-Джордж, заявивший, что план ему нравится. Китченер сказал, что «попытка того стоит». Асквит тоже дал согласие, и вскоре флот, насчитывавший более дюжины линкоров — большей частью старой постройки — был подготовлен к штурму Дарданелл [78].

Почти в тот же момент Фишер начал пересматривать план, боясь, что нападение окажется неудачным. Однако все остальные в кабинете уже заразились его энтузиазмом. К концу января Эдвард Грей не сомневался, что «турки будут парализованы от страха, когда услышат, что их форты разрушены один за другим». В конце февраля премьер-министр уже был готов «рискнуть», — как он писал Венеции. «Я убежден, что нападение на пролив, оккупация Константинополя, возможность отрезать почти половину Турции, поднять восстание против них на всем Балканском полуострове, — открывает такую уникальную возможность, что мы не имеем права воздерживаться, а должны поставить на эту карту все».

Он ошибался. Это был полный крах с самого начала до самого конца. Орудийные залпы с линкора «Куин Элизабет» в феврале достигли своей цели [79], но когда старые линкоры 18 марта двинулись по проливу, чтобы обстреливать форты, они сразу напоролись на мины. Три из них были потеряны в первые несколько часов. [80]. Ситуация менялась от плохой к худшей, ошибка следовала за ошибкой, как на море, так и на суше. Особенно много ошибок сделала армия, пытавшаяся очистить Галлиполи от турецких войск, которые показали себя куда более дисциплинированными и стойкими, чем британцы могли себе представить.

Начиная с 25 апреля австралийские и новозеландские войска присоединились к крупным англо-французским силам, чтобы сражаться против турок, и хотя обе стороны демонстрировали чудеса храбрости, они оказались в таком же позиционном тупике, что сложился на Западном фронте. [81]. Десятки тысяч человек, вовлеченных в эти бои, погибли за оставшуюся часть года. [82]. Сильно пересеченная местность, плохая погода и военная некомпетентность обернулись — вместо обещанной Асквитом «уникальной возможности», — долгим бесплодным противостоянием, ничего не изменившим в ходе войны.

Вину следовала разложить на всех поровну. Но именно Черчилль заплатил по полной. Слишком высоко взлетел на тот

момент молодой титан. И когда понадобилось найти козла отпущения, всю ответственность возложили на Черчилля. Совсем немного времени прошло с того момента, когда неудачи последовали одна за другой, и тотчас указательный палец был направлен в его грудь. В мае 1915 года отношения и коллег, и противников сошлись.

По сути, именно премьер-министру принадлежало последнее слово. Именно он и принял решение «рискнуть». Асквит брал на себя ответственность, но отказался держать ответ за случившееся, как и Китченер, который из рук вон плохо вел Галлиполийскую кампанию. Точно так же вел себя и Джеки Фишер, доказывая изо всех сил, что все время сопротивлялся Дарданелльскому плану. Из-за своей молодости и уже сложившейся в обществе репутации рискового человека, Черчилль стал наиболее удобной кандидатурой на роль главного виновника, ответственного за провал операции. Это было намного проще, чем возлагать вину за это на Асквита, Китченера и Фишера.

Первым от него отвернулся Фишер. Адмирал вышел из себя, когда 13 мая турки торпедировали линкор «Голиаф». Пятьсот человек из его команды погибло [83]. Старый адмирал даже не хотел обсуждать вопрос о перемене стратегии или выводе войск. Он решил полностью устраниться. 15 мая он отправил Уинстону и Асквиту прощение об отставке. Уинстон уговаривал его остаться. Но тот отказался, написав мелодраматические строки: «Ты должен остаться. А Я ДОЛЖЕН УЙТИ!» После чего он начал выдавать комментарии, которые подрывали репутацию Черчилля, играя на руку его противникам: «ОН ОЧЕНЬ ОПАСЕН!» В письме к лидеру тори Эндрю Бонар-Лоу он высказался еще жестче: «Уинстона надо убрать любой ценой! НЕМЕДЛЕННО!» Он уверял, что «грандиозный провал» в Восточном Средиземноморье полностью ложится на плечи Черчилля, и что он «отказывается иметь какое-либо дело с ним!».

Черчилль ожидал чего-то в этом духе. Все то, над чем он так тяжко трудился все эти годы, поставил под сомнение сварливый старик-адмирал. Но дело было даже не в том, что провалилась не очень хорошо продуманная другими военными операция. Страшная военная ошибка оборачивается громадными потерями на поле боя. А в случае с Черчиллем — самым уязвимым местом становилась его гордость. Запятнать ее — это было хуже смерти.

Его поразительно быстрый взлет был подобен внезапной вспышке. Столь же стремительным оказалось и падение. Под нападками прессы, обвинявшей правительство, Асквит был готов любым способом спасти свое кресло премьер-министра. Его враги-консерваторы понимали, насколько он стал уязвим, и что

уход Фишера в отставку продемонстрировал трещины и проколы правительства во время войны. «Внезапно министерское здание обрушилось, — писал лорд Керзон 18 мая, — из-за взбрыка старого Джеки Фишера».

Ллойд-Джордж тоже не считал, что должен проявлять снисходительность и защищать Черчилля. Если принести его в жертву, значит и Асквит, и Ллойд-Джордж останутся при власти. «Уинстон должен уйти, — писал он своей любовнице 15 мая. — Его уже можно хоронить». По поводу своего согласия Ллойд-Джордж заявил, что оно было «вынужденное», поскольку весь кабинет дал согласие напасть на дарданелльские форты.

Георг V был доволен такой переменой отношения к Черчиллю. Его все больше и больше утомлял этот «чертик из коробки». «Премьер-министр должен организовать национальное правительство, — заметил король, — только таким способом мы сможем избавиться от Черчилля в адмиралтействе».

Уинстон пытался убедить Асквита не увольнять его, но уже было поздно что-либо предпринимать. «Все закончилось, — писал он Джорджу Ридделу 20 мая. — Все, за что я боролся — это победа над Германией». В сложившихся обстоятельствах он не мог рассчитывать на поддержку премьер-министра, которого он называл «ужасно слабым — инертно слабым. Эта слабость убьет его».

Даже Вайолет — неизменная его сторонница — не в силах была помочь. Она разрывалась между стремлением поддержать старого друга и желанием помочь отцу выйти из кризисной ситуации. Вайолет сделала выбор в пользу отца, но при этом все-таки попробовала объяснить Черчиллю, чем продиктовано ее решение. 19 мая они встретились в его кабинете. Разговор прерывался слезами. «Твой отец должен был поддержать меня!» — говорил он. Вайолет не смотрела на него, она уперлась взглядом в пол, погрузившись в мрачные размышления. «Я чувствовала, что разбиваю его сердце», — записала она в дневнике. Но самое большее, что она могла просить у отца — найти более-менее подходящее место для Уинстона. Асквит пообещал сделать все, что будет в его силах. Но Черчилль понимал, что Асквит так слаб, что у него едва хватает сил, чтобы удержаться самому.

В самом конце мая премьер-министр образовал военное коалиционное правительство с участием тори. Теперь надобность в Черчилле отпадала. Он должен был покинуть кабинет. Фортуна отвернулась от него. Из неясной тьмы снова вынырнул Бальфур, чтобы возглавить адмиралтейство. Два главных врага Черчилля — юнионисты Эдвард Карсон и Бонар-Лоу — получили места в

правительстве. Унижение Черчилля заключалось не только в том, что его отстранили от должности первого лорда, но еще и потому что для него не нашли лучшего места, чем канцлер Ланкастерского герцогства. Скрепя сердце он согласился. Ему требовалось время, чтобы осмыслить случившееся и решить, что надо делать.

Но смириться с переменой статуса было трудно. Годом ранее, когда он изо всех сил готовился к войне, Карсон и Бонар-Лоу только начинали продвигаться по карьерной лестнице. Но что еще более непостижимо — Карсон, человек, который в свое время угрожал ради защиты Ольстера нарушить все государственные законы, — стал ныне генеральным атторнеем (министром юстиции) Великобритании. Враги Уинстона могли ликовать. Раньше он был неуязвим, и вот теперь они отомстили за все свои провалы. Он получил по заслугам за свое прежнее нахальство. Комментарии Фишера, обращенные к Бонар-Лоу, прокатились по газетам тори: «Суть в том, что Уинстон Черчилль опасен для страны», — писала «Морнинг Пост» Х.А. Гуинна.

Война длилась уже год — и будет продолжаться еще три года. Но Черчилль — с невероятной скоростью — оказался одной из ее первых политических жертв. Подобно лорду Байрону, молодой Уинстон встретил трагический поворот судьбы в борьбе против турок.

Но более всего из-за падения Черчилля ликовали немцы. Их газеты заполнили карикатуры и насмешливые статьи. В них говорилось о том, что Германия потеряла «самого ценного союзника». Все его известные цитаты теперь обращали против него. В одной из газет злорадствовали. «Фальшивая фраза «флот для Германии — большая роскошь», похоже, обернулась для его страны «большой роскошью». Если бы он попал в плен, то нам бы не пришлось даже отнимать у него «почетный меч», так как он сломался».

Уинстон чувствовал, что его предал не только Фишер, но и все его соратники по кабинету министров, которые поддерживали операцию в Дарданеллах, а потом сделали вид, будто это была только его идея. Отказ Ллойд-Джорджа поддержать его был особенно обидным, хотя тот делал вид, что огорчен уходом друга. Он говорил о том, какой потерей стала для адмиралтейства отставка Черчилля: «Юнионисты должны были, обязаны были согласиться на то, чтобы он остался на своем посту. Для того чтобы умилостивить их, не было никакой необходимости стаскивать его с топ-мачты, откуда он руководил огнем, вниз на палубу, где ему приходится полировать медь». Чтобы оправдаться в том, что Черчиллю дали такую ничтожную должность, Асквит

заявил, что терпеть Черчилля в адмиралтействе не было никакой возможности. Учитывая, что он теперь стал заложником тори, это было чистой правдой.

Долгое время Черчилль пребывал в состоянии шока. Он оглядывался вокруг, словно не верил, что он все еще жив. «Рана долго кровоточила, но не болела», — так описал он свои чувства позже. В сорок лет он стал выглядеть намного старше. При ходьбе он стал сутулиться, взгляд померк. Один из военных корреспондентов, прибывший в Лондон, оказался на ужине, где он встретился с Черчиллем, и был просто потрясен: «Меня удивила перемена, случившаяся с Уинстоном Черчиллем. Он сразу постарел, лицо побледнело, похоже, он находится в состоянии депрессии и остро переживает уход из адмиралтейства».

Не только неудача давила его. Он утратил цель и потерял смысл жизни. Уинстон напоминал сложный механизм, запланированный двигаться вперед годами, и вдруг его внезапно отбросили назад, заставив буксовать на месте. «Меня так пугает, что Уинстон все время печален и ничего не хочет делать, — говорила Дженни. — Но когда ты четыре года держишь в руках руль управления, и вдруг оказываешься отброшенным назад. И почему?» Более того, по той причине, что он занимал весьма скромное место в правительстве, Уинстон только мог мучительно наблюдать со своего заднего места за тем, как другие принимают ошибочные решения, касающиеся судьбоносных наземных сражений на востоке и на западе.

«Я только мог наблюдать, как отбрасываются большие возможности, — вспоминал он, — и как слабо и бездарно исполняются планы, которые я продвигал, и в которые верил всем сердцем. Мне оставалось только впадать в каталепсию, поскольку я не имел возможности возразить или как-то повлиять на результат».

Когда Клемми спросили, какое было самое трудное время для ее мужа, она ответила, не медля ни секунды: «Дарданеллы. Я думала, что это разобьет его сердце».

Его утешала только преданность и поддержка жены, а также то, что у них было трое детей, о которых надо было заботиться и растить их.

Рыжеволосая красавица Сара Черчилль родилась в октябре 1914 года. Клемми была так предана своему супругу, что пыталась воспользоваться любым предлогом, чтобы защитить его репутацию. Она даже написала длинное письмо премьер-министру, объясняя, почему ее мужу должны предоставить еще

один шанс. Понимая Уинстона как никто другой, она перечислила Асквиту три его бесценных качества, которые правительство обязано было использовать: «мощь, воображение и смертельное желание разбить Германию». Но, найдя козла отпущения, премьер-министр не ответил на ее письмо, назвав его «письмом маньяка».

Как бы ни любил Уинстон свою семью, как бы ни был привязан к ней, все же ему требовалось более широкое поле для деятельности, он желал приносить пользу большему числу людей. И в военное время имелось только одно лекарство для такого неугомонного человека, как он. Уинстон хотел сражаться, но его не устраивал тот тип боевых действий, который велся в траншеях. Он предпочел бы такой род войск, который давал реальные результаты. Но Асквит отказывался предоставлять ему хоть что-то мало-мальски значимое. Почти пять месяцев Уинстон оставался без какого-то настоящего дела, ожидая подходящего случая, который так и не появился. Только для того, чтобы хоть чем-то занять себя, он вдруг неожиданно заинтересовался живописью. Семейный друг дал ему несколько уроков, но они были незначительными. Уинстон начал писать маслом портреты и пейзажи. У него обнаружился талант к этому. Живопись настолько увлекла его, что он на какое-то время забыл о своей беде. Точно с таким же увлечением, с каким он строил замки из песка, Уинстон погрузился в новый мир. Он создавал его сам, и тот подчинялся его воображению. Ни Джеки Фишер, ни Ллойд-Джордж не могли вторгнуться и изменить его взгляд на линию деревьев, сад или сельскую тропинку между изгородями. Живопись позволяла Черчиллю переноситься в совершенно иной, почти идеальный мир красок и света. Он видел в пейзаже то, что ему хотелось видеть, и переносил все это на холст в своей собственной манере. Еще никогда он не испытывал такой полноты власти. Живопись на долгое время осталась его страстью. Позже он описал свое состояние: «Целые дни я посвящал этим экспедициям и этому занятию — дешевому, доступному, невинному, захватывающему, восстанавливающему силы».

Но в один из самых трудных моментов 1915 года даже новое любимое увлечение не могло отвлечь его от мрачных раздумий. В августе к ним в графство Суррей приехал Уилфред Скоуэн Блант — поэт, писатель, дипломат и путешественник. Его поразило, в каком состоянии депрессии находился Черчилль. Блант нашел, что только любовь Клемми позволила Уинстону сохранить психическое здоровье. Живопись давала ему возможность проявить себя. В какой-то момент Уинстон отвернулся от

мольберта и с невыразимо печальным выражением произнес: «На этих руках больше крови, чем краски. Все эти тысячи людей погибли. Мы думали, что это будет несложная операция, и так бы оно и было, если бы все пошло правильным путем». А потом он снова замолчал.

К концу лета пейзажи на его полотнах становились все более мрачными и унылыми. Уинстон понял — надо что-то менять. Жизнь переменилась, и в сорок лет он почувствовал вкус к другому роду деятельности. Он все еще оставался офицером Собственного Королевы Оксфордширского гусарского полка территориальной армии. Он мог отправиться на фронт обычным майором, если бы знал, где будет воевать. Кто-то мог посмеяться над такой фантазией — бывший первый лорд адмиралтейства намеревается отправиться в окопы, полные грязи, где его может сразить даже шальная пуля. Но над ним так долго смеялись, что это уже его не трогало.

11 ноября 1915 года он отказался от своей ничего не значащей должности, объяснив в письме Асквиту, что не «хочет тратить время на пребывание в хорошо оплачиваемом бездействии». Сообщение о его отставке появилось в газетах, наряду с сообщением о том, что он едет воевать во Францию. Перед отъездом он получил письмо от Мюриэль Уилсон. Простое, но сердечное послание. Она заканчивала его словами: «Мне просто хотелось сказать, как я восхищаюсь твоей храбростью».

Война оставила многих ранеными и искалеченными. Черчилль получил только карьерную травму. Можно было сказать, что ему повезло. Но тогда он не мог знать, зарубцуется ли эта рана когда-нибудь, и позволит ли она вновь вернуться к любимому делу. Он был настолько уверен в себе, его взлет был таким стремительным, что он не успел подготовиться к возможному падению. Вариантов для выбора теперь открывалось не так много. В мирное время он мог бы обратиться к народу за поддержкой, объяснив случившееся в своих выступлениях и через статьи в газетах. Но во время войны добиваться своих целей подобным образом было бы недостойно. Его не только отстранили от власти, но при этом он еще был вынужден молчать, по крайней мере, какое-то время.

Это был неожиданный поворот судьбы, которая прежде предоставляла на выбор богатые возможности. Пока шла война, он мог взлететь, поднимаясь все выше и выше, надеясь, что найдется сила, которая удержит его падение. Как герой мирного времени, он был готов пережить не одну политическую смерть, зная, что поднимется и будет сражаться вновь. Но на этот раз война сделала его павшим героем, без всякой надежды вернуться

на прежнее место. Оставалось только вступить в реальную битву во Франции, где смерть всегда ходила рядом. Уинстон мог бы написать о своей трагической политической неудаче в духе Байрона, но он вдруг понял, что не желает ставить точку в конце главы, и предпочитает либо сражаться, либо умереть.

Не утешал его и пример собственного отца — лорда Рэндольфа, которому никогда не удавалось на исходе третьего десятилетия своей жизни восстановить собственную карьеру после падения с властного олимпа. В какой-то степени Уинстон не мог избавиться от преследовавшей его мысли: а не повторяет ли он семейную трагедию? Отец умирал очень долго и мучительно. Что если траншеи тоже предоставят ему такую возможность?

В середине ноября Черчилли устроили небольшой прием, чтобы друзья могли попрощаться с Уинстоном. Клемми прилагала все силы, чтобы не расплакаться. Эдди Марш даже не пытался сдержать слез. Дженни тоже была печальна, но и одновременно сердилась, что ее «гениальный сын» вынужден отправляться в окопы. К удивлению Уинстона, пришли Марго и Вайолет. Генри не пришел. На столе стояла еда и напитки. Уинстон облачился в военную форму и обещал писать.

Его звезда настолько померкла, что он не верил, будто что-то может еще больше испортить его репутацию. Что-то в нем было от азартного игрока, который готов снова и снова бросать кости, ставя на кон все, ради того, чтобы дать удаче шанс повернуться к нему лицом. Он подготовил письмо, которое должны были передать Клемми: «в случае моей смерти». Он написал его раньше, еще летом. В нем шла речь о страховании и других финансовых делах. Но заканчивал Уинстон словами о том, что было настоящей ценностью в его жизни, что особенно стало очевидно теперь, когда громы и молнии уже отгремели и отсверкали, а у него за спиной остались его сорок лет. Его слова звучали как голос призрака, заговорившего с Клемми в тот момент, когда история подошла к концу, и уже нет возможности дописать еще одну главу.

«Не горюй обо мне слишком долго, — писал он. — Смерть всего лишь эпизод и не столь уж важный по сравнению с тем, что произошло за время нашего существования. С тех пор как я встретил тебя, моя дорогая, я стал самым счастливым человеком на свете. Ты показала мне, каким удивительным может быть сердце женщины.

Смотри вперед, будь свободной, наслаждайся ЖИЗНЬЮ, заботься о детях и сохраняй память обо мне. Благослови тебя Бог.

До свидания. У.»

Эпилог

Хотя Черчилль и выжил, сражаясь в окопах, а затем началось и медленное восстановление его карьеры, однако в 1915 году он утратил нечто такое, что уже никогда не удалось возродить. Обычно в сорок лет люди начинают ощущать, как уходит молодость. Однако Уинстон утратил не какую-то долю своего здоровья или энергии. Пострадал его неповторимый дух — казавшийся таким живым и неистощимым. Эта оживляющая искра верно служила ему, помогая преодолевать один кризис за другим. В 1915 году она еле-еле мерцала. И Черчилль уже никогда не стал тем, каким он был до того.

Он остался романтиком в душе, великим патриотом, отважным бойцом, он служил делу политики со всем упорством, как только над ним снова взошло солнце в 1940 году. К тому времени он погрузнел, характер его был уже не таким кипучим, а его мальчишеская чистота и честность лишь изредка прорывались в насмешливой улыбке или морщинке на лбу. Он вынес из преподанных жизнью тяжелых уроков пользу, он знал, что даже самые удачные планы могут пойти наперекосяк, что лучшие друзья могут повернуться спиной, и что даже самые лучшие намерения могут быть поняты превратно. Для всего мира было к лучшему, что он пережил падение, что на какое-то время потерял веру в себя, но магические, сверкающие как звезды, качества его характера — способность видеть, способность вести других за собой — то, что запомнили в нем его современники, померкло и исчезло после Первой мировой войны.

Что сохранилось от его пленительного обаяния — так это совокупность движущих сил характера, что не раз было проверено временем. Бальфур, Чемберлен, Ллойд-Джордж, Асквит дали молодому Черчиллю бесценные уроки. Как правило, политикам удается проявить себя в самом начале, и очень редко кому удается применить полученные уроки. Черчиллю выпала редкая возможность — он снова поднялся на вершину и стал премьер-министром в 1940 году. Ему удалось померяться силой интеллекта с лучшими государственными деятелями эдвардианского времени, он показал себя прирожденным лидером, достигнув такого уровня мастерства и умения, что лишь немногие политики могли соперничать с ним. В нем оставался некий драйв, не дававший ему превратиться в закоснелую фигуру вроде Ллойд-Джорджа — чей взгляд в большей степени успел изжить себя к тому времени, когда Уинстон стал премьер-министром.

За те двадцать пять лет после окончания первого подъема к власти, ему оставалось только сидеть и смотреть, как другие достигают вершины, пока он чахнет. Но он научился терпению и умению взвешивать, исследуя свой собственный опыт, описанный в нескольких книгах, включая и книгу «Моя ранняя жизнь» и работы по истории Первой мировой войны. Постепенно старые гиганты сходили с дистанции, пока он ждал своего часа. Асквит отошел от власти в 1916 году, на смену ему пришел Ллойд-Джордж, и благодаря уловкам, продержался шесть лет. Асквит умер в 1928 году, Ллойд-Джордж дожил до 1945 года. Бальфур умер в 1930-м.

Уинстон как политик-либерал умер в 1920 году, чтобы возродиться Уинстоном-консерватором. Естественно, на него снова нападали за то, что он в очередной раз сменил курс. Но именно усилиями Ллойд-Джорджа и Асквита либеральная партия превратилась в партию меньшинства, почти не имеющую будущего. Были все основания считать, что Черчилль дурачил себя, веря, что залечил глубокую рану, которую он нанес консерваторам, когда сражался с ними в одном ряду с либералами, но он не соглашался признать, что обещания, данные в начале карьеры, сошли на нет. Он продолжал следить за соблюдением законности, когда очень мало кто верил, что это того стоит. Его главные ценности хранились в прошлом, и Уинстон всегда возвращался к ним, лелеял их в надежде, что и другие однажды признают их ценность.

Его старый враг Эдвард Карсон, кажется, понял, что в характере Черчилля есть что-то такое, от чего нельзя просто отмахнуться. За званым обедом, вскоре после того, как Уинстона сместили с поста первого лорда, один журналист спросил Карсона: «А что в Черчилле вызывает у вас беспокойство?»

Несентиментальный Карсон подумал некоторое время и ответил с чувством глубокого понимания, что могло бы вызвать улыбку у Черчилля.

«Он опасный оптимист».

Благодарности

Не уверен, смог бы я написать эту книгу, если бы не счастливая возможность соединить силы с двумя литературными «динамо-машинами» — моим агентом Молли Фридрих и моим редактором Присциллой Пэйнтон. Обе с энтузиазмом оказывали мне поддержку и внушали уверенность, позволившую трансформировать идею в законченную работу. Молли — страстный защитник своих авторов, и Присцилла — редактор, о котором может мечтать каждый автор: знающая, проницательная и дотошная.

Я также должен поблагодарить за профессиональную помощь и теплое внимание Люси Карсон и Молли Шульман из агентства Фридрих. Издательству Саймон и Шустер я благодарен за трудную работу и за полезные вдумчивые советы Майкла Щербана, Тома Питониака, и Майка Джонса.

В Британии мой добрый друг Эйдриан Кларк облегчил мне трудную ношу поисков, он щедро добывал и делился сведениями из различных архивов. Я бесконечно благодарен ему за неутомимые усилия.

В Бодлеанской библиотеке Оксфордского университета Колин Харрис очень помог мне, предоставив замечательные архивы, хранившиеся в отделе специальных коллекций, где он работает администратором читального зала. Я бесконечно признателен ему за его полезные догадки, и меня очень вдохновлял его искренний интерес, а также стремление ответить на мои вопросы.

Среди тех, кто помогал мне в моем университете[84], я счастлив выразить признательность ректору Дэну Брэдли; директору библиотеки Альберте Дэвис-Комер; заведующему моей кафедрой Роберту Перрину; и моим коллегам Шерил Л. Блевенс, Кейт Байермэн, Тому Деррику, Мэри Энн Дункан, Кейти Эдвардс, Кит Кинкейд и Холли Моузмэн.

Я чрезвычайно признателен за поддержку Джо и Нэнси Фишер, Ли и Марии Маккинли, Уэсу и Мэри Берч-Рэтклифф, Джону Сиви и Джун Шелдон.

Благодарю за любовь моих дочерей Сару и Ванессу. И, конечно, эта книга не сдвинулась бы с места, если бы не любовь моей жены Сью.

notes

Примечания

1

король Великобритании и Северной Ирландии и император Индии Эдуард VIII, старший сын и наследник Георга V, правивший всего 326 дней, с 20 января до 11 декабря 1936 г., отказался прекратить любовную связь с американкой Уоллис Симпсон, на которой собирался жениться после ее развода, и поскольку английскому монарху, как главе англиканской церкви, не позволялось вступать в брак с разведенной женщиной, он отрекся от престола в пользу своего младшего брата, герцога Альберта Георга Йоркского, короновавшегося затем под именем Георга VI; отрекшийся Эдуард получил 8 марта 1937 г. титул герцога Виндзорского и 3 июня того же года женился во Франции на Уоллис Симпсон. — *Прим. ред.*

в виде буквы V — от английского слова victory, победа. — *Прим. ред.*

3

13 августа 1704 г. при селении Бленхейм (Блиндхайм) в Баварии англо-голландская армия герцога Мальборо, действуя совместно с имперско-бранденбургской армией принца Евгения Савойского, одержала победу над войсками французского маршала герцога де Таллара и баварского курфюрста Макса Эммануэля; эту крупную битву Войны за испанское наследство называют также вторым сражением при Хохштедте. — *Прим. ред*.

хронология событий здесь немного нарушена: в первом случае речь идет о предпринятой в 1897 г. экспедиции англо-индийских войск в Малаканд — горную область на северо-западной границе Индии, населенную мятежными племенами пуштунов (там, в частности, отличился 11-й Бенгальский уланский полк), во втором — о борьбе испанцев с восставшими кубинцами в 1895 г. (Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль, произведенный 20 февраля 1895 г. во вторые лейтенанты британского 4-го Собственного Королевы гусарского полка, находился на Кубе в качестве военного корреспондента газеты «Дейли График»), и в третьем — о походе англо-египетского экспедиционного корпуса генерала Китченера в Судан (махдистское государство под управлением халифа Абдаллаха) и о битве 2 сентября 1898 г. под Омдурманом, где Черчилль участвовал, как прикомандированный офицер и командир взвода, в конной атаке британского 21-го уланского полка. — *Прим. ред.*

5

15 ноября 1899 г., во время Второй англо-бурской войны, в которой Черчилль участвовал как корреспондент газеты «Морнинг Пост». — *Прим. ред.*

чтобы добраться до города Лоуренсу-Маркеш в португальской Восточной Африке, Черчиллю, бежавшему 12 декабря 1899 г. из лагеря военнопленных в Претории, пришлось преодолеть расстояние почти в 300 миль (480 км); после этого он вернулся на театр боевых действий, где продолжал работу военного корреспондента, числясь с января до июля 1900 г. лейтенантом в Южно-африканском легкоконном полку. — *Прим. ред*.

7

Черчилль занимал пост первого лорда адмиралтейства до 25 мая 1915 г., затем еще шесть месяцев оставался членом кабинета министров в качестве канцлера Ланкастерского герцогства. Подав в отставку с этой должности 15 ноября 1915 г., он отправился на Западный фронт, где сначала проходил подготовку как майор во 2-м батальоне Гвардейских гренадеров, а затем, 25 декабря 1915 г., был переведен в 6-й батальон Королевских Шотландских фузилеров — одну из частей 9-й (Шотландской) пехотной дивизии. Произведенный 1 января 1916 г. в подполковники, Черчилль 4 января возглавил вышеупомянутый батальон шотландской пехоты, занимавший позиции у леса Плюгстерт под Ипром (в бельгийской Фландрии), и командовал им до 7 мая 1916 г., после чего вернулся в Англию. За время командования батальоном на фронте он лично участвовал в 36 боевых вылазках на ничейную землю. — *Прим. ред.*

на самом деле во время Суданской экспедиции 1898 г. Уинстон Черчилль был уже не вторым лейтенантом (корнетом), а лейтенантом — его повысили в звании еще 20 мая 1896 г. — *Прим. ред.*

9

полковник Джон Палмер Брабазон командовал 4-м Собственным Королевы гусарским полком с 13 мая 1891 г. до 13 мая 1896 г. — *Прим. ред.*

10

Упомянутый здесь Уильям Кларк Куонтрилл (1837–1865) командовал во время американской Гражданской войны конным партизанским отрядом конфедератов, действовавшим с конца декабря 1861 г. вдоль границы штатов Миссури и Канзас; он печально прославился 21 августа 1863 г., когда во главе 450 рейдеров (так называемых *Quantrill's Riders*) напал на канзасский город Лоренс и устроил там жестокую резню мужского населения (в тот день в Лоренсе были убиты 183 человека в возрасте от 14 до 90 лет). Весной 1865 г. Куонтрилл, у которого под началом оставалось лишь несколько десятков бойцов, совершил серию рейдов в западном Кентукки, но 10 мая попал в засаду, организованную юнионистами у Тейлорсвилла, был ранен в грудь, схвачен и отвезен в Луисвилл, где 6 июня умер в тюремной больнице. — *Прим. ред.*

11

Теодор («Тедди») Рузвельт, 26-й президент США в 1901–1909 гг. — *Прим. ред.*

имеется в виду Джордж Хэмилтон, 1-й граф Оркни (1666–1737) — первый фельдмаршал в истории британской армии (произведен в 1736 г.). — *Прим. ред.*

гомруль — искаженная, но устоявшаяся в русском языке форма перевода английского термина «хоум рул» (*home rule*), означающего внутреннее управление или самоуправление. — *Прим. ред.*

14

Джи Си (англ. JC) — начальные буквы имени и фамилии Джозефа Чемберлена (Joseph Chamberlain). — *Прим. ред.*

колесницы, на которой ежегодно на улицы Индии вывозят статую бога Вишну. — *Прим. ред.*

CB — Campbell-Bannerman. — *Прим. ред*.

17

британский исследователь Африки и колониальный администратор Фредерик Джон Дилтри Лугард (1858–1945), носивший с 1928 г. титул барона, занимал в 1900–1906 гг. должность верховного комиссара протектората Северная Нигерия, а позже был губернатором Гонконга (в 1907–1912 гг.), губернатором Северной и Южной Нигерии (в 1912–1913 гг.) и генерал-губернатором колонии и протектората Нигерия (в 1913–1918 гг.). — *Прим. ред*.

18

Очевидно, речь идет о военных экспедициях, предпринятых британцами в 1903 г. против двух крупных мусульманских государств Хаусаленда (обширной территории на севере Нигерии, населенной народом хауса) — эмирата Кано и халифата (или султаната) Сокото. Во время первой экспедиции британские экспедиционные силы овладели 3 февраля городом Кано, предварительно разбив у деревни Чэмберава войско местного эмира Али, а в ходе второй захватили 15 марта город Сокото, чей правитель, халиф Мухаммаду Аттахиру I, имевший под своим началом 2000 конных и 4000 пеших воинов, допустил ошибку, встретив противника не за стенами своей столицы, а в открытом поле. В итоге он потерпел сокрушительное поражение от британского отряда, который насчитывал всего 629 чел. (25 офицеров и 5 унтер-офицеров регулярной армии, 3 военных медика, 439 пеших и 89 верховых солдат туземной пехоты, а также 68 артиллеристов), но зато располагал четырьмя 75-мм полевыми орудиями и четырьмя пулеметами «максим». Хотя сэр Фредерик Лугард, как верховный комиссар протектората Северная Нигерия, несет ответственность за организацию этих походов, он сам не принимал в них участия. Обеими экспедициями руководил тогдашний командир Северо-Нигерийского полка Западноафриканских пограничных сил подполковник Томас Летбридж Нэйпир Морленд. Следует отметить, что в марте и апреле 1906 г., то есть уже после описанного автором февральского свидания Флоры Лугард с Уинстоном Черчиллем, британцы провели в Северной Нигерии еще две экспедиции, сопровождавшиеся большими потерями среди туземного населения. Первая из них имела своей целью подавление махдистского восстания в халифате (султанате) Сокото, чей правитель, халиф Мухаммаду Аттахиру II, находился под британским покровительством. Ее итогом стало полное поражение махдистов и взятие их оплота — деревни Сатиру. Вторая экспедиция проводилась против эмирата Хадеджа, где местный эмир Мухаммаду-бин-Хару пытался сопротивляться британской экспансии, однако был разгромлен отрядом колониальных войск, прибывшим из Кано, и сам погиб в бою. Кстати, сэр Фредерик Лугард в них тоже лично не участвовал. Экспедицию из Сокото в Сатиру возглавлял капитан Королевской гарнизонной артиллерии Роберт Хэмилтон Гудвин, служивший как временный майор в Северо-Нигерийском полку Западноафриканских пограничных сил, а экспедицию из Кано в

Хадеджу — подполковник Королевских Валлийских фузилеров Артур Уиллоуби Джордж Лоури-Коул, командовавший с 24 сентября 1904 г. Северо-Нигерийским полком. — *Прим. ред.*

19

Автор ошибается: в 1900–1906 гг. власть Лугарда распространялась не на все Западноафриканские пограничные силы (West African Frontier Force), а только на их часть, дислоцировавшуюся в Северной Нигерии. Этой частью являлся Северо-Нигерийский полк (три батальона пехоты, в том числе один верховой), который был образован в 1900 г. из Западноафриканского полевого отряда, сформированного в 1897 г. Фредериком Лугардом (тогда еще капитаном) на базе Королевской Нигерской полиции. Что касается Западноафриканских пограничных сил, то их британцы организовали в связи с французской экспансией в областях, граничащих с британскими владениями в Западной Африке. Созданные в 1900 г., они объединяли все колониальные войска, размещенные на территории вышеуказанных владений, а именно полк Золотого Берега, Северо-Нигерийский и Южно-Нигерийский полки (сведенные 1 января 1914 г. в один Нигерийский полк), батальон Сьерра-Леоне и Гамбийскую роту. — *Прим. ред.*

20

Имеется в виду восстание эгба — народа из языковой группы йоруба, населявшего район Абеокуты в юго-западной части Нигерии. В нигерийской истории оно также известно под названием «Адубийская война» (Adubi war, «Огун Адуби»). Причиной этого бунта, начавшегося 12 июня 1918 г., стало недовольство жителей Эгбаленда утратой самоуправления, существовавшего у них с 1893 до 1914 г., и системой налогообложения, введенной британскими колониальными властями с 1 января 1918 г. Восставшие, число которых достигало 30 тысяч человек, разрушили все железнодорожные и телеграфные линии к югу от города Абеокута, а также убили одного из видных вождей эгба (сторонника британской администрации) и европейского торгового агента. К августу 1918 г. британцы подавили восстание, задействовав против мятежников-эгба подразделения Нигерийского полка Западноафриканских пограничных сил. — *Прим. ред.*

21

Великобритания управляла протекторатом Бечуаналенд в Южной Африке с 1885 до 1966 г., после чего на его территории была образована независимая Республика Ботсвана. — *Прим. ред*.

22

«Мужественные всадники» (*Rough Riders*) — прозвище 1-го добровольческого кавалерийского полка, сформированного в Соединенных Штатах для участия в Испано-американской войне 1898 г.; высадившись на Кубе в составе 5-го корпуса генерал-майора Уильяма Р. Шафтера, этот полк отличился 1 июля в бою при гребне Сан-Хуан, где его спешенные бойцы, ведомые подполковником Теодором Рузвельтом (будущим президентом США), штурмом овладели позицией испанцев. — *Прим. ред*.

23

Queen’s Own Oxfordshire Hussars — так назывался английский полк йоменри (добровольческой кавалерии), в котором Уинстон Черчилль с 4 января 1902 г. числился капитаном, а с 25 мая 1905 г. — майором (в 1905–1913 гг. он командовал в Собственном Королевы Оксфордширском гусарском полку эскадроном Хенли и оставался в списках полка до 1922 г., когда личный состав этой части перевели в Королевскую полевую артиллерию, образовав из него 399-ю и 400-ю батареи 100-й йоменской артиллерийской бригады); следует отметить, что в том же полку йоменри с 1892 г. служил офицером Чарльз Ричард Спенсер-Черчилль, 9-й герцог Мальборо — двоюродный брат Уинстона Черчилля, носивший домашнее прозвище «Санни» (с 1910 до 1914 г. он был полковым командиром Оксфордширских гусар в звании подполковника). — *Прим. ред*.

имеется в виду баронет сэр Роберт Пил (1788–1850) — британский государственный деятель из партии тори, занимавший в 1834–1835 и 1841–1846 гг. пост премьер-министра Соединенного Королевства. — *Прим. ред.*

25

«прекрасная эпоха», или «бель эпок» (фр. belle époque) — условное обозначение периода европейской истории между 1890 и 1914 годами. — *Прим. ред*.

вышеупомянутый «Венус» — это бронепалубный крейсер класса «Эклипс» водоизмещением 5690 тонн, спущенный на воду в 1895 г. и входивший в состав Королевских ВМС Великобритании с 1897 до 1921 г.; его вооружение с 1905 г. включало одиннадцать 6-дюймовых (152-мм), девять 12-фунтовых (76-мм) и семь 3-фунтовых (47-мм) скорострельных морских орудий, а также три 18-дюймовых торпедных аппарата; крейсер имел длину 113,69 м, ширину 16,31 м и осадку 6,25 м; при мощности энергетической установки в 8000 лошадиных сил, он развивал скорость хода в 18,5 узла и мог плавать на расстояние до 7000 морских миль (12 964 км). — *Прим. ред.*

27

миссис Патрик Кэмпбелл, урожденная Беатрис Стелла Таннер (1866–1940), — английская театральная актриса, известная своей дружбой с драматургом Джорджем Бернардом Шоу; она была второй женой Джорджа Корнуоллис-Уэста, первого мужа Дженни Джером (матери Уинстона Черчилля), но в браке сохраняла свой актерский псевдоним «миссис Патрик Кэмпбелл». — *Прим. ред.*

эта опасность исходила, главным образом, от малярийных комаров и мух цеце. — *Прим. ред*.

при Омдурмане 21-й уланский полк подполковника Роуленда Хилла Мартина, насчитывавший 320 всадников, потерял 71 человека (одного офицера и 20 солдат убитыми, четырех офицеров и 46 солдат ранеными) и 119 лошадей; гусарский лейтенант Уинстон Черчилль был тогда прикомандирован к этому полку и в ходе кавалерийской атаки 2 сентября 1898 г. возглавлял один из четырех взводов эскадрона «А» майора Гарри Финна. — *Прим. ред.*

речь идет о должности канцлера казначейства, являющегося в Великобритании аналогом министра финансов. — *Прим. ред.*

имеется в виду английский литературный критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения Сэмюэл Джонсон (1709–1784). — *Прим. ред.*

32

Мак-Кей (МсК) — сокращение фамилии Маккенна (McKenna). — *Прим. ред*.

Ллойд-. — *Прим. ред.*

34

Белгравия — фешенебельный и престижный район Лондона. — *Прим. ред.*

35

Фредерик Эдвин Смит (1872–1930), барон Биркенхед с 1919 г., виконт с 1921 г. и 1-й граф Биркенхед с 1922 г. — *Прим. ред.*

точнее, «Эф-И», если произносить инициалы F.E. по-английски. — *Прим. ред.*

37

Фредерик Эдвин Смит стал офицером Оксфордширских гусар в 1913 г. и к началу Первой мировой войны числился капитаном этого кавалерийского полка британской территориальной армии (в 1921 г. он значился его майором, хотя в 1914–1915 гг. служил во Франции как офицер штаба Индийского армейского корпуса, имея временное звание подполковника). — *Прим. ред*.

38

Небуорт-Хаусе

39

в перестрелке 3 января 1911 г. участвовали только два боевика, принадлежавших к латвийской анархистской группе «Лисма» (*Liesma*, «Пламя»), которой руководил некий «Питер Художник» (Peter the Painter) или Петр Пятков, чье подлинное имя британская полиция не знала (согласно одним источникам, под ним скрывался Гедертс Элиасс, латвийский художник, бежавший в Англию после революции 1905 г. и вернувшийся в Ригу в 1917 г., по другим — Янис Жаклис, бывший в 1905 г. членом Латвийской социал-демократической рабочей партии); по максимальным оценкам, в 1910 г. в этой группе насчитывалось 16 человек, в том числе 3 женщины, однако один ее член (Георг Гардштейн) умер от ран 17 декабря 1910 г. — *Прим. ред*.

общее число служащих полиции, участвовавших в осаде дома на Сидни-стрит, достигало 200 человек, то есть на каждого анархиста приходилось по 100 полисменов и 10 солдат. — *Прим. ред.*

речь идет о револьверах Уэбли (*Webley*) производства британской оружейной компании Уэбли и Скотт. — *Прим. ред.*

речь идет о пистолетах Mauser C96. — *Прим. ред.*

бойцов из войска халифа Абдаллаха. — *Прим. ред.*

этих погибших боевиков звали Фриц Сваартс и Вильгельм (или Иосиф) Соколов. — *Прим. ред.*

эта ювелирная лавка находилась в доме 119 по улице Хаундсдитч; напавшей на нее бандой анархистов руководили Георг Гардштейн и Фриц Сваартс (Сварс), а одним из участников налета был двоюродный брат Ф. Сваартса Якоб (Яков Христофорович) Петерс, ставший впоследствии видным советским чекистом. — *Прим. ред.*

все девять полицейских (три сержанта и шесть констеблей), пытавшихся задержать грабителей, не имели оружия; один из них (сержант Такер) был убит, двое (сержант Бентли и констебль Чот) — умерли от ран в тот же день, и еще двое (сержант Брайант и констебль Вудхэмс) — получили тяжелые ранения; среди налетчиков единственной потерей стал их главарь, латвийский анархист Георг Гардштейн, случайно раненный выстрелами своих же товарищей и скончавшийся на следующий день. — *Прим. ред*.

если быть точным, Георг Гардштейн, руководивший нападением на ювелирную лавку 16 декабря 1910 г., тогда использовал не Маузер С96, а другое оружие — полуавтоматический пистолет Дрейзе модели 1907 г. (все три фатальных выстрела, поразивших сержантов Такера, Бентли и констебля Чота, были сделаны именно из этого пистолета). — *Прим. ред.*

на самом деле в тот день одна пуля пробила тулью цилиндра Черчилля, и если бы она прошла ниже, владелец шляпы мог бы погибнуть или получить ранение в голову. — *Прим. ред.*

«круглоголовые» (*roundheads*) — презрительная кличка, которой в период английской буржуазной революции XVII века роялисты, то есть приверженцы короля, именовали сторонников парламента (это название пошло от принятого в среде английской буржуазии обычая стричь волосы в скобку). — *Прим. ред.*

«синие куртки» (*bluejackets*) — прозвище солдат британской Королевской морской пехоты. — *Прим. ред.*

речь идет о так называемом Агадирском, или Втором марокканском кризисе, обострившем отношения между Германией и Францией летом 1911 г. (Первый марокканский, или Танжерский кризис был в 1905–1906 гг.); он также получил название «Прыжок Пантеры»

52

Герман Вильгельм Вильбург, представитель Гамбургско-марокканской торговой компании (Hamburg-Marokko Gesellschaft), действительно получил задание встретить «Пантеру» в Агадире, но прибыл в этот марокканский порт лишь 4 июля 1911 г., через три дня после прихода туда германской канонерки. — *Прим. ред*.

по условиям договора, заключенного 30 марта 1912 г. в марокканском городе Фес, Франция получила протекторат над Марокко, уступив Германии, в качестве компенсации, часть французского Конго (эта территория была присоединена к германскому Камеруну). — *Прим. ред.*

54

Флот метрополии, или Домашний флот (*Home Fleet*) объединял корабли Королевских ВМС, дислоцировавшиеся на Британских островах (главным местом его базирования была бухта Скапа-Флоу у побережья Оркнейских островов). — *Прим. ред.*

55

В действительности должность командующего британским Флотом метрополии с 1911 г. до 4 августа 1914 г. занимал адмирал сэр Джордж Эстли Каллаган, в то время как вице-адмирал Джон Рашуорт Джеллико с декабря 1911 г. состоял его заместителем, а с декабря 1912 г. до августа 1914 г. был вторым морским лордом, отвечающим за комплектование Королевских ВМС личным составом. Дэвид Битти, имевший с 1 января 1910 г. звание контр-адмирала, был назначен командиром 1-й эскадры линейных крейсеров 1 марта 1913 г., сменив на этом посту контр-адмирала Льюиса Бэйли. Сам термин «флот линейных крейсеров» появился позже. Объединенными силами, или флотом линейных крейсеров Битти (тогда уже вице-адмирал) командовал с августа 1915 г. до декабря 1916 г. — *Прим. ред.*

в Омдурманской битве 2 сентября 1898 г. Дэвид Битти, тогда еще лейтенант Королевских ВМС, командовал канонеркой «Фаттех» в составе речной флотилии коммандера Колина Кеппела, действовавшей на Ниле. — *Прим. ред.*

57

Речь идет о парламентских прениях 1893 г., когда британский премьер-министр Уильям Юарт Гладстон, лидер Либеральной партии, во второй раз пытался провести через парламент законопроект о гомруле — внутреннем самоуправлении Ирландии (первая неудачная попытка имела место в 1886 г.). Этот второй билль набрал большинство голосов в палате общин, но не был принят, поскольку палата лордов наложила на него вето. Рэндольф Черчилль, как член парламента от консервативной партии, был противником гомруля и во время своей поездки в Ирландию выступал с яростными речами в поддержку ирландских юнионистов. — *Прим. ред*.

58

Английский четырехмачтовый галеон «Ривендж» (*Revenge*, «Месть»), построенный в 1577 г. на Королевской верфи в Дептфорде корабельным мастером Мэтью Бейкером, имел водоизмещение 440 тонн и был вооружен 46 пушками. Как флагман Плимутской эскадры вице-адмирала сэра Фрэнсиса Дрейка, он с 21 (31) июля 1588 г. действовал в Ла-Манше против испанской «Непобедимой армады», причем 22 июля (1 августа) захватил сильно поврежденный галеон «Нуэстра сеньора дель Росарио» (46-пушечный флагманский корабль Андалусской эскадры дона Педро де Вальдеса) и 29 июля (8 августа) сражался с испанцами в морской битве у Гравелина. В 1591 г., находясь под командой вице-адмирала сэра Ричарда Гренвилла, «Ривендж» участвовал в экспедиции английской эскадры лорда Томаса Хауарда к Азорскому архипелагу и в морском бою у острова Флориш, где 1 (10) сентября он был захвачен испанской эскадрой генерал-лейтенанта дона Алонсо де Басана и, получив тогда серьезные повреждения, затонул в октябре во время шторма вблизи острова Терсейра. — *Прим. ред.*

имеется в виду Джон Арбетнот «Джеки» Фишер (1841–1920), британский адмирал флота с 4 декабря 1905 г., барон Фишер с 7 декабря 1909 г., первый морской лорд (начальник Главного военно-морского штаба) с 1 октября 1904 г. до 25 января 1910 г. и с 30 октября 1914 г. до 15 мая 1915 г. — *Прим. ред.*

этим «последним капитаном лорда Нельсона» был адмирал флота сэр Уильям Паркер (1781–1866), который получил звание кэптена (капитана 1-го ранга) еще в 1801 г. и в период Наполеоновских войн более девяти лет (с октября 1802 г. до декабря 1811 г.) командовал 38-пушечным фрегатом «Амазон»; под началом вице-адмирала Горацио Нельсона Паркер служил во время морской кампании 1804–1805 гг., но в Трафальгарской битве не участвовал. — *Прим. ред.*

замок Балморал, построенный в 1852 г., является частной резиденцией английских королей в Шотландии. — *Прим. ред.*

адмирал сэр Эдмунд Сэмюэл По (1849–1921), командовавший британским Средиземноморским флотом с 30 апреля 1910 г., был замещен 1 июня 1912 г. адмиралом сэром Беркли Милном, вступившим в должность 12 июня (после этого сэр Эдмунд состоял первым и главным адъютантом короля Георга V и вышел в отставку в 1914 г.). — *Прим. ред.*

63

Royal Naval Air Service (RNAS) — название британской военно-морской авиации. — *Прим. ред*.

созданная 1 июля 1914 г., Королевская морская воздушная служба к началу Первой мировой войны имела в своем составе 727 чел., 93 аэроплана, 6 дирижаблей и 2 аэростата, а к 1 апреля 1918 г. (когда из нее и из Королевского летного корпуса были образованы единые Королевские ВВС) — 55 066 чел., 2949 аэропланов и 103 дирижабля. — *Прим. ред.*

имеется в виду Гаврила Принцип (1894–1918), серб из Австро-Венгрии, состоявший в тайной организации югославянских националистов «Млада Босна» («Молодая Босния»). — *Прим. ред*.

66

Роберт Септимус Гренфелл (1875–1898), лейтенант 12-го (Принца Уэльского) Королевского уланского полка, прикомандированный во время Суданской кампании к 21-му уланскому полку, пал в кавалерийской атаке под Омдурманом, а его младший брат Фрэнсис Октавиус Гренфелл (1880–1915), капитан 9-го Королевского уланского полка Королевы, был убит в бою 24 мая 1915 г. и похоронен на военном кладбище в селении Вламертинге (Бельгия). Крест Виктории, самую почетную боевую награду Великобритании, Ф.О. Гренфелл получил за свои действия 24 августа 1914 г. в Бельгии (за отличие в бою при Одриньи, где он вместе с 9-м уланским полком атаковал в конном строю германскую пехоту, и за участие в спасении орудий 119-й батареи Королевской полевой артиллерии под Дубоном). — *Прим. ред.*

имеется в виду герой стихотворения «Кубла-хан, или Видение во сне», написанного в 1798 г. английским поэтом Сэмюэлем Тейлором Кольриджем (1772–1834). — *Прим. ред*.

68

Бельгийский город Антверпен расположен на реке Шельда в 90 км от ее впадения в море. В период 28 сентября — 9 октября 1914 г., когда его атаковали германские войска, он представлял собой обширную крепость, созданную по плану знаменитого бельгийского военного инженера Бриальмона. Помимо цитадели, имевшей форму люнета с пятью фасами, на правом берегу Шельды Антверпен защищала старая непрерывная ограда, протянувшаяся в 2 км от города и охватывающая его с севера, востока и юга. К югу, юго-востоку и востоку от этой ограды, на расстоянии 3–4 км от нее, находились форты № № 1–8 и Мерксем, построенные в 1859–1870 гг., а вся внутренняя линия укреплений, окружавшая Антверпен, состояла из 18 устаревших фортов. Далее, в 10–12 км от внутренней укрепленной линии располагалась внешняя линия обороны, включающая 17 новейших фортов (15 на правом берегу Шельды и 2 — на левом), а также 17 промежуточных укреплений (редутов, люнетов и батарей). Все форты новой постройки (их сооружали начиная с 1906 г.) выдерживали обстрел 210-мм мортир, но их можно было разрушить снарядами более мощных орудий, имевшихся в арсенале противника. Общая протяженность внешнего обвода крепости, подразделявшегося на шесть оборонительных секторов, составляла около 130 км.

Комендант Антверпена, генерал-лейтенант Виктор-Жозеф-Дьёдонне Дегиз, имел под своим началом 60-тысячный гарнизон (36 крепостных пехотных батальонов, 8 батальонов крепостной артиллерии и 6 саперных батальонов). Кроме того, в обороне города и его окрестностей участвовали восемь дивизий (шесть пехотных и две кавалерийские) бельгийской полевой армии короля Альберта I и британская Королевская морская дивизия, присланная на помощь бельгийцам уже в ходе осады (одна ее бригада прибыла вместе с Черчиллем в ночь с 3 на 4 октября, две другие бригады — в ночь с 5 на 6 октября). С учетом этих соединений общая численность защитников Антверпена превышала 147 000 чел. С германской стороны против Антверпенской крепости действовала особая армейская группа, которой командовал генерал пехоты Ханс Хартвиг фон Безелер (5-я и 6-я резервные дивизии 3-го резервного корпуса, Морская дивизия, 4-я эрзац-дивизия, 26-я и 37-я ландверные пехотные бригады, а также 1-я баварская ландверная пехотная бригада, присоединившаяся к этим войскам 5 октября). Хотя в группе Безелера насчитывалось всего 66 000 чел., она имела заметное

превосходство в тяжелой артиллерии. Ее осадный парк включал 13 сверхмощных орудий (четыре 420-мм мортиры, четыре австрийских 305-мм мортиры и пять 305-мм береговых гаубиц), чей огонь мог сокрушить даже самые прочные антверпенские укрепления, и 164 тяжелых орудия меньшего калибра (сорок восемь 210-мм мортир, семьдесят две 150-мм гаубицы, четыре дальнобойные 150-мм пушки на блиндированных лафетах и сорок 100-мм и 130-мм пушек). — *Прим. ред*.

в действительности по числу бойцов защитники Антверпена заметно превосходили германскую армейскую группу Безелера, однако последняя располагала мощной осадной артиллерией, позволяющей ей подавлять сопротивление бельгийских фортов и других укреплений. — *Прим. ред.*

Британская Королевская морская дивизия, образованная 14 августа 1914 г., имела в своем составе 1-ю и 2-ю Королевские морские бригады, сформированные из восьми морских (флотских) батальонов, которые носили имена знаменитых английских адмиралов прошлого (в 1-ю бригаду входили батальоны Дрейка, Хока, Бенбоу и Коллингвуда, во 2-ю — батальоны Нельсона, Хоу, Худа и Энсона) и бригаду Королевской морской пехоты, включавшую Чатемский, Портсмутский, Плимутский батальоны КЛМП (Королевской легкой морской пехоты) и батальон КМА (Королевской морской артиллерии), замененный 31 августа Дилским батальоном КЛМП.

Последняя бригада (всего 4185 чел.) еще 27–30 августа высадилась под командой бригадного генерала сэра Джорджа Грея Астона в бельгийском порту Остенде, но 31 августа вернулась назад в Англию. Затем она снова отправилась на континент, высадившись 19 сентября в Дюнкерке (Франция), откуда ее к 30 сентября перебросили на юг, к селению Кассель. В то время бригада морской пехоты, которой с 29 сентября временно командовал полковник Канлифф Макнил Парсонс, насчитывала около 2200 чел. Вместе с командиром Королевской морской дивизии генерал-майором Арчибальдом Пэрисом она прибыла в Антверпен по железной дороге в ночь с 3 на 4 октября 1914 г. и уже утром 4-го заняла позиции в 3-м секторе внешней линии обороны (в траншеях напротив местечка Льер), выдвинув аванпост к реке Нет.

Бельгийские форты на этом участке уже пали, и германская артиллерия весь день 4 октября и всю следующую ночь усиленно обстреливала окопы бельгийцев и британских морских пехотинцев. Утром 5 октября союзнические аванпосты были отброшены частями германской 6-й резервной дивизии генерал-лейтенанта Эмиля фон Шикфуса фон Нойдорфа, которые смогли переправиться через Нет и около полудня вынудить к отступлению 7-й линейный полк бельгийской пехоты, вследствие чего правый фланг британской бригады остался без прикрытия. Положение восстановил бельгийский 2-й егерский полк, проведший смелую контратаку при поддержке британских аэропланов (в Антверпен еще в начале сентября были переброшены из Истчерча шесть самолетов мобильной эскадрильи Королевской морской воздушной службы во главе с коммандером Чарльзом Рамни Сэмсоном). Однако предпринятая бельгийской армией в ночь с 5 на 6 октября попытка отбросить

немцев за реку Нет не увенчалась успехом, следствием чего стал прорыв противника за внешнюю линию фортов и отход союзников 6 октября на заранее подготовленные позиции между внешней и внутренней линиями укреплений.

Между тем в ночь с 5-го на 6-е в Антверпен прибыли по железной дороге остальные части Королевской морской дивизии (1-я и 2-я Королевские морские бригады коммодоров Уилфреда Хендерсона и Оливера Бэкхауза, переправленные 4 октября из Дувра в Дюнкерк). Присоединившись к бригаде Королевской морской пехоты, которой с 5 октября командовал полковник Альфред Эдмунд Марчент, они довели численность дивизии генерал-майора А. Пэриса до 8000 чел. Другие подкрепления союзников, посланные в Бельгию (22 000 британских солдат 4-го корпуса генерал-лейтенанта Генри Сеймура Роулинсона и 6000 французских морских фузилеров, составлявших отдельную бригаду контр-адмирала Пьера-Алексиса Ронарка), так и не успели добраться до Антверпена. — *Прим. ред*.

очевидно, здесь имеется в виду командир Королевской морской дивизии генерал-майор Арчибальд Пэрис, который по возрасту был старше Черчилля на 13 лет; после отъезда первого лорда адмиралтейства он остался старшим британским начальником в Антверпене, однако ответственность за оборону города лежала не на нем, а на бельгийском командовании (Пэрис, получивший только 3 октября 1914 г. временное звание генерал-майора, не имел права отдавать приказы ни коменданту Антверпенской крепости, генерал-лейтенанту Дегизу, ни другим генералам, возглавлявшим дивизии полевой армии Бельгии). — *Прим. ред*.

отступившая из Антверпена бельгийская полевая армия заняла к середине октября 1914 г. новые оборонительные позиции на реке Изер (между Ньивпортом и Диксмёйде), где с 20 октября по 12 ноября вместе с поддержавшими ее французскими соединениями (бригадой морских фузилеров контр-адмирала Ронарка, 42-й пехотной дивизией, 81-й и 89-й территориальными дивизиями) вела упорное сражение против германских войск (3-го и 22-го резервных корпусов), не позволив им прорваться к Дюнкерку. — *Прим. ред.*

73

В реальности из всех британских подкреплений в Антверпен смогли прибыть только морские пехотинцы и матросы генерал-майора А. Пэриса, тогда как 4-й корпус генерал-лейтенанта Г.С. Роулинсона не успел достичь этого города, оставленного 8 октября бельгийской армией и Королевской морской дивизией.

Одна из двух дивизий 4-го корпуса — 7-я пехотная генерал-майора Томпсона Кэппера — высадилась 4 октября в Зебрюгге и двинулась через Брюгге на Антверпен, однако к 9 октября, когда антверпенский бургомистр Ян Де Вос официально сдал город немцам, она дошла только до Гента. На следующий день, 10 октября, частям этого британского соединения и французским морским фузилерам контр-адмирала П.-А. Ронарка удалось в бою у деревни Мелль с успехом отразить атаку германской 1-й эрзац-бригады, сорвав ее попытку овладеть Гентом. Позже дивизия Т. Кэппера отступила на Тьельт, а оттуда к Ипру, где к ней присоединилась другая дивизия корпуса Роулинсона (3-я кавалерийская), прибывшая из Остенде. — *Прим. ред*.

Уже 6 октября король бельгийцев Альберт I принял решение об оставлении Антверпена. В ночь с 6-го на 7-е соединения бельгийской армии под прикрытием сильного огня крепостных и полевых батарей были стянуты на левый берег Шельды, в район 5-го оборонительного сектора. На правом берегу остались в качестве арьергарда только 2-я бельгийская дивизия генерал-лейтенанта Эмиля-Жана-Анри Доссена и британская Королевская морская дивизия генерал-майора Арчибальда Пэриса, расположившие свои батальоны в интервалах между фортами второй (внутренней) линии обороны.

Днем 7 октября на левый берег Шельды была переведена бельгийская полевая артиллерия. В 16.00 генерал фон Безелер через парламентера потребовал от бельгийцев сдачи Антверпена, но получил отказ, поэтому в ночь с 7-го на 8-е германские батареи начали обстрел города. В результате артиллерийской бомбардировки, а также в связи с тем, что бельгийские и британские войска приступили к подрыву крепостных сооружений и уничтожению различного имущества, которое не должно было достаться врагу, в Антверпене вспыхнули пожары (жертвой огня мог стать весь город, но, к счастью, погода была безветренная, и сгорело не более 100 домов).

В течение 8 октября последние полевые части союзников покинули Антверпен. Британская дивизия Пэриса начала оставлять свои позиции в 19.30 и благополучно перешла через Шельду по понтонным мостам. Двигаясь всю ночь с 8-го на 9-е, главные силы дивизии (один батальон 1-й морской бригады, вся 2-я морская бригада и бригада морской пехоты без одного батальона) добрались до селения Сен-Жиль-Вас, где погрузились в эшелоны и без происшествий проследовали по железной дороге в сторону Остенде. Однако Портсмутский батальон Королевской легкой морской пехоты, двигавшийся в арьергарде позади главных сил, оказался отрезан у Морбеке, где немцы перекрыли железную дорогу и открыли огонь по эшелону.

Паровоз, тащивший поезд с морскими пехотинцами и гражданскими беженцами, сошел с рельсов. Более половины личного состава Портсмутского батальона пропало без вести (главным образом, попало в плен), а остальным его бойцам удалось в темноте пробиться и, пройдя еще 16 км пешком, достичь селения Селзате, где их погрузили в другой эшелон и отправили в Остенде. Между тем основная часть 1-й морской бригады коммодора Уилфреда Хендерсона (1500 чел.) не смогла

отступить вместе со всей дивизией и 9 октября в 22.00 перешла вместе со своим командиром границу Нидерландов (разоруженные голландцами, эти британские моряки были 11 октября доставлены в город Гронинген, где оставались до конца войны на положении интернированных). В ходе боевых действий у Антверпена 4–9 октября 1914 г. бригада Королевской морской пехоты потеряла 23 чел. убитыми, 103 ранеными и 388 пропавшими без вести, а 1-я и 2-я морские бригады — 5 чел. убитыми, 64 ранеными и 2040 пропавшими без вести. Антверпенская эпопея дивизии Пэриса завершилась 11 октября, когда ее из Остенде перевезли через Ла-Манш обратно в Англию.

Что касается Антверпена, то 9 октября гражданские власти этого города передали его под контроль германских войск, а 10 октября бельгийский комендант крепости сдал немцам три северных форта, Сент-Мари, Схотен и Стабрек (на момент капитуляции генерал-лейтенант Дегиз, находившийся в форте Сент-Мари, имел при себе только одного сержанта и одного рядового). Число пленных, взятых немцами, было сравнительно невелико, но примерно 30 000 бельгийских военнослужащих (в основном из состава крепостных частей) пересекли границу и были интернированы в Нидерландах. — *Прим. ред*.

одновременно Британия и другие страны Антанты получали короткий и удобный путь для доставки в Россию всевозможных военных грузов и прочих предметов снабжения. — *Прим. ред.*

76

Британский линейный корабль 1-го класса, или супердредноут «Куин Элизабет» (HMS *Queen Elisabeth*), спущенный на воду в Портсмуте 16 октября 1916 г., был вооружен восемью 15-дюймовыми (381-мм) пушками, размещенными в двух башнях (по четыре в каждой башне). Кроме этих орудий главного калибра, он имел шестнадцать одинарных 6-дюймовых (152-мм) пушек, два 3-дюймовых (76,2-мм) зенитных орудия и четыре 3-фунтовых (47-мм) салютационных орудия. Во время Дарданелльской операции линкор с 25 февраля по 14 мая 1915 г. принимал участие в бомбардировке турецких фортов, выпустив в общей сложности 86 пятнадцатидюймовых снарядов и 71 шестидюймовый снаряд. — *Прим. ред*.

великий князь Николай Николаевич Романов занимал с 20 июля (2 августа) 1914 г. до 23 августа (5 сентября) 1915 г. пост российского верховного главнокомандующего. — *Прим. ред.*

всего в Дарданелльской операции британцы задействовали один линкор 1-го класса (супердредноут «Куин Элизабет») и 24 додредноутных линкора, но к середине февраля 1915 г. Средиземноморская эскадра вице-адмирала сэра Сэквилла Хэмилтона Кардена, предназначенная для атаки Дарданелл, имела в своем составе только семь британских линкоров (включая «Куин Элизабет»). — *Прим. ред*.

первую бомбардировку турецких укреплений в проливе Дарданеллы военно-морские силы Антанты провели 19 февраля 1915 г., но линкор «Куин Элизабет» не принимал в ней участия — его впервые задействовали 25 февраля, когда он и семь других линкоров (4 британских и 3 французских) подавили своим огнем турецкие батареи, прикрывавшие вход в пролив. — *Прим. ред.*

80

Со стороны союзников в операции против турецких редутов и береговых батарей в проливе Дарданеллы, предпринятой 18 марта 1915 г., участвовали 16 крупных боевых кораблей (12 британских и 4 французских) под началом вице-адмирала Королевских ВМС Великобритании сэра Джона Майкла де Робека (последний с 16 марта сменил во главе Средиземноморской эскадры заболевшего вице-адмирала С.Х. Кардена) и командующего французской дивизией линкоров-додредноутов контр-адмирала Эмиля-Поля-Амабля Гепратта. Британскую линию «А» (передовую) составляли линкоры «Куин Элизабет», «Агамемнон», «Лорд Нельсон» и линейный крейсер «Инфлексибл», французскую линию «В» — линкоры «Голуа», «Шарлемань», «Буве» и «Сюффрен»; британскую линию «В» — линкоры «Вендженс», «Иррезистибл», «Альбион» и «Оушен». В качестве кораблей поддержки использовались британские линкоры «Маджестик», «Принс Джордж», «Свифтшур» и «Трайэмф». Еще два британских линкора, «Канопус» и «Корнуоллис», не участвовали в атаке турецких укреплений, оставаясь в резерве. Результат операции против внутренних дарданелльских фортов оказался плачевным для англо-французского флота. Первым, в 13.54, на турецком минном заграждении подорвался французский линкор «Буве» (*Bouvet*), на котором произошел взрыв погреба, после чего корабль быстро затонул, унося на дно 639 членов команды. В 16.00 на мине подорвался британский линкор «Иррезистибл» (HMS *Irresistible*), уже получивший к тому времени несколько попаданий артиллерийских снарядов. Потери его команды составили 30 чел. убитыми, а остальных моряков сняли с сильно поврежденного корабля, который той же ночью затонул (был потоплен огнем турецких береговых батарей). Третий корабль союзников, британский линкор «Оушен» (HMS *Ocean*), подорвался на минном заграждении в 18.05 и, подобно «Иррезистиблу», был оставлен своей командой, а позже пошел на дно (его тоже «добили» турецкие батареи). Кроме того, еще три корабля Антанты, французские линкоры «Голуа» (Gaulois) и «Сюффрен» (*Suffren*) и британский линейный крейсер «Инфлексибл» (HMS *Inflecsible*) получили серьезные повреждения от огня турецкой береговой артиллерии. Безвозвратные потери союзников в личном составе достигали 700 чел. Эффективность огня их корабельных пушек оказалась ниже, чем они предполагали. На турецких фортах было выведено из строя только три тяжелых орудия (два из них,

имевшие калибр 356 мм, пострадали от снарядов, выпущенных с линейного крейсера «Инфлексибл»). Три британских 15-дюймовых снаряда, выпущенных линкором «Куин Элизабет», пробили траверсы на форте Хамидие I, где произошел пожар боеприпасов, едва не разрушивший все это укрепление. Урон турок в живой силе был невелик — всего 40 убитых и 78 раненых. — *Прим. ред*.

81

Средиземноморскими экспедиционными силами союзников, высаженными 25 апреля — 3 мая 1915 г. на полуострове Галлиполи (Гелиболу), командовал британский генерал сэр Йэн Стэндиш Монтит Хэмилтон (1853–1947), хорошо знакомый Черчиллю по Англо-бурской войне (Уинстон состоял при его штабе в 1900 г.). Несмотря на позиционный тупик, в котором оказались его войска летом и осенью 1915 г., Хэмилтон выступал против эвакуации из Галлиполи, за что 16 октября был отозван в Лондон и 27 октября заменен генералом сэром Чарльзом Кармайклом Монро. К началу Галлиполийской кампании в состав Средиземноморских экспедиционных сил, насчитывавших 75 056 чел., входили следующие соединения: Австралийско-новозеландский корпус генерал-лейтенанта Уильяма Ридделла Бёдвуда (1-я австралийская пехотная дивизия генерал-майора Уильяма Тросби Бриджеса и Новозеландско-австралийская дивизия генерал-майора Александра Джона Годли, всего 30 638 чел.), британская 29-я пехотная дивизия генерал-майора Эйлмера Голда Хантер-Уэстона (17 649 чел.), Королевская морская дивизия генерал-майора Арчибальда Пэриса (10 007 чел.), 1-я пехотная дивизия (дивизионного генерала Жозефа-Жоржа-Антуана Масну) французского Восточного экспедиционного корпуса дивизионного генерала Альбера-Жерара-Лео д'Амада (16 762 чел.). Впоследствии англо-французские войска, завязшие на галлиполийских береговых плацдармах, были значительно усилены, и в ноябре 1915 г. их численность достигала 134 728 чел. — *Прим. ред*.

82

Всего в Галлиполийской кампании, продолжавшейся с 25 апреля 1915 г. до 9 января 1916 г., погибло 56 707 офицеров и солдат союзнических войск, в том числе 46 909 подданных Британской империи (34 072 из войск Соединенного Королевства, 8709 австралийцев, 2721 новозеландец, 1358 индийцев, 49 ньюфаундлендцев) и 9798 французских военнослужащих. Число погибших турок, согласно разным источникам, составляло от 56 643 до 87 000 чел. — *Прим. ред.*

83

британский линкор «Голиаф» (HMS *Goliath*), спущенный на воду 23 марта 1898 г. и включенный в состав Королевских ВМС 27 марта 1900 г., был потоплен в ночь на 13 мая 1915 г. (в 1 час 17 минут) в заливе Морто, у берегов мыса Хеллес (юго-западной оконечности полуострова Галлиполи), где его поразил тремя торпедами турецкий эскадренный миноносец «Муавенет-и-Миллие», которым командовал кидемли юзбаши (старший лейтенант) Айасофиали Ахмед Саффед (в качестве помощника при нем состоял германский офицер, лейтенант Рудольф Фирле). Из 700 членов команды «Голиафа» погибло 570, в том числе командир корабля, капитан 1-го ранга Томас Лори Шелфорд. Именно после потопления этого старого линкора британцы решили отозвать из района Дарданелл свой новейший линкор «Куин Элизабет».

Вероятно, это было правильное решение, поскольку вскоре список боевых кораблей Королевских ВМС, потерянных у мыса Хеллес, пополнили еще два линкора — «Трайэмф» и «Оушен», торпедированные и потопленные 25 и 27 мая 1915 г. германской подводной лодкой U-21 (под командой капитан-лейтенанта Отто Херзинга). — *Прим. ред*.

имеется в виду Университет штата Индиана, где преподает Майкл Шелден.